ISSN 0130-6545

4.1998

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

СОЛ БЕЛЛОУ
Между небом и землей

NB
Ирвин Уэлш

ОЛДОС ХАКСЛИ
Писатели и читатели

До конца 1998 года редакция намерена опубликовать:

ПО РАЗДЕЛУ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Умберто Эко. ОСТРОВ НАКАНУНЕ (роман)
Эрик Фоснесс Хансен. «ТИТАНИК». ПСАЛОМ В КОНЦЕ ПУТИ (роман)
Томас Элой Мартинес. САНТА ЭВИТА (роман)
Милан Кундера. ИДЕНТИЧНОСТЬ (роман)
Шеймас Дин. ЧИТАЯ ВО ТЬМЕ (роман)
Ромен Гари. БЕЛАЯ СОБАКА (повесть)
Ханс Магнус Энценсбергер. ПЛЕМЯННИК ВОЛЬТЕРА (пьеса)
Рассказы **Хулио Кортасара, Тобиаса Вулфа, Джулиана Барнса** и др.

ПО РАЗДЕЛУ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОЗЫ И ЭССЕИСТИКИ

Симона де Бовуар. ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ (письма к Нельсону Олгрену)
Цветан Тодоров. ЧЕЛОВЕК, ПОТЕРЯВШИЙ РОДИНУ (главы из книги)
Кшиштоф Кесьлевский. АВТОБИОГРАФИЯ
Эмиль Чоран. ИЗ ДНЕВНИКОВ
Яцек Куронь. СЕМИЛЕТКА, или КТО УКРАЛ ПОЛЬШУ (главы из книги)
Марио Варгас Льоса. КАК РЫБА В ВОДЕ (главы из книги)
Александр Генис. ДОВЛАТОВ И ОКРЕСТНОСТИ (главы из книги)
Мирча Элиаде. ИСПЫТАНИЕ ЛАБИРИНТОМ (фрагменты книги бесед)
Харольд Блум. ЗАПАДНЫЙ КАНОН (главы из книги)

А также ряд других произведений, о приобретении прав на которые редакция ведет переговоры.

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи по карточному каталогу «РОСПЕЧАТЬ» или (с доставкой журнала бандеролью на дом) по адресному каталогу «КНИГА-СЕРВИС».

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

«РОСПЕЧАТЬ» 70394
«КНИГА-СЕРВИС» 40650

А ЕСЛИ ВЫ ИМЕЕТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧАТЬ НОМЕРА В РЕДАКЦИИ, СОВЕТУЕМ ПОДПИСАТЬСЯ ПРЯМО У НАС — ЭТО НАДЕЖНЕЕ И НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ.

Подписка в редакции будет проводиться **с 1 апреля по 1 июня** ежедневно **с 12 до 18 часов, кроме пятницы и выходных.**

Адрес редакции: Пятницкая улица, дом 41 (метро «Третьяковская»)
☎ **953-5147**

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — КОНВЕРСБАНК А.О.
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)**

Из общего тиража в 15 360 экз. Институт «Открытое общество» ежемесячно выписывает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 2214 экз. журнала.

Главный редактор

А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

О.Г. БАСИНСКАЯ — ответственный секретарь
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — заведующий отделом критики и публицистики
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ, П.Л. ВАЙЛЬ,
М.Л. ГАСПАРОВ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА,
Б.В. ДУБИН, А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ,
Вяч.Вс. ИВАНОВ, В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

4 апрель 1998

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕС МЕРРЕЙ — Стихи из книги «СОБАКА ЛИСА ПОЛЕ» (*Перевод с английского и вступление Андрея Сергеева*)..... 5
АНДЖЕЙ СТАСЮК — Галицийские рассказы (*Перевод с польского С. Макарцева*)..... 13
ЗИГФРИД ЛЕНЦ — Людмила (*Рассказ. Перевод с немецкого Б. Хлебникова*)..... 22
СОЛ БЕЛЛОУ — Между небом и землей (*Роман. Перевод с английского Е. Суриц*)..... 39
МИЛОРАД ПАВИЧ — Корсет (*Рассказ. Перевод с сербского Натальи Вагаповой*)..... 110
ЯСМИНА МИХАЙЛОВИЧ — Три стола (*Рассказ. Перевод с сербского Натальи Вагаповой*)..... 117

Вглубь стихотворения

ГИЙОМ АПОЛЛИНЕР — Мост Мирабо (*Стихи. Переводы с французского. Вступление Михаила Яснова*)..... 125

NB

ИРВИН УЭЛШ

ИЛЬЯ КОРМИЛЬЦЕВ — Ирвин Уэлш — Жан-Жак Руссо химического поколения..... 135
ИРВИН УЭЛШ — Вечеринка что надо (*Рассказ. Перевод с английского И. Кормильцева*)..... 138
ИРВИН УЭЛШ — Судьба всегда в бегах. *Фармацевтический романс* (*Перевод с английского и послесловие Бориса Кузьминского*)..... 156
СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ — Между экстази и экстазом..... 194

Литературное наследие

ТОМАС МАНН — Август фон Платен (*Перевод с немецкого и вступление Игоря Эбаноидзе*)..... 201

Статьи, эссе

ОЛДОС ХАКСЛИ — Писатели и читатели (*Перевод с английского В. Бабкова*)..... 211

Гений места

ПЕТР ВАЙЛЬ — Всё — в саду (Токио — Кобо Абэ, Киото — Мисима)..... 225

Трибуна переводчика

В. РОГОВ — О переводе заглавий..... 238
И. БЕРНШТЕЙН — Английские имена в русских переводах..... 247

Галерея «ИЛ»

О. ХЛЕБНИКОВА — Непохожий на непохожих..... 251

Авторы этого номера..... 254

© «Иностранная литература», 1998

В следующем номере «ИЛ»

В специальный выпуск журнала *«БИБЛИЯ: КАНОН И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ»* вошли литературные произведения, написанные в 90-х годах на сюжеты Священного Писания:

«ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИИСУСА» — роман португальского поэта и прозаика **Жозе Сарамаго**, представляющий собой яркую художественную версию земного пути Христа и его драматических отношений с Богом Отцом.

«ЕВАНГЕЛИЕ ОТ СЫНА БОЖИЯ» — главы из романа американского писателя **Нормана Мейлера**, предпринявшего попытку рассказать о жизни Иисуса «от первого лица».

«БЕЗЫМЯННАЯ МОГИЛА» — повесть венгерского писателя **Сильвестра Эрдега**, почти детективная история о человеке, ставшем вскоре после казни Иисуса первосвященником Иудеи.

Мы также публикуем:

Ранее не переводившийся на русский язык фрагмент романа **Томаса Манна** «ИОСИФ И ЕГО БРАТЬЯ».
Эссе **Хорхе Луиса Борхеса и Дороти Сейерс**.
Статьи **Джона Апдайка, Алексея Зверева, Якова Кротова**.

Цветные иллюстрации номера — работы немецкого художника АВГУСТА МАККЕ (1887 — 1914):
На 1-й стр. обложки — «Дама в зеленом жакете» (1913).
На 2-й стр. обложки — «Красный дом в парке» (1914).
На 3-й стр. обложки — «Улица» (1914).
На 4-й стр. обложки — «Дама в парке» (1914).

В Москве журнал можно приобрести в редакции,
а также в следующих книжных магазинах:

«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
«Англия» — Хлебный пер., д.2/3
«Графоман» — ул. Бахрушина, д.28
«Летний сад» — ул. Б. Никитская, 46

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://russia.agama.com/r_club/journals/inostran/soderj.htm

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

✉109017, Москва, Пятницкая ул., 41. ☎953-51-47; факс 953-50-61, E-mail inolit@adicom.ru

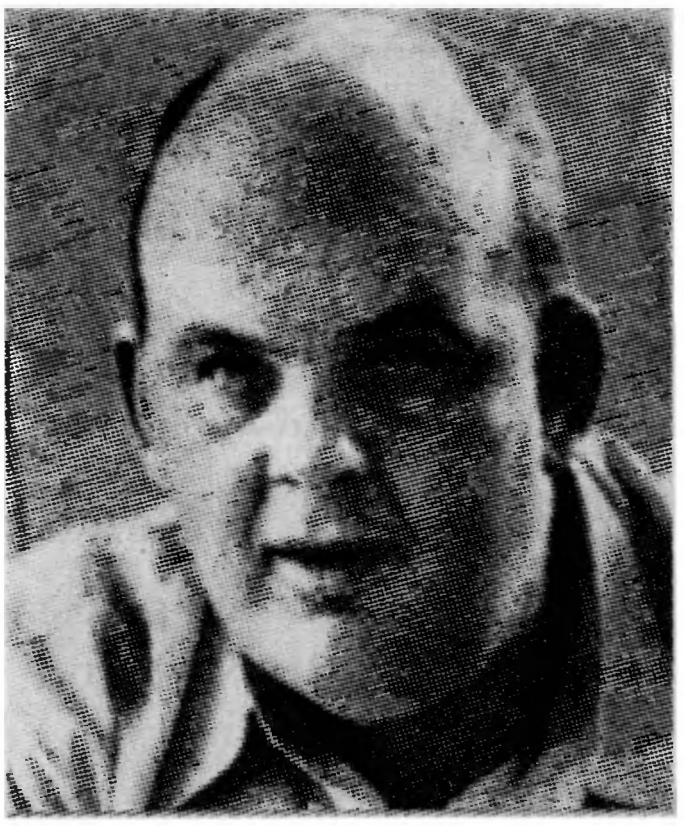
Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 00.03.98. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 25,72. Усл. кр.-отт. 31,0. Уч.-изд. л. 26,74. Заказ №3243.

Тираж 15 360 экз.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.



ЛЕС МЕРРЕЙ

Стихи из книги «СОБАКА ЛИСА ПОЛЕ»

Перевод с английского и вступление АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

Существует мнение, что Леса Меррея занимают одни чрезвычайности — например, безвестный австралиец, более века назад придумавший телевидение; переезд деревянного городка — целиком — на новое место; забой скота, увиденный глазами коровы; уничтожение нацистами отсталых детей; взгляд на войну 1812 года из султанского дворца в Стамбуле, да к тому ж размышляет о ней султанша, кузина первой жены Наполеона, и т.д.

Есть и другое мнение: Лес Меррей способен только воспевать свою родную Австралию, главным образом ее природу.

Сам поэт согласен и с тем, и с другим мнением.

«Дело в том, что меня интересует решительно все на свете», — говорит он.

Добавим, что в отличие от многих западных поэтов Меррей не одержим ложным стыдом и прямо заявляет, что любит свою страну и верит в Бога.

В Австралии, Англии, Соединенных Штатах о нем давно уже пишут:

«Лес Меррей с полным правом выступает от имени всей нации, от центра Сиднея до глубинного буша, он хранитель души Австралии и иронический комментатор ее нравов и обычаев. Он первый поэт современной Австралии».

«Сегодня он один из лучших поэтов английского языка, один из суперлиги, включающей Шеймаса Хини, Дерека Уолкотта и Иосифа Бродского».

А вот как отозвался о нем Бродский:

«Близоруко считать г-на Меррея австралийским поэтом — так же как Йейтса — ирландским. Просто он один из тех, кем жив английский язык».

Лес (Лесли Аллен) Меррей родился в 1938 году на молочной ферме на побережье Нового Южного Уэльса. Пишет стихи с юности. Переменил несколько профессий, пока в 1971 году не решил посвятить себя целиком стихотворству. Успех, даже слава в такой степени сопутствуют австралийскому поэту, что если в 1996 году он получил престижную премию Т. С. Элиота, то нетрудно предположить, что в этом году или в одном из ближайших он удостоится Нобелевской премии.

Он единственный несомненный наследник поразительного расцвета австралийской поэзии тридцатых — сороковых годов. По трагизму мироощущения он особенно близок выдающейся поэтессе Джудит Райт, чьи стихи высоко ценил Роберт Фрост. Однако в отличие от предшественников Меррей глубже зарывается в язык, иногда дерзко экспериментирует со словом. Образная система его сложна и богата и доходит до барочной утяжеленности. Не все его высказывания поддаются логическому истолкованию. Это поэт нелегкий для чтения — и тем более для перевода. Предлагаемая подборка (взята из сборника «СОБАКА ЛИСА ПОЛЕ» 1991 год) — первая попытка воссоздания Меррея средствами русского языка.

© Les Murray,1990, 1991.
© Андрей Сергеев. Перевод, вступление, 1998

Фермер в пятьдесят

Не он сотворил все это,
но мог хотя бы зато представить,
как ветры плотину замшелую
только что не шевелят,
и как в часы водопоя
удваиваются коровы,
и лоснятся рои лягушат.

Уток, дремлющих стоя,
капая на плотину,
он тоже мог бы представить —
но только не буйный размах
бунзеновских горелок
голубоватых лилий
на высоких стеблях,

стоящих над тучей листьев,
словно на якорях.
Он об этом не думал —
но, превращая в пруд
мывшую берег речку,
он своими трудами
лилиям дал приют.

То же с домохозяйством.
Он мог хотя бы представить,
как на ветру парусят
пестрые флаги пеленок,
говорящие: здесь ребенок,
но не что из этого следует,
и кто появился на свет,

и какое ждет его детство,
и чем он кончит и где.
На запруде сидит собака
и, голову вместе с хвостом
повернув, равнодушно смотрит
на кроны окрестных деревьев,
перевернутые в воде.

Перемещение Клермонта

После Большого потопа решили
передвинуть наш деревянный город
вдаль от опасных красот реки
и ее прихотливых лагун,
ибо они нас чуть не сгубили.

Дома полегче поставили на колеса,
но большинство, сохраняя остатки достоинства,
с долгим скрежетом потащилось на бревнах
за тягачами.

Каждый сам по себе. На привалах
жизнь шла вокруг них, внутри них.
Постояльцы завтракали в гостинице «Ройял»,
видя то шорню, то мэрию.

Мы пили пиво у покосившихся «Масонов»
и в радикальном «Трилистнике», но на деле
все пабы стали «Турниром». Все менялось
местами, как в шахматной партии:

«Мясо» закрыло булочную, полиция
заслонила оба борделя, дансинг
обогнал «Общество трезвости», парадные двери
тыкались в кухни и смиренно скрипели дальше.

Часть домов рушилась и исчезала.
Один проплакал все окна, за другим тащились пожитки.
Одна цепь напряглась, лопнула и скосила
лошадей и веранду. Фундаменты под домами
взрывались соверенами и столовыми ложками.

Трудное восхождение зданий
на взгорье — крестовый поход детей,
дома бросали нам вниз веревки.
Привычное было на непривычном месте,
и в головах у нас тоже все перепуталось:

«Мясо» теперь заслоняло дансинг, полиция
уступила дорогу важничающим борделям —
как и мэрия в дамском седле из рельсов.
Мы, словно потерянные, бродили по улочкам,
замиравшим порой на недели; из потаенных углов
оглядывались на пустошь, где только что был город,
на садики детства, на будущие наши могилы,
на дом, вставший на якорь из-за урожая томатов;
качавшийся шпиль церкви звал вверх и вперед.

Многие участки остались непроданными,
на взгорье город не стал богаче, чем был внизу.
И невозможно понять, город это или не город,
как невозможно понять в этом буше,
что такое земля, территория, пустошь.

Трубка

Энн Мойал и Робу Кроуфорду

Люди в запонках очень многие
очень похожи на Генри Саттона;
сотню лет назад в Балларате он
взял да и выдумал телевидение —
его сотворят потом и другие.

Он назвал его телефанией:
слово по-гречески выстроил верно.

Все это было не просто теорией —
нипковский диск и эффект Керра,
и фотоэлемент из селена

уже налицо. И в его Балларате
тогда увидали бы Кубок Мельбурна,
все затевалось этого ради;
но тогда еще не было радио,
по проволоке же сигналы трудно

идут, не сливаясь в изображение.
Только когда закончился век,
знавший лишь конное передвижение,
кони сподобились взвиться вверх
под стрельбу и музыку телевещания.

Мы к небогатым пришли результатам,
отец телефании Генри Саттон,
и это мог бы поставить в укор,
гуляя с вами под Балларатом,
случайно забредший сюда репортер.

Играет аккордеон

Словно семейный Псалтырь на ремне, он добродетель и грех
пеньем обнимет со всех сторон и сразу утешит всех.

Он складывается, как колода карт, как веер, он полон затей
и тянется аж до полки с книгами о злоключеньях людей.

Христа на кресте напомнит на миг хриплый его басок
и тут же стрельнет у вас закурить или с чувством прочтет стишок,

он представит вам дом родной и Париж или в горе склонит к вину.
Но он никогда не славил неволю и не звал юнцов на войну.

В заведение под фонарем на углу заходят гуртовщики,
там танцуют мертвые девушки, там безумствуют старики,

там два брата вспомнили дни страды и ночей миновавших мед.
Кому-то лоскутное одеяло скрипичной иглой сошьет,

кого-то оплачет вверх и вниз извивающийся стон.
Это жизнь ползет тяжелой змеей сквозь укачанный аккордеон.

История Афродит-стрит

Снова глазеть в витрины
на Афродит-стрит:
яблочки в них наливные,
и какое-то смерть сулит.

На них для того поколенья
клином сошелся свет;
глядишь — самого поколенья
наполовину нет.

На мир душа его мерзкая
рычала, как злобный пес.
На себя и себе подобных
ныне рычать пришлось.

Что радовало, то и бесит.
Насшибавший верхушек хлыщ
проповедовал: все, что над плоским
выдается — обычный прыщ.

Метафизику сортом повыше
брали из окон машин;
плясали живые свастики
из женщин и мужчин.

Доброту объясняли сытостью,
честность считали за стыд.
Вас не грабили, если не грабили
на Афродит-стрит.

Боже, спаси миллионы
душ — их сгубила она,
пройдя мимо каждого дома,
вломясь в него, как война.

А яблочки все краснее,
и всякое смерть сулит —
пойдемте ж глазеть в витрины
на Афродит-стрит.

Коровы в день забоя

Все я стоят на траве. Небо блестит.

Всех я подоили. Соски до сих пор зудят
от сухой холодной беззубой пасти,
которая только вдыхает, но не выдыхает.

Все я стоят на траве, движут траву внутри я.
Запах: одной я нужно быка, тяжелое я,
на спине, от него я горбится, задыхается и опять —
легко и спокойно. Прозрачное движется внутри я.

От такой дойки забудешь тоску по теленку.
Я, которой охота, вспрыгивает на я, манит быка.

Вбегае́т ворчащий трактор; людская телка
вскакивает на него, трактор полон еды:
сухие кипы люцерны, клевера и травы —

их откусили и привезли, чтобы я жевали.
Людская телка на тракторе, кипы спускаются ниже,
и все идут за ними, жуют, роняют из пастей.

Запах: людской телке нужно людского быка,
и она бесится. Все я с опаской глядят на нее,
она отгоняет собаку: вот кого забодать бы —
враг с болтающимся языком. Затоптать бы.

Я глядят туда и сюда, тащатся за едой.

Одна я уже во дворе, где сорвана шкура травы.
Старая, кости ноют, молока в ней почти нет,
лижет дрова. Приходит старший людской бык.

Двор пахнет мочой. У людского быка палка
щелкает, словно кнут. Я вздрагивает и падает,
и страшное — кровь я — выливается из-за уха.
Я, та другая я, лежит и спит в голом дворе.

Все я забегали. То, что там, за дровами
в сыром дворе — как Жаркая Часть неба, куда
трудно глядеть. У людского быка блестящий лист,
как горький лист эвкалипта, вонзается в шею я,
и страшное вытекает в лужу и пенится. Все я
издают Рев, неловко прыгают — забодать бы беду.

Людской бык — это волк у ног. Забодать людского быка!

Но людская телка с собакой выгоняют всех я.

Оглянуться — блестящий лист еще движется.
Все сухие старые я — кучи, как кучи еды,
и скользкое я выходит из я, как теленок.

Мертвым пахнет собака, теленок людской и волчий,
бегает, подбирает разбросанные кровавые клочья,
и над запахами все я убегают к небу.

СОБАКА ЛИСА ПОЛЕ

При тесте на слабоумие дети должны
были составить предложение со словами
СОБАКА ЛИСА ПОЛЕ.

(Из материалов Нюрнбергского процесса)

Они не вели, это их привели
во мрак СОБАКА ЛИСА ПОЛЕ:

Анна пожала плечами, а Пауль —
большой мальчик, но только хихикал,

Ирма — лицом китаянка, а Ханс
знал свой мир, как лиса — поле.

Их гнали иглами, холодо̀м, голодом,
потом их метили, как скотину,

за то, что не поняли и не сумели
выпустить в поле жертву и гончую,

они тряслись в крытых машинах,
их везли СОБАКА ЛИСА ПОЛЕ.

Холокост продолжается. Дети
предупреждают: СОБАКА ЛИСА ПОЛЕ.

Увертюра 1812 во дворце Топкапы

Молитвенник — на турецком, молитвы ее — за Султана.
Сквозь тонкую филигрань кружевной стены павильона
влетает бродячий бриз и рябит облачка муслина
над погруженной в раздумья Вдовствующей Женой.

Тысячу четыреста воскресений она просила
Сына Девы помочь слабым, тем, кто, подобно ей,
случая не имел постоять за свое достоинство —
за наложниц, за евнухов с лицами старых детей.

Тысячу триста раз молилась она за Султана —
бей Алжира ему прислал ее, как похищенный перл, —
и за Султана, их сына, который сейчас на троне
под надписями, похожими на дымки благовоний, —

надписи эти она давно научилась читать.
Хуже всего, что никак не удастся покончить
с торговлей евнухами: невыносимо видеть,
как мальчики-немусульмане после главной утраты

сидят и плачут на жарком, залитом кровью песке.
Продажа захваченных девушек — второй застарелый укор.
Но бывают и легкие дни, когда мартиникское море
отступает и блекнет перед блещущим Мраморным морем...

Ниоткуда взялся гонец, стучится в Дом Палача —
лишь через этот Дом, запирающий полуостров,
в алтайский мир травы, деревьев и мраморных кущ
может пройти единственный не знавший ножа мужчина.

Сама бесстрастность из Дома глядит за железо решетки,
доставленное гонцом письмо продолжает движение
к женщине, кончившей «Верую» и откинувшейся на подушки.
Все с шуршаньем выходят, чтобы не мешать чтению.

«От Повелителя Верных — Самой Высокочтимой
Жене Сераля. Мама, сегодня я договорился
о мире с Царем и отдал всего одну из провинций —
одну из трех, которые мы уже потеряли.

Царь был сговорчив: ему нужна его армия полностью,
чтобы отбить вторжение гнусного Бонапарта —
помнишь, ты раз его назвала Повелитель Неверных.
Будущее Османской империи, как никогда, превосходно

из-за вторженья французов. Россия, конечно, огромна,
но вдруг Бонапарт победит? Вдруг он второй Чингисхан?
Тогда наш самый могучий враг будет разгромлен,
к тому ж победителя эта победа загонит в капкан.

Но и Бонапарт может быть побежден, и развеется
слава его, и тогда Россия и вся Европа
набросятся на него и оставят в покое нас.
Должен признаться, мама, что, отпуская Царя

к предстоящим сраженьям, я вспомнил о нашей кузине,
подруге твоих детских игр, царственной Жозефине,
которую Змей Нила два года назад позорно
отверг ради связи с Габсбургским домом. В моей воле

было освободить Царя или держать его на границе —
тогда старинный наш враг был бы разгромлен навеки,
этого и добивались безмозглые янычары.
Я поиграл с этой мыслью, но явилась мысль посерьезней:

Царь защищает нас от безумного духа Франции.
Ты учила меня, что дух неотделим от тела,
и я восстал за честь двух оскорбленных жен.
Но не я, а такие мгновенья — тень Аллаха над миром».

Эме Дюбюк де Ривери, родная мать Султана
задумчиво бродит по павильону с письмом сына,
и ковры под ногами — берег вдали от алжирских пиратов,
и она играет в волнах, она и бедная Жозефина.

Это их родители *бедные*. У каждой девочки черный слуга,
он спокойно берет из их рук розовые ракушки,
выуженные из пены, ибо в таком нежном возрасте
женщины вольны, мужчины же к ним равнодушны.

■

АНДЖЕЙ СТАСЮК

Галицийские рассказы

Перевод с польского С. МАКАРЦЕВА

Юзек

Ему сорок два, физиономия продувной бестии, а тело высохшее, как старая деревяшка. Он единственный тракторист в кооперативе, потому что трактор тоже только один, и других уже не будет. Никогда. Но Юзек не понимает этого слова, ведь оно порождено сферой воображаемой, теоретической, и, как и прежде, в застывшем времени, пытается вдохнуть жизнь в железные останки. И его трактор продолжает работать, но только потому, что Юзек знает, у кого что можно открутить.

— На кой ему генератор, если он и ездить-то не умеет, — бормочет он себе под нос, ловко, как китаец палочками, орудуя во тьме египетской ключом на девятнадцать. Еще минута, и он переставит генератор на свою рухлядь, замажет грязью откученные болты, и никто ничего не узнает.

На фоне гибнущего мира, среди металлического хлама мертвых машин и механизмов, между заржавленной сеялкой и остывшей, тихой кузницей его фигура резко выделяется живостью движений.

Хотя ему только сорок два, он уже старый и помнит райские времена.

— Да, парень! То цемент привези, то шерсть отвези, а навоз, а горючка! Клиенты аж бились за меня, потому как тогда не то что мешок, гору цемента можно было на халяву заиметь. Считать, так никто ничего путем не считал. И бугор не смел цепляться, коли за руку не схватил. Уволить мог? А кто бы к нему поехал сюда, на эту Украину? А теперь...

Уныло махнув рукой, он забирается на потертое сиденье и уезжает. Невинный, как ангел, как ребенок, как пришелец из эпохи, когда Бог только обдумывал идею греха.

Люди, лишенные наследства, живут настоящим. Если у них и бывает какое-то прошлое, оно остается всего лишь воспоминанием, чем-то столь же неопределенным, как и будущее.

Приехал он сюда откуда-то из-под Лимановой. Не один. Его привезли родители, когда он был совсем маленький. Ему дано было увидеть и запомнить сотворение мира в абсолютной пустоте. Реальность кооператива стала вселенной. Здесь рождаются на свет, живут и умирают. Нет восьмичасового рабочего дня, потом поездки на трамвае домой,

---

© by Andrzej Stasiuk, 1995
© С. Макарцев. Перевод, 1998

нет частной жизни. Те же лица на работе, те же на топкой от грязи дороге, ставшей бульваром и рынком, ареной собраний и драк. Никто сюда не приезжает, а уходить, бывает, уходят.

Даже казармы не вечны, в них пережидают мирное время, и только.

Какой памятью одарил Бог первых людей? Наверное, обратно пропорциональной свободе. Эта зависимость, более чем какая-либо другая, сближает нас с миром животных.

Однажды мы шли в пивную, и я спросил, зачем он прячет в рукаве фомку.

— Я же там не всех знаю, не поймешь, кто друг, кто враг.

Как-то я нашел его в канаве. Он просто спал в своем завалившемся набок тракторе. Он вообще частенько засыпал там, где заставал его сон.

Он слепо верил своей интуиции, всегда был настороже и отлично знал, что́ ему необходимо в ту или иную минуту.

— Когда хочешь есть — ешь, хочешь пить — пей.

Подобные советы дают своим адептам великие учителя, святые, гуру. Если бы Юзек узнал об этом, то, вероятнее всего, искренне расхохотался. Учителя, не жалея времени, открывают основополагающие истины. Ну и Юзек иногда предавался размышлениям, если они могли его утешить.

Однажды я встретил его в лесу. Он сидел в своем тракторе, до отказа выжимал педаль газа и медленно погружался в болото. С оптимизмом пьяного он верил, что вырвется из илистой трясины, хотя болотная жижа уже заливала его резиновые сапоги.

— Спокойно. Такова жизнь, — повторял он через каждую минуту. — Бывает, везет, бывает — не очень...

Необремененное сознание несомненно легче справляется с интерпретацией действительности. Civitas[1] кооператива было основано на общинном принципе. И вот Юзек вырезал опасной бритвой заключительный постулат из формулы «Каждому по потребности, от каждого по возможности». Данная формула по сути своей исключает какие-либо ограничения. Ведь возможности человека трудно определить, их проявление зависит от обстоятельств и контролируется разумом. Что уж тут говорить о потребностях, взрастающих на потаенных и бессознательных корнях желаний?

Ну он и давал столько, сколько хотел, и брал сколько мог, приноравливая рациональную философию к импульсивной человеческой натуре.

Меня не оставляет ощущение, что система, дальним филиалом которой был Юзькин кооператив, развалилась не благодаря самоотверженной борьбе редких проповедников добродетели, истины и чести. Такие ценности имеют место, и, конечно, они прекрасны, но уж слишком абстрактны и недостаточны для устройства живой жизни. Логичная, механическая и тоже абстрактная структура системы развалилась как карточный домик, потому что внутри нее жили Юзек, его братья и сестры, целый легион лишенцев, вырвавшихся из-под тяжелого ярма морали, религии и памяти. Те, кто доверял только собственному инстинкту и прислушивался только к искусительному бормотанию природы, слились в такую огромную массу, которую не смогла бы вместить даже самая продуманная из всех придуманных систем.

Как-то раз зимой я зарылся в сугроб настолько, что, несмотря на обе ведущие оси, не мог двинуться ни вперед, ни назад. Тут как раз он проезжал. Мы прицепили трос, и Юзек перетащил меня через километровую полосу снежных завалов.

— Ставь банку, — шутливо сказал он, скривив в улыбке свою лисью физиономию.

— Поставлю, — серьезно ответил я, и мы пошли пить.

В пивной было пусто и холодно. Только барменша одиноко стояла за пирамидой пивных кружек, похожей на гигантскую сосульку. После третьей порции водки в тело

---

[1] Устройство, статус (*лат.*). (*Здесь и далее — прим. перев.*)

Юзека вселился дух Раймона Русселя и начал декламировать его голосом какой-то ветхий «Locus solus»[1]. Писатель, казалось, стремился взять реванш за пренебрежение, с которым он столкнулся в прежнем воплощении. Однако при этом вместо изысканных звуковых и смысловых ассоциаций этот дух воспользовался некоей логопедической схемой для того, чтобы те несколько сотен слов, составляющих словарь Юзека, могли легче складываться в гладкие фразы, с помощью которых можно описать все многообразие жизни. Речь здесь идет об удобстве языка, о том буквально, как облегчить работу во рту этому куску мяса. Юзек говорит без запинок и остановок и всегда ухитряется попасть в точку, потому что никогда не уточняет и не поправляет уже сказанное. Он усаживается поудобнее и, выпив сто граммов, полностью растекается в слове, которое воздействует на мир, на реальность, да что там, действовало бы на весь космос, почти как царская водка на металл. Последовательность событий испаряется, улетучиваются причины и следствия, в пыль рассыпается грех вместе с историей. Все происходит одновременно, начинается до срока и заканчивается не начавшись. Следующими рюмками Юзек окончательно умерщвляет время и принимается с какой-то безумной страстью его потрошить, после чего обнажается тот хилый скелетик, на который мы цепляем наши устремления, достижения, планы и надежды. В этом потоке слов исчезает и сам Юзек, как граница между тем, что было, и тем, что только будет. Разумеется, он продолжает восседать за столом, со все возрастающей высокомерной небрежностью откидываясь на спинку стула и со столь же возрастающей жадностью затягиваясь сигаретой так, что щеки с внутренней стороны вот-вот, кажется, слипнутся. Но само его существование становится проблематичным. На оси времени исчезает нулевая точка. Через час после распития бутылки в процессе поглощения живительного пива он меняет мое имя на какое-то другое, давнее, сыгравшее важную роль в его прошлой жизни. Но не проходит и минуты, и он вновь возвращается к моему имени и приглашает меня в будущее, на весенний лов форели, который возник в его сознании как смутный отголосок детства, подтягивающий на буксире парочку других повествований. Это целая сеть переплетающихся тропинок. А Юзек дороги не выбирает. Он идет туда, куда его несет удобство слога, сходство имен или случайно выбранное направление пьяного взгляда.

И тогда Юзек, будь это сегодня или завтра, плывет как рыба в океане, а след его всегда принимает форму двойной петли бесконечности. Он наклоняет бутылку и с бульканьем глотает пиво и вместе с пивом собственный хвост, ибо Юзек — это именно тот доисторический змий, возможно даже Левиафан, то есть то порождение хаоса, с которым Бог, несмотря на прошествие веков, так и не сумел справиться или, вероятнее всего, просто не захотел, чтобы чрезмерно не упрощать нашу задачу.

В конце концов, будто сообразив, что только движение поможет ему выбраться из этого потока слов, он встает, пытаясь сохранить равновесие, и начинает искать шарф, но не может найти, потому что тот свисает с его плеч подобно огромной зеленой ящерице. Напоследок он еще что-то бормочет и уходит.

Юзек влезает в трактор, который, точно бывалый конь, повезет своего подгулявшего возницу на очередные мелкие сделки, сопровождающиеся плутовством и жульничеством, в чем и состоит секрет независимого существования. Ведь Юзек независим, и даже если его свобода ограничена какой-то необходимостью, он об этом и понятия не имеет.

С той же свободой, с какой Юзек предается нескольким излюбленным основным грехам, он является утром по воскресеньям в церковь и встает перед алтарем в синих брюках, белой рубашке и зеленом пиджаке — на редкость праздничных и синтетических. Когда он преклоняет колени или крестится, искры электрических разрядов с тихим потрескиванием отскакивают от его одежды. Дети умыты, жена причесана, никаких перешептываний или там пинков. Стол алтаря прямоугольный, застеленный кружевной скатертью, и Юзек понимает, хотя не отдает себе в этом отчета, что и он принимает участие

---

[1] «Единственное место» (*лат.*). Название произведения французского писателя Раймона Русселя, близкого к сюрреализму.

в деле спасения, что в арифметике мира каждому греху надлежит своя крошка облатки прощения. Поэтому его лисья физиономия совершенно спокойна. Он у себя дома и участвует в домашних делах. Он, Юзек, порождение хаоса и космоса одновременно. Ему чужды любые крайности. Когда таинство закончится, когда Божие будет отдано Богу, он вернется в свой мир. Дым «Популярных» соединится с запахом гаснущих свечей и кадильницы, и мужчины, пропустив вперед женщин, соберутся на совещание у ворот церкви. Совещание о том, как провести остаток выходного дня.

С того места, где стоит храм, весь кооператив виден как на ладони: белая гладкая гора, плавно вздымающаяся к горизонту, замкнутому гребнем леса. Несколько построек — тяжелых посудин, замшелых и убогих, отправленных в подневольное странствие в никуда и застывших на гигантской белой волне. Дровяные сараи, сеновалы. Выстиранная одежда раскачивается на веревках и с треском сталкивается, как куски мерзлого мяса. Ветер несет с перевала снежные облака. Так выглядит мир Юзека. Бесформенная, вялая реальность материи, которой одинаково тяготятся предметы и тела. Время имеет шарообразную форму — лучше всего об этом знают женщины. Для них оно разделено на девятимесячные циклы. В перерывах между собственными родами они принимают роды у овец и коров, и некоторые из них приобретают определенное сходство с животными, если иметь в виду количество беременностей. Пятеро детей, шестеро, семеро, девять детей, во всяком случае, достаточно, чтобы поверить, что жизнь — это всего лишь бесконечная цепь рождений и смертей. Чтобы вырваться из этого круга, нужны или невинность, или порочность. Первая присуща Юзеку лишь в той мере, насколько она вообще необходима для существования в человеческом обществе. Он знает цену добродетели и обращается к ней только в исключительных случаях. Но когда он говорит: «Да, мужики! Уж мы-то погуляли!» — или когда сравнивает эпохи «при Гомулке» и «при Гереке» с точки зрения легкости мошенничества и объемов уворованного, в его голосе звучат нескрываемая гордость и удовлетворение. Кажется, что эти поступки являются для него мерилом независимости или с их помощью он ограждает собственную индивидуальность и отстаивает смысл своего существования.

В последний раз я увидел его летом. Грубые рабочие брюки, майка и порыжелый черный берет. Дочерна загоревшая кожа, изо рта торчит вечно дымящийся окурок.

— Такие дела, парень, оплевали пепики[1] мой трактор. Хотел я им морду набить, да никто из них не захотел драться.

Он тогда косил луга у самой словацкой границы. С одной стороны — польский, а с другой — зарубежный кооператив. Те косили на новеньких красных тракторах с просторными, комфортабельными кабинами и стереосистемами. XXI век. Как увидели Юзькину колымагу, так чуть от смеха из кабин не попадали.

Через неделю он умер. Лето было тогда такое, что солнце выжгло голубизну неба до белого цвета. Двенадцать часов на жаре и раскаленная, как печь, машина. Приятели Юзека рассказывали, что в тот день даже никакого питья не осталось. Ни капли местного вина или пива, только импортное пойло. В самый полдень Юзек разогнал лягушек в ближайшем болотце и напился воды. Наверняка она, эта предательская водица, его и убила.

Когда в больнице врачи заглянули внутрь его тела, они пришли к заключению, что прожил он никак не меньше ста лет.

Каждый раз, когда я думаю о нем, меня мучит мысль, обрел ли он Царствие небесное. Он и множество ему подобных. Ведь в определенном смысле они были новым племенем, новым народом, ушей которого не коснулась ни Благая Весть, ни учение какого-нибудь нового апостола Павла. Та церковь на холме, в которую он ходил по воскресеньям, свидетельствовала о двойственности мира. Можно было войти туда очиститься от прегрешений, чтобы потом вновь погрузиться в реальность, где категории добродетели и греха оставались туманными и перетекали друг в друга точно так же, как свет и тьма

[1] Пренебрежительное прозвище словаков.

перед первым днем творения. Не возникало ли у Юзека ощущение, которое ему могла подсказать интуиция, что храм возник с ведома и согласия окружающего его хаоса? И поставлен он здесь для того, чтобы он, Юзек, мог раз в неделю подвергаться своеобразной психотерапии, обеспечивающей покой его душе?

Владек

Деревня как деревня. Трехкилометровая цепь домов распадается, рвется, потом вновь соединяется в плотную застройку. Бетон, дерево, просевшие крыши, остатки изгородей и железные решетки балконов образуют проплешину нищеты и тоски по миру, маняще-му с телеэкранов. Заасфальтированное шоссе едва касается цепи построек, лишь слегка их поглаживая. Это даже к лучшему, потому что главной транспортной артерией — ухабистой щебеночной дорогой — завладели дети и собаки. Здесь они предаются совместным играм и развлечениям, и ни один автомобиль, особенно из современных, быстроходных, не смеет нарушить сложившегося симбиоза. Иногда трактор проедет, но трактор — это машина привычная и неторопливая.

Где-то там, в середине этой цепочки домов, стоит халупа Владека, слегка заржавевшее звено, не хуже и не лучше других. Скорее эти новые, белые, иногда двухэтажные выглядят как-то кичливо и неуместно в плоском пейзаже, который совершенно естественно, согласно законам эрозии, стремится к горизонтальной устойчивости, — горы, деревья, дома.

Итак, Владек: перебитый хребет крыши, жена и двенадцать детей. Владеку сорок лет, то есть плодовитость почти библейская, хотя здесь это, можно сказать, обычное дело: при небольших затратах — ощутимый результат.

А земля охотнее всего плодила камни, и на межах стояли пирамиды, оставшиеся от очередного каменного урожая; было, правда, немного овец, две коровы, ну а зерно — это скорее для души или, возможно, по привычке, ведь нужно же чем-то еще заниматься, кроме картошки да сена. В любом случае, какой бы ни был доход, он не избавит от скудости.

При раздаче душ произошла, должно быть, какая-то ошибка, потому что телу Владека, порожденному и осевшему на этой земле, достался слишком легкий, даже эфирный орган, который никак не мог справиться с давлением материи. С собственными частями тела, со сном и сновидениями, с течением времени, с тяжелым бременем каменистой земли. Издавна устоявшийся ритм, который гонит соседей весной в поле, летом — на луга, а осенью — на картошку, его едва коснулся. Поэтому Владек, хотя пил он умеренно и считался мужиком порядочным, оказался среди никудышных хозяев, а уж по доходам на каждого члена семьи вообще скатился на последнее место. Пытаясь недостаток внутренней силы уравновесить предприимчивостью, он рассылал детей по местным крепким хозяйствам и снабжал их записочками: «Пани Геня, у нас даже на хлеб денег нету, одолжите, бога ради, пятьдесят тысяч». Иногда люди давали им в долг, а иногда выставляли за дверь, если, скажем, записочка, адресованная пани Гене, попадала к пани Весе — заклятому врагу первой. Время от времени в дело вмешивался собес или местный священник, но что они могли поделать, разве только выписать единовременное пособие, ведь Владек, в конце концов, был хорошим, любящим отцом, и в те минуты, когда детвора облепляла его с ног до головы, он испытывал ни с чем не сравнимое блаженство. Сидел тогда довольный, как мормон, а жену отправлял в лес на подсобные работы.

В деревне был киоск. Когда в округе заправлял делами коммунизм, непревзойденный мажордом серости, эта будка выглядела как грязный аквариум, в котором плавало несколько зубных щеток, сигареты трех наименований и белое унылое лицо продавщицы. «Громада», «Рольник польский» были полны заверений, утешений и обещаний. «Два

билета спортлото и «Популярные», «Две пачки «Популярных» и один билет спортлото». И спички. Вот и все комбинации.

А теперь это выглядело так, будто очередное сотворение мира происходит не в пространстве и времени, а в цветах и красках. Витрина киоска — это самое цветистое место в радиусе пятнадцати километров. Старухи останавливаются в изумлении, и в их темных, глубоко запавших глазах вспыхивают желтые, золотистые, семь оттенков красного, серебристые, голубые и зеленые краски, лазурь, багрец и охра, чего они, прожив здесь лет по семьдесят, никогда не видывали. Воды потопа отступают, последних партийных секретарей смыло или притопило вместе с их креслами, зло побеждено, а на небе расцветает новая радуга, знамение всеобщего примирения и согласия. Старухи стоят, как звери, выпущенные из ковчега, и смотрят на знамения новейшего завета. Пейзаж такого внимания никогда не привлекал. Кажется, что выцвело это старое творение Божие, что дожди, снега и страдания стерли с него все краски и оно стало прозрачным.

От радуги витрины распространяются резкие, яркие лучи света, в котором возносятся заклинания на непонятном языке.

Белый цвет — Similac isomil — это чистота, радость, невинность и вечная слава, это цвет одежд Христовых на горе Фавор, это виссон[1] из храма Соломонова. Голубой — Blue Ocean Deodorant — это цвет Матери Божией, цвет небесный, свидетельствующий, подобно белому, о целомудрии. Красный — Fort Moka Desert — это цвет Духа Святого, который возжигает огонь любви и является в образе языков огненных, это также цвет Муки Господней, Распятия и тех святых, которые шли дорогой веры, не останавливаясь перед пролитием крови своей. Черный — John Players Stuyvesant — это смерть, траур, скорбь и искупление, но также проклятие мира, низвержение и тьма, рассеять которую может только свет неземной. Зеленый — это Fa Fresh Cream and Soap — цвет надежды, ибо в Апокалипсисе радуга из смарагда появляется как знамение милосердия Последнего суда. И много всякого другого, не говоря уже о тончайших оттенках красок и добродетелей. Прямоугольная мандала светится в буром пространстве между унылой пивной и пыльным майданом и, как окно, обращенное на другую сторону бытия, позволяет заглянуть в тайны будущего, определить свое место в нем и выбрать дорогу к спасению.

И вот эти старухи и дети стоят перед картой нового мира, континенты которого обустроены в соответствии с пожеланиями, прихотями и пристрастиями отдельных частей тела. Власть красок здесь абсолютна. Воображению нет места. Ни время суток, ни изменения освещения, ни капризы природы не могут повредить. Не исключено, что вот-вот грядет новый Иерусалим.

Это дело рук Владека. Когда священник в храме говорил, что сейчас тяжело, но через это необходимо пройти, ибо такова цена свободы и Польши, и что крестьянин всегда и т.д., Владек вдруг учуял какой-то боковой ветерок, который никогда раньше не залетал в эту долину. Он продал все, что у него было, купил «сиренку», арендовал киоск и начал свозить в него откуда-то из-под Рыманува все эти чудеса в сверкающей упаковке. Жена еще по полдня работала на лесозаготовках, как бы продолжая верить в пользу монотонных движений и мозолистых рук; дети ходили в школу, надеясь таким анахроничным способом завоевать мир. И все в деревне, сидя по вечерам за столом, погружались в сложные расчеты, переводя цены на молоко на стоимость топлива для трактора, цену топлива на цену говядины, говядины — на фураж, фуража — на электричество, электричества — на шерсть, а шерсти — опять на молоко, и так без конца. И если они каждый раз приходили к выводу об абсурдности существования — а ведь именно о существовании шла речь, — то Владек просто подсчитывал выручку или загружал машину товаром на следующий день. Потому что уже не только его деревня, но и вся округа должна была изведать вкус батончиков Mars. А потом дощатый сарай и вывеска «Заграничная одежда second hand», а потом аккуратный ларек овощей и фруктов и еще несколько столиков на свежем воздухе и пять сортов пива. И полка в углу халупы — прокат видеокассет.

---

[1] Одежда священника в храме Иерусалима.

Утром Владек в кожаной куртке садится в красный «фиат-комби». Его жена в джинсовом костюме усаживается в подержанную шестилетнюю «сиренку». И они направляются в сторону своих золотых приисков — базаров и торгов с русскими, чтобы только к вечеру вернуться с товаром или с перспективами выгодных сделок. Дети уже поняли, что школа — это анахронизм, а без польского языка и скучной теоретической премудрости можно обойтись, поэтому успешно занимаются делами семьи по всей округе.

Итак, Владек — владелец этого алтаря, сходство которого с тем, церковным, Богородичным, почти утеряно; пастельные, воздушные и эфемерные краски того алтаря завянут, как цветы, и истлеют, как ленты. Владек, словно Ариэль среди калибанов, уловил внезапное дуновение залетного ветерка, и его душа воспарила над деревней, в то время как оставшиеся внизу продолжают предаваться старым тяжким и безнадежным занятиям. Сорок лет ждать, прозябать в нищете, чтобы в два года преобразиться в пророка и проповедника новой мировой религии, которая отбросит противоречия, примирит споры и направит желания в нужное русло. Чем, в конце концов, занимался маг Аполлоний Соловьева, как не извлекал из воздуха самые чистые и светлые краски? Краски, каких мир не видывал?

Старухи, молодые женщины, дети отходят от витрины. Трудно догадаться, какие у них мысли, хотя мысли и не меняются. Меняются скорее чувства, сфера, где зарождается удивление или восхищение.

В новых побеленных домах появляются миниатюрные копии Владкиной витрины. На буфетах, на телевизорах, на сверкающих лаком мебельных стенках выстраиваются ряды пустых банок из-под пива Dove, коробочки из-под Maxim Brandy, шеренги пустых упаковок Gold Wiener, Orange Juice, пустые картонки, с содержимым которых не всегда бывают знакомы даже их хозяева. Расставляют их немного ниже запыленных старинных олеографий: святой Иосиф цвета сепии, Матерь Божия поблекших голубых тонов, черно-белый Его Святейшество Папа.

Одна Мария, один Иосиф, один Папа, а рядом такое изобилие, такое разнообразие...

Недавно Владек купил «жука»[1], потому что в «фиат» все чудеса уже не вмещались.

Костяной

К Костяному пришел Семен Васильчук и сказал:

— Пошли, что ли.

Костяной взял с притолоки длинный, узкий нож. Миновав две хаты, они подошли к халупе Семена. Тот вывел овцу с печальной мордой и отвел глаза.

Конус Церговой горы, как всегда, поддерживал небесный свод, на вершине среди деревьев еще лежал снег.

Костяной управился за секунду, не больше. Они подняли животное и за сухожилие задней ноги подвесили на голой яблоне.

Костяной выглядел как обычно, немного смахивая на сбежавшее огородное пугало. Тощие сорокалетние мужики в старых ватниках именно так и выглядят. Время обезличивает их физиономии, и только когда они смиряются с его неизбежностью, к старости к ним возвращается их единственное, неповторимое лицо. Может быть, для того, чтобы смерть могла их распознать.

Но Костяной не думал о смерти. Его интересовала жизнь. Короткими, быстрыми движениями он отделил голову. Затем кончиком ножа провел вдоль живота, вдоль ног, и шкура сошла как чулок. В холодном воздухе поднимался пар, а поодаль крутились две дворняги. Работа закончена: шкура, туша, внутренности — все аккуратно отделено. Простой и точный анализ бытия.

---

[1] «Жук» — микроавтобус польского производства.

— Разрубить ее? — спросил Костяной.

— Сам справлюсь, — сказал Семен Васильчук. — Я только убивать не люблю.

Он сходил в хату и вернулся с бутылкой. Они сели у стены сеновала, на солнышке, выпили и закурили, посматривая на Церговую, как она там держит небо.

— А я люблю, — сказал Костяной. — Главное, чтобы скотинка не боялась. А то халтура выходит, дрянное мясо. Страхом воняет. Хуже всего со свиньей. Свинью не обманешь, она умная. Завтра придется повозиться с той, что твоя сестра держит.

— Да-да, — откликнулся Семен Васильчук.

Кем же был Костяной? Беспокойная душа заставляла его хвататься за любое занятие. Зимой он носил теплую кепку, летом ходил с непокрытой головой, высохший на солнце и непромокаемый под любым дождем.

Когда в деревне уже не оставалось телят и свиней, когда люди уже отъелись и между крестинами и свадьбами нависала постная тишина, он запрягал в ясеневую телегу двух лошадей и правил на юг. Дома оставалась жена. «Ничего страшного, пусть пару раз в день потопчет дорожку между хатой, хлевом и свинарником, — так он думал. — Для одной бабы в самый раз работа». Он трогался в путь на рассвете и мог бы приехать на место еще в полдень, но по дороге его поджидал кабак. Куда ни пойдешь, везде на дороге стоит какая-нибудь пивнушка, как награда за тишину и неподвижность наскучившего дома.

Он привязывал лошадей, бросал им пару охапок сена и шел пить, а так как он всех знал и его все знали, то непременно здесь же оказывался какой-нибудь его враг. Под вечер те, кто потрезвее, вышвыривали за дверь яростно сплетенные тела двух пьяных мужиков. Они падали в пыль или в грязь и пытались нанести удары по самым уязвимым местам, надеясь, что противник почувствует боль. Потом Костяной продолжал свой путь на юг. Спокойный, сонный, как и его лошади, которые мерно переступали ногами до линии ночи, где темнота разливалась над горами, будто жирное, черное молоко. Уже сквозь сон он распрягал лошадей, потом валился на подстилку и лежал навзничь до утра. Мужики, жившие в том бараке на краю света, рассказывали, что Костяной спал с открытыми глазами, потому что чего-то боялся. Но это они боялись и закрывали глаза, чтобы не видеть подступающего мрака. Проснувшись на рассвете, они отправлялись на лесоповал. А Костяной оставался в бараке и пил то, что прихватил с собой в дорогу. За окном шел дождь. В бараке была свалка предметов, когда-то необходимых для жизни. Порожние банки, сухие корки, пустые бутылки, дырявые галоши: грязь и воля всегда нераздельны. Костяной разговаривал сам с собой и пел песни, которые никто не слышал. Потом он плюхался на койку, и возвращавшиеся в сумерках мужики натыкались на его неподвижный взгляд, устремленный на всех и ни на кого. На третий день он вставал, запрягал лошадей и поднимался по размокшим лугам на перевал Ухрыня, где ряды беспорядочно сваленных деревьев напоминали руины крепостных валов, обрушенных долгой осадой. Он работал до позднего вечера, когда уже ни кнут, ни палка не могли добавить сил измученным животным. Его работа заключалась наполовину в жестокости по отношению к животным, наполовину — в жестокости к самому себе. Остальное — привычный физический труд.

— Ему кнута всего на два дня хватает, — говорили те, кто имел дело с мертвыми механизмами своих бензопил. Но говорили они это потихоньку, за глаза. Помнили ту зиму, когда Костяной прошел шесть километров босиком всего лишь потому, что, купив новые ботинки, старые выбросил, а новые пожалел, когда подошел к снежным заносам. Помнили они и ту октябрьскую ночь, когда нашли его в конюшне. С луны осыпалась серебристая пыль и, как иней, скрипела под ногами. Было тихо, поэтому они услышали доносящиеся из конюшни рыдания. Он целовал иссеченные кнутом лошадиные бока, размазывая по ним слезы и сопли.

— Я не в гости пришел, — сказал Костяной Семену Васильчуку, когда тот указал ему на стул, и остался стоять на пороге.

В открытую дверь вытягивало тепло, в сенях кудахтала белая курица. Васильчук сидел в углу под образами, смотрел на Костяного сквозь пелену сгустившегося воздуха и курил. За окном разливалось грязное болото.

— Я пришел сказать тебе, что моя баба в помощи не нуждается.

— Тебя долго не было. Она сказала, что ей нужна помощь.

— Нет, ей помощь не нужна. А тебе бы жениться, Семен. Тогда не будешь по деревне ходить и помощь предлагать.

— В сваты напрашиваешься?

Но Костяной уже ничего не ответил. Дверь осталась открытой. Он прошел по болоту двора и скрылся за бурой завесой дождя, где земля, горы, небо, животные и люди перемешивались, как в миске, растворенные в беспредельности вод, в краю мрака, хаоса и безгрешности. В тот же день он уехал в барак на пустыре, где мужики заканчивали пропивать месячный заработок.

Кем же был Костяной? Спирт и кровь в его теле — две горячие субстанции — позволяли ему противостоять всем временам года и любой погоде, но душе иногда необходим холод, а сердцу передышка. А он, даже когда спал, видел, как вокруг него сгущается тьма.

— Отдохни, Костяной, — говорил ему лесник. — Уже четырнадцать часов работаешь. Всей работы не переделаешь, как и всех баб не перетрахаешь.

— Поздно отдыхать, лесник, мне сорок два.

— Тебе-то вреда не будет, лошадей жалко.

А потом вот что было.

Те, кто видел, рассказывают, что на Костяном была белая рубашка, поэтому весь кабак притих, когда он пошел между столиками в угол, где сидел Семен Васильчук. Никто не шелохнулся, не сдвинулся с места, не сказал ни слова, все было сделано быстро и спокойно с помощью того самого узкого и длинного ножа. Костяной вытер его о брюки, постоял еще с минуту, чтобы удостовериться, и все так же спокойно, с ножом в руке пошел к двери, чтобы спуститься по бетонным ступеням и сквозь пятна света и тени под тремя каштанами пройти прямо на милицейский пост, где толстый рыжий сержант в расстегнутом кителе спросил:

— А Бога не боишься, Костяной?

Он получил двенадцать лет. Сидел в Жешуве. Перед глазами у него лежали морщинистые голые поля, он мог наблюдать постепенное изменение красок, которые протаивали в снежной белизне и в нее же возвращались, будто действительно декабрь обладал властью над временем. Снежная ночь, когда, потрескивая, горят лампы дневного света, всегда кажется началом вечности. В ясные дни по небу проплывали силуэты самолетов с соседнего аэродрома. Костяному они представлялись в виде золотых крестиков.

Через три года ему дали отпуск. Он был тихим, неразговорчивым и послушным, и его отпустили, потому что все верили, что он вернется в предписанное время, как в предписанное время он вставал, ложился и выполнял все те обязанности, благодаря которым тюремная бесконечность приобретает вид законченной формы. В дорогу ему дали старый плащ. На полях опять лежал снег.

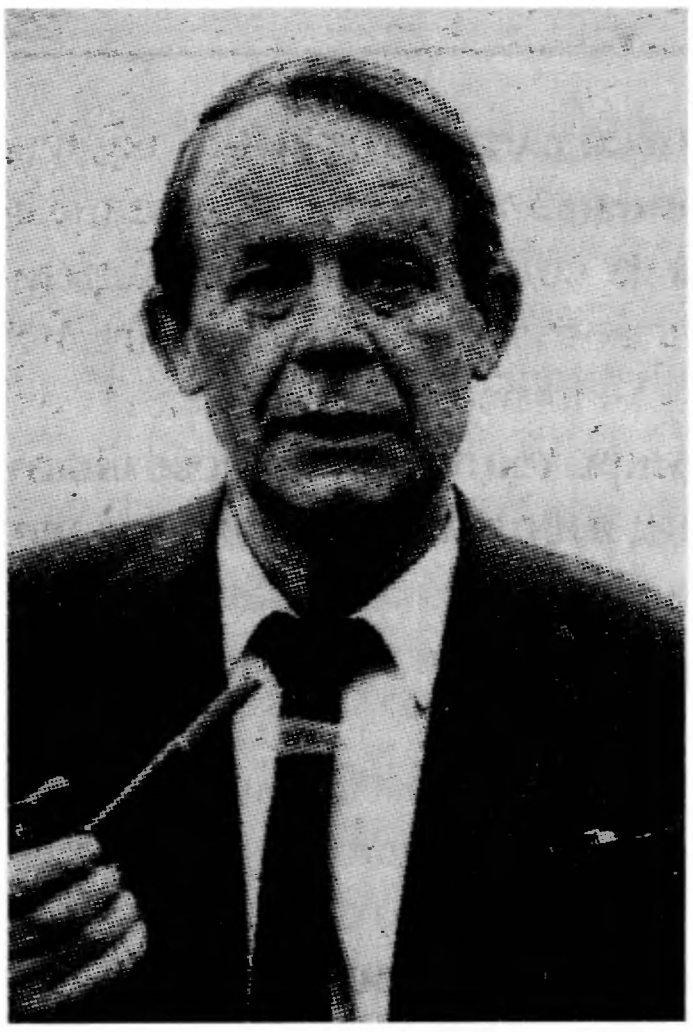
В пивной он сел в самом углу. У официанток все валилось из рук. Пришел рыжий сержант, чтобы выяснить, из тюрьмы он сбежал или с того света.

— Спокойно, начальник, это только на три дня.

Он уходил последним, приходил первым, немного ел, немного пил и прикуривал одну сигарету за другой. Сидел ко всем спиной, и казалось, что его фигура окутана вечными сумерками. В последний день он оставил чаевые официантке и ушел в ночь. Скрипел снег, эхо шагов сливалось с тихим перезвоном замерзших звезд.

Его нашли через неделю, в сумерки, но это был уже не он. Можно было подумать, что он спал, свернувшись клубком. Но когда зачем-то постучали по его телу, раздался твердый, деревянный звук.

Вдали Церговая пыталась удержать небо, но тьма все равно опускалась на землю.



ЗИГФРИД ЛЕНЦ

Людмила

РАССКАЗ

Перевод с немецкого Б. ХЛЕБНИКОВА

Всякий, кто бывал у меня дома, по дороге не мог не приостановиться возле трех окон старого морского волка капитана Бродерсена, где среди гераней и петуний выставлены необычные сувениры, привезенные со всех концов света на память о дальних плаваниях: аляповатые фарфоровые мопсы, резные штуковины из эбенового дерева, парные азиатские статуэтки упитанных любовников, исполненных безмятежной неги, духовые трубки для стрельбы и два коричневатых чучела маленьких легуанов. Вечно зябнущий в глубине своей комнаты старый капитан неизменно радовался, когда очередной гость замедлял шаг или даже останавливался, не в силах пройти мимо заморских диковин. Я ничуть не сомневался, что и Пюцман, визит которого был назначен на восемь утра, обратит на них внимание, а возможно, даже засмотрится, однако налоговый инспектор, появившийся точно к сроку, стремительно прошагал, не глядя по сторонам, мимо трех окон прямо к боковой двери, после чего сразу же раздался звонок.

Признаться, когда он вошел в гостиную, одновременно служившую мне кабинетом, я испытал некоторое облегчение, ибо вместо старого, потертого жизнью и страдающего повышенной кислотностью налоговика со мной поздоровался молодой человек, настолько светлокожий, что при виде его на ум поневоле приходило сравнение со сдобной булочкой. Он носил очки с круглыми стеклами в темной роговой оправе. В его пухлом лице было что-то ребяческое, невинное, далекое даже от намека на профессиональную подозрительность; скорее оно выражало нечто вроде нерастраченной детской способности удивляться. Пожалуй, такого человека не назовешь толстяком, но его склонность к полноте была уже очевидной, о чем наглядно свидетельствовал пиджак, туго обхватывавший бедра.

Поставив объемистый черный портфель на пол, он, медленно кивая, осмотрелся, его рассеянный взгляд прошелся по кушетке, на которой я обычно сплю, по самодельному стеллажу для книг, по подаренному мне капитаном Бродерсеном письменному столу из вишневого дерева; с таким видом, будто у него нет сил противостоять искушению, он жестом попросил у меня разрешения заглянуть в исписанные от руки странички. Интерес его был явно неподделен. Пока он, склонившись над листками, разбирал первые фразы, я пояснил, что как раз бьюсь над рассказом, который должен называться «Скажите, как пройти...»; молодой человек откликнулся на мои пояснения, задумчиво повторив название рассказа, после чего спросил, где он мог бы расположиться. Я пригласил его на

© 1996 by Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg
© Б. Хлебников. Перевод, 1998

кухню и усадил там за стол, термос с кофе уже стоял наготове; здесь же лежали документы, которые он меня просил подготовить по телефону, а именно тетрадь, куда я записывал все мои доходы, и совсем еще новая с виду картонка из-под обуви, куда складывались всевозможные чеки и квитанции. С картонкой соседствовала моя первая книга, повесть «Предоставление гражданства». Хоть и оставалось у меня всего два последних экземпляра, один из них я решил подарить инспектору, рассудив, что подобная любезность не повредит. Прежде чем сесть, молодой человек взял книгу, с интересом прочитал аннотацию, затем вернул книгу мне.

— Нет, это вам, — сказал я, — примите в подарок.

— Очень жаль, но не могу, — сказал он с огорчением.

— Это же всего лишь книга, — сказал я.

Он улыбнулся:

— Всего лишь? С каких, интересно, пор?

Бухнув свой портфель на стол, он уселся, пробормотал «приступим к делу», после чего выудил из портфеля пачку — я сразу узнал их — контрольных извещений, которые рассылаются радиостанциями в финансовые ведомства, чтобы подтвердить выплату гонораров. Прищурившись, он взглянул на меня:

— Надеюсь, мне не придется беспокоить вас слишком часто.

— Если возникнут вопросы — зовите, — ответил я и оставил его одного, дверь лишь слегка притворил, а сам подсел к письменному столу.

Вознамерившись забыть о присутствии постороннего человека и продолжить работу над рассказом, я, дабы привести себя в рабочее состояние, перечитал заново первые пять страниц пролога, где приехавший в город старик спрашивает у местного жителя дорогу и получает совершенно невразумительный ответ, который — в этом и состоял замысел — оказывается своеобразным портретом и провинциального городка, и его обитателей. Сосредоточиться не удавалось. Я начал придумывать, как бы переименовать название улицы, и вздрогнул от звука, который донесся с кухни; на миг там все стихло, потом я услышал, что Пюцман наливает себе кофе. Невольно я представил себе, как он жует толстый бутерброд с копченой колбасой, отхлебывает мой кофе и при этом вожделенно разглядывает мою тетрадь с записью доходов. Но он ел бесшумно. Некоторое время я прислушивался, ожидая какого-либо движения, неодобрительного возгласа, протестующей реплики, тихого ехидного смешка, однако так ничего и не услышал. Я принялся размышлять, какие причины могут послужить основанием для переименования улицы — собственно, причина в наших краях всегда бывает одна: исправление исторических ошибок.

— Можно вас потревожить? — озабоченно спросил Пюцман. Он возник в дверях, легонько помахивая бумагами, в которых, вероятно, заподозрил некий подвох, хотя в его мясистой руке они выглядели вполне безобидными, даже какими-то жалкими.

— Судя по всему, — сказал он, — на протяжении некоторого времени вы имели регулярные заработки в нашем окружном ведомстве, не так ли?

— Да, я преподавал немецкий язык, — подтвердил я, поскольку действительно уже больше года ездил в бывшую Маккензеновскую казарму[1], где вел занятия с переселенцами. Там размещались немцы, которые прибыли в Германию из Сибири и с Поволжья. — Я помогаю им освоиться у нас, понимаете?

— Понимаю, — сказал он, — прекрасно понимаю; ведь они приехали из совершенно иного мира, из тундры, из степей.

— В том-то и дело, — сказал я.

Он взглянул на бумаги:

— Тут у вас заявляется на списание с налогообложения подарочный набор стоимостью в сто тридцать марок, получатель не указан.

---

[1] Август фон Маккензен (1849—1945) — прусский генерал-фельдмаршал. (*Здесь и далее — прим.перев.*)

Мне ни в коем случае не хотелось, чтобы прозвучало имя Людмилы, поэтому я, слегка обескураженный требовательным выражением его лица, пробормотал:

— Набор использовался в качестве наглядного пособия на одном из моих занятий, поэтому я счел списание оправданным. — Поскольку Пюцман взглянул на меня так, будто я сыпанул ему в глаза перцу, я поспешил добавить: — Содержимое подарочного набора стало хорошей темой для урока; хотите я перечислю, что...

Он махнул рукой, пожал плечами и вернулся на кухню.

Я сел за стол, вновь попытался сосредоточиться на рассказе, как неожиданно перед моими глазами возникла улыбающаяся Людмила; она бодро шагнула навстречу мне в бывшей каптерке, где теперь находилась наша классная комната, и весело сказала: «Меня зовут Людмила Фидлер, я приехала из Томска; меня отрядили помогать вам, если возникнут проблемы, особенно с объяснением тех выражений, которые нужно знать, когда обращаешься в здешние учреждения». Под пристальными взглядами восемнадцати моих учеников — в основном это были пожилые мужчины и женщины, которые позднее, терпеливо пожевывая шоколад, со смирением и не без интереса внимали моим наставлениям по части немецких житейских дел, — я поздоровался с ней и тут же, во время несколько затянувшегося рукопожатия понял, что наши отношения не ограничатся одним лишь решением языковых проблем, возникающих то и дело на уроке. Ее черные коротко стриженные волосы удивительным образом контрастировали с глазами цвета морской волны — ничего подобного мне прежде видеть не доводилось; мечтательность и лукавство сочетались в ее скуластом лице, которое, некогда опаленное солнцем, теперь, будто немного остыв, еще продолжало светиться; Людмиле — моя догадка подтвердилась — недавно исполнилось двадцать; на ней было узкое бежевое платье, украшенное несколькими декоративными жуками-нехрущами, которые, как я узнал потом, ей очень нравились. Если правда, что секрет настоящей красоты всегда заключается в маленьком изъяне и что покоряет она именно своим небольшим отклонением от идеального совершенства, то такое определение красоты вполне подходило к Людмиле; ее маленьким изъяном были зубы — мелкие и острые, как у мышки.

Урок, который я вел с ее помощью, проходил довольно живо; я объяснял ученикам, например, право гражданина на подачу тех или иных жалоб, знакомил их с соответствующими речевыми оборотами, которые могут понадобиться, чтобы сформулировать свои претензии в каком-нибудь учреждении, в ресторане или же в общественном транспорте; все это удивляло моих слушателей, удивляло и порой забавляло.

Я пытался растолковать особенности нашего жилищного права и то, что квартирный найм отличается от аренды производственного помещения, а в спорных случаях производится разбирательство по поводу законного или незаконного использования жилплощади и тогда в специальном предписании фиксируется, что можно делать в своей квартире, а что нельзя; тут один старик поинтересовался, разрешено ли, скажем, на дому чинить обувь для себя и для соседей. Людмила успокоила его, объяснив, что он по-прежнему сможет заниматься починкой собственной обуви — вот только если к нему, как раньше, станет ходить вся деревня, то понадобится особый патент.

Людмила просила учеников быть посмелей, однако вопросов задавалось немного, а когда кто-нибудь все же решался спросить, то делал это с трогательным смущением, которое не могло оставить меня равнодушным. Сколько же терпения требовала от них их прежняя жизнь. Людмиле занятия нравились. У нее был довольно богатый словарный запас, хотя говорила она по-немецки все-таки не совсем правильно; похоже, она и сама это чувствовала, поэтому, употребляя особенно сложный оборот, иногда вопросительно поглядывала на меня и морщила свой красивый лоб.

После урока мы вышли с нею в выложенный кафелем коридор, чтобы обсудить тему следующего занятия, и тут к нам стремительно подошел крупный мужчина в тяжелой шубе на лисьем меху — Сергей Васильевич Фидлер, отец Людмилы. Он был на голову выше меня, широченная грудь, у левого уха недоставало верхней половинки. Поздоровавшись со мной легким подобием поклона, он резко повернулся к Людмиле и довольно

темпераментно дал понять дочери, что ей пора бы принять участие в приготовлениях к домашнему празднику по случаю дня рождения. Людмила приподнялась на цыпочки, поцеловала отца. Взяв его руку, она прижалась к ней щекой и с легким укором сказала:

— Позвольте представить — мой отец Сергей Васильевич Фидлер, геолог и охотник; а это — господин Хайнц Боретиус, писатель, в настоящее время наш профессор.

Скептически взглянув на меня, геолог и охотник перевел свой взгляд на дочь, затем опять на меня, потом вновь на нее, видимо размышляя о чем-то, после чего отвесил мне поклон и пригласил на день рождения своей жены Ольги; Людмила ободряюще подмигнула мне, поэтому приглашение было принято. Под вечер я купил подарочный набор — корзинку, где среди прочих яств числились свиной рулет, бутылка коньяка и бутылка красного вина, салями, банка овощного рагу по-лейпцигски; поскольку продавец спросил: «Чек нужен?», я взял чек и сохранил его в картонке из-под обуви, следуя совету великого Лазарека, моего старшего и опытного коллеги.

Найти в общежитии комнату Фидлеров оказалось проще простого; гомон голосов в конце коридора и похохатывание отца Людмилы, которое нельзя было не узнать, сразу же привели меня туда, где шел праздник. Я несколько раз постучал, геолог и охотник распахнул дверь, обрадовался, расцеловал меня, обняв так порывисто, что я едва не выронил корзинку. Пытаясь сохранить равновесие, я услышал урезонивающий возглас Людмилы:

— Мы ведь в Германии, отец, в Гамбурге.

Она взяла меня за руку и, прокладывая дорогу меж оживленно шумящих соседей по этажу и общежитию, среди которых были и мои ученики, повела к окну. У окна сидела именинница. Ольга, мать Людмилы, женщина неопределенного возраста с дружелюбным, обветренным вьюгами лицом, поднялась мне навстречу, ее широкие, покатые, укутанные коричневой вязаной шалью плечи подались вперед, коротковатые руки потянулись ко мне, чтобы принять подарок. Людмила склонилась к ней, сказала в самое ухо:

— Это Боретиус, мамочка, наш профессор.

— Никакой не профессор, — возразил я, — просто учительствую по случаю. — Потом я поздравил ее и минуту-другую смотрел, как она молча извлекала из корзины предмет за предметом, передавая их худощавому молодому человеку — Игорю, брату Людмилы.

Сама именинница не пила, зато гости не раз поднимали бокалы за ее здоровье, чокались друг с другом, особенно усердствовал отец Людмилы. Мне тоже пришлось несколько раз чокнуться с ним. Людмила потчевала меня маринованными огурчиками; я чувствовал ее симпатию ко мне. Где бы я ни очутился, ее заботливый взгляд отыскивал меня в комнате, порой она кивала мне с улыбкой, едва ли не заговорщической. До сих пор — я отчетливо сознавал это — мне никогда не встречалась девушка вроде Людмилы. Похоже, ее отец заметил, какое впечатление она произвела на меня, что, пожалуй, не было ему неприятно и даже радовало его, во всяком случае, он решил мне показать нечто такое, чего я о Людмиле знать не мог и чем сам он гордился. Порывшись в тумбочке, он чертыхнулся, но потом, довольный, протянул мне то, что искал, — две фотографии. Одна из них запечатлела тонконогую девочку лет двенадцати в топорщащейся балетной пачке, на другой фотографии она же, похожая на меховой шар, держала здоровенного сома, только что вытащенного сачком из лунки.

— Тут Людмила и тут Людмила, — пояснил он после некоторой паузы. — Здесь первое выступление на концерте в военно-медицинской академии, а здесь зимняя рыбалка на Чулыме — это приток большой сибирской реки под названием Обь. — Не знаю, бывают ли взгляды нежнее, чем тот, которым он смотрел на обе фотографии.

Меня забеспокоила неожиданно воцарившаяся тишина — из кухни не доносилось ни шелеста бумаг, ни шарканья ног, ни тихого вздоха. Куда подевался Пюцман? Уж не окаменел ли он от изумления, раскопав что-нибудь эдакое? Вдвойне озабоченный, я поднялся с места, подкрался к двери и уже чуточку приоткрыл ее, как внезапно Пюцман, не оборачиваясь, громко пригласил меня к себе. Он нашел неверно оформленный документ,

счет из ресторана «У причала», где отсутствовала не только моя подпись, но и точное указание профессии человека, которого я угощал. Я с облегчением подписал счет, добавив, что обед действительно был деловой встречей с переводчиком из Маккензеновской казармы, на которой обсуждалась и уточнялась программа занятий. Пюцман еще раз проверил счет, попросил заодно расписаться под двумя квитанциями за поездки на такси и, похоже, остался удовлетворен.

— Если возникнут новые вопросы, сразу же зовите, — предложил я.

Он не ответил, продолжая разглядывать кипу квитанций, словно ожидая́ от них добровольных признаний.

Я пригласил Людмилу пообедать в ресторанчик «У причала», к Питу Флехингусу, сразу после нашего следующего занятия. Она приняла приглашение без колебаний, но попросила сначала проводить ее домой, потому что хотела попрощаться с родными.

— Мы всегда так делаем, когда куда-нибудь идем, — сказала она. Дома она поцеловала на прощание по очереди мать, брата и отца, которые сидели на кроватях, ожидая чего-то, даже погладила старого рыжего кота, приблудившегося к ней в казарме, и только после этого была готова на выход.

Пит и несколько завсегдатаев его ресторана — сотрудники соседнего издательства, журналисты, работники морской метеослужбы — с нескрываемым удивлением и заметно дольше обычного разглядывали Людмилу, которая прошла мимо них в своем бежевом платье с летящими жуками. Все места у окон были заняты, Пит пригласил нас жестом за столик возле самой стойки и порекомендовал фаршированную щуку с картофельным салатом. Поскольку он отнесся с Людмиле с особой предупредительностью, я счел уместным заметить:

— Дама приехала к нам издалека, из Томска.

— Из Томска, — повторил Пит. — Это ведь где-то в Сибири? Моему деду довелось побывать там, не по собственной, правда, воле. Реки, болота и тайга, тайга. Работал на лесоповале.

— Зато на юге там очень красивые горы, Алтай, — сказала Людмила.

— Дед говаривал, что в Сибири все красиво, особенно если глядеть на нее с должного расстояния, — усмехнулся Пит и отвернулся к кухонному окошку, чтобы сообщить наш заказ.

Людмила не стала спорить — ее-то предки приехали в Сибирь по своей воле; более двух веков назад они откликнулись на приглашение царя и переселились туда, чтобы осваивать огромные просторы, строили школы, основали университет, извлекали из сибирских недр их несметные богатства.

— Нет на земле края благодатней, — сказала Людмила, — какие горы, какие великие реки, сколько зверя в лесах, пушного зверя.

— Однако вы вернулись назад, — возразил я, — прошло столько лет, а вы все-таки вернулись.

— Соседи наши стали неуживчивы, — вздохнула Людмила. — Им не нравилось, что мы говорим по-немецки, что живем по-своему. А когда мы решили обособиться, нам пригрозили, что немецкий поселок и вовсе сожгут. Значит, кончился наш сибирский век, сказал отец и подал заявку на выезд. Но были у нас среди сибиряков и друзья, которые плакали на проводах.

За едой я принялся исподволь, осторожно расспрашивать Людмилу о ее планах; мне не хотелось, чтобы у нее сложилось впечатление, будто у нас каждый обязан иметь точную жизненную программу и целеустремленно идти к определенной цели. С тем большим удивлением я узнал, что она для себя уже все решила. Вспомнив показанную мне ее отцом фотографию, я спросил:

— Балет?

— Нет, нет, — улыбнулась она, — с балетом все кончено. — В детстве она занималась балетом и, возможно, продолжила бы занятия, если бы не несчастный случай на охоте.

— Несчастный случай?

— Ну да, это произошло зимой, волчонок из стаи два раза укусил меня, сначала за плечо, потом сюда, — она коснулась бедра. — Волчонка пристрелили. — На лице ее не мелькнуло даже тени сожаления, когда она повторила: — Нет, нет, с балетом покончено.

— А почему бы вам не сделаться переводчицей? — сказал я, полагая, что даю неплохой совет. — Мир срастается в единое целое, мы все больше зависим друг от друга, так что, видимо, на переводчиков ожидается огромный спрос. Вскоре их понадобятся миллионы. Двумя языками вы уже владеете, добавьте к ним еще один или два редких, трудных — и будущее вам обеспечено.

Людмила приоткрыла свои мелкие, острые зубки, грациозным жестом избавилась от щучьей косточки. С легкой улыбкой сказала:

— В тех краях, где мы жили прежде, я занималась бортничеством, обеспечивала всю семью лесным медом. В лесу было много диких пчелиных роёв, пчелы собирали еловый мед и мед с болотных цветов; пчелы здорово прячутся, но мне помогал маленький дятел, он всегда летел впереди и указывал, где прячутся пчелы. Мне нравится бортничество, я умею обращаться с пчелами. — Она вопросительно взглянула на меня, я же не знал, стоит ли воспринимать ее слова всерьез; словно почувствовав мои сомнения, она добавила: — Боже мой, заработать бы сейчас денег, а будут деньги, куплю себе пасеку, заведу пчел, только не диких сибирских, а прилежных немецких домашних пчел. Может, стану продавать мед и вам, господин Боретиус.

После еды она меня обстоятельно поблагодарила, перечислив все кушанья, от щуки до картофельного салата, поблагодарила она и Пита, который не преминул пригласить ее к себе снова.

Под возгласы других посетителей, которые громко прощались с нами, мы вышли на улицу, и порыв ветра плеснул нам в лицо дождем; Людмила нащупала мою руку, мы двинулись к станции метро. Мы шагали, склонившись, опустив головы, как вдруг наткнулись на детскую коляску, которая стояла под навесом обувного магазина. Старая неряшливая нищенка держала ручку коляски, нагруженной пластиковыми упаковками, банками из-под пива, бутылками — поверх всего красовалась алюминиевая кастрюля; по бокам коляски болтались разные вещи, среди них — лопатка. Женщина уставилась на витрину обувного магазина, она не обратила на нас внимания даже тогда, когда Людмила, остановившись, принялась разглядывать странное содержимое коляски, из которой — Людмила показала мне на нее — торчала вешалка для шляп. Неожиданно ее рука выскользнула из моей ладони, Людмила вбежала по ступенькам в магазин, о чем-то переговорила с продавцом, несколько раз кивая на меня, после чего вышла к нам с парой белых, обшитых кожей деревянных сандалет. Она поставила сандалеты возле ног старой женщины. Глядя на дырявые, некогда синие, а теперь почерневшие от дождя матерчатые тапочки, Людмила дружелюбным, но настойчивым жестом пригласила женщину сменить обувь. Мне не хотелось смущать их при этом моим присутствием, я шагнул было в сторону, однако Людмила шепнула мне:

— Надо еще доплатить, у меня немножко не хватило денег. Пожалуйста, господин Боретиус.

Зазвонил телефон, я тотчас снял трубку, потому что больше всего на свете хотел услышать сейчас голос Людмилы. Но звонили из отдела, в котором работал Пюцман. Вежливый мужчина, даже извинившийся за беспокойство, попросил к телефону господина Пюцмана. Я подошел к кухонному столу, на котором производилась рентгеноскопия моей финансовой жизни, представленной в виде собрания рассортированных, просмотренных и заново перегруппированных документов. Все, что они поведали Пюцману, было отмечено в его блокноте, испещренном колонками цифр, внушавших мне невольную робость.

— Вас к телефону, — сказал я; похоже, Пюцмана совершенно не удивило, что начальство разыскало его даже здесь. Пока он, сидя за моим письменным столом, давал справку по какому-то прежнему спорному случаю, я обнаружил чек на покупку пяти

бутылок вина «Шато Лафит 82». Чек был мною подписан, в качестве пояснения я добавил: «Зачетные занятия с немецкими переселенцами в домашней обстановке». На миг я заколебался, не лучше ли спрятать чек, поскольку три бутылки все еще оставались под моим письменным столом, где Пюцман, слегка наклонившись, мог их запросто обнаружить; однако он тем временем уже положил телефонную трубку, поэтому я решил ничего не предпринимать.

Я вновь предоставил его самому себе, вышел из кухни, вернулся к письменному столу и осторожно переставил бутылки за стеллаж со справочниками и лексиконами. Людмиле это вино — «Шато Лафит 82» — не особенно понравилось; она выпила от силы половину бокала, потом предпочла разбавленный морковный сок, которым я иногда подкреплялся во время работы. Она пришла ко мне в гости. Она согласилась послушать что-нибудь из моих сочинений — под этим предлогом я и залучил ее к себе домой. Едва войдя в квартиру, она сняла обувь, заглянула в кухню и даже в кладовку, после чего села с поджатыми ногами на тахту. Показав на потолок, то есть на квартиру старого капитана Бродерсена, которого, вероятно, она видела с улицы, Людмила поинтересовалась, не выставлены ли вещи на подоконнике для продажи.

— Это сувениры, — сказал я, — он привез их на память о дальних плаваниях.

— Из Томска он привез бы что-нибудь совсем другое, — сказала она, помолчав, — может, чучело песца или отполированный редкий минерал, а если бы повезло — окаменелое доисторическое яйцо.

Я предложил ей к вину оливок, она не захотела ни того, ни другого, ей пришелся по вкусу только греческий козий сыр. Ей не составляло никакого труда сидеть в этой несколько напряженной позе, она выжидательно смотрела на меня. Я спросил, нравится ли ей моя квартира, она кивнула и в свою очередь захотела узнать, кто еще живет в этом доме, кроме меня и капитана.

— Только один молодой человек, который работает смотрителем в зоопарке, — ответил я, — он занимает мансарду.

— И ни одной женщины? — В голосе Людмилы прозвучало сожаление; я лишь пожал плечами, тогда она как бы в пояснение добавила: — У наших самоедов есть поговорка, что женщина — лучшая печка.

— Теперь ясно, к каким сравнениям располагают тамошние морозы, — сказал я.

Разложив рукопись на подушке под торшером, я прочитал ей неопубликованный рассказ «Час судьи», который пришлось переписывать не меньше трех раз. Я вообще предпочел бы ничего не читать, но Людмила напомнила мне о моем обещании, поэтому не оставалось ничего другого, как поведать ей историю Виктора Вилька, который благодаря настойчивой протекции своего друга, министра, занял самый высокий судейский пост и пользовался всеобщим уважением за мудрость и справедливость. Позднее министра обвинили в тяжком преступлении, председательствовать на судебном процессе выпало Виктору Вильку, и он принял на себя эту обязанность, считая, что чувство благодарности при отправлении правосудия неуместно. Дальше жена уговаривала судью взять самоотвод, и я мельком взглянул на Людмилу и увидел, что она спит — по крайней мере, так мне показалось. Тело ее слегка обмякло, глаза были закрыты, лицо выглядело усталым. Прочитав еще несколько фраз, я замолк, чтобы проверить, слушает ли она меня.

Людмила медленно открыла глаза — что-то, видимо, мучило ее, она была настолько поглощена каким-то воспоминанием, давним событием, что ни словом не обмолвилась, когда я просто отложил рукопись в сторону.

— Вам нехорошо? — спросил я.

Слабым жестом Людмила успокоила меня:

— Вспомнила брата, его тоже звали Виктор, он был старше меня и никогда мне не верил. — Она выпрямилась, напряглась; совсем тихо, так тихо, что я с трудом разобрал ее слова, сказала: — Он никогда мне не верил, всегда во всем сомневался. Однажды мне принесли одноглазого сокола, который напоролся на колючий кустарник и наполовину

ослеп. Бедняга совсем обессилел, и Виктор сказал: отлетался. Но я ухаживала за соколом, хорошо кормила. Мне и приносили всяких зверушек, птиц, я лечила их — белочку, лисенка с покалеченной лапой, у меня почти все выздоравливали; когда сокол поправился, я отнесла его к реке и сказала: улетай, лети высоко! Он и впрямь полетел, я сама видела.

Людмила замолчала, она разглядывала свои руки, лежавшие на коленях.

— Виктор мне не поверил, он никогда мне не верил. «Все равно твой сокол где-то свалился, я тебе докажу», — сказал он и засмеялся. Виктор действительно ушел искать сокола.

— И нашел?

— Виктор не вернулся домой. В тайге собаки взяли след, но на берегу Чулыма потеряли.

Я подсел к Людмиле, взял ее за руку, готовый тотчас ее отпустить, если мое прикосновение будет ей неприятно, но Людмила словно ничего не заметила или же сочла мой жест вполне естественным. Мы сидели совсем близко; возвращаться к «Часу судьи» не хотелось, да Людмила больше и не вспомнила о рассказе. Возможно, из желания утешить и уж во всяком случае с искренним сочувствием я проговорил:

— А я, Людмила, я бы вам поверил.

Глубоко в ее глазах что-то засветилось, она склонилась ко мне и легонько — я почти ничего не почувствовал — прильнула щекой к моему плечу. Глупо, конечно, но мне на ум пришло, что мы похожи на те излучающие тихую негу азиатские парочки, которые выставлены на подоконнике у капитана Бродерсена.

Я мог бы просидеть так целую вечность, но неожиданно кто-то постучал в окно, мы вздрогнули и посмотрели наверх. На улице стоял Тим; как всегда, когда забредал слишком поздно, он щелкнул зажигалкой, осветил огоньком лицо. Я махнул ему, чтобы он заходил. С его присутствием все у меня дома как-то сразу переменилось. На Тиме была замшевая куртка, джинсы, ковбойские сапоги на высоком каблуке; жесткие белесые волосы, отчасти прикрывающие лоб, жилистая шея, широкие плечи делали его похожим на римского воина с боевой колесницы. Я представил:

— Мой друг Тим Буркус — Людмила Фидлер.

Его вроде бы ничуть не удивило, что он застал со мной Людмилу, — впрочем, признался Тим, он видел нас вместе у выхода из ресторана, когда проезжал мимо на машине; он поздоровался с подчеркнутой, даже слегка утрированной любезностью, сам сходил на кухню за бокалом, налил себе «Шато Лафит 82». Пожалуй, он принял Людмилу за студентку или журналистку, поскольку сказал:

— Заканчивайте спокойно ваше интервью, не буду вам мешать. — Взяв свежий номер «Шпигеля», он хотел было выйти на кухню.

Я попросил его остаться, рассказал, откуда Людмила приехала к нам, где живет сейчас со своею семьей и какую роль играет в моих занятиях с немецкими переселенцами. Тим щедро плеснул себе еще вина, не забыв, впрочем, его похвалить. Он выглядел несколько рассеянным и встрепенулся лишь тогда, когда я спросил, не сможет ли Тим сделать Людмилу своей второй ассистенткой; он принялся довольно беззастенчиво разглядывать Людмилу, чем настолько смутил ее, что она посмотрела на меня, ища поддержки. Чтобы успокоить ее, я пояснил:

— Тим содержит экспериментальную кухню, а кроме того, он замечательный фотограф. Тим изобретает оригинальные блюда. Потом фотографирует их. Снимает так, что людей начинает снедать неодолимое желание отведать этих яств. Его фотографии публикуются во многих иллюстрированных журналах в рубриках «Уголок гурмана» или «Радости чревоугодника».

Тим отмахнулся.

— Не преувеличивай, не преувеличивай, — пробормотал он, — наш брат всего лишь пытается с помощью собственной фантазии чуть-чуть утончить вкусы почтеннейшей публики.

Пока Людмила потихоньку выуживала из-под тахты туфельки, я сказал:

— Дай ей шанс, ради меня. Кстати, кое-какие полезные знания у нее уже есть. Она специалист по меду.

— Пчеловод? — развеселился Тим.

— Людмила занималась дикими пчелами, — объяснил я. — В Сибири она была специалисткой по диким пчелам, а здесь мечтает купить несколько ульев, завести собственную пасеку. Так ведь, Людмила?

— Может быть, — сказала она, — во всяком случае, если это произойдет, то я заведу немецких домашних пчел.

— Попробуй поработать с ней, — сказал я Тиму, — твоя Михаэла наверняка не станет возражать.

Несмотря на мою настойчивость, Тим на уговоры не поддавался — по крайней мере, пока был у меня. Но после того как он подвез Людмилу домой — ему было по пути, — раздался его поздний телефонный звонок. Тим был вне себя от восторга, его покорила неброская красота Людмилы, ее прелесть, он поблагодарил меня за знакомство с нею и сознался, что уже пригласил ее на пробные съемки.

— Горное озеро, — неожиданно сказал он.

— Что? — недоуменно переспросил я.

— Когда видишь ее глаза, то возникает такое чувство, будто заглядываешь в уединенное горное озеро.

— Очень рад, Тим, что ты даешь ей этот шанс, — проговорил я, — деньги ей действительно нужны.

— За Людмилу не беспокойся, — сказал он, — с ней все будет в порядке, она свою дорогу найдет; в этой девушке есть обаяние — что бы человек с таким обаянием ни совершал, например просто резал бы ломтями тыкву, остальным кажется, будто они присутствуют при священнодействии.

Полагая, что я занят работой, Пюцман осторожно позвал:

— Господин Боретиус? — Я откликнулся не сразу, поэтому он повторил погромче: — Господин Боретиус? — Перед ним лежала раскрытая тетрадь с записями моих доходов, в одной руке он держал контрольную платежку с радио, в другой — карандаш. Не зная, что его интересует, я спросил:

— Что-нибудь не так?

— Вы участвовали в воскресной радиопередаче под рубрикой «Злободневные размышления», — сказал он. — Тема вашего выступления называлась «Тщета просвещения», припоминаете?

— Еще бы, — ответил я, — резонанс на мое выступление был весьма значительным; я пытался показать, что в нашем просвещенном мире, несмотря на все научные достижения, предрассудков становится не меньше, а, пожалуй, даже больше. Объем наших знаний беспрецедентно возрос, но процветает и мистицизм. А под конец я процитировал Достоевского, отрывок из легенды о Великом инквизиторе, где говорится о том, почему у человека так неизбывна тяга к чуду.

Пюцман уставился на платежку:

— Ваш гонорар составил шестьсот марок, но среди доходов не отмечен.

— Не может быть! — воскликнул я, на что Пюцман молча пододвинул мне тетрадь и указал на записи за апрель. Там значились четыре скромные суммы, однако отменный гонорар за мои злободневные размышления действительно отсутствовал. — Чертовщина какая-то, — пробормотал я и спросил: — Что же теперь делать?

Вместо ответа Пюцман предъявил мне чек, выложенный отдельно из общей кучки — букет для переводчицы, — и растолковал, что с налогов списываются лишь букеты стоимостью до пятидесяти марок:

— В данном случае сумма превышена на шесть марок, их я пропустить не могу.

— Это были три астры, — вспомнил я, — так себе цветы, стебли длинные, но слабенькие, их еще проволокой подкрепили; я тогда пожалел продавщицу.

Пюцман пропустил мое замечание мимо ушей, а заодно и скрытую в нем легкую иронию; видимо, он привык к реакциям иного рода, к резким контрвопросам, громким протестам, которые, впрочем, оказывались — в этом я ни на миг не сомневался — абсолютно бесполезными. Взглянув на его бычий, испещренный мелкими шрамами загривок, я предпочел ретироваться.

Усилием воли, натренированным за последние семь лет, я заставил себя забыть о присутствии Пюцмана и попытался сосредоточиться на рассказе. Да, историческая нагрузка, которую несут на себе названия наших улиц, и впрямь велика, каких только ассоциаций они не вызывают — напоминают о давних победах и полководцах, в честь которых давались эти названия, о выдающихся политических деятелях и неудавшихся реформах, но отсылают они также к роковым историческим событиям, которые нам хотелось бы забыть, для чего и происходят переименования. Неожиданно меня озарило — вот как это было: по дороге в Маккензеновские казармы я заехал в кассу за гонораром, а квитанцию сунул в нагрудный карман штормовки, где она потом завалялась. На деньги с этого гонорара я купил для Людмилы букет, сам подобрал его, довольная цветочница похвалила мой вкус. Полученный от нее чек я положил в бумажник.

Не только Людмила, вся ее семья уверяла меня, что такого красивого букета никто из них никогда не видел; Игорь принес из столовой ведерко для джема, аккуратно обклеил его фольгой — получилась ваза. Букет был воспринят как своего рода поздравление, поскольку днем Фидлерам сообщили, что время их пребывания в казарме заканчивается, было даже названо новое место жительства — Уленбостель, поселок на окраине Люнебургской пустоши. Сергей Васильевич, отец Людмилы, успел купить путеводитель по Люнебургской пустоши, даже добросовестно изучил его, но был немного разочарован, так как в путеводителе ничего не говорилось о возможности поохотиться. Перед тем как мы с Людмилой отправились на прогулку, он пригласил меня погостить в Уленбостеле по крайней мере неделю.

Мы поехали в город, где я показал Людмиле ратушу, знаменитые отели, прогулялся с ней по берегу Альстера и Ауссенальстера, удивляясь тому, как много я могу рассказать ей о наших достопримечательностях. Она слушала меня с вежливым, но не слишком большим интересом, но когда мы вышли на мост Кругкоппельбрюкке и под нами бесшумно скользнули каноэ-двойки, шедшие ровно, будто кто-то их тянул на веревочке, ее лицо просияло. Она даже весело помахала рукой пареньку, который небрежно орудовал веслом. Каноэ причалило к пункту лодочного проката, Людмила сказала: «На Чулыме у меня тоже была такая лодка; иногда кажется, будто она не плывет, а парит».

Я взял каноэ на два часа. Людмиле захотелось получить рулевое весло. Было безветренно. На воде поблескивали маслянистые пятна, плавающие гаги спокойно и расчетливо пересекали наш курс под самым носом лодки. Миновав мост, мы вошли в канал, берег которого был укреплен деревянными сваями. В тихих, спускающихся к воде палисадниках сидели под тентами старики. Уклоняясь от белой моторки, Людмила направила лодку с середины канала к раскидистой иве, ветви которой ниспадали до самой воды. Ухватившись за ветку, я остановил лодку. Волна от моторки приподняла ее, закачала; тут Людмила заметила крупную дохлую рыбину, леща, безуспешно попыталась зацепить его веслом, чтобы втащить в лодку.

— Нет, слишком тяжелый и скользкий, — сказала она, решив бросить свою затею.

Я повернулся, осторожно перебрался к ней, предложил попробовать вместе, однако наши весла вместо того, чтобы зажать леща, мешали друг другу, толкались; тогда я ударил веслом плашмя по воде, рассчитывая подогнать леща поближе, но от этого удара лодка качнулась так резко, что мы вцепились друг в друга, чтобы сохранить равновесие. Опешив от неожиданной близости, я не смог удержаться и поцеловал Людмилу прямо сквозь просвет ивовой листвы, усеявшей ее лицо солнечными бликами. Похоже, Людмила не удивилась.

Я остался сидеть рядом, Людмила легким движением весла тронула лодку вперед. Она охотно рассказала мне о своей работе с Тимом, о его чудо-кухне, его изобретатель-

ности и терпении; она принимала участие всего в нескольких сеансах, однако считала, что ей удалось ухватить суть его странного дела.

— И в чем же эта суть? — спросил я.

Чуточку поразмыслив, Людмила проговорила:

— Все выдумки Тима, все оригинальные сервировки рассчитаны на людей, которые уже сыты. Только бедняк спешит поскорее утолить голод, но у Тима другая задача. Он работает на тех, кто ест глазами, то есть возбуждает аппетит у людей, которым неведом голод. — Она еще раз похвалила его терпеливость, доброжелательность, рассказала, что он фотографирует ее за едой, причем она всегда должна закрывать глаза, изображая тихое блаженство. По ее словам, Тим умеет рассыпать комплименты, как никто другой.

— Знаю, — сказал я, — только не слишком доверяйте его комплиментам, он особенно любезен, когда чем-нибудь не совсем доволен. — Она покачала головой, будто сомневаясь в справедливости моего предупреждения, и смотрела куда-то поверх меня.

Как ловко обращалась она с веслом, погружала в воду, поднимала, легким движением поправляла курс; вот так, сидя у ее ног, не отрывая от нее глаз, я проплыл бы по всем гамбургским водным путям. Мы шли мимо частных причалов, возле которых стояли весельные лодки; неожиданно там, где к каналу приблизилась прогулочная тропинка, Людмила с силой погрузила весло в воду и затормозила так резко, что лодка тут же замерла на месте. Она показала рукой на кругообразное, слоистое лебединое гнездо, возле которого стоял, пригнувшись и, видимо, готовясь к прыжку, лохматый черный пес. Лебедь поднялся над гнездом, вытянул шею и принялся издавать отрывистые тревожные клики. Пес, словно примериваясь, подпрыгнул, лебедь угрожающе распростер крылья, что, однако, не испугало пса, и лебедь перешел на какой-то пронзительный свист. Сколько я ни махал руками, сколько ни орал, все мои попытки отогнать явно агрессивного, разозленного пса оставались напрасными.

— Эх, палку бы сейчас или камень!

И вдруг — никогда этого не забуду — рядом со мною послышался странный звук, низкий, элегический вой, в котором слышались и жалоба, и какая-то неизбывная тоска, отчего пес испуганно замер на месте. Тоскливый вой нарастал, теперь он уже не только предупреждал о чем-то, но становился требовательным; у меня пробежал мороз по коже, я представил себе необозримое, освещенное луной, заснеженное поле, по которому метнулись к лесу стремительные тени. Пес задрал голову, однако не издал ни звука; несколько мгновений он простоял как вкопанный, а затем поджал хвост и скрылся из виду. После того как лебедь вновь осторожно уселся в гнездо, топорща перья, но так невозмутимо, будто ничего особенного не произошло, я обернулся к Людмиле. Заметив, что я буквально онемел от удивления, она улыбнулась:

— Это их праязык, все большие собаки понимают его.

— Пожалуй, стоит ему научиться, — сказал я, — поможете?

— С удовольствием, — ответила Людмила, — причем совершенно бесплатно.

Затянувшаяся тишина не сулила ничего хорошего, поэтому я нашел предлог, чтобы заглянуть на кухню. Пюцман даже не поднял глаз, он, казалось, вообще не заметил меня, однако, когда я открыл бутылку минеральной воды, он, уставившись на стол, проговорил, что затраты на повышение квалификации могут списываться с налогов только в том случае, если речь идет о чем-то, что непосредственно связано с теперешней или предполагаемой профессиональной деятельностью — например, о платных уроках иностранного языка для человека, который собирается работать инокорреспондентом. Входные билеты в Музей прикладного искусства и ремесел таковыми считаться не могут, ибо посещение музея не имеет отношения к повышению моей профессиональной квалификации.

Призвав себя к спокойствию, я пояснил:

— Это была выставка по истории обуви, по искусству обувного дела.

— Сапоги, туфли, ботинки, — добродушно констатировал он.

— Да, — сказал я, — для вас это просто сапоги, туфли, ботинки, товары относитель-

но кратковременного пользования. Но эта выставка демонстрировала то, что служило человеку надежной защитой, когда он преодолевал пустыню и тундру, что грело его в холода и не давало соскользнуть в пропасть при восхождении на вершины. Сознаете ли вы социальную, общественную значимость обуви? Понимаете ли историческую значимость пряжки, острого носа или высокого каблука? Эта выставка представляла человеческую жизнь на примере истории обуви, не больше и не меньше.

Пюцман кивнул, вроде бы выражая согласие, однако спросил:

— Но какое отношение имеет осмотр данной выставки к повышению вашей, то есть писательской квалификации?

— Видите ли, — сказал я, — мы накапливаем знания и впечатления без заранее составленных планов, не обязательно четко представляя себе, когда именно все это может нам пригодиться. Я повышаю свою так называемую квалификацию тем, что многое заготавливаю себе впрок на тот случай, если это мне вдруг понадобится.

Пюцман молчал, судя по всему, он размышлял, взвешивал доводы за и против; наконец он пробормотал:

— Ну, если дело обстоит таким образом...

В этот миг мне вспомнился совет великого Лазарека: «Швырни проверяльщикам кость, — говаривал он, — пусть потешатся маленькой победой, их триумф пойдет тебе же на пользу». Поэтому я быстро вставил:

— Хорошо, вероятно, вы правы. «Повышение квалификации» — понятие спорное, по крайней мере в моем случае. — С этими словами я взял со стола входные билеты, намереваясь сунуть их в карман, однако Пюцман попросил билеты обратно.

— Ладно, — сказал он, — думаю, аргументов достаточно.

Мы вышли из Музея прикладного искусства и ремесел, держась за руки. Людмила была удивлена, радостно возбуждена, даже восхищена увиденным; когда мы задержались у светофора, она вдруг показала рукой на мои туфли и на собственные туфельки, прижала свою правую ногу к моей левой, так что наши туфли прикоснулись друг к другу, и, покачивая головой, с наигранным изумлением сказала:

— Ах, чего только им не довелось повидать! Сколько они могли бы поведать нам!

— Да, — подхватил я, — им есть что рассказать о путях-дорогах.

— О песках и льдах, а иногда и о болотных трясинах, — не унималась Людмила.

— А главное, что стоять посреди дороги опасно для жизни, — сказал я и решительно потянул ее за собой.

Мы неспешно зашагали в сторону Главного вокзала. Обогнули пару кривоногих голубей, которые тщетно пытались расковырять зачерствевшую хлебную корку. Потом мы остановились у журнального киоска, где я сразу же увидел ее лицо среди сотен глянцевых обложек, выставленных на витрине. Сонмы симпатичных, пустых, ничего не говорящих лиц — Людмила сразу же обнаруживала их заурядность, выделяясь из них, тотчас же оттесняя их на второй план. В выражении ее лица не было никакого актерства, она смотрела с обложки журнала «Гурманка» своим лукаво-мечтательным взглядом, в котором чувствовался человек, знающий толк в еде; от Тима понадобилось лишь одно — чтобы Людмила не приоткрывала губы. Поздравив Людмилу, я расцеловал ее в обе щеки; меня удивила невозмутимость, с которой она принимала мои поздравления; она, видимо, не вполне понимала, что значило для нее попасть на обложку. Я обнял ее за плечи, она не возражала. Она согласилась, когда я предложил съесть по большой порции мороженого.

Я развернул на темном мраморном столике «Гурманку» и стал рассматривать Людмилу, сфотографированную в переднике возле отмытой до блеска кухонной плиты; она приглашала читателей обратить внимание на серебряное блюдо, где красовалось изысканно сервированное кушанье. Пока я изучал это произведение искусства, Людмила сказала:

— Композицию придумал Тим.

— Сразу видно, — откликнулся я, — что-то вроде рагу из альбатроса с овощами и шоколадным соусом.

— Не угадал, — улыбнулась Людмила. — На следующей странице Тим дает пояснение: фарш из камбалы с артишоками и рисом под шафрановым соусом. После съемок я сама это пробовала.

Я взял ее руку, пощупал пульс:

— И слава богу, осталась в живых.

Официант принес мороженое; похоже, он не понял, что перед ним сидит фотомодель; скупо обронив несколько слов, он разложил мороженое в две вазочки, тут же попросил расплатиться и удалился, что вызвало у меня чувство странной досады. Я ожидал от него по крайней мере удивления. Кажется, Людмила отнеслась к тому, что ее не узнали, совершенно равнодушно, ложечкой ела мороженое, орудуя ею все быстрее и быстрее, при этом она несколько раз посмотрела за окно в сторону магазина хозяйственных товаров. Неожиданно встав, извинилась, сказала, что придет через несколько минут, и, выскочив из кафе, направилась прямо к магазину, грациозно лавируя между машинами. Глядя ей вслед, я осознал, до чего беспокоюсь за нее.

Вещь, которую она поставила передо мной, была обернута в подарочную бумагу салатного цвета, усеянную разноцветными пчелами в стремительном полете.

— Мне хотелось бы отблагодарить тебя маленьким подарком, Хайнц, — тихо сказала Людмила.

— Но за что? — удивился я. — Меня не за что благодарить.

— Достаточно, чтобы я знала, за что, — сказала она и добавила: — Если хочешь, можешь развернуть прямо сейчас, я увидела это впервые у Тима.

Я развязал веревочку, развернул оберточную бумагу и извлек картонку, на которой была изображена стеклянная скороварка. Я был настолько поражен, что сумел лишь выдавить из себя:

— Что это?

Людмила с торжествующим видом стала подробно повторять услышанное ею от Тима:

— Тебе надо обязательно попробовать варить на пару, — сказала она, — пар сохраняет все ароматы, вода разжижает вкус, убивает его, а пар ничего не портит, он лелеет каждый нюанс. Тим утверждает, что скороварка помогает воздавать должное натуральным свойствам продукта.

Пока я читал приложенную к картонке инструкцию, Людмила поведала, что Тим выплатил ей первый аванс и посоветовал обратиться ко мне за консультацией по налогам на гонорар.

— Когда я сама попробовала с этим разобраться, у меня голова кругом пошла, — вздохнула она.

Потом спросила:

— Тебе нравится?

— Еще бы, — ответил я, — конечно, нравится, только подарок порадовал бы меня еще больше, если бы мы смогли опробовать его вместе.

— Так и сделаем, — пообещала Людмила. — Договоримся после урока.

Я окончательно растерялся, когда Людмила поблагодарила меня за то, что я принял ее подарок.

В дверь постучали, я машинально откликнулся: «Войдите!», но это был не Пюцман, а капитан Бродерсен. Он спросил, нет ли у меня хорошего клея: поливая петунии, он ненароком задел одного из фарфоровых мопсов. Я был рад оказать услугу хозяину моей квартиры и, недолго покопавшись у себя, нашел то, что ему требовалось. Перед тем как уйти, он скосил глаза в кухню и громко спросил:

— Ваш коллега? Тоже книжки пишет?

— Налоговый инспектор, — объяснил я, — проверяет мои финансовые дела.

— Ох, как мы этих типов любим, а? — подмигнул мне капитан Бродерсен. Не понижая голоса, он проговорил: — Главное, не вешать нос, мы и не в таких передрягах бывали; если что, всегда к вашим услугам.

Я открыл ему дверь. Громко, чтобы слышал Пюцман, сказал:

— Налоговые инспектора бывают и вполне разумными людьми. — Мельком заглянув на кухню, я увидел, как Пюцман, морща лоб, что-то подсчитывает.

Следующее занятие в Маккензеновских казармах приняло неожиданный оборот. Я собирался хотя бы вскользь ознакомить своих слушателей с темой «Налоги в ФРГ», по крайней мере обозначить кое-какие тропинки, которые помогут не заплутать в дебрях налогового законодательства, однако уже в самом начале урока хитроватый старичок, бывший кожевник, поднял над головой свежий номер «Гурманки» и предложил нам с Людмилой поговорить сегодня о кулинарии. Это предложение было с радостью поддержано всеми прочими слушателями, поэтому нам не оставалось ничего иного, как рассказать о кулинарных фантазиях Тима. Общее веселье заразило Людмилу, меня восхищало ее остроумие и та находчивость, с которой она помогала подобрать точное русское понятие для яств, нашим слушателям совершенно неизвестных. Ей каким-то образом удалось объяснить по-русски, что такое «телятина в соусе из авокадо», на что похожи «фаршированные сливами голуби с розмариновой подливой» и как выглядит «черепашье консоме». Наши слушатели подталкивали друг друга локтем в бок, прыскали от смеха, одна толстуха передернула плечами, будто отгоняя от себя некое наваждение, да и глаза Сергея Васильевича как-то рассеянно блуждали по сторонам, словно он уже прислушивался к воздействию на свой организм неведомой отравы. Бывший кожевник пустил журнал по рукам, все разглядывали обложку, сравнивали ее с оригиналом, причем на многих лицах проступало явное одобрение. Фотография Людмилы несомненно оживила наше занятие; заговорили даже те, кто обычно отмалчивался с выражением безучастной покорности на лице, которая вырабатывается за годы трудной судьбы; им хотелось узнать, как здесь консервируются различные продукты, не вредны ли используемые при этом химикаты.

После урока мои слушатели, все еще непривычно возбужденные, разошлись, а мы с Людмилой задержались в бывшей каптерке под тем предлогом, что нам еще надо обсудить тему следующего занятия. Наконец-то нам удалось побыть вдвоем. Не говоря ни слова, мы обнялись и поцеловались.

— Ты рада?

— Очень!

Людмиле еще предстояло сегодня поработать с Тимом, а мне нужно было записать в радиостудии передачу «Злободневные размышления: потребность в надежных основах», поэтому я вручил Людмиле второй ключ от моей квартиры на тот случай, если я не успею вернуться домой до ее прихода, а на улице будет дождь. Прежде чем поехать в студию, я накупил в магазине разных съестных припасов, особенно овощей, чтобы опробовать скороварку: зеленый горошек, которому надлежало сохранить свою нежную сладость, морковку, цветную капусту; к овощам я присовокупил свиные ребрышки. Все это я отнес домой, а поскольку времени мне еще хватало, я помыл и почистил овощи, потом накрыл на стол.

Студийная запись затянулась. Сначала пришлось довольно долго ждать, пока студию освободят участники круглого стола, на котором обсуждались возможные последствия недавнего политического террористического акта. Потом я прочитал заготовленный текст, где пытался доказать, что нас более не удовлетворяют те надежные основы, которые прежде нам обеспечивала религия, однако мы испытываем разочарование и в науке, которая также не сумела даровать нам новых безусловных истин. Сознавая, что все наши знания постоянно устаревают и подлежат постоянному пересмотру, я предложил сомнение в качестве основы нашего нынешнего мировоззрения. Звукооператор заверил меня, что не скучал ни минуты.

Никогда еще обратная дорога домой не казалась мне такой томительной, как сегодня. Я едва не выскочил из автобуса в Альтоне на остановку раньше, чем нужно. Увидев освещенные окна своей квартиры, я невольно замедлил шаг, стараясь представить себе, какой я застану Людмилу — читающей? спящей? хозяйничающей на кухне? Я тихонько

открыл входную дверь; свет горел не только в комнате, но и на кухне. Однако Людмилы в квартире не оказалось. Что случилось? Почему она ушла? Шагнув через порог, я сразу же нашел доказательство того, что она действительно побывала здесь; я наступил на что-то твердое — это был мой ключ, который я сегодня дал Людмиле и который она бросила в квартиру сквозь дверную прорезь для почты. Я не мог себе представить, что она ушла, не попрощавшись или не оставив какой-либо весточки, поэтому обыскал заваленный бумагами письменный стол, осмотрел кухню, книжный стеллаж, однако так ничего и не нашел, ни малейшего намека на какое-либо послание. Я позвонил Тиму, в его экспериментальную кухню, где он допоздна работал над утончением вкусов нашей публики. Тим ответил, что Людмилы там нет, и добавил:

— Мне-то казалось, что пир любви у вас в самом разгаре. — Он попробовал успокоить меня:

— Не волнуйся, потерпи — она просто отправилась по каким-нибудь делам.

Прождав часа два, размышляя о том, что могло произойти, и вскакивая со стула, как только мне померещится звук шагов, я убрал со стола, сунул приготовленные для скороварки овощи в холодильник и не раздеваясь рухнул на кушетку.

Я с трудом узнал нерешительный, почти робкий голос Пюцмана, когда он позвал меня на кухню и, к моему немалому удивлению, попросил у меня на несколько дней книжку с повестью «Получение гражданства»; он обещал по прочтении сразу же вернуть ее. Я все еще продолжал удивляться, а он тем временем пододвинул ко мне авторучкой сохраненный мною чек на коробку шоколадных конфет, преподнесенную ответственной сотруднице окружной администрации, которая проконсультировала меня относительно проблем, связанных с получением гражданства.

— Здесь помечено, что это подарок, — сказал Пюцман.

— Да, вполне естественная благодарность за сведения, без которых моя повесть попросту не состоялась бы.

— Ладно-ладно, я ведь не возражаю, — проговорил Пюцман. — Однако вы не указали ни имени, ни фамилии этой сотрудницы, ограничились только инициалами Ю. Ф.; не идет ли речь о госпоже Юлии Фреезе?

— Именно так, — ответил я.

Он не удержался от печальной улыбки, которая скользнула по его губам, и, хотя я ни о чем не спросил его, Пюцман счел необходимым пояснить:

— Когда-то мы были с ней соратниками. Мы опубликовали с госпожой Фреезе статью, в которой выступали за право государственных чиновников на забастовку. Вам знаком наш журнал «Молодой чиновник»? Нет? В общем, мы давали туда наши статьи и каждую подписывали вдвоем.

Призадумавшись, Пюцман покачал головой, будто не в силах понять, что же все-таки позднее произошло. Чтобы продемонстрировать свое участие, я спросил, поддерживают ли они сейчас какие-либо отношения. Пюцман еще немного помолчал, затем сухо ответил:

— Нас свело общее дело, а когда это дело отпало, распался и наш союз, так бывает.

Видимо, ему показалось, что он чересчур разоткровенничался, поэтому он оборвал разговор и погрузился в дальнейшую проверку моих доходов.

Вернувшись к письменному столу, я понял, что все мои попытки продолжить работу над рассказом совершенно бесполезны. Присутствие Пюцмана слишком отвлекало меня, беспокоило из-за необходимости все время отвечать на его вопросы. Я решил дождаться заключительной беседы, которая обычно устраивается по окончании проверки и которая, судя по всему, что я слышал о подобных беседах, не сулила от инспектора ничего хорошего. А пока мне вновь вспомнилось холодное здание Маккензеновской казармы, я опять услышал стук собственных шагов по коридору, где находилась комната Фидлеров. Людмила так и не объявилась ни у меня, ни у Тима, поэтому я поехал туда, уверенный, что застану ее дома. Мне было необходимо выяснить, почему она ушла от меня, не попрощавшись и не оставив никакой весточки. Какая же там царила суматоха! Какая-то

молчаливая деловитость! Попадавшиеся мне навстречу мужчины и женщины тащили по коридору тяжеленные узлы, коробки, перевязанные веревкой фибровые чемоданы, какая-то чета тащила старую плетеную корзину, сгибаясь под ее тяжестью едва ли не до самой земли, пожилая женщина осторожно, как спящего младенца, несла стенные часы. Никто никого не окликал, не подгонял, не подбадривал. Они спокойно перетаскивали свои небогатые пожитки, отобранные ими в другом мире из прочего скарба, а теперь подготовленные к отправке на грузовиках, которые стояли во дворе казармы. Пребывание во временном пристанище закончилось, теперь им предстоял переезд, а затем обустройство на новом месте для постоянного проживания, однако радостного возбуждения ни у кого не ощущалось.

С Сергеем Васильевичем я столкнулся возле комнаты, которую занимали Фидлеры; он как раз вытаскивал оттуда деревянный сине-желтый сундук. Это была уже последняя вещь, что сразу стало мне понятно, когда я заглянул поверх его плеча в комнату: она выглядела угнетающе пустой. Сергей Васильевич покряхтывал. Он бросил на меня исподлобья быстрый взгляд. Снимать со спины громоздкий сундук не захотел. Он что-то пробормотал — видимо, приветствие, — но я разобрал только слово «профессор». Я предложил ему помочь нести сундук, он отказался одним лишь взглядом и пошел к лестнице вниз, убыстряя шаг под тяжестью ноши. Я сошел вслед за ним, ступенька за ступенькой, проводил во двор до грузовика. Здесь мне удалось помочь ему втащить сундук в кузов.

— Минералы, — сказал он, запыхавшись, — на память о неиспользованных богатствах.

Он не просто догадывался, а прекрасно знал, что я ищу Людмилу, поэтому, опережая мой вопрос, объяснил:

— Они уехали с Игорем раньше, отправились поездом на новое место жительства — в Уленбостель. — Взобравшись в кузов, он принялся расставлять вещи, укладывать их понадежнее, потом, не глядя на меня, сказал: — Людмила плохо чувствовала себя нынешней ночью, но утром ей стало лучше. Теперь она, можно сказать, наш квартирмейстер, так что там ей понадобится много сил.

— Она мне ничего не передавала? — спросил я. — Хотя бы просто привет?

Сергей Васильевич, не отрываясь от дела, ответил:

— Очень жаль, господин профессор, но Людмила ничего передать не просила.

Откланялся я не сразу, постоял рядом, посмотрел, как он работает, ожидая, что он повторит свое приглашение навестить их всех в Уленбостеле — пусть без прежнего радушия, пусть не на целую неделю, но хотя бы сказал что-то такое, что давало бы мне надежду увидеться с Людмилой. Однако приглашения не последовало.

Мне нужно было выпить рюмку водки; Пюцман присоединиться ко мне не решился, однако довольно беззастенчиво попросил у меня кофе, поэтому я поставил кипятить воду и присел рядом с ним на кухне. Положив ладонь на чайник, который нагревался ужасно медленно, я глядел на склонившегося над бумагами Пюцмана и гадал, что побудило его выбрать такую профессию. Возможно, его собственная жизнь казалась ему скучноватой, и он стремился скомпенсировать этот недостаток доскональным изучением образа жизни других людей? Или это своего рода финансово-педагогический эрос, служение гражданскому идеалу безупречной налоговой морали? А может, тут сыграла свою роль легальная возможность удовлетворить сладострастный интерес к чужим секретам, жадное любопытство, которое утоляется поиском чужих грехов или ошибок? Округлое детское лицо Пюцмана не давало ни малейшей пищи для фантазии, а то невозмутимое спокойствие, с которым он сортировал бумаги, складывал и вычитал цифры, сравнивал данные и делал свои выводы, не допускало даже тени подозрений в том, что его снедает нездоровый азарт к выискиванию чужих слабостей.

Когда кофе был готов, Пюцман поднял голову, принюхался и откровенно признался, что время от времени его внимание слабеет, поэтому, чтобы «не отключаться», он вынужден подкрепляться «бодрящим напитком».

— Даже и не знаю, что мне было бы выгоднее, — сказал я.

Пюцман оценил юмор, он весело взглянул на меня и, словно ему только сейчас пришло в голову нечто, о чем он едва не забыл, выудил откуда-то товарный чек на диктофон, протянул его мне.

— Диктофон нужен мне для занятий, следовательно, его стоимость не облагается налогом, — сказал я, — разве не так?

— Разумеется, — ответил Пюцман, — сюда относится все, что используется для профессиональной деятельности. Судя по чеку, вы предпочли недорогую модель, затраты соразмерны, то есть списание с налогов вполне оправданно.

— Вот именно, — сказал я.

Тут Пюцман спросил:

— А можно взглянуть на диктофон?

— Конечно, — ответил я, — он стоит у стола, я им еще почти не пользовался.

Склонившись к диктофону, Пюцман удовлетворенно кивнул — видимо, ему понравилась скромность модели, простота обращения с ним. Он наверняка не собирался проверять его, просто провел ладонью по панели, но коснулся при этом пусковой клавиши. Послышался шорох, Пюцман поискал клавишу «стоп», однако, прежде чем он успел остановить кассету, шорох прекратился и раздался неуверенный, чуть сдавленный голос. Это была Людмила. Должно быть, Пюцмана озадачило выражение моего лица при звуке этого голоса — недоумение, обескураженность, почти испуг, — во всяком случае, его палец замер над клавишей, не коснувшись ее.

Людмила обращалась ко мне, называла меня «дорогой Хайнц» и сразу же осеклась, помолчала, начала снова, и я почувствовал, каких усилий стоит ей эта новая попытка. Она сказала, что по случайной неловкости, решив достать со стеллажа книгу, уронила оттуда картонку. Из нее рассыпались разные бумаги. «Я не хотела их читать, — сказала она, — однако невольно заглянула в одну из них, а затем заглянула и в другую, потому что это оказались квитанции, которые были подготовлены для предъявления налоговому инспектору». Я настолько остолбенел от отчаяния, что не смог остановить диктофон. Под конец Людмила сказала: «Спасибо за все. Постараюсь привыкнуть к мысли, что здесь списывают все. Все». Помолчав, добавила: «С грустным приветом от списанной Людмилы». Всхлипы, щелчок, потом опять шорох.

Пюцман отвернулся и, не проронив ни слова, вышел на кухню; в его намерениях можно было не сомневаться, да я сразу и увидел, что он вновь пододвинул к себе стопку уже обработанных чеков и квитанций. Я не пошел за ним. Мне было нечего сказать в свое оправдание, я понял лишь одно — внезапно, необратимо, — что без возражений приму любое его решение.

■

СОЛ БЕЛЛОУ

Между небом и землей

РОМАН

Перевод с английского Е. СУРИЦ

От переводчика

Первое произведение большого писателя всегда занимает нас, в некотором роде выходя из ряда вон, назад, к его небытию. Нам поэтому даже пресловутого «Ганца Кюхельгартена» жалко.

Тот, кто знает «Герцога», «Родственников», вообще более позднего Беллоу, испытает при знакомстве с Джозефом чувство, близкое тому, с каким вертишь юношескую фотографию пожилого друга: вместе «Ну он и он» и «Невозможно узнать».

Нам сейчас странно себе представлять резкость впечатления, вызванного этим маленьким романом в 1944 году, в Америке, под сенью славы Хемингуэя и мужественных военных героев. Но те — борцы и действователи — давно заблудились в снегах Килиманджаро и прочей экзотике, а этот нелепый, смешноватый, психованный негерой неожиданно далеко махнул по новой дорожке. И совсем уж странно, что сами мы за последние десять лет проделали такой большой путь ему навстречу, вдруг навьюченные новыми муками: «неготовностью к свободе», страхом будущего и напряженным ожиданием катастрофы. Все в точности как у него, но очень хочется думать, что у нас-то больше шансов выжить.

Аните

15 декабря 1942 г.

Когда-то люди сплошь и рядом обращались к самим себе, регистрировали эти внутренние переговоры, и никто в этом не усматривал ничего зазорного. Сейчас считается, что вести дневник — баловство, блажь, слюни, дурной тон. Наше время — время крутое, практичное. Кодекс спортсмена, делового человека, крепкого парня — американское наследие, по-моему, от английского джентльмена (забавная смесь: аскетизм, ригоризм плюс напор), родословную которого кое-кто прослеживает аж до самого Александра Великого, — сейчас особенно неумолим. Ах, у тебя чувства? Но есть корректные и некорректные способы их выражения. Внутренняя жизнь? Кроме тебя она никого не колышет. Эмоции? Научись подавлять. И все как миленькие в общем-то подчиняются этому кодексу. Он допускает известную дозу искренности — такую правду-матку с оглядкой. Но настоящая искренность — ни-ни. Самые важные вещи для делового человека исключены. Он не приучен к самоанализу, а потому плохо приспособлен для общения с оппонентом, которого не может ни отстрелять, как крупную дичь, ни перещеголять отвагой.

У тебя неприятности? Терпи молча — это одна из их заповедей. Да пошли они к черту! О своих я собираюсь рассказывать, и будь у меня ртов, как у Шивы рук, и все в деле, мне бы и то не хватило. В моем теперешнем состоянии распада я просто не могу не вести дневник — то есть беседовать с собою лично — и ни малейших не чувствую угрызений по этому поводу, и отнюдь не считаю, что это баловство или слюни. Крепкие парни могут и помолчать. Им — что! Они водят самолеты, бьют быков, ловят тарпонов, а я практически не выползаю из комнаты.

© Е. Суриц. Перевод, 1998

Казалось бы, в городе, где прошла чуть не вся твоя жизнь, ты не должен быть одинок. Но вот я́ одинок, именно одинок, в самом буквальном смысле слова. Десять часов в сутки я торчу один на один с собой в четырех стенах своей меблирашки. Для заведений такого жанра это еще ничего, хотя, конечно, присутствует стандартный набор прелестей: кухонные ароматы, тараканы, специфические жильцы. Но с годами и к тем, и к другим, и к третьим как-то привыкаешь.

Книгами я более чем обеспечен. Жена без конца таскает в надежде меня ими увлечь. Н-да, хорошо бы. Раньше, когда у нас еще была квартира, я читал запоем. И без конца покупал книги, даже чаще, признаться, чем проглатывал. Зато, окружая меня, они служили как бы гарантом жизни ценной, питательной и расширенной, не то что та, которую мне приходилось влачить изо дня в день. А поскольку я не мог постоянно воспарять к этой высшей жизни, я хоть имел под рукой ее знаки. Чтоб в крайнем случае просто оглядывать и ощупывать корешки. Но вот сейчас, сейчас, когда времени вагон и можно бы погрузиться в занятия, которые давным-давно назрели, я не в состоянии читать. Не лезет в меня. Прочту от силы страницы две-три, даже иногда абзац, и — все, не идет.

Скоро семь месяцев, как я ушел с работы в туристическом агентстве (туры по Америке) в связи с призывом в армию. И вот жду у моря погоды. Кажется, ну подумаешь, ерунда, их бюрократические художества плюс волокита. Сначала я даже не возражал. Ладно, думаю, будут каникулы, краткая передышка. Это в мае, когда меня завернули из-за того, что у меня не в порядке документы. Я прожил здесь восемнадцать лет, но все равно я канадец, британский подданный, и хоть дружественный иностранец, меня нельзя призвать без каких-то там исслѐдований. Жду пять недель, потом иду к мистеру Маллендеру, прошусь на время обратно, но тот объясняет, что дела у фирмы неважные, пришлось, несмотря на многолетнюю службу, уволить мистера Трагера и мистера Бишопа, он ничего не может мне обещать. В конце сентября меня письменно извещают, что я исследован и одобрен, но, в соответствии с правилами, должен явиться для повторного анализа крови. Через месяц сообщают, что я зачислен в первую очередь, чтоб был готов. Итак — сижу, жду. Наконец, уже в ноябре, навожу справки, и тут оказывается, что по новой статье, как человек женатый, я должен призываться позже. Требую перерегистрации, объясняю, что лишен возможности работать. Три недели с ними торгуюсь, после чего переводят в третью очередь. Но не успеваю еще ничего предпринять, прошло всего ничего (если точнее, неделя), и опять меня вызывают на анализ крови (каждый действителен только два месяца). Опять время ушло псу под хвост. И эта тягомотина еще не кончилась, не сомневаюсь. Еще на два, три, четыре месяца хватит.

Айва, моя жена, тем временем меня содержит. Говорит, своя ноша не тянет, и ей, мол, хочется, чтоб я наслаждался свободой, чтением и прочими прелестями, которых буду лишен в армии. С год назад я нагло взялся за цикл статей — в основном биографических — о философах Просвещения. Начал с Дидро и застрял на середине. Но как-то такое подразумевалось, когда началось мое принудительное безделье, что вот теперь-то я все и завершу. Айва была против моего поступления на службу. И со своей первой очередью я не мог рассчитывать ни на что приличное.

Айва девушка молчаливая. С ней не очень-то разговоришься. Мы уже друг с другом не откровенничаем. Кое-чем, между прочим, я и не могу с ней поделиться. Друзья у нас есть, но мы ни с кем не видимся. Одни живут у черта на рогах. Другие вообще — кто в Вашингтоне, кто в армии, кто за границей. С чикагскими со своими я постепенно разошелся. Нет настроения встречаться. Конечно, отдельные шероховатости можно бы и сгладить. Но, как я понимаю, главный наш общий стержень сломался, и что-то я пока не рвусь его заменять. И вот почти все время один. Сижу бессмысленно в комнате, заранее перебираю нехитрые события дня: стук прислуги, приход почтальона, все те же программы радио и неотвратимую возвратную муку все тех же мыслей.

Уж подумывал поступить на службу, но не хочется признавать, что не осилил свободы и вынужден совать шею в ярмо из-за бедных данных, точнее, по бесхребетности. Пытался во время последней перерегистрации записаться во флот, но выяснилось, что иностранцу лучше не рыпаться. Что делать, остается ждать, ждать, то есть болтаться без толку и все больше впадать в уныние. Ясно как день: я гнию, разлагаюсь, коплю в себе досаду и горечь, как ржа разъедающую мои припасы великодушия и доброжелательно-

сти. Но семимесячная отсрочка — только один из источников моего озлобления. Я даже думаю иногда, что это задник такой, поставленный, чтоб получше видна была моя подвешенная фигурка. Есть еще много всякого. Вот разберусь окончательно в размерах причиненного мне ущерба, а тут-то фигурку, глядишь, и срежут.

16 декабря

Начинаю замечать, что чем активней остальное человечество, тем медленнее двигаюсь я, и мое анахоретство растет пропорционально возрастанию в окружающем мире азарта и прыти. Сегодня утром жена Тада пишет из Вашингтона, что Тад улетел в Северную Африку. В жизни не чувствовал такого оцепенения. Даже сходить за сигаретами лень, а хочется курить. Лучше обойдусь. И все только из-за того, что Тад сейчас высаживается в Алжире, в Оране, вот-вот пойдет гулять вдоль минаретов — а в прошлом году мы вместе смотрели «Пепе ле Моко»[1]. Нет, я за него, конечно, искренне рад, тут не зависть, естественно. Но по мере того, как он несется к Африке, а наш друг Стилман путешествует по Бразилии, я прирастаю к креслу. Буквально, физически. Даже не пробую подняться. Встать-то я, конечно, могу, и пройтись по комнате, и спуститься за сигаретами, но исключительно противно делать над собой усилие. Не обращать внимания, пройдет. Мне же вообще свойственны такого рода галлюцинации. Посреди зимы я способен выхватить взглядом облитую солнечным блеском стену и вообразить, несмотря на окружающий лед, что сейчас не февраль, а июль. И, аналогично преобразовав лето, под палящим зноем трястись от холода. Та же петрушка с временем дня. Может, это у всех бывает? Главное — не пересолить, не утратить окончательно чувство реальности. Вот придет Мария, застегну пальто, пойду за сигаретами, и все будет хорошо.

Как правило, я только и выискиваю предлог, чтобы вылезти из этой своей комнаты. Только приду домой, тут же начинаю его сочинять. Но выйду — недалеко уйду. Средний радиус — три квартала. Вечно боюсь, что напорюсь на знакомого и начнутся удивления, расспросы. Так что мотаюсь вокруг дома, а когда уж приспичит ехать в город, избегаю некоторых улиц. Наверно, у меня еще со школы осталось, что шляться по городу среди дня преступно.

Правда, с предлогами у меня негусто. Редко выхожу из дому больше четырех раз: три — поесть, а на четвертый — вымучиваю какую-нибудь цель или просто выскакиваю по наитию. Долго не хожу. Из-за сидячей жизни набираю лишний вес. Когда Айва выступает по этому поводу, объясняю, что в армии быстренько похудею. На улице в это время года гадко, вдобавок у меня нет галош. Но иногда пускаюсь и в дальние путешествия: в прачечную, в парикмахерскую, в магазин за конвертами, или еще дальше — платить по счетам по поручению Айвы, или, уже без ее ведома, к Китти Домлер. Плюс обязательные семейные визиты.

Есть я приноровился в разных местах. Не хочу нигде примелькаться, не хочу панибратства с кассиршами и официантками, неохота сочинять для них всякие сказки.

В полдевятого я завтракаю. Потом иду домой и сажусь в качалку у окна — читать газету. Читаю от корки до корки, не пропуская ни слова, это ритуал. Сначала комиксы (с детства их обожаю и заставляю себя читать новейшие, вполне неудобоваримые), потом новости, тематические колонки, дальше — сплетни, светскую хронику, рекламу, на закуску детские задачки — все-все. Чтоб сразу не расставаться с газетой, даже снова проглядываю комиксы — вдруг что-то пропустил.

Возвращаясь к бодрствованию после освежающего (если получится) сна, я телесно перехожу от наготы к облаченности, а духовно — от относительной чистоты к загрязнению. Отворяя окно, я проверяю погоду; открывая газету, я принимаю мир.

Итак, я впустил в себя окружающий мир, я вполне проснулся. Скоро двенадцать, пора перекусить. Я уже с одиннадцати дергаюсь, мне мерещится, что я проголодался. В тишину дома, оттеняя ее, падают звуки: рядом хлопает дверь, стучит каплями кран, шуршит пар в радиаторе, наверху тренькает швейная машинка. Незастланная постель и стены — в ярких полосках. Стучит и вваливается работница. Во рту сигарета. Думаю, я един-

---

[1] «Пепе ле Моко» (1937) — фильм французского режиссера Жюльена Дювивье (1896—1967). (*Здесь и далее — прим. перев.*)

ственный, при ком она позволяет себе курить. Знает, что тут можно не церемониться.

В ресторане я обнаруживаю, что абсолютно не голоден, но деваться некуда, надо есть. Ступеньки на сей раз кажутся чуть покруче. Вваливаюсь домой запыхавшись, включаю радио. Закуриваю. Полчаса слушаю симфоническую музыку, потом злюсь на себя, пропустив начало какой-то рекламы обмундирования. К часу день ломается, мне уже невмоготу. Пытаюсь читать, не могу приладить ум к фразам на странице, проникнуть в значения слов. Стараюсь изо всех сил, но только растекаюсь туда-сюда сомнительной ценности мыслями, важные, пошлые — все в одну кучу. Стоп. Захлопываю книгу. Она пустынна, как улица. Встаю, снова включаю радио. Три часа, а у меня никаких событий, три часа, а уже темнеет, три часа, а почтальон в последний раз шмыгнул мимо, ничего не положив в мой ящик. Я прочитал газету, я заглянул в книгу, меня навестили две-три беспризорные мысли...

Пяти футов высоты,
Пяти футов ширины,
Пятью пять надел штаны...

и вот, как домоседка, поджидающая мужа с работы, сижу и слушаю радио.

Дочь хозяйки просила убавлять звук: мать больше трех месяцев как слегла. Долго старушка не протянет. Слепая, почти лысая. Под девяносто. Иногда, когда поднимаюсь по лестнице, я вижу ее за занавеской. Дочь приняла бразды правления с сентября. Она живет на третьем этаже, с мужем, капитаном Бригсом. Он по интендантской части. Под пятьдесят (намного старше жены), плотный, аккуратный, седой, уравновешенный. Мы часто видим, как он выходит за ограду затянуться перед сном последней сигареткой.

В полпятого слышу, как за стеной кряхтит и кашляет сосед Ванейкер. Айва почему-то окрестила его Вервольфом. Странный, малоприятный тип. Этот его кашель, я уверен, отчасти алкоголический, отчасти на нервной почве. И вдобавок форма общения. Айва не согласна. Но я не сомневаюсь: кашляет, чтоб привлечь внимание. Я достаточно помотался по меблирашкам, у меня глаз наметанный. Давным-давно, еще на Дорчестер авеню, был один старик, который ни за что не хотел закрывать свою дверь, сидел, лежал, смотрел в холл, день и ночь за всеми подглядывал. И еще был один на Шиллер-стрит, так тот без конца с грохотом спускал в бачке воду. Чтоб его не забывали. Мистер Ванейкер кашляет. Мало этого, пользуясь уборной, приоткрывает дверь. Громко туда топает, и через секунду ты слышишь журчанье. Айва недавно даже пожаловалась миссис Бригс, та вывесила объявление: «Пользуясь туалетом, просьба закрывать дверь, а также не ходить по дому без халата». Пока что-то не действует.

От миссис Бригс мы узнали о Ванейкере много чего интересного. Пока старуха была на ногах, он не раз склонял ее к совместному посещению кинематографа. «И главное, любому же ясно, что мама абсолютно не видит». Раньше он еще имел манеру бегать вниз к телефону в одних пижамных штанах, — откуда и просьба о халате. Пришлось капитану вмешаться, уж он это дело пресек. Мария находила на полу в незанятых комнатах недокуренные сигары. Ванейкер небось подворовывает, подозревает Мария. Он не джентльмен. Она у него убирает, ей ли не знать. У Марии высокие требования к морали белых, когда она говорит про Ванейкера, у нее раздуваются ноздри. Старуха, миссис Кифер, аж грозилась его выгнать, рассказывает Мария.

Ванейкер пышет энергией. Без шапки, в бобриковом полупальто несется по улице, через заснеженные кусты. Хлопает нижней дверью, громко топая на первых ступеньках, сбивает с ботинок снег. И, дико кашляя, кидается вверх по лестнице.

В шесть мне встречаться с Айвой у Фэллона, мы там ужинаем. Довольно часто там едим. Иногда ходим в «Мерит» или в кафетерий на пятьдесят третьей. Вечера у нас короткие. До двенадцати заваливаемся спать.

17 декабря

Такая тупость, как под наркозом. Временами даже забывается, что в моей жизни что-то неладно. А с другой стороны, вдруг злюсь, бешусь, накручиваю себя и причисляю к моральным жертвам войны. Я изменился. И по двум случаям на прошлой неделе убедился, до какой степени. Первый даже случаем не назовешь. Листал «Поэзию и прав-

ду» Гёте и напал на фразу: «Отвращение к жизни может иметь причины физические и нравственные». Зацепило, читаю дальше: «Вся приятность жизни зиждется на постоянном, размеренном возврате внешних явлений. Смена дня и ночи, времен года, цветов и плодов и прочего, что к нам возвращается своею чередой и чем можно и должно нам наслаждаться, движет в большой степени нашею земною жизнью. Чем более открыты мы этим наслажденьям, тем мы счастливей. Но когда все разнообразие явлений проходит мимо нас, не задевая, когда мы остаемся глухи к столь явным увещаньям, тогда приходит зло горчайшее, поистине тяжелая болезнь, и мы уже почитаем жизнь докучной ношей. Рассказывают про одного англичанина, будто бы он удавился для того, чтоб не иметь более необходимости всякий день переодеваться»[1]. Читаю, читаю — странное чувство. Далее Гёте трактует «отвращение к жизни». Буквально, в этом отвращении — Radix malorum[2]. Затем идет: «Ничто, однако, столь не навлекает это отвращение, как возврат любви». В жуткой досаде захлопнул книгу.

Но главное, я же вижу, насколько иначе отнесся бы к этому год назад, то есть насколько я изменился. Тогда, наверно, просто подумал бы: ну, все правильно, но ничего особенного. Англичанин этот меня позабавил бы, и все дела. А теперь его скука сразу затмила даже «возврат любви», и он моментально стал в один ряд с убийцей Бернардином из «Меры за меру», который так равно презирал жизнь и смерть, что не пожелал по зову палача выходить из темницы[3]. Преувеличенный интерес к ним обоим — явное доказательство, что я изменился.

И — второй случай.

Мой тесть, старый Алмстад, свалился в тяжелой простуде, и Айва, зная бестолковость своей матери, попросила меня помочь.

Алмстады живут на Северо-Западе, то есть пыточный час надземкой. В доме все было кувырком. Миссис Алмстад стелила постели, стряпала, ухаживала за больным и хваталась за телефонную трубку одновременно. Телефон не умолкал больше чем на пять минут. Звонили без передыху, каждому она рассказывала всю историю своих мучений. Тещу я не люблю. Низенькая, блондинистая, работает под девочку. Натуральный цвет лица, когда проглядывает, — здоровый. Глаза большие, понимающий взгляд, но поскольку понимать им нечего, они просто-напросто выдают ее глупость. Густо пудрится и губы красит на тот фасон, который стал эмблемой сексапильности сплошь всех особ со школьной скамьи и далее везде. Миссис Алмстад под пятьдесят, она вся в морщинах, очень по этому поводу убивается, вечно охотится за разными масками и лосьонами.

Когда я появился, она разговаривала по телефону, и я сразу прошел к тестю. Он лежал, приподняв колени и так задрав плечи, что голова как бы сразу без шеи крепилась к телу. Под пижамой — жирная белая грудь в седых волосах. В кофточке под горло с расшитым карманом вид у него странный, чтоб не сказать идиотский. Всё тещины дела. Сама все на него покупает и наряжает в постели, как мандарина или великого князя из дома Романовых. На одеяле скрещены широкие цевки. Меня встретили несколько смущенной улыбкой: мол, болеть — не отцовское, не мужское занятие. Однако намекнули, что можно себе позволить несколько дней поваляться; ничего, обойдется; дело (небрежно, но со значением, в некотором противоречии) в надежных руках.

Тут опять забренчал телефон и миссис Алмстад по новой завела свою историю кому-то из своих несчетных знакомых (и кто они, интересно?). Муж вчера слег, был доктор, доктор говорит, этой зимой форменная эпидемия гриппа. Она просто извелась, буквально разрывается, хозяйство, мистер Алмстад. Ну как оставишь больного человека без присмотра... прислуги-то нет. Слова сыпались на нас, как стеклянные шарики. Старый Алмстад будто не слышал. Наверно, приноровился выключать слух. Но нет, как не слышал? Такие резкие, атональные голоса стены пробивают. И мне жутко захотелось разобраться, плевать ему или ему противно. За пять лет, что я у него в зятьях, я ни разу от него не слышал ни единого звука ни в ее осуждение, ни в защиту, только в двух случаях он сказал: «Кэтти еще ребенок. Так и не повзрослела».

---

[1] *Гёте*, «Поэзия и правда», ч. III, гл. 13.
[2] Корень зла (*лат.*).
[3] *Шекспир*, «Мера за меру», акт 4, сц. 3.

Сам не пойму, кто меня дернул за язык:

— И как вам удается столько времени это выносить, мистер Алмстад?

— Выносить? Что?

— Ее. — Меня повело: — Я бы не смог. Я знаю.

— О чем вы? — Старик озадачен и злится. Наверно, счел неприличным терпеть, чтоб ему выкладывали такое в глаза. Но на меня уже нашло. Как будто это не идиотизм, а совершенно естественные расспросы. Вдруг — вынь да положь полную откровенность. Ни больше ни меньше.

Он:

— Я не понимаю, о чем вы? В чем дело?

— Ну, слушать ее.

— А-а, вы про телефон?

Тут его, кажется, отпустило.

— А я внимания не обращаю. Женщины все любят поболтать. Ну, может, Кэтти и больше других, но надо быть снисходительней. Она же...

— Так и не повзрослела?

Может, он и не то хотел сказать, но поскольку я цитирую его, спорить тоже странно. Он поджал губы, кивнул:

— Да, действительно. Один так устроен, другой иначе. Люди-то разные.

Тон натянутый. Злость не совсем прошла. Ко мне иной раз тоже приходится снисходить. Мое поведение тоже не всегда на уровне — вот на что мне осторожно намекают. Мистер Алмстад залился густой краской, и она все не сходит с лица. Оно сурово багровеет под ветвистой арматурой, как чаем обливающей его своим странным светом. Нарочно он скрывает мнение, которое, согласимся, имеет полное право не делать достоянием гласности, или сам верит тому, что говорит? Последнее более вероятно. Вечный треп, скука и прочее — что особенного? Брак есть брак. Но не исключена и другая возможность, а именно: он не то что смирился или там не обращает внимания, как прикидывается, но (и, очень похоже, сам не догадываясь об этом) слушает ее и восхищается, хочет, чтоб она именно такой и была — болтливой, глупой, работающей под девочку; наслаждается собственным терпением. Мы уставились друг на друга. В его лице отобразилась собачья преданность. Пристыженный, я укротил свое разнузданное воображение.

Доктор оставил рецепт, и старик попросил меня отоварить его в аптеке. Выходя, я услышал миссис Алмстад:

— Здесь муж моей Айвы, Джозеф, на подхвате. Он сейчас не работает, армии дожидается, так что времени девать некуда.

Я вздрагиваю, оборачиваюсь в бешенстве, но она, вжимаясь щекой в черный почкообразный инструмент, улыбается мне — сама безмятежность. Интересно, возможно ли, что она это сказала не нарочно, что она не виновата, что мысли ее гладки и пусты, как фишки, как джокеры? Или наивность и хитрость перемешаны тут в равных дозах? Или тут действует злая сила, о которой она сама не догадывается?

На улице хозяйничал острый ветер. Солнце, низкое, ободранное шершавыми тучами, нарумянивало кирпичи и окна. Улицу продуло насухо (вчера шел дождь), и она выступала в одной из своих зимних ипостасей — мятая, в жидких снеговых пейсах, почти пустая. Я целый квартал прошел до ближайшего прохожего, вынырнувшего по непостижимой надобности в длинной солдатской шинели, которую солнце приобщало к собственному цвету. А потом торчал в аптеке, потягивая кофе под бумажным гофрированным навесом, пока мне не выдали мои лекарства в рождественском зеленом пакетике.

На обратном пути я застрял у витрины парикмахерской: «Декоративные изделия из кухонных отходов. Коллекция миссис Ковальской 3538 Пирс авеню». И разложены мозаики из спичек и окурков, пепельница из консервной банки, кожура грейпфрута, обработанная камедью, плетка из целлофана, разрезальный ножик, инкрустированный осколками стекла, и две от руки раскрашенные иконки. Полосатый столб медленно вращался в своем стеклянном ящике. Веселый Тигр затаился в бутылочных джунглях, парикмахер читал газету. Я отвернулся и прошел со своим пакетиком мимо, мимо серых колонн, в неподатливую, стукнувшую по почтовым ящикам дверь, в печальную пасть подъезда.

Наверху я честно обработал старика. Выбил из миссис Алмстад кружку апельсинового сока, накормил его лекарствами, растер спиртом. Во время массажа он крякал от удовольствия и приговаривал, что я на самом деле куда сильней, чем на вид. Отношения потеплели. Но в беседу я не вступал. Помалкивал, чтоб снова не ляпнуть лишнего. Если начну говорить — примусь объяснять свое положение, оправдываться в безделье. Сам старый Алмстад эту тему не затрагивал. Собственный родитель, надо сказать, меньше со мной церемонится. Уж он бы наверняка открыл расспросы по этому поводу, а мистер Алмстад и не заикнулся.

Я опустил рукава и собрался уходить, но тут теща объявила, что оставила мне на кухне стакан сока. Не обед, конечно, но все-таки. Я пошел на кухню и обнаружил полуразделанную курицу, которая, сжав желтые когти и склонив голову в созерцании собственных кишок, обрызгивала кровью раковину. Тут же стоял стакан апельсинового сока. В нем плавало рябое перо. Все это я вылил в сток. В шляпе и шарфе пошел в гостиную: оставил там пальто. Мистер и миссис Алмстад ворковали в спальне. Я стал смотреть в окно.

Солнце затянуло; пошел снег. Он крапил черные поры гравия, скользил тонкими лентами с крыш. Мне с третьего этажа видно было далеко. Ближе — трубы, серый дым светлей серого неба. Прямо подо мной — нищая толчея домов, складов, щитов, кульвертов, тупое сверканье световых реклам, машины — припаркованные, снующие, и редко где — черный чертеж дерева. Все это я оглядывал, прижавшись лбом к стеклу. Это мой тяжкий долг — смотреть и решать с самим собою вечный вопрос: в чем же тут хоть частица того, что где-то еще или давно когда-то говорило в пользу человека? Сомнений быть не может — эти щиты, улицы, трассы, уродские, слепые, связаны с внутренней жизнью. Но как тут не усомниться? Человеческие жизни, конечно, прилажены к этим домам и улицам, но в то, что все это — скажем, дома — есть некая проекция, аналогия и что́ люди создали, то трансцендентным каким-то образом они собой и являют, — в это я ну никак не могу заставить себя поверить. Нет, тут есть, конечно, есть разница, просто она от меня ускользает — разница между вещами и лицами, даже между делами и лицами. Иначе люди, которые тут живут, действительно были бы отражениями окружающих предметов. Я не хочу, я изо всех сил их стараюсь не осуждать. Для чего же я, спрашивается, ежедневно читаю газеты? За их делами, политикой, кабаками, киношками, налетами, разводами, убийствами я постоянно стараюсь нащупать явственные, общие, человеческие черты.

Это, кстати, в моих собственных интересах. Я сам во все это втянут. Как ни крути — это мое поколение, мое общество, мой мир. Мы — детали одной схемы. вычерченной набело и навечно. Не было бы их — не было бы и меня. И если, как нам талдычат, наше время катится к низшей точке кривой какого-то там цикла, значит, и я выпаду в осадок, останусь на дне и, вместе со всеми прочими, своей жизнью, своим прахом унавожу грядущее. А век, глядишь, будет совсем обреченный. Но... может, все это ерунда? Туман растаял, сгустился, растаял на оконном стекле. Может, и ерунда. И, застряв было мыслью на обреченных веках, на всех безымянных, лежащих в безвестности, я вдруг подумал... Ну откуда нам что известно? Во всем существенном человеческий дух, в общем, меняется мало. Добро, видимо, оставляет поменьше следов. И мы еще обнаружим, как несправедливо судили-рядили о целых эпохах. Титаны прошлого века, кстати, ополчались на свои Ливерпули и Лондоны, Лилли и Гамбурги не хуже, чем мы на свои Детройты и Чикаго. И очень, очень возможно, меня дезориентируют, при всем при том, несмотря на эти развалины перед моими глазами, взмокшие, сами цвéта судьбоносной бумаги, из которой я черпаю ежедневные новости... Мир, который мы ищем, — не тот мир, который мы видим. Боремся за одно, получаем другое.

Это так говорится — «вечный вопрос». Но если честно, меня он уже много месяцев не волнует. Об этих вещах я задумывался прошлой зимой, а сейчас они своей запутанностью только угнетают меня и лишний раз напоминают мне, сам-то я кто. Давным-давно «общечеловеческие черты», «не могу заставить себя поверить» в мои рассуждения и не забредали. Вдруг до меня дошло, как незаметно и далеко отнесло меня от того, прежнего человека, для которого все это было естественно.

18 декабря

По анкете я остаюсь прежним и в случае чего просто предъявлю свои вчерашние данные. Я не пытался себя модернизировать, может, по наплевательству, а может, от страха. В прошлогоднем Джозефе меня мало что устраивает. Я только подхихикиваю над ним, над его штучками и высказываниями.

Джозеф, двадцати шести лет, служащий бюро путешествий по Америке, высокий, чуть уже рыхловатый, но еще недурной собою молодой человек, окончил Висконсинский университет (исторический факультет), пять лет женат, любезен, считает, в общем, что нравится людям. Но если приглядеться, окажется, что он странноватый тип.

Странноватый? В каком смысле? Ну, начать с внешности. Типичное не то. Лицо твердое, длинное, нос прямой. И — усики, эти усики, они его старят. Темные, неглубоко посаженные, даже скорее выкаченные глаза. Волосы черные. Взгляд — не то, что называют «открытый», нет, скорей напряженный, а иногда, при всей своей любезности, даже противный. Он исключительно охраняет свой внутренний мир, носится с этой драгоценностью. Хотя нельзя сказать, что ненормально холоден или там эгоист. Просто он всегда начеку, сосредоточен, как он сам выражается, на том, что в нем происходит. Чтоб ничего не упустить.

Жена не помнит его без усов, а ему только-только стукнуло семнадцать, когда они познакомились. Попав в первый раз к Алмстадам, он курил сигару и громко, авторитетно (он тогда был коммунистом) рассуждал о немецкой социал-демократии и лозунге «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Ее отец дал ему на вид лет двадцать пять и впредь запретил ей приглашать в дом взрослых мужчин. История стала семейной байкой. Мистер Алмстад ее обожает. Говорит: «Я подумал, он ее в Россию утащит».

Переходим к одежде Джозефа (я таскаю его обноски). Она довершает впечатление солидности. Костюмы — серые, консервативные. Ботинки, правда, пижонские, остроносые, но именно из чувства меры. В тупоносых он бы тянул на все тридцать пять. Выбирая одежду, как и в прочих делах, Джозеф анализирует свои мотивы. Это его ответ тем, кто одевается плохо из принципа, кто считает мятый пиджак эмблемой свободы. Такого мелкого, скандального выпендрежа он чужд, ибо все его внимание сосредоточено на внутреннем своеобразии — единственно важном. Он, между прочим, даже испытывает горькое удовольствие от того, что расхаживает, как он выражается, «в униформе эпохи». Короче, для его целей — чем незаметней, тем лучше. И все равно он ухитряется выделяться.

Друзья иногда считают, что, в общем, он даже слегка смешон. Ну да, говорит он, возможно, кое в чем и смешон. Ничего не поделаешь. Вид и поведение человека рефлектирующего нельзя приравнивать к виду и поведению тех, для кого главное — одежда и внешность. То, что он берет на себя, не так-то легко, и очень возможно, чем больше его успехи, тем он «смешнее». А вообще-то, говорит он, в каждом есть элемент странного и комичного. Не все возьмешь под контроль.

«Элемент странного, комичного...» — такие фразочки настораживают. Тот, кто настроился на волну служащего туристического бюро, славного малого, может слегка опешить. Но даже старинные друзья, Джон Перл, например, или Моррис Абт, которые его знают с детства, часто не могут толком его раскусить. Но тут уж он, как ни старается, чтоб его понимали, как говорится — пас.

С тех пор как кончил школу, Джозеф так себя и считает ученым, окружает книгами. Пока не увлекся Просвещением, изучал первомучеников, еще раньше — романтизм, детскую одаренность. Конечно, и на хлеб зарабатывать надо, но он ищет баланс между тем, чего хочется, и тем, что приходится делать. Ну да, компромисс, но как, интересно, без них? Он гордится той ловкостью, с какой сочетает одно с другим, и — хоть скорее ошибочно — называет себя последователем Макиавелли. Он четко разграничивает две свои роли и даже из кожи вон лезет на службе, исключительно ради того, чтобы доказать, что и мечтатели способны быть деловыми.

Все, однако же, признают, что Джозеф железно владеет собой, знает, чего он хочет и как этого добиться. В последние семь-восемь лет он во всем руководствуется общим планом. Плану подчинены друзья, семья, жена. С женой ему пришлось-таки повозиться, заставляя читать книги по его выбору, уча восхищаться тем, что он сам признает достойным восхищения. Насколько он преуспел, ему неизвестно.

Не следует думать, что если Джозеф говорит о «бездумных людях», об «элементе комичного», он груб, резок. Как раз он не строг к окружающим. Он себя называет убежденным сторонником лозунга «tout comprendre c'est tout pardonner»[1]. Теории типа «мир абсолютно прекрасен» или «мир абсолютно ужасен» считает идиотством. О тех, кто верит, будто мир абсолютно прекрасен, говорит, что они плохо разбираются в гадостях. Когда же речь заходит о пессимистах, спрашивает: «Они только это и видят, что ли?» Для него лично мир и добр и зол, то есть ни то ни другое. Такой вывод для представителей обоих направлений уже был бы успехом. Ну а для него лично вывод ничто рядом с поиском, с наблюдением над людьми — отуманенными, трезвыми, ревнивыми, тщеславными, смешными, и каждый живет в своем времени, имеет свои привычки, мотивы и странности, свое тавро. Короче — все хорошо потому уже, что существует. Или так: хорошо или плохо — раз существует, значит, неотменимо и, стало быть, расчудесно.

Но при всем при том Джозеф мучается от сознания своего отщепенства, от того, что он в этом мире сбоку припека, он придавлен враждебной тучей. Ну подумаешь, говорит он, все люди, в общем, подвержены таким настроениям. Ребенок чувствует, что родители его обманщики; истинный отец где-то далеко и вот-вот явится за ним. А кой для кого реальный мир вообще не здесь, а здешний — подложный, скопированный. Но это ощущение отщепенства у Джозефа иногда до того доходит, что кажется, будто всё против него сговорилось и это заговор не злых каких-то сил, а смещений, отблесков, волнений, закатов и даже будничных, безразличных вещей. Изо дня в день жить с этим подозреньем о заговоре трудновато. Интересно, конечно, но скорей неуютно и тянет приткнуться к случайным прохожим, братьям, родителям, друзьям и женам.

20 декабря

Подготовка к праздникам. Вчера выходил за покупками, Айва послала. На каждом углу кто-то звякает колокольцем: борода из грязной ваты, красный тулуп Санта-Клауса. Ради бедных, ради Христа, ради добрых дел звяк-звяк-звяк в городской гул. Громадные угрожающие венки водружаются на дома. Тысячи покупателей перемалываются магазинами, улицами, среди дымчато-красных фасадов, под вой колядок. Ягоды остролиста мерцают темными каплями на осмоленных шестах. «Светлый Праздник» — по всем кабакам, из всех музыкальных ящиков. Все молятся о снеге, и панический ужас наводят мысли об измороси или дожде.

Ванейкер в последние дни мается. Туда-сюда двигает мебель. Мария жалуется больше обычного. Так кровать переставит, что не приберешься. В дверь не пройдешь. Да ей бы хоть вовсе туда не ходить. Чистоту совсем не соблюдает, жалуется Мария. Нет чтоб в прачечную сдать — проветривает на окне. С вечера вывесит исподнее, а наутро снять забудет. Миссис Бригс мне доложила, что он собрался жениться на шестидесятилетней даме, та требует, чтоб он перешел в католичество, и он каждый вечер наставляется в церкви Святого Апостола Фомы. В то же время, по моим наблюдениям, он получает обширную почту из Шотландского масонского центра. Не это ли борение принципов в два часа ночи сдирает его с постели и гонит переставлять мебель?

У нас два приглашения на рождественский ужин: к Алмстадам и к моему брату Эймосу. По мне, так никуда б не идти.

22 декабря

Жутко сорвался сегодня, при Майроне Эйдлере. Не пойму, что на меня нашло, сам удивляюсь, а уж Майрон совсем растерялся. Он позвонил мне насчет временной работы: у них там в конторе учет общественного мнения, я мог бы вести опрос. Я кинулся на улицу, встречаться с ним в «Стреле». Пришел раньше, занял столик в конце зала, и тут же на меня напала тоска. Я в эту «Стрелу» уже несколько лет не суюсь. Одно время там гужевалась тонкая публика, с утра до вечера шли дискуссии о социализме, психопатологии, судьбе европейца. Я, между прочим, сам и предложил там поесть; почему-то стукнуло в голову. И вот — напала тоска. Потом оглядел столики в пару и дыму, плакаты —

[1] Понять — значит простить (*франц.*).

тонущие суда, физиономии японцев — и вижу: Джимми Бернс, сидит с каким-то типом. С тех пор как мы были «товарищ Джо» и «товарищ Джим», мы виделись всего раза два, ну три от силы. Он изменился. Лоб выше, взор строже. Я киваю, но не получаю никакой награды своих трудов. Смотрит сквозь меня: очевидно, так предписано смотреть на «ренегатов».

Почти тут же приходит Майрон, с ходу заводит о работе, но я буркаю:

— Погоди минуточку. Помолчи.

— В чем дело?

— Так, есть кое-что. Объясняю. Видишь того типа в коричневом костюме? Джимми Бернс. Десять лет назад я имел честь называть его «товарищ Джим».

— Ну и?

— Я поздоровался, а он сделал вид, что меня нет на свете.

— И плюнь.

— Но разве это естественно? Я же был его близким другом!

— Ну и?

— Хватит нукать! — Меня уже понесло.

— Просто мне интересно, неужели ты хочешь, чтоб он распростер тебе объятья?

— Ничего ты не понимаешь. Плевать я на него хотел.

— Тогда я ничего не понимаю. Должен признаться — ровно ничего.

— Нет. Ты послушай. Он не имеет права смотреть сквозь меня. Вечно со мной такое. Тебе не понять, ты всегда держался в стороне от политики. Но я-то знаю, что почем, и я сейчас встану, подойду и поздороваюсь, а уж он — как хочет.

— Не идиотничай. Зачем нарываться на неприятности? — говорит Майрон.

— Хочу и буду нарываться. Знает он меня или нет? Прекрасно знает. — Злость моя растет с каждой секундой. — Удивляюсь, как до тебя-то не доходит.

— Я пришел поговорить с тобой насчет работы, а не смотреть на твои припадки.

— А-а, припадки! Думаешь, мне очень нужен этот Джим? Тут принцип. Ты, кажется, не улавливаешь. Только потому, что я уже не являюсь членом их этой партии, ему и подобным кретинам велено меня не замечать. Ты понимаешь, чем это пахнет?

— Нет, — сказал Майрон беспечно.

— Хорошо, объясняю. Я имею право на то, чтоб со мной разговаривали. Это элементарно. Вот и все. Я настаиваю.

— Ох, Джозеф, — сказал Майрон.

— Нет, ты послушай. Запрети человеку разговаривать с другим человеком, запрети ему с кем-то общаться, и ты запретишь ему думать, потому что, как тебе подтвердит не один писатель, мысль — это средство общения. Но его партия хочет, чтобы он не думал, а подчинялся дисциплине. Ясно? Потому что, видите ли, это революционная партия. Вот что меня бесит. Когда кто-то подчиняется такому приказу, он сам уничтожает свободу и прокладывает путь тирании.

— Ладно тебе. Нашел из-за чего кипятиться.

— Тут еще в сто раз больше надо кипятиться, — говорю я. — Это очень важно.

Майрон на это:

— Но ты ведь давным-давно с ними порвал, верно? Неужели же только сейчас до тебя дошло?

— Я ничего не забыл, вот в чем дело. Пойми, я их совсем не за тех принимал. Я ведь прекрасно помню, я думал — они искренне верят в эту свою лабуду, святое служение человечеству и тэ пэ. Святое служение! Ко времени разрыва я уже допер, что любая больничная нянечка, когда утку выносит, больше делает для человечества, чем все члены их организации, вместе взятые. Странно, ведь в свое время я бы ужаснулся, услышав такое. Ах! Реформизм?

— Да, я что-то такое слыхал, — поддакнул Майрон.

— Естественно. Реформизм! Это жупел! Через месяц примерно после того, как наши пути разошлись, я сел и написал покаянное письмо Джейн Аддамс[1]. Она еще была жива.

— Н-да? — смотрит с сомнением.

---

[1] Джейн Аддамс (1860—1935) — известная благотворительница, деятель американского рабочего движения.

— Только не отправил. Может, зря. Ты, кажется, мне не веришь?

— С чего ты взял?

— Я разочаровался в возможности переделать мир до основанья а-ля Карл Маркс и решил, что до поры до времени не помешает залечить кой-какие раны. Потом и это, конечно, прошло...

— Прошло? — спрашивает Майрон.

— Господи! А то ты не знаешь, Майк, — рявкаю я во весь голос.

Тип, который с Бернсом, поворачивается, но тот продолжает делать вид, что меня не узнает.

— Ладно, — говорю я. — Не смотри в ту сторону. Так. Этот малый сумасшедший, Майрон. Он давно не в себе. Все изменилось, он безнадежно отстал, а думает, что ничего не произошло. Продолжает носить эту пролетарскую челку на благородном челе и мечтает стать американским Робеспьером. Все они по уши в дерьме, а он, видишь ли, верит в революцию. Пусть хлещет кровь, власть рвут из рук в руки, зато государство тогда отомрет согласно не-у-мо-ли-мой логике истории. Спорю на что угодно. Знаю я его как облупленного. Сейчас я тебе кое-что про него расскажу! Знаешь, что он держит у себя в комнате? Как-то захожу к нему, а у него на стене огромная карта города, вся в булавках. Спрашиваю: «Это что, Джим?» И тут он мне — ей-богу, не вру — начинает объяснять, что готовит план уличных стычек на первый день восстания. Все ключевые пункты обозначены кодами, все размечено — где какие мосты, где какие крыши, какие стенды на каком углу, — чтоб сразу, значит, все пустить на возведение баррикад. Даже недействующие канализационные трубы и те учтены: для храненья оружия. Из официальных данных все повыудил. Я тогда еще не понимал, какой это бред. Что только мы тогда не принимали как должное! Просто фантастика. А он — все тот же. Карта, уверен, еще висит. Это какая-то наркомания, Майк. — И тут я громко кричу: — Эй, Бернс!

— Хватит тебе, Джозеф. Ради бога. Что с тобой? Все смотрят.

Бернс щурится на меня и продолжает разговор с типом, который тем не менее снова зыркает в мою сторону.

— Э, тебе не понять! Бернс не желает замечать мою особу. Я не в силах привлечь его внимание. Меня нет. Был и сплыл. Вот так. — Я щелкнул пальцами. — Я — презренный мелкобуржуазный ренегат. Что может быть ужасней? Идиот! Эй, наркоман! — ору я.

— Ты что, спятил? Пошли. — Майрон оттолкнул столик. — Я тебя уведу отсюда, а то в драку полезешь. Ты же сейчас полезешь в драку. Где твой плащ? Этот? Нет, ты рехнулся! Вернись!

Но я уже вне его сферы досягаемости. Стою прямо против Бернса.

— Я с тобой поздоровался, ты что, не заметил?

Он не отвечает.

— Ты что, меня не знаешь? А я, кажется, тебя знаю очень даже хорошо. Отвечай: ты знаешь, кто я?

— Знаю, — говорит Бернс тихо.

— Именно это я и хотел услышать, — говорю я. — Просто надо было выяснить. Иду-иду, Майрон. — Я высвободил от его руки свое плечо, и мы вышагнули наружу.

Я понимал, что произвел на Майрона скверное впечатление, но не собирался изворачиваться и оправдываться и ограничился краткой фразой, что, мол, последнее время я в жутком состоянии. Да и то когда мы, уже в другом ресторане, приступили к жаркому. Я вдруг успокоился. Не понимал и сейчас, между прочим, не понимаю, что на меня нашло. Сказалось, наверно, жуткое напряжение. Но как объяснить это Майрону, не вдаваясь в долгий и нудный анализ своего состояния и его истоков? Ему бы стало противно, а я бы не удержался и распустил нюни.

Поговорили о работе. Он пообещал порекомендовать меня начальству. Он надеялся (по телефону это как-то определенней звучало), что дело выгорит. Майрон любит меня, любит, я же знаю. Но ему тяжелым трудом досталась эта должность, а он реалист и, естественно, скоренько сделал вывод, что не может взять на себя такую ответственность. Мало ли что я выкину, вой подниму из-за «принципов» или еще каким-то вывертом его подведу. Нет, после того, что сейчас было, я не могу его осуждать.

Ладно, сколько можно казниться? Сцену закатывать явно не стоило, кто спорит, хотя

не возмущаться Бернсом тоже нельзя. Приплетать письмо Джейн Аддамс явно не стоило. И что меня дернуло? Чем-то хотелось козырнуть, но неужели нельзя играть потоньше? Из элементарной честности я хотел было признаться. Но если бы я сказал Майрону это и больше ничего (а больше я говорить не собирался), он бы совсем запутался и вообще на меня плюнул. Лучше промолчать.

Так что я на прощанье сказал:

— Майк, если у тебя есть на примете другая кандидатура, ты не смущайся. Я же не знаю, сколько я тут еще проторчу. В любой момент могут прислать повестку, и все лопнет. Неудобно. Но спасибо, что вспомнил.

— Ну что ты, Джозеф...

— Ладно, Майк. Я ведь серьезно.

— Нет, я тебя предложу. И вообще, Джозеф, как-нибудь надо бы встретиться. Пообщаться. Давай на днях.

— Хорошо. Договорились. Только из меня сейчас какая компания? Я ж не знаю, на каком я свете. А насчет этой работы забудь. — И я быстро зашагал прочь в уверенности, что снял у него камень с души и достойно реабилитировался.

Потом, обдумывая эти перипетии, я был уже меньше склонен валить всю вину на себя. Майрону, между прочим, стоило поменьше беспокоиться о том, как я, выставляя себя идиотом, привлекаю внимание к его особе, а побольше заинтересоваться причинами моего срыва. Если бы он дал себе труд призадуматься, он бы сообразил, что у моего поведения есть свои причины — причины, которые могли бы и встревожить друга. Более того, не мешало бы сообразить, что я не из-за пустяков взъелся на Бернса. Потому что его хамство отражает всю предательскую суть начинания, которому я когда-то себя посвятил, и моя злость, хоть и вылилась на Бернса, на самом-то деле относилась к тем, кто за ним стоит.

Но, наверно, я слишком много требую от Майрона. Он горд тем, чего добился: он преуспевающий молодой человек, его ценят, он пристроен и ничего не знает о тех кратерах духа, в которые недавно пришлось заглянуть мне. Но что противно: Майрон, как многие, научился ценить удобства. Научился лавировать. И это не отдельный порок. У него куча ответвлений, притом отвратных.

Я уже несколько месяцев злюсь на друзей. Считаю, что они меня «предали». После того вечера у Серватиусов, в марте, я все думаю на эту тему. Я ее раздул до размеров катастрофы, хотя в общем-то высосал из пальца и терзался из-за их предательства, когда на самом деле во всем надо винить мою же собственную близорукость и ходульные, безвкусные установки, от которых впредь отрекаюсь, предоставив их исключительно Джозефу. Честно сказать, этот вечер у Серватиусов только раскрыл мне глаза на дефекты окружающих, которые, будь я попроницательней, я бы давно раскусил и о которых, между нами, все время отчасти догадывался.

Говорю — отчасти. И тут придется, чувствую, воскресить Джозефа — существо, полное планов. Он задавался вопросом, на который я до сих пор не прочь получить ответ, а именно: «Как должен жить хороший человек? Что он должен делать?» Отсюда и планы. Увы, в основном дурацкие. Вдобавок он из-за них изменял самому себе. Совершал обычные ошибки человека, который видит только то, что хочет видеть или, ради своих планов, *должен* видеть. Пусть и не зря считается, что человек рождается убийцей своего отца и своего брата, с яростной злобой в крови, диким животным, которое необходимо укротить. Но нет, он в себе не находил этой первозданной ненависти. Ни за что. Он верил в собственную кротость, верил свято. И позволил-таки этой вере застить его природную проницательность, чем оказал и себе и своим друзьям дурную услугу. Нельзя требовать от людей того, чего они не могут дать.

А он чего хотел: «колонии духа», братства, устав которого запрещал бы злобу, вражду и жестокость. Рвать, грызть, убивать — это для тех, кто забыл о временности бытия. Мир жесток, он опасен, и если не принять мер, существование может воистину стать — по выражению Гоббса, давно осевшему в мозгу у Джозефа, — «гадким, диким и скоротечным». А можно этого избежать, если вместе с несколькими единомышленниками защитить себя от грубости и напастей мира.

Ему казалось, что единомышленников таких он нашел, но уже до вечера у Сервати-усов он (верней, я) стал сомневаться в успехе предприятия. Я начал понимать, что такой сложный план наткнется на естественные свойства человека, включая испорченность. Нельзя не считаться с фактами, а испорченность — факт, тут никуда не денешься.

Но вечер этот меня буквально доконал.

Я не хотел идти. Меня потащила Айва из лояльности к Минне Серватиус, потому что она знает, как неприятно хозяйке, когда ее подводят. Вечера давно уже — вечера вообще — мне абсолютно не нужны. Очень приятно встретиться с глазу на глаз или, скажем, двумя парами, но когда все в сборе — на меня нападает тоска. Все заранее знаешь. Все шутки предсказуемы, только кто-то откроет рот, уже знаешь всю программу — и кто в результате обидится, кто сконфузится, кто будет польщен. Знаешь, как поведет себя Стилман, как — Джордж Хейза; знаешь, что Абт будет всех подначивать, а Минна будет изводиться из-за мужа. Знаешь, что идешь на муку, на испорченное настроение, и все равно идешь. Зачем? Потому что Минна готовилась. Потому что там будут твои друзья. А они идут, потому что будешь ты, и нехорошо обижать людей.

Едва духота и стрекот хлынули на нас из открытой двери, я пожалел, что не настоял на своем, хотя бы в виде исключения. Минна встретила нас в прихожей. Черное платье, высокий ворот с серебряным кантиком. Ноги голые, красные босоножки на высоких каблуках. Мы не сразу заметили, как она надралась. Сперва показалось — вполне владеет собой. Лицо белое, лоб наморщен. Потом уж разглядели, что она вся потная, глаза пляшут. Посмотрела на Айву, на меня — и молчит. И непонятно — что дальше. Потом вдруг как крикнет: «Явились! А ну-ка — туш!»

— Кто? — Джек Брилл высунул голову в дверь.

— Джозеф с Айвой. Всегда последние являются. Ждут, пока все надерутся, чтоб любоваться потом, как мы выставляем себя идиотами.

— Это я виновата, — залепетала Айва. Нас обоих ошарашили вопли Минны. — У меня дикий насморк, и...

— Душка, — сказала Минна. — Я ж пошутила. Заходите.

И повела нас в гостиную. Надсаживался патефон, но гости трепались, никто не слушал музыку. И всю эту сцену, всю до малейших деталей можно было предсказать заранее, за много часов и дней, даже недель: светлая модная мебель в шведском стиле, бурый ковер, репродукции Шагала и Гриса[1], свисающая с камина лоза, чаша с кохасским пуншем. Минна напригласила «посторонних» — то есть, конечно, знакомых, но не принадлежащих к нашему кружку. Была одна молодая женщина, меня с ней когда-то знакомили. Я ее запомнил из-за чуть выпяченной верхней губы с пушком. В общем, вполне ничего. Имя забыл. Может, сослуживица Минны? Толстый, в стальных очках, кажется, муж. С ним я тоже знаком? Хоть убей, не помню. Но в таком грохоте было не до того. Знакомили — не знакомили. Хотя кое-кто из таких посторонних, Джек Брилл, например, в свое время очень даже у нас прижился. Остальные так и остались неразличимой массой и в случае надобности воскрешаются в памяти как «тот тип в очках» или «та хилая парочка».

Но вот и друзья — Абт, Джордж Хейза, Майрон, Робби Стилман. Они были в центре. Выступали. Остальные только смотрели, и неизвестно, приятно им было таким образом просто создавать фон или наоборот, да и сознавали ли они себя массовкой? Вечер шел себе своим ходом. Если они и понимали, что происходит, то старались получить максимальное удовольствие.

Как, впрочем, и вы. Произведя первый обход гостиной, вы отступаете в сторонку со стаканом и сигаретой. Садитесь — если место найдете — и смотрите на, так сказать, актеров и на танцующих. Слушаете, как Робби Стилман в сотый раз повествует о злоключениях девушки-заики или о нищем с портативным приемничком, которого он встретил на ступенях Аквариума. Вы нисколько на него не в претензии. Понятно, он сам не рад, что начал, и обязан договаривать то, чего никто не хочет слушать. Он не виноват.

Минна переходила от группки к группке нетвердо, на каждом шагу рискуя сверзиться с высоты своих каблуков.

Наконец остановилась перед Джорджем Хейзой. Мы слышали, как они препирают-

---

[1] Хуан Грис (1887—1927) — испанский художник-модернист.

ся. Она, оказывается, заставляла его начитать на магнитофон поэму, которую он внедрял в массы давно еще, когда работал под сюрреалиста. К чести его, он отнекивался. То есть вилял, краснел и нервно улыбался. Он хочет забыть грехи юности. Всем осточертела эта поэма, ему в первую очередь. Его поддержали. Абт, не без яда в голосе, сказал, что Джордж сам имеет право решать, читать поэму или нет. А поскольку все ее слышали... сто раз...

— Не все, — сказала Минна. — И при чем это тут, если я хочу ее записать. Талантливая вещь.

— Считалась талантливой.

— Считается до сих пор. Очень даже талантливая.

Абт смолк, так как ситуация становилась двусмысленной. Абт с Минной когда-то собирались пожениться, но, по никому из нас не известным причинам, она вдруг решила выйти за Гарри Серватиуса. Какая-то сложная история оскорбленных чувств. Атмосфера неловкости сгущалась. Абт ретировался, и Минна добилась своего. Поэму записали. Голос Джорджа странно звенел и срывался.

Я одинок,
Мой гребень перебирает волосы, как реестр печалей...

Джордж с виноватой ухмылкой попятился от магнитофона. Одна Минна была довольна. Она поставила запись снова.

Я спросил у Майрона:

— Что сегодня не так, не знаешь?

— А... опять-таки Гарри, я думаю. Он в кабинете с Хилдой Хилман. Целый вечер сидят. Разговаривают.

— Джозеф, — говорит Айва, — не принесешь мне еще? — и протягивает стакан.

— Айва, — хмыкает тут Джек Брилл, — ты с ним поосторожней.

— Это ты про пунш?

— Он легко идет, а потом разбирает.

— Может, тебе хватит? — говорю я. — Ты же плохо себя чувствуешь.

— Сама не знаю, почему такая жажда напала. И не ела соленого.

— Давай я тебе лучше воды принесу.

— Воды! — Стакан отдернут с презрением.

— Тебе сегодня больше не стоит пить. Пунш очень крепкий, — говорю я ей.

Тон мой не оставляет сомнений. Я требую послушания. Тем не менее чуть погодя я обнаруживаю ее возле пунша и хмуро наблюдаю, как жадно она пьет. Я до того разозлился, что чуть не подошел и не вырвал у нее стакан. Вместо этого я затеваю с Абтом разговор на первую подвернувшуюся тему, о войне в Ливии. Переговариваясь, мы продвигаемся к кухне.

Абт, может быть, самый старый мой друг, самый близкий. Я очень к нему привязан, наверно, я всегда ценил его больше, чем он меня. Ну да какая разница. В конце концов, он же любит меня и ценит. В колледже мы одно время делили комнату. На время разошлись из-за политики. Потом вернулись в Чикаго, дружба возобновилась, а когда он работал над докторской — до прошлого июня он преподавал политологию, — то практически у нас жил.

— Мы в огромном долгу перед итальянцами, — начал Абт. — Они трезво относятся к войне. Хотят домой. Но этим наш долг не исчерпывается. Капитализм так и не превратил их в жертвы сложения и вычитания. Они остались мыслящими людьми. (Говорит медленно. Я понял: импровизирует, обычная его манера.) Не стали рубаками. У них больше вкуса и меньше ходульной спеси, чем у потомков Арминия[1]. Тогда, конечно, они промазали. Тацит раздул германцев...

Моя злость на Айву поблекла. Я с увлечением слушаю гимн итальянцам.

— Итак, мы в долгу, — говорю я, а сам улыбаюсь. — И по-твоему, они собираются нас спасать?

— Они нам ничего плохого не сделают. И цивилизация, того гляди, начнет свое возвращение оттуда, где родилась, со Средиземного моря.

---

[1] Арминий, или Герман (18 или 16 г. до н.э. — 19 или 21г. н.э.) — германский вождь, разгромивший римлян в битве у Тевтобургского леса.

— Ты испытал эту штуку на докторе Руде?

— Уж он-то принял бы все за чистую монету и попытался бы слямзить идею.

Доктор Арнольд Руд, или Мэри Бейкер Руд[1], как его называет Абт, — декан его факультета и ректор колледжа.

— Как, кстати, старик?

— А что ему сделается — все лоснится, все самый дорогой лектор в городе и все так же темен, как ночь. Обожает меня обращать, и по два раза в неделю приходится его лицезреть и обсуждать «Науку и здоровье». В один прекрасный день я всажу в него нож и скажу: «Молись, и Господь тебе поможет, засранец». Конечно, дешевый аргумент, не лучше, чем у Джонсона, когда он пинал камень, чтобы образумить Беркли[2]. Но просто не постигаю, что бы еще с ним предпринять.

Тут я захохотал, и сразу другой, пронзительный хохот, почти стон, отозвался из глубины дома. Я уставился в ту сторону.

— Минна, — сказал Абт.

— Ну сделайте что-нибудь... — Я ужаснулся, услыхав этот выкрик и вспомнив, с каким она лицом нас приветствовала.

Веселье шло своим ходом, и я задумался над тем, кому вообще нужны эти сборища. Вдруг меня осенило, что цель подобных мероприятий издавна — высвобождение чувств из застенка сердца, и как гонит зверей инстинкт искать известь или соль, так и нас с элевсинских времен нужда сгоняет на празднества, чтоб с танцами и обрядами демонстрировать страданья и муки, выпускать на волю злость, желанье, тоску. Только выходит у нас неуклюже и пошло, мы утратили ритуальные навыки, полагаемся на пьянку, поубивали друг в друге богов и мстительно воем от боли. Я содрогнулся от этой жуткой картины.

— Да уж, — сказал Абт. — Плоховато ей.

Мне полегчало от того, что он смотрит на все так же, как я.

— Только зря она себе позволяет... — Торопливый топоток близился к кухне. — Есть в конце концов такие вещи, как... — Но снова он не кончил фразу. Вошла Минна в сопровождении Джорджа.

— Интересно, и какие же вещи?

— Это ты голосила? — спросил Абт.

— Я не голосила. Отойди-ка от холодильника. Мы с Джорджем пришли за льдом. И почему, спрашивается, вы затаились на кухне? Между прочим, у нас званый вечер. Эта парочка, — сказала она Джорджу, — вечно прячется по углам. Этот вот, в костюме гробовщика, и этот... круги под глазами. Как заговорщики. — И, шатаясь, вышла. Джордж с вытянутой, осуждающей физиономией потащил за ней вазу со льдом.

Абт сказал:

— Хозяйка веселится на всю катушку, а?

— Гарри что, тоже надрался? Да что там у них?

— Может, чуть и перебрал. Но, между прочим, он знает, что делает. Э, да какое нам дело...

— Я думал, у них все хорошо.

— Какие-то трения. Но — ах! — тут он скроил гримасу. — Все это довольно неаппетитно.

Я поддакнул:

— Уж конечно.

— И с меня на сегодня хватит. Эти штучки с поэмой Джорджа...

— А-а, ну да.

— Лучше от греха подальше.

Я совсем сник. Голос у Абта и лицо были ужасно несчастные. Не то чтобы он редко бывал несчастным, скорей наоборот. Но сегодня его обычный коктейль натужного веселья с желчью как-то больше горчил. Я это заметил сразу, и хоть хохотал, но, между про-

---

[1] Мэри Бейкер Гловер Эдди (1821—1910) — американский теолог, основательница так называемой христианской науки исцеления от болезней.

[2] Джордж Беркли (1685—1753) — ирландский философ-идеалист, писатель, англиканский епископ, автор книги «Принципы человеческого знания». Сэмюэл Джонсон (1709—1784) — знаменитый английский писатель, лексикограф.

чим, поежился, когда он размечтался насчет ножа в груди доктора Руда. Я вздохнул. Конечно, он до сих пор влюблен в Минну. Или, может, точнее сказать — так и не оправился от разочарования? Но не только в этом дело, я понял его глубинное недовольство, которое не покрыть простыми терминами — «разочарованье», «любовь». Более того, я и на себя разозлился, потому что мне, в глубине души, поднадоела несчастность Абта, поднадоело наблюдать, как он снова и снова собирает для нее все силы, как выдохшийся, но опытный боксер. Я мобилизовал все свое сочувствие. Ему же плохо, в конце концов, правда?

Мы возвращаемся в гостиную. Айва сидит со Стилманом у пианино. Наконец являются Серватиус и Хилда Хилман. Танцуют. Она склоняет лицо к нему на грудь. Переступают медленно, прижимаются друг к другу.

— Дивная парочка, а? — говорит Минна. Она стоит за нами. Мы испуганно оглядываемся.

— Да, а что? — говорит она. — Гарри танцевать умеет. И она ничего. — Мы не отвечаем. — Эх вы, рыбы холодные. — Пошла было прочь, передумала. — И нечего нос задирать. Гарри-то мужчина, а ты кто? Да и ты тоже.

— Минна, — говорю я.

— Сам ты Минна.

Мы отворачиваемся.

— Дела все хуже и хуже, — говорю я, чтобы что-то сказать. — Надо сматываться. — Абт молчит.

Я говорю Айве, что иду за ее пальто.

— Ну, зачем? — говорит она. — Мне пока не хочется уходить. — И считает, что вопрос исчерпан. Спокойно озирается в приятном подпитии.

Я не отступаю:

— Поздно уже.

— Не разбивайте компанию, — говорит Стилман. — Немножко еще посидите.

Красный, во весь рот улыбаясь, на нас надвигается Джек Брилл. Говорит Абту:

— Моррис, Минна тебя ищет.

— Меня? Что ей надо?

— Спроси что-нибудь полегче. Только уж точно — свое она получит.

— Моррис! Моррис!

— Я же говорил! Вот она собственной персоной, — говорит Брилл.

— Моррис, — говорит Минна, сжав его плечо. — Я хочу, чтобы ты что-нибудь сделал ради общества. Надо что-то предпринять, все совершенно окислились.

— Боюсь, я не могу тебе помочь.

— Нет, можешь. У меня гениальная идея.

Никто не смеет спросить, в чем эта идея заключается. Насладясь всеобщим смятением, Джек Брилл произносит:

— И что за идея, Минна?

— Сейчас Моррис кого-нибудь загипнотизирует.

— Ошибаешься, — говорит Абт. — Я это бросил. Пусть кто-нибудь другой оживляет твое общество. — Ледяным тоном, отводя от нее глаза.

— Идея неудачная, Минна, — вставляю я.

— Вот и нет. Чудная идея. А ты не суйся, куда тебя не просят.

— Брось, Минна, — говорит Джордж Хейза. — Это никому не интересно.

— Ты тоже умолкни, Джордж. Моррис, — улещает она, — я же знаю, ты просто злишься. Ну пожалуйста, ну один разок. Если сидеть сложа руки, они все сейчас по домам разбегутся.

— Но я забыл. У меня ничего не получится. Сто лет не практиковался.

— Ах, ничего ты не забыл. Все ты можешь. У тебя такая сильная воля.

— Отвяжись от него, Минна, — говорю я.

— Она своего добьется, — хмыкает Джек Брилл. — Вот увидите.

— Ты сам ее подначиваешь, — одергиваю я строго.

— Ее не требуется подначивать. Уж мое-то дело десятое. — Он еще улыбается, но за улыбкой сквозит обида, и напряжение, и холодность. — Просто забавно наблюдать, как она добивается своего.

— Моррис, ну!

— Пусть кто-нибудь другой развлекает публику. Например, Майрон.

— Майрон? Да он ни на что не способен!

— И слава богу, — говорит Майрон.

— Только вот кого бы тебе подыскать для опыта?

— Зря не трудись.

Она проходится по клавишам:

— Внимание! — Серватиус и Хилда не прерывают танца. — Моррису нужен кто-нибудь. Он собирается гипнотизировать. Джуди, ты как? — Джуди — та девица с очкариком. — Нет? Боишься себя выдать? Да, тут отвага нужна. Стилман, а ты как? Нет, эти люди против. Может, кто-нибудь сам вызовется? — Добровольцев нет. — Сплошные зануды.

Я говорю:

— Никого это не увлекает. Так что сама понимаешь...

— Ну что ж, значит, гипнотизируй меня. — Она поворачивается к Абту.

— Глупейшая мысль, — говорит Джордж.

— Почему, интересно, он не может меня гипнотизировать?

Мы ждем, что скажет Абт. Пока непонятно, что он намерен делать. Он смотрит на нее, вздернув брови, застланным, загадочным взглядом доктора, когда тот томит профана, соображая, как понятней ответить ему на дурацкий вопрос. Глухой верхний свет обращает его лицо в силуэт из грубой бумаги, пересеченный черной прямой прядью и хитро замятый у виска.

— Вот посмотришь, — дышит мне в ухо Джек Брилл, — она его достанет.

— Ну да! Ни за что!

Абт мешкает.

— Ну? — говорит Минна.

— Ладно, — говорит Абт. — Подумаешь, дело большое...

— Моррис... — Но он и не глянул в мою сторону.

Остальные тоже пытались что-то вякать.

— Она же пьяна, — говорит Стилман.

Джордж говорит:

— Ты что, не соображаешь, чем это пахнет?

Он никого не слушает, он не собирается оправдываться и объясняться. Они с Минной двигаются в сторону кабинета.

— Мы вас кликнем. То есть Моррис кликнет, — говорит Минна. — И тогда все можете входить.

И ушли. Мы молчим. Танцы прекратились. Джек Брилл, подпирая плечом стену и посасывая трубку, оглядывает нас, кажется, с наслаждением. Серватиус с Хилдой садятся на узкий диванчик в углу. Они единственные разговаривают. Слов не разобрать, но то и дело его обволакивающий говорок прерывается ее острым смешком. Интересно, что он может сказать такого, что так ее веселит? Выставляет себя полным идиотом. И если правду сказал Абт и он пьян не до потери сознания, тем хуже для него. Айва все вытягивает мелкие глоточки из стоящего на рояле стакана. Мне не нравится дурацкая сосредоточенность, с какой она разглаживает у себя на коленях салфетку, и быстрый отуманенный взгляд, которым она обводит гостиную.

Она застряла с Гарри и Хилдой, когда нас позвал Абт. Остальные ввалились в кабинет и напряженно молчали, разглядывая распростертую на кушетке Минну. Сначала я думал даже, что она притворяется: слишком разительная перемена. Но вот вижу — нет, никакого притворства нет. Она лежит, вольно раскинувшись под отвернутой к стене резкой лампой. Одна босоножка расстегнута и болтается на пятке. Руки протянуты вдоль тела ладонями вверх. Мы видим узкие запястья, видим родинку на сплетении вен предплечья. И несмотря на широкие бедра, на все эти женские выпуклости и подробности, коленки под платьем, плавное впадение шеи в ключицы — в ней осталось так мало собственно женского. Скорей человек вообще, печальный притом. Меня просто пробрало от ее этого вида. Я еще больше разозлился на представление Абта.

Он сидит с ней рядом и нежно воркует. Она дышит ровно, с присвистом. И чуть задрана над зубами верхняя губа.

Он ей начал внушать, что она мерзнет.

— Наверно, кто-то отопление выключил. Я дрогну. А ты? Я вижу, ты дрогнешь. Тут холодно, просто стужа.

Она вздохнула и подтянула коленки. Потом он сказал, что ущипнет ее за руку, а она не почувствует боли, и она правда не почувствовала, хотя стиснутое место на руке еще долго белело. Потом он сделал так, что она не могла шевельнуть рукой, и приказал поднять эту руку. Она мучилась, пока он ее не освободил. Сами почти в трансе, жадно вглядываясь и пугаясь того, что видим, мы не можем оторваться от ее лица, от этой вздернутой губы, помятых глаз. Он дал ей передохнуть, но только на минуту. Потом велел вспомнить, сколько она выпила стаканов пунша. Он будет называть числа, а она кивнет, когда он угадает. Тут глаза под веками метнулись, как бы в знак протеста. Он начал счет.

Я стою у самой кушетки, с угла, так что голая пятка Минны, та, с которой свисает босоножка, касается моей брючины. Вдруг мне хочется пощупать пальцем ее эту родинку. Я смотрю на ее лицо, на сомкнутые веки, и недовольство Абтом перерастает в злость. Да-да, он же получает удовольствие! Что делать? Надо поскорей все это прекратить. Он тем временем считает. «Шесть? Семь?» Она пытается и не может ответить. Все-таки чувствует оскорбление? «Значит, не припоминаешь? Нет?» Она перекатывает голову. «Может, считать разучилась? Сейчас проверим. Я несколько раз постучу по твоей щеке. Ты сосчитаешь и скажешь, сколько. Поехали?»

— Оставь ее, Моррис. С нас хватит, — говорю я.

Он будто не слышит.

— Ну, приступим. — Он четыре раза легонько ее ударяет.

Губы Минны изображают зачаточное «ч», но сразу опадают, и вот она уже сидит с открытыми глазами, кричит:

— Гарри! О, Гарри! — и рыдает с перекошенным, ужасным лицом.

— Я тебе говорил, ты слишком далеко заходишь, — говорю я.

Абт удивленно тянет к ней руку.

— Оставь ее в покое, — крикнул кто-то.

— Гарри, Гарри, Гарри!

— Сделай что-нибудь, Моррис, — рявкнул Робби Стилман. — Шлепни ее по щеке. У нее истерика!

— Не трогай ее. Я иду за Серватиусом. — И Джек Брилл хочет бежать, но муж уже стоит на пороге.

— Гарри, Гарри, Гарри!

— Отойдите, она его не видит, — говорит Джордж.

— Освободим кабинет. — Джек Брилл теснит всех к двери. — Пошли, не стойте.

Абт отпихнул руку Брилла, что-то буркнул мне, я не расслышал.

Айвы в гостиной не было. Я пошел искать и обнаружил ее за кухней, у черного хода.

— Ты что тут делаешь? — рявкнул грубо.

— Ну душно стало. Решила проветриться.

Я заталкиваю ее в дом.

— Ну что с тобой сегодня? Что на тебя нашло?

Оставляю ее на кухне, сам иду к кабинету. Джек Брилл охраняет дверь. Я спрашиваю:

— Ну, как она?

— Ничего, отойдет, — говорит Брилл. — Там при ней Гарри и Джордж. Жуть, однако.

— Моя жена тоже перебрала.

— Твоя жена? Айва, ты имеешь в виду?

— Ну да, Айва. — Он совершенно прав. Я с ним говорю как с чужим, он и обиделся. Раньше, когда мне показалось, что он подначивает Минну, я на него разозлился. Но сейчас понимаю, что, в конце концов, он не хуже других.

— Гнусный вечерок, да?

— Да уж, — соглашаюсь я.

— Ты когда-нибудь задумывался над тем, что происходит с этими людьми?

— Задумывался. А ты как считаешь?

— А-а, заинтересовало мое скромное мнение? — улыбается Брилл. — Хочешь знать, как это смотрится со стороны?

— Ты не совсем со стороны, Джек.

— Да, лет пять-шесть околачиваюсь вокруг да около. Ну, если тебе интересно знать мои ощущения...

— Чересчур ты со мной суров, — бормочу я.

— Возможно. Итак, это узкий, тесный кружок. Кое-кто мне нравится. Очень нравится Минна. Некоторые — обыкновенные снобы. Этих не обожаю. Льдышки. Даже ты, если не возражаешь против откровенности...

— Ну почему...

— Ты весь закрыт. Я далеко не сразу допер, что ты неплохой мужик. Сперва мне казалось, ты ждешь, чтоб человек к тебе подошел и обнюхал, как дерево. А ты, оказывается, ничего. Вот Абт — дело другое. Абт — тяжелый случай.

— Может, к нему нужен более тонкий подход?

— Хотелось бы соответствовать. Да нет уж. И потом — вы ж собираетесь до конца своих дней вариться в собственном соку. И никого не подпускать. А я такой человек — мне обидно.

— Так зачем тогда ходить?

— Не знаю. Чтоб наблюдать вас, наверно.

— А-а, понятно.

— Сам спрашиваешь.

— Ладно, все в полном порядке. Пока, Джек, — и я протянул ему руку. После минутного недоумения (кажется, наигранного) он ее пожал.

— Пока, Джозеф.

Айва была не в состоянии идти. Я взял такси, затолкал ее туда и до самого дома придерживал ей голову. Пока мы торчали у перекрестка, я оглядывал ее сумрачное лицо. Под желтым светофорным светом по мелкому желобку виска отчетливо ветвилась жилка. Я ощутил почти то же, что тогда, у кушетки Минны. Такси скользнуло черной улицей в жидких последних штрихах вечернего снегопада, укрощенного сменившимся ветром.

Что я на все это могу сказать? — думаю я судорожно, будто тоже в подпитии. Р-раз — и явилась не запылилась, вломилась в нашу среду — «грубая, низкая и короткая»[1]. Все, что я перечувствовал, глядя на Минну, что я перечувствовал, когда Джек Брилл мне выкладывал свои взгляды и когда Айва меня не слушалась, — все сразу накатило. Что я могу сказать? — повторяю я и вдруг соображаю, зачем это талдычу. Хочется оправдать Абта, защитить его, а через него и то, что осталось от «колонии духа». Ну в чем он, собственно, виноват?

Ведь что греха таить. Каждому вечно грозит, на каждого наезжает «грубая, низкая и короткая». Глядишь и раздавит. Что там колония духа. С собой бы разобраться. Кто от чего застрахован? В наши-то милые времена? Сплошное предательство. Прямо среда обитания, как вода, как воздух. И ты сообщник, ты соучастник, тебя достают.

Такси остановилось. Я помог Айве вылезти, дома раздел, уложил. Она лежала под одеялом голая и рукой заслоняла глаза от света. Я повернул выключатель, сам разделся уже в темноте.

Как, каким барьером отгородиться от сплошного предательства? Да, Абт со своей жестокостью и жаждой мести докатился до этого щипанья женской руки, но сам-то я на что способен, если копнуть поглубже? А как насчет Айвы? И насчет всех других, да, как насчет других?

Но вдруг я понял, что зря стараюсь и, как ни крути, что ни изобретай, мне не уйти от заведомо избегаемого вывода. Абта не оправдать. Он ущипнул Минну мерзко. Я не мог найти для него извинений, никаких, абсолютно. Кажется, я наконец разобрался в себе. Мне просто отвратительна его злоба, упрятанная за его этой «игрой». Первостатейная пакость, учитывая, что объект обречен на бездействие. Я долго ворочался. Утер простыней мокрый лоб и решил вернуться к своим рассужденьям с утра, на свежую голову. Хоть знал, что попал в самую точку, понял правду и уже не смогу от нее отмахнуться ни с утра, ни вечером, вообще никогда. Спал ужасно, снились кошмары.

---

[1] Ср.: «Ни искусств; ни письменности; ни общества; и — что хуже всего — вечный страх и угроза насильственной смерти; и жизнь человека, одинокая, бедная, грубая, низкая и короткая» (Томас Гоббс, «Левиафан»).

Но это еще были цветочки. В следующие месяцы я одну за другой обнаруживал бреши в том, что вокруг себя нагородил. Я взглянул на все глазами Джека Брилла, но я-то кое-что знаю получше, я увидел более мрачную картинку. И другому никому не понять, как это на меня подействовало, ведь никто, кроме меня, не может понять суть моего плана, его строгие рамки, понять, до какой степени я от него завишу. Дурацкий это план или нет, но мне он нужен такой. Презирайте мой план, пожалуйста, но нельзя презирать мои потребности.

Не был у Гарри с Минной с того самого вечера. Не знаю, как там развивались события. Думаю, в результате все обошлось. Абт уехал в Вашингтон. Пишет, спрашивает, почему редко отвечаю. Процветает в административной должности — «блестящий молодой человек», хотя, как я понимаю, не очень-то он доволен. Он, по-моему, никогда не будет доволен. Надо ему, конечно, почаще писать. Как-никак старый друг. Он же не виноват, что я его разлюбил.

23 декабря

Спал до одиннадцати. Весь день сидел, ни о чем не думая. На рождественский ужин идем к Эймосу. Айва дала ему согласие.

24 декабря

Звонил Майрон Эйдлер: его агентство решило набирать для опроса женщин. Так надежней, их ни с того ни с сего никуда не отзовут. Он-то старался, чтоб взяли меня. У него даже сохранилась копия рекомендации, которую он подавал, он ее мне пошлет в доказательство, что сдержал слово. Я сказал: зачем посылать, я и так верю. Но нет, он все равно пошлет. Он хотел бы со мной в ближайшем будущем переговорить. Условились ориентировочно на выходные. Он считает, видимо, что пора за меня взяться, протянуть руку помощи. Очень похвально, только вряд ли я ему позволю особенно развернуться.

Пришли поздравительные открытки от Джона Перла, от Абта. Надо на днях зайти купить конверты. Айва на той неделе купила открыток, а про конверты забыла. Не могу себя убедить, что игра стоит свеч, но надо праздновать, раз положено.

Ванейкер пьет эти дни как лошадь. Швыряет в соседний двор пустую тару. Сегодня утром я насчитал на снегу восемнадцать бутылочек.

Айва утверждает, что надо запирать дверь на ключ. У нее кое-что пропало. Этель Перл на день рожденья ей прислала духи — пять пробных флакончиков, и два исчезли с туалетного столика. Айва — она ведь непререкаемая — объявила: «Он клептоман». Ванейкер, естественно. Она возмущена пропажей духов, даже решила поговорить с мисс Бригс. Мне велено носить ключ от комнаты на цепочке.

26 декабря

Нет, я, кажется, не могу не влипать в неприятности. Вчера опозорился в доме у брата. Сам я не делаю из этого драму, но Айва просто изводится.

Мой брат Эймос — он меня старше на двенадцать лет — богатый человек. Начал свою карьеру посыльным на бирже, а к двадцати пяти годам стал членом правления. Семейство им гордится, а он, в свою очередь, себя показал примерным сыном, неукоснительно исполняющим родственный долг. Пробовал было опекать и меня, но скоро бросил эту затею, признался, что не понимает, чем я дышу. Оскорбился, когда я заделался радикалом, вздохнул с облегчением, когда убедил себя, что пронесло. Был недоволен, когда я женился на Айве. У собственной его жены Долли отец — богач. Он призывал меня последовать его примеру, жениться на богатой. Еще больше он возмутился, когда я отказался работать под его крылышком, как он предлагал, и занял никчемную, по его мнению, должность в бюро путешествий. Обозвал меня идиотом, мы чуть не год не виделись. Потом они с Айвой подстроили примирение. С тех пор отношенья вполне ничего, несмотря на его взгляд на мои занятия и образ жизни. Он больше не возникает, впрямую не пилит меня, сдерживается. Но так и не усвоил, что мне претят его расспросы. Иногда бестактные, а то и невежливые. Почему-то он не в силах переварить тот факт, что член его семейства может жить на такие гроши.

«Ну как? Тебя еще не повысили? И сколько же ты выколачиваешь? Может, подкинуть деньжат?»

Я постоянно отказываюсь.

Но так как я с мая сижу без работы, он теперь усиленно на меня наседает. Взял манеру присылать солидные чеки, хоть я их тут же отсылаю обратно. В последний раз он сказал: «А я бы лично взял, ей-богу. Зачем выпендриваться. Братец Эймос не такой. Вот попробуй как-нибудь, предложи мне денег и увидишь, откажусь я или нет».

Месяц назад мы были у него (он без конца нас приглашает ужинать, считая, видимо, что мы голодаем), и он устроил такую сцену, когда я отказался от тряпок, которые он мне совал, что Айва наконец шепотом взмолилась: «Ну возьми, Джозеф, ну что тебе стоит, подумаешь!» И я сдался.

Долли, моя невестка, женщина хорошенькая, следит за фигурой, пышногрудая, но это ничего, даже красиво. Роскошные темные волосы она зачесывает наверх, чтобы выгодней демонстрировать шею. Шея, надо сказать, прелесть. Я всегда заглядываюсь на эту шею. Кстати, ее унаследовала моя пятнадцатилетняя племянница Этта. В изгибе женских шей для меня чуть не главный секрет их обаяния. Легко могу понять пророка Исаию, высказавшегося по этому поводу: «...за то, что дочери Сиона надменны, и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавою поступью, и гремят цепочками на ногах, Оголит Господь темя дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их»[1].

Удивительно, как мы с ним совпали при такой несхожести склада. Именно шея эта поднятая, утонченность в сочетании с грубой древней механикой деторождения долго отождествлялись для меня с женственностью. Но тут параллель, правда, и кончается, лично у меня эта женская двойственность отнюдь не вызывает мстительной ярости, в чем я с удовольствием и признаюсь.

С племянницей у нас отношенья неважные, тут застарелый антагонизм. Родители наши были небогатые люди. Эймос смачно рассказывает, какие он претерпел лишения, как его в детстве плохо одевали, как мало мог ему дать наш отец. И они с Долли приучили Этту смотреть на бедность не как на беду, а как на признак неполноценности, считать, что ее, дочь богатого человека, отделяет пропасть от тех, кто еле-еле перебивается в обшарпанной квартире, без слуг, ходит в затрапезе и настолько лишен чувства собственного достоинства, что залезает в долги. Она предпочитает материнскую родню. У кузенов машины и дачи. Перед такими мной не пощеголяешь.

Несмотря на этот антагонизм, я до последнего времени пытался повлиять на девчонку, посылал ей книжки, дарил на день рожденья пластинки. На крупный успех я, конечно, не надеялся. Но когда ей было двенадцать лет, подрядился было ее натаскивать по французскому, рассчитывая тем самым перекинуться на еще кое-какие предметы. (Эймос, естественно, хотел дать ей хорошее образование.) Я провалился. Мои миссионерские порывы были разоблачены, когда я не успел еще втереться в доверие. Она сказала матери, что я учу ее «всяким гадостям». Не мог же я объяснить Долли, что пытаюсь «спасти» ее дочь. Она бы обиделась. Этта возненавидела наши уроки, возненавидела, естественно, и меня, и если б я не подсунул ей предлог для прекращенья занятий, она бы сама что-нибудь сочинила.

Этта тщеславна. Не сомневаюсь — часами вертится перед зеркалом. И — не сомневаюсь — обнаружила, до какой степени похожа на меня. Тут не просто элементарное родственное сходство. У нас, например, совершенно одинаковые глаза, рты тоже, даже форма ушей — острые, маленькие, у Долли совсем не такие. Нет, есть еще кой-какие черты, их заметить трудней, но она-то, конечно, высмотрела, и — при нашей вражде — ей это противно.

Разговор за ужином, который я сначала очень вяло поддерживал, коснулся ограничений на продовольствие. Долли и Эймос любители кофе, но, будучи патриотами, смиренно подавляют свои претензии. Затем перешли к одежде и обуви. Брат Долли, Лорен, представитель крупной восточной обувной фирмы, им намекнул, что правительство готовит ограничение на продажу кожаных изделий.

— Ну нет, четырех пар в год нам никак не может хватить, — заявляет Долли.

---

[1] Книга пророка Исаии, 3, 16—17.

Непатриотично, правда? И несколько нелогично, нельзя не заметить.

— Надо же понимать, что у разных людей разные потребности, — вторит ей Эймос. — Разный жизненный уровень. Правительство этого не учитывает. Даже благотворительные организации и те выделяют разные средства разным семьям. Зачем осложнять и без того трудное положение.

— Вот именно, я и говорю. Нельзя всех стричь под одну гребенку.

— Нельзя, — отвечаю я. Ибо Долли адресовалась ко мне.

— И потом будет повышенный спрос на одежду, — заявляет Эймос. — Таковы законы потребительского рынка, когда люди зарабатывают деньги.

— Джозефу-то что! Его армия приоденет. А вот нам, штатским бедняжкам...

— Джозефа это вообще не волнует, — не выдерживает Айва. — Его это и так не коснулось бы. Он никогда не покупает больше одной пары в год.

— Он и не очень-то стоит на ногах, — говорит Этта. Мать кидает на нее грозный взгляд.

— Действительно, у меня сидячий образ жизни, — говорю я.

— Я это и хотела сказать, мама.

— А я хотела сказать, что он не обращает на такие вещи внимания, — заглатывая слова, понеслась Айва. — И о еде не думает, ест что ни дай. Так легко было его накормить, когда я еще готовила.

— Тебе явно повезло. Эймос такой привереда. Просто не верится, что их воспитала одна мать.

— Его во всех отношениях нелегко было растить. — Эймос через стол меня озаряет улыбкой.

— А тебе когда в армию, Джозеф?

— Этта! — Эймос, с укором.

— Ну, дядя Джозеф, прошу прощенья. Когда тебе идти?

— Не знаю. Когда Богу будет угодно.

Это их развеселило.

— Он явно не торопится, — замечает Долли.

— А куда спешить, — вскидывается Айва. — Чем позже, тем лучше.

— О, ну конечно, конечно, — говорит Долли. — Я так тебя понимаю.

— Но сам Джозеф несколько иного мнения, правда, Джозеф? — Эймос смотрит на меня ласково. — Он с удовольствием Его бы поторопил. Во-первых, ждать тяжело, а вдобавок он упускает шанс продвижения. Вот если б устроиться на курсы подготовки офицеров...

— Не думаю, что хотел бы готовить из себя офицера.

— Интересно, почему нет, — говорит Эймос. — Почему нет?

— По-моему, война вообще бедствие. И я не хочу ее использовать для собственной карьеры.

— Но кто-то должен быть офицером. Зачем же сидеть и ждать, чтоб какой-то обалдуй делал то, что у тебя получится в сто раз лучше?

— А я привык. — Я пожал плечами. — Сейчас такое модно во многих сферах. Армия не исключение.

— Айва, и ты собираешься его отпустить с такими понятиями? Хорошенькую армию мы будем иметь.

— Таково мое убеждение, — говорю я. — Айва не может его изменить, и я даже льщу себя надеждой, что не захотела бы. Многие тащат свои амбиции из штатской жизни в армию и не прочь, так сказать, шагать по трупам. Ничуть не позорно, между прочим, быть рядовым. Сократ был простым пехотинцем.

— А-а, Сократ? Скажите пожалуйста, — говорит Эймос. — Тогда умолкаю.

Чуть погодя Эймос отозвал меня в сторонку, повел наверх, в свою спальню, достал стодолларовую бумажку и, как платочек, сунул мне в нагрудный карман:

— Это вам от нас рождественский подарок.

— Спасибо, — говорю я, вытаскиваю деньги и кладу на комод. — Но я не могу его принять.

— Почему это не можешь? Чушь, ты не имеешь права отказываться. Я же сказал —

подарок. — Он нервно тискает бумажку. — Да спустись ты с небес на землю! Разве можно так жить? Ты знаешь, какой я уплатил за прошлый год подоходный? Нет? Ну так вот, для меня это капля в море. Я ничего от себя не отрываю, пойми.

— Но зачем мне эти деньги, Эймос? Мне не надо.

— Ну как можно быть таким упрямым ослом? Ты не выносишь, когда человек тебе хочет помочь.

— Почему? Вот, на мне твоя рубашка и носки твои. Я очень это ценю, а больше мне ничего не надо.

— Джозеф! — восклицает он. — Просто не знаю, как мне с тобой быть. Я начинаю думать, что у тебя не все дома! Твои эти убеждения, твои штуки! Хотел бы я знать, чем это кончится. Нет, ты себя загубишь. Подумал бы хоть немножко об Айве. Какое ее ожидает будущее?

— Ах, будущее!

— Да, я сказал — будущее.

— Да у кого оно есть, к чертям собачьим?

— У всех, — говорит Эймос. — У меня оно есть.

— Ну, тебе повезло. Но я бы на твоем месте призадумался. Множество людей, сотни тысяч, должны оставить все мысли о будущем. Личного будущего больше нет. И мне просто смешно, когда ты мне советуешь строить мое будущее на армии, на этой трагедии. Да на свое будущее я гроша ломаного не поставлю. И с тобой, кстати, я бы тоже не поменялся... — У меня уже срывается голос.

Эймос еще постоял, спокойно меня разглядывая. Потом сказал:

— А деньги возьми, Джозеф, — и ушел. Я услышал, как он спускается по лестнице.

Я сидел на постели, обхватив руками голову. В углу горел тусклый ночник. Зажатый медной прорезью, луч натекал на штору. Остальное тонуло во мраке. Одна половина потолка превратилась в экран для прерывистых, зеленоватых проекций улицы, а на другую ребрами ископаемой рыбы прочно легла тень жалюзи. Какое впечатление произвели мои слова на Эймоса? Что он подумал? Может, окончательно поставил на мне крест. Но сам-то я что? Зачем все это нес? Какой в этом процент правды? Да, его непререкаемое убеждение в собственной застрахованности — это я отвергаю, но не будущее же вообще. Но как его убедишь? Он настолько далек от кратеров духа, что они ему кажутся чуть заметными впадинками на горизонте. А ведь когда-то они приблизятся. Каждый к ним подойдет вплотную, когда сузятся горизонты, а они сузятся, неизбежно сузятся. Я пошел в ванную, умылся. Сердце уже не так жала тоска, а когда я вешал полотенце обратно под зеркало, мне совсем полегчало. Поднял сто долларов с сумрачного ковра. Если сейчас совать ему его деньги, будет сцена. Незачем и пытаться. Я поискал в верхнем ящике у Эймоса шпильку, защепку какую-нибудь. Не нашел, стал обшаривать другие ящики, наконец в столике у Долли напал на подушечку для иголок. Подошел к постели, приколол деньги к покрывалу. Потом постоял на лестнице, послушал: внизу — хриплый голос диктора, их смех, комментарии. Решил не спускаться.

И хоть знал, что предаю Айву, бросая на Долли, Этту и Эймоса, поднялся на третий этаж. Там, на бывшем чердаке, Долли устроила музыкальную комнату. Одну стену безраздельно оккупировала мрачная громада рояля, присевшего на кривых ножках в ожидании дела. К нему, правда, редко когда прикасались, потому что внизу теперь скалил зубы, как черный затейник, более элегантный и бойкий его заместитель. У другой стены, на полке с пластинками, стоял проигрыватель. Я стал искать пластинку, которую год назад подарил Этте. Гайдн, дивертисмент для виолончели в исполнении Пятигорского[1]. Пришлось перерыть кучу альбомов. Долли с Эттой при всем своем жмотстве тут проявили расхлябанность. Много пластинок раскокали. Но моя оказалась цела, слава богу, — я окончательно бы раскис, если б они ее испортили или посеяли, — и я поставил ее и уселся лицом к роялю.

Мое любимое вступительное адажио. Трезвые вводные ноты перед задумчивой исповедью сразу открыли мне, что в страданьях, униженьях я все еще жалкий подмастерье. Ученик. И тем более не имею права надеяться их избежать. Это-то ясно. Никто вооб-

---

[1] Григорий Пятигорский (1903—1976) — американский виолончелист.

ще не имеет права требовать поблажек. Нет такого права у человека. Но как встретить испытания? Дальше идет ответ: благородно, не мелочась. И хоть пока я не могу применить это к себе, я понимаю справедливость такого ответа, и она меня пробирает. Но сам, пока не стану цельным человеком, я не смогу так ответить. Да, но как станешь цельным один, без помощи? Я слаб, я не могу собрать волю. Так где же искать помощи, где эта сила? И кто его диктует, кто его вырабатывает — закон этого благородства? Личный это, для каждого свой закон, или человеческий, или всеобщий? Музыка называет только один источник, всеобщий — Бога. Но ведь это жалкая капитуляция, если к Нему гонит уныние, растерянность, страх, животный страх, как болезнь требует лекарства, не интересуясь тем, где его раздобыть. Пластинка кончилась. Поставил сначала. Нет, не Бог, никаких божеств. Все это было, не мной придумано. Конечно, я не настолько погряз в гордыне, чтобы не признавать существование силы, большей, чем я, а я только бледный отблеск, бедный обрывок замысла. Нет, тут не то. Но я не стану хвататься в панике за первую же подсказку. Это, по-моему, преступление. Учитывая, что ответ, который я слышу, который так легко проникает в самое мое сокровенное, в дремучие, непроходимые пущи вокруг сердца, дан человеком верующим. Так неужели же нет возможности найти ответ, не жертвуя голодным разумом? Как бы лекарство не вызвало аллергию. Все это не ново, сколько уже я над этим бился. Но не так мучительно, без такой невозможной жажды ответа. Или такого горького сирого чувства. Нет, надо своими силами реабилитировать разум, при всей его слабости, нищете, при всех выгодах, какие сулит поражение.

Я в третий раз поставил пластинку, и тут заявляется Этта. Не говоря ни слова, подходит к полке, вынимает какой-то аляповатый альбом и ждет, злобно перекосив лицо — более грубый, непроработанный вариант моего собственного. Я уже почти не слышу музыку. Сразу понял неотвратимость схватки, готовлюсь. И нашариваю звукосниматель.

— Минуточку. Ты что это делаешь? — и шажок ко мне.

Я — с вызовом:

— Что такое?

— Мне нужен проигрыватель, Джозеф.

— Я еще не кончил.

— А мне-то что. У тебя времени было навалом. Теперь моя очередь. Крутит и крутит одно и то же.

— Значит, шпионила? — разоблачительно.

— При чем тут. На весь дом грохотало.

— Придется тебе, Этточка, подождать.

— И не подумаю. Хочу поставить Кугу, мне мама подарила. Я весь день мечтала послушать.

Я не отступаю от проигрывателя. За спиной жужжит диск, игла скребет последние бороздки.

— Вот послушаю вторую часть и уйду.

— У тебя проигрыватель с самого ужина. Теперь дай мне.

— Я сказал — нет.

— А кто ты такой, чтоб мне говорить — нет?

— Кто я такой?! — Я трясусь от злости.

— Это мой проигрыватель. Ты не даешь мне пользоваться моей вещью!

— Ну, это, знаешь ли, низость!

— А мне все равно, что ты про меня думаешь! — Голос перекрывает постукиванье пластинки. — Хочу слушать Кугу. И все.

— Пойми, — я изо всех сил себя сдерживаю, — я поднялся сюда с целью, с какой — я не обязан тебе докладывать. Но тебя терзала мысль, что я тут один, не важно зачем. Может, ты думала, я наслаждаюсь? А? Или прячусь? И ты прибежала посмотреть, нельзя ли мне испортить настроение. Так или нет?

— Ах, ты исключительно сообразительный мужчина, дядечка.

— Сообразительный мужчина! Фильмов насмотрелась. Придумала бы что-нибудь поостроумней. Что спорить с несмышленышем. Пустая трата времени. Но я знаю, как ты ко мне относишься. Знаю, как искренне, от души ненавидишь меня. И благодарю Бога, что ты мала еще мной командовать.

— Ты спятил, дядечка, — говорит она.

— Ладно, поговорили и будет, закроем тему, — говорю я, думая, что мне удается себя обуздывать. — Слушай на здоровье свою эту Конгу или как ее, когда я уйду. Ну как, уходишь? Или сядешь и дашь дослушать?

— Еще чего! Будешь слушать мое. Кто платит, тот и заказывает музыку! — Произнесено с таким ликованием, что я понял: заранее подготовлено.

— Ах ты зверек ты маленький, — говорю я. — Гадкий и вредный зверек. Тебя надо как следует вздуть, вот что.

— Ох! — Она задохнулась. — Ты... дрянь, дрянь, ничтожество! Голь перекатная! — Я схватил ее руку, дернул, вывернул, повернул девчонку лицом к себе. — Пусти, Джозеф, пусти, сволочь! Пусти!

С треском упал альбом. Ногтями свободной руки она целилась мне в глаза. Схватил ее за волосы, оттянул ей назад голову. Крик застрял у нее в глотке. Чуть-чуть промахнулись ногти. Она зажмурилась в ужасе.

— Будешь помнить голь перекатную, — бормочу я. И волоку ее за волосы к роялю.

— Не надо! — вопит она, вновь обретя голос. — Джозеф! Сволочь!

Я бросаю ее к себе на колени, зажимаю ими обе ее ноги. Снизу уже бегут, я слышу, но только учащаю шлепки, хочу наказать ее несмотря ни на что, независимо от последствий. Нет, даже из-за последствий тем более.

— Не рыпайся. — Я сжал ей затылок. — И не ругайся. Не поможет.

Одолев последний марш, задыхаясь, вваливается Эймос. За ним ни жива ни мертва — Долли, потом Айва.

— Джозеф, — сипит Эймос, — отпусти ее! Отпусти ребенка!

Я не сразу ее отпустил. Она не дергалась, лежала у меня на коленях, выставив пухлые бедра и метя волосами пол. То ли признавала свое соучастие, снимала с меня часть вины, то ли хотела, чтоб те полнее прочувствовали эту вину, — я сначала не понял.

— Встань, Этта, — сказала Долли отрывисто. — Одерни юбку.

Медленно она поднялась на ноги. Интересно, сумел ли кто-то из них в тот момент оценить наше абсолютное сходство.

— А теперь, если можешь, — Долли обращает ко мне расширенный взор, — объясни, что здесь происходит, Джозеф.

— Мама! — Вот тут-то она ударяется в слезы. — Что я ему сделала? Как набросится на меня!

— Да ты что! Бога ради, что ты несешь? — взвизгнул я. — Я тебя отшлепал, но ведь ты сама нарывалась!

Какое невыразимое обвинение стояло в вытаращенных глазах Долли? Я стойко парировал этот взгляд.

— Мы Этту пальцем не трогаем ни под каким видом, Джозеф.

— Назвать родного дядю ничтожеством — по-вашему, недостаточный вид? «Ни под каким видом»! Ты чего-то не договариваешь. Интересно! Выкладывай!

Долли поворачивается к Эймосу, как бы говоря: «Твой брат сошел с ума. Сейчас он и на меня накинется».

— Я бросил ее к себе на колени и отшлепал, но она заслужила большего. Ругалась как сапожник. Вас можно поздравить с прекрасными достижениями.

— Он меня дергал за волосы, вот! — кричит Этта. — Чуть голову мне не открутил!

Айва выключает проигрыватель, садится в уголок и старается изо всех сил быть понезаметней. Значит, сознает мой позор. Но никакого же позора нет. Моя злость перекидывается на нее.

— Что еще он делал? — копает Долли.

— А-а! Так ты думаешь, она что-то прикрывает! Я ее отшлепал. Что ты еще выуживаешь? На какие открытия надеешься? Какую пошлятину...

— Хватит корчить из себя сумасшедшего! — прикрикнул на меня Эймос.

— Ты тоже хорош. — Меня уже понесло. — Полюбуйся, вот вы кого вырастили. Прелестная картинка. Ты научил ее ненавидеть класс — да что! — семью, из которой сам вышел. Вот оно, твое «ни под каким видом». По-твоему, человек — ничтожество, если снашивает одну, а не десять пар ботинок в год. Подумал бы сначала! «Ни под каким видом»!

— Ты не имеешь права поднимать руку на ребенка, — говорит Долли.

— Пусть он лучше скажет, что делал в вашей комнате, — говорит Этта.

Я вижу, как Айва дергается, вытягивается на стуле.

— Что? — спрашивает Долли.

— Он был в вашей комнате.

— Я ходил туда с Эймосом, спроси его, — говорю я.

— Папы не было, я видела. Ты рылся у мамы в туалетном столике.

— Ах ты шпионка ты маленькая! — ору я, во все глаза глядя на нее. — Слыхали? Она намекает, что я вор.

— А что ты там делал? — говорит Этта.

— Кое-что искал. Можете пойти проверить, не пропало ли что. Ничего не пропало. Или лучше меня обыщите. Да, пожалуйста, обыщите меня.

— Объясни, в чем дело. Никто не говорил, что ты вор.

— Но про себя подумали. Мне совершенно ясно.

— Ну так скажи нам, — не унимается Долли.

— Я искал булавку. Мне нужно было.

В темном уголке за проигрывателем Айва уткнулась лицом в ладони.

— Эй! Ты что там изображаешь? — кричу я.

— Булавку? И все? — говорит Долли. И, несмотря на ответственность момента, позволяет себе улыбнуться.

— Да. И между прочим, это правда.

Они не отвечают.

Я говорю:

— Тем самым я окончательно разоблачен. Я не только хам, грубиян, голь перекатная, ничтожество (поклон в сторону Этты, размазывающей по лицу слезы) и (в сторону Эймоса) упрямый осел, но действительно законченный идиот. — Айва, не глядя на меня, выходит из комнаты. — Тебе, Эймос, — продолжаю я, — теперь надо постараться замять факт моего существованья. И тебе, Этта. Долли, как некровная родственница, освобождается от ответственности. Если только я не навлек бесчестья на весь род. Обвинение в воровстве, приставанье, а то похуже...

Ни Эймос, ни Долли не потрудились ответить.

Я бросаюсь по лестнице догонять Айву.

В такси она мне не сказала ни слова, вылезла, пошла впереди не оглядываясь. Распахнув дверь комнаты, я вижу, что она рухнула на кровать и разрыдалась.

— Миленькая! — кричу я. — Хорошо, что хоть ты мне веришь!

27 декабря

Утром звонил Эймос. Я отправил к телефону Айву. Поднявшись, она пожелала узнать, почему это я не объяснился, зачем счел нужным произвести на родственников ложное впечатление. Я ответил, что, поскольку они вполне удовлетворены тем впечатлением, какое сами на себя производят, мне плевать, какое впечатление на них произвожу я. Перед уходом на службу Айва долго втирала в губы мазь. Несколько часов подряд проревела.

Хоть в одном отношении отпустило. Я-то дергался из-за денег, боялся, что Этта ими не побрезгует. Но она сразу вышла тогда из комнаты, не выясняя, что я делаю возле материнского столика. Она не знала про деньги. Не то за милую душу бы их прикарманила, из чистой вредности.

Да, но вот интересно, что означает для Этты наше удивительное сходство? Хотя с чего я, собственно, взял, что наше внешнее сходство должно быть сопряжено с разной прочей близостью? Поиски ответа меня увлекают в глубь моего прошлого, в довольно мрачную шахту, нередко тем не менее поставляющую мне ценнейший материал. И оттуда я добываю, что лицо, лица вообще для меня имеют самостоятельное значение. И раз лица похожи, должно быть сходство в характере, а то и в судьбе.

У нас была красивая семья. Мне внушали, что я красив, хоть не помню, чтобы так вот, впрямую. Но как-то вся атмосфера меня наводила на эту мысль.

Помню один случай: мне года три, у мамы с теткой ссора из-за того, как она (мама) меня причесывает. Тетка, тетя Дина, заявляет, что давно пора срезать мои локоны. Мама ни в какую. Тетя Дина — женщина решительная, с властными замашками. Она меня ведет к парикмахеру и велит постричь по последней моде: это называлось «Бастер Браун». Локоны она собирает в конвертик и преподносит маме. Как мама плакала! Привожу этот эпизод, не только чтоб показать, до какой степени в моих глазах раздувалась роль моей внешности, но и потому, что всю свою юность его вспоминал еще и в другой связи.

В ящике стола в гостиной, где хранились семейные фотографии, меня с самого раннего детства привлекал один набросок. Карандашный набросок дедушки, маминого отца, незадолго до смерти. Подбородок уперт в увядший кулак, жидкая серно-желтая бороденка, стоячий взгляд и одежда как саван. С этим наброском я вырос. Но как-то раз, лет в четырнадцать, я случайно вытащил его вместе с конвертом, где сберегались мои локоны. И пока я разглядывал деда, вдруг меня стукнуло, что этот череп когда-то вберет меня, локоны, Бастера Брауна — всё. А уж попозже я пришел к мысли (не к беглой догадке — к твердой уверенности), что этот портрет — доказательство моей смертности. Костяк деда, костяки его предшественников мне даны взаймы, временно меня держат. Предшественники — еще ладно, но от деда не отвертеться. Годами он будет от меня по кусочку оттягивать, пока собственные мои кулаки не съежатся и не сделается стоячим взгляд. Грустная, но не страшная мысль. И она умеряла мое тщеславие.

Дело тогда обстояло, правда, немного сложней, не в одном тщеславии было дело. Все свое достояние я видел тогда в лице. Подарок от предков, оно мне казалось и средством связи с миром, возможностью о себе заявить миру. Рассуждал я об этом, конечно, про себя, втихомолку.

Но мало этого, сознавая преимущества своей внешности, я относился к ней с подозрением. Мысль о смертности, я уже объяснял, сделала свою работу, подточила тщеславие. Подозрение работало в том же русле. Я думал: «Что-то тут не так». То есть ждал подвоха. И тут произошел этот случай.

В университете у меня завелся друг, Вилли Харша, немец. Я ходил в дом, перезнакомился с сестрой, братишкой, с матерью. Но все не заставал отца, у которого был магазин на другом конце города. И вот как-то в воскресенье утром он был дома, и Вилли меня представил. Такой оказался смуглый, темноволосый, симпатичный толстяк.

— Значит, вот он какой, твой Джозеф, — сказал он, пожимая мне руку. — Er ist schön[1], — бросил он жене.

— Mephisto war auch schön[2], — ответила миссис Харша.

Мефисто? Мефистофель! Я понял. Я оторопел. Мистер Харша догадался, наверно, что до меня дошел смысл того, что сказала жена, и послал ей выразительный взгляд, но она, поджав губы, продолжала меня рассматривать.

Больше я их не видел. Вилли я избегал. Ночами ворочался без сна, думая над словами миссис Харши. Она меня увидела насквозь — по наитию, не иначе, — и где другие ничего не замечали, распознала зло. Я долго думал, что отмечен печатью дьявола. Потом я это дело отставил. Какой там дьявол. Ну, поработал он надо мной, так ведь и над всем человеческим родом поработал. Но некоторое время люди вроде миссис Харши подпитывали мое подозрение, что я не похож на других, но (теперь-то я знаю, идея отнюдь не нова, уходит корнями к так называемому «романтизму») таю в себе порчу. В общем, наверно, такое со всеми бывает, ибо мы слишком хорошо себя знаем, чтоб верить доброму мнению окружающих, проще поверить плохому. Миссис Харше я, возможно, не угодил «чересчур тонким воспитанием» или тем, что норовил (с годами у меня это прошло) через голову друга завести отношения с родственниками, особенно с матерью. Может, она сочла, что хватит мне строить из себя взрослого. Это, между прочим, мало кому нравилось.

Со всей этой мутью я давно разобрался. И только из-за Этты пустился в новое расследование. Кстати — зря. Нет между нами никаких параллелей. Возможно, дедушкина голова и нависла над нами обоими, но поглотит она, когда пробьет час, два существа, ничего между собой не имеющих общего.

---

[1] Он красивый (*нем.*).

[2] Мефистофель тоже был красивый (*нем.*).

Но какова Долли! Я знал, конечно, что она не ангел, но, выверив ее роль во вчерашнем спектакле, удивился, до чего же она близка к адским сферам. Н-да, не думал. Лишнее доказательство, что я слабо разбираюсь в людях, не замечаю задатков подлости, а ведь для некоторых ее сделать — раз плюнуть. Вечно я строю разные (идиотские) теории в их оправдание. Давно пора воспитывать в себе проницательность.

28 декабря

Что бы, интересно, сказал Гёте насчет нашего вида из окна, насчет унылой, выветренной улицы, Гёте со своей этой непреходящей радостью, плодами и цветами, а?

29 декабря

Спал до часу дня. В четыре вытащился пройтись, продержался минут десять и сдался.

31 декабря

Ради праздника побрился. Правда, мы никуда не идем. Айве надо что-то шить.

2 января 1943 г.

Мистер Ванейкер ознаменовал рождение нового года щедрыми возлияниями, кашлем, обильным посевом бутылок, непрестанными громкими набегами на туалет и довершил пированье пожаром. Часов в десять я слышу его особенно мощный рык, странный стук в коридоре, выглядываю и вижу, как он пробирается сквозь клубы дыма, тычась в стенки. Айва бросается за капитаном Бригсом, я распахиваю дверь Ванейкера. Кресло пылает. Он вбегает со стаканом и спешит выплеснуть воду на пламя. В безрукавой пижаме, локти в черных отпечатках пальцев. Большое мясистое, стертое лицо под аркой седых кудрей, как в чепце, красное, перекошенное. Он без звука снова выскакивает за дверь со своим стаканом.

Дым растекается по дому; на сцену выступают новые персонажи: миссис Бартлетт, престарелая сиделка из большой комнаты окнами во двор; мисс Фесман, миленькая такая, австрийская беженка; мистер Рингхольм — он делит верхний этаж с миссис Бригс и самим капитаном.

— Скажите ему, пускай это кресло вынесет, — требует от меня миссис Бартлетт.

— Он хочет огонь потушить... — возражаю я. Из-за двери Ванейкера летят задушливые, странные звуки шлепков. — ...своими руками.

— Лучше вынести. Дом — он каркасный. Мало ли, — миссис Бартлетт надвигается на меня в дыму: кимоно на вешалке. Голова повязана платком, на шее повисла ночная сеточка. — Кто-нибудь пусть ему скажет. Выносите, мол, мистер.

Но ее побеждает дым. Она отступает к лестнице. Я тоже кашляю, тру глаза. И отступаю в нашу комнату, отдышаться. Там распахиваю окно, сую голову под ледяной ветер. Рядом уже громко колотят в дверь. Айва выглядывает.

— Он заперся. Капитана, наверно, боится, — докладывает она.

Я выхожу к ней в прихожую.

— Вот черт, — кипит, удивляется капитан. — Что учудил! Вот мне в огонь теперь лезть. — И с новой силой барабанит в дверь. — Открывайте, мистер Ванейкер. Ну!

— Прямо удивляюсь на ваше терпение, сэр, — говорит миссис Бартлетт.

— Мистер Ванейкер!

— Со мной порядок, — отзывается Ванейкер.

— Стыдно ему, — разъясняет нам миссис Бартлетт.

— Ладно, тогда впустите меня, — кричит капитан. — Мне надо убедиться, что огонь ликвидирован.

Поворачивается ключ. На пороге Ванейкер со слезящимися глазами. Капитан, отстранив его, входит в дымную тучу. Мистер Рингхольм, хватаясь за голову, высказывается в том смысле, что не желает претерпевать похмелье в таких невыносимых условиях.

— Спасибо еще скажите, что не сгорели, — замечает ему миссис Бартлетт.

Капитан, раздираемый кашлем, снова является в коридоре — с креслом. И вместе с мистером Рингхольмом волочит его вниз. Кое-где пострадал ковер. Я набираю в обе гор-

сти снегу с подоконника, и вместе с миссис Бригс мы смачиваем выжженные места и затаптываем искры. Ванейкер спасается в ванной, мы слышим оттуда плеск. И чуть погодя его крик:

— Все от сигареты, слышь, капитан? Я ее на блюдечко ложил. Она и скатилась...

— Вы уж поосторожней, служивый, — говорит капитан. — С сигаретой надо поосторожней. Опасная штука. Опасная вещь сигарета.

— Слушаюсь, капитан.

Вот и все наши новогодние развлечения, честно говоря, небогато для такого праздника. Нас будто отодвинули в сторонку, чтоб не мешали, а время скользит себе мимо. С утра пробегали дети, дудели в трубы. Попозже вышли на гулянье разодетые семейства. Капитан с супругой укатили на своей машине и вернулись только к пожару.

Но главное — от такой жизни путаются даты, стираются грани событий. Не знаю, как Айва, но сам я совершенно перестал различать дни. Раньше были: день стирки, день уборки, готовки, дни, когда что-то начиналось, дни, когда кончалось. А сейчас все слились, все серые, одинаковые, и вторника не отличить от субботы. Когда забываю специально глянуть в газету, так и не представляю себе, какой сегодня день. И если, положим, считал, что пятница, а оказался четверг, не испытываю особой радости, что выиграл двадцать четыре часа.

Может, потому я и нарываюсь на скандалы. Не знаю. Конечно, обстановка в «Стреле» и у Эймоса не располагала к лучезарному настроению, но при желании можно было сдержаться. Может, мне просто надоело обозначать дни: «когда я попросил еще чашечку кофе» или «когда официантка отказалась заменить подгоревший тост», вот и хочется наддать жару независимо от последствий. Неприятности, как физическая боль, обостряют ощущение жизни, и когда заведется в ней что-то, что взбудоражит, охлестнет, поднимет тебя на дыбы, ты и рад, ведь боль и волненье лучше все-таки, чем сплошное ничто.

3 января

Сообщение, что Джефферсон Форман погиб в Тихом океане. Указан домашний адрес — Сент-Луис. Джефферсон Форман, которого я знал, был из Канзас-Сити, но мало ли, — возможно, они переехали. Фамилия не такая уж распространенная, — наверно, он. Мне когда-то говорили, что он в торговом флоте. Вполне мог перевестись, когда началась война. Года четыре назад был слух, что его арестовали в Генуе за то, что в общественном месте орал «A basso»[1]. Никаких имен, только «A basso». По словам Тада, консульство тогда его еле отбило, хотя кроме «A basso» ему ничего не вменялось. Джефферсон обожал приключения. Его выгнали из университета за какие-то там грехи, не знаю подробностей. Собственно, непонятно, как его с первого же курса не выперли. То он сшиб с ног на улице Джорджа Колина. И — никаких объяснений. Конечно, потом извинился в присутствии декана. А то вдруг зимой спозаранок решил меня разбудить и закидал мне постель вымазанными золой снежками.

Чин указан — лейтенант. Судно — «Каталина».

Думаю, ему было мало подводной опасности. Я всегда подозревал, что как-то такое он убедился, что есть положения, в которых оставаться человеком — невыразимо тоскливо, и отдал всю жизнь на то, чтобы их избегать.

4 января

При всем нашем почтении к бренной материи мы очень неплохо приноровились к бойне. Все стрижем с нее купоны и не испытываем ни малейшей жалости к жертвам. Не с войны пошло, и до войны наблюдалось, просто сейчас больше кидается в глаза. Смотрим не сморгнув, как людей пачками отправляют на тот свет; но и те, кого поубивали, так же спокойненько наблюдали бы, как убивают нас. Не хочу даже думать о том, что нами движет. Не хочу. Сложная работенка, да и опасная. Самое безобидное открытие — у нас не развиты воображенье и чувства. Старик Джозеф, ввиду временности жизни не желавший колоть и рубить, говаривал, что при самых добрых намерениях каждый должен, увы,

[1] Долой (*итал.*).

выдать свою порцию синяков. Синяков! Какая невинность! Да, он осознавал, что и при самых благородных установках без порки не обойтись. Очень мило с его стороны.

А ведь мы, как нация, весьма заняты проблемами тленности: у нас царство холодильников. И кошечек переправляют самолетом за сотни миль, чтоб сделать переливание крови; и добрые соседи в глухом Арканзасе бдят месяцами у одра девяностолетнего инсультника.

Джеф Форман гибнет. Брат Эймос про запас складывает штабелями обувь. Эймос добрый человек. Эймос не людоед. Он терзается оттого, что я неудачник, сижу без гроша, не желаю позаботиться о собственном будущем. Джеф на дне морском — вне добродетелей, ценностей, денег, славы и будущего. Я такое говорю потому, что все путается у меня в голове, и не из-за жестокости или цинизма, а от ужаса.

Сам я лучше умру на войне, чем буду греть на ней руки. Призовут — и пойду без звука. Ну, конечно, надеюсь выжить. Но лучше буду жертвой, чем пенкоснимателем. Я — за войну, хотя, собственно, что это значит? С чего мы взяли, будто такие вещи зависят от личной морали и воли? Ничего же подобного. Это все равно что сказать, если бы Бог действительно был: да, Бог есть. Он был бы независимо от того, признаем мы его существование или нет. А вот что касается их империализма и нашего, если бы был выбор — я выбрал бы наш. А насчет альтернативы, особенно желательной, — где ее возьмешь? Разве что в бабушкиных сказках.

Да, я буду стрелять, убивать. В меня будут стрелять и, возможно, убьют. Несомненная кровь прольется ради весьма сомнительной цели. На войне как на войне. И почему-то я не могу воспринимать это как личное оскорбление.

5 января

Сегодня вывалил из чулана всю обувь и уселся на полу чистить. Среди тряпок, щеток и вакс — сизый уличный свет давил на оконницы, в мертвых ветках пререкались воробьи — меня вдруг отпустило, а когда построил шеренгой туфли Айвы, испытал глубокое удовлетворение. Удовлетворение заемное. Из детства. В Монреале в такие вот вечера я часто выпрашивал разрешение расстелить на полу в гостиной бумагу и драил подряд всю обувь, какая была в доме, включая языкастые ботинки тети Дины с несчетными дырочками для шнурков. Рука влезала по локоть в эти ботинки и сквозь тонкую лайку ощущала щеточные ходы. Сизый сумрак висел над улицей Сент-Доминик, а в гостиной печка светила на столик рядом, клеенку, на мой лоб, сладко стягивая кожу. Я чистил обувь не благодарности ради, мне нравился сам процесс и ощущенье гостиной, отгораживавшей меня от сумрака улицы, закрытых ставней, мутной празелени водосточных труб. Ни за какие сокровища мира меня было не выманить наружу.

Я нигде потом не видел такой улицы, как Сент-Доминик. Между больницей и рынком. Трущобы. Я лопался от любопытства — что там творится? — все норовил подглядеть из окна, с лестницы. Не помню, чтобы потом что-то поразило меня так, как, скажем, тонувший в снегу хвост похоронной процессии, или извозчик, дергавший, поднимавший павшую клячу, или передразнивавший собрата калека. Эта затхлая, едкая вонь погребов и лавок, эти собаки, мальчишки, француженки, иностранки, нищие со своими язвами и увечьями, каких я больше не встречал, пока не дорос до знакомства с Парижем Франсуа Вийона, и сам этот жестко зажатый домами ветер так остро застряли в памяти, что иногда я даже думаю, что только они в моей жизни и были реальны. Отец не мог себе простить нищеты, загнавшей нас в трущобы, и вовсю старался, чтоб я не увидел лишнего. Но я увидел, сквозь незавешенное окно возле рынка я увидел, как мужчина наваливается на кого-то в постели, и в другой раз увидел негра, колыхавшего на коленях блондинку. Легче было забыть бросаемую в костер клетку с живой крысой и двух дерущихся алкоголиков — один потом уходил, роняя с окровавленной головы густые капли, как первые блямбы тяжелого летнего ливня, красным зигзагом ме́тя тротуар.

6 января

Абт прислал свою статью о правительстве территорий. Он, конечно, ждет хвалебного отзыва, придется из себя что-то выжимать. Ему надо, чтоб я заявил, что никто, кроме него, не способен написать такую статью. Предположим, я бы ему попытался объяснить

все, что о нем думаю. Он бы ответил сухо: «Неясно, о чем ты толкуешь». Его манера — чего он не желает знать, того не существует.

Я ни у кого не встречал такой самоуверенности. С ранних лет он обнаружил, что он острей и способней всех нас и заткнет за пояс любого. Решил, что может достичь вершин, за что бы ни взялся. На первом курсе мы с ним жили в одной комнате. Весь год он из кожи лез, чтоб не отступить от своих достижений во всех областях — в музыке, в политике, специальности. Для меня было вредно это соседство, я вечно тушевался. К нему бегали консультироваться с других курсов. Никто не обладал такой информацией. Он читал иностранные политические издания, о которых мы и не слыхивали, стенограммы партийных съездов, серые ротаторные листы международных конференций во Франции, в Испании. До чего тонко он умел спорить. До чего с ним носились преподаватели. Его побаивались, кое-кто предпочитал с ним на людях не связываться. Вечерами он играл на рояле. Идя на ужин, я застревал рядом с ним в музыкальном салоне и чуть не час слушал. Он взрослел, не теряя зря времени, не делая обычных проб и ляпов. Железная хватка. В ту зиму он был Лениным, Моцартом, Локком — в одном лице. Но быть всеми тремя не хватило сил. Весной он сорвался. Пришлось выбирать одно. Разумеется, то, что он выбрал, не могло не быть самым важным. Как же иначе? Он бросил митинги, игру на рояле, как мусор вымел партийные отчеты и решил сделаться политическим философом. Предпринял всеобщую чистку. Убрал все лишнее. «Анти-Дюринг» и «Критика Готской программы» ушли в глубь книжных полок, а впереди вместо них воцарились Локк и Бентам. Жребий был брошен, и он сосредоточенно устремился к величию. Естественно, до образцов своих он не долез. Он, конечно, не объявлял в открытую, мол, лопну, а стану вторым Локком, но бился, потел, изводился не в силах признать, что кишка тонка.

Он упрямый. Как когда-то, например, не мог заставить себя честно сказать, что не читал книги или статьи, о которой его спрашивали, так и сейчас не признавал, что план его провалился. Не дай бог поймать его даже на мелочи. Он терзается, если переврет дату, фамилию, спутает форму иностранного глагола. Он непогрешим — вот в чем штука. Если его предупредишь, что у него под ногами расщелина, он скажет: «Да ты что? Тебе почудилось», а когда уж ее не заметить нельзя, скажет: «Ага! Видишь?», будто первый ее заметил.

Конечно, мы страдаем безудержной жадностью. Такая она драгоценная, наша жизнь, как бы ее по-дурацки не растратить. Хотя лучше, наверно, назвать это Ощущением Судьбы. Да при чем тут жадность. Почему, между прочим, не использовать отпущенное до тысячной дольки? Одно дело знать себе цену, и другое — вздувать ее до безумия. А наши планы, идеи? Вот уж опасная штука. Они нас изводят, как паразиты, сжирают, выпивают, отшвыривают. Ан нет, нам подавай этих паразитов, будто несожранными и невыпитыми мы буквально жить не в состоянии.

А потому, что нам втемяшили, будто человеческие возможности безграничны. Шестьсот лет назад человек был тем, для чего родился на свет. Сатана и Церковь, уполномоченные Богом, за него боролись. При исходе борьбы частично принимался во внимание его личный выбор. Но в ад ли, в рай он поступал посмертно, место его среди живых было застолблено. И это железно. Но декорации с тех пор сменились, люди только расхаживают по сцене, зато в результате мы имеем историю и все сваливаем на нее. Когда-то мы представляли собой интерес, тогда за наши души стоило побороться. А сейчас каждый сам ответствен за свое спасение и видит его в собственном величии. Оно, это величие, и есть тот утес, о который мы обдираем сердца. Великих умов, великих красавиц, великих любовников и преступников пруд пруди. От великой тоски и отчаянья Вертеров и Дон Жуанов мы пришли к великой властности Наполеонов. От них к убийцам, уничтожающим жертв по тому праву, что превосходят их величием; потом к тем, кто считает, что уполномочен вытягивать другого хлыстом; докатились до школьников и приказчиков, ревущих, как революционные львы; до подлецов, проходимцев, дебатирующих по ночным обжоркам, вообразив, что можно достигнуть величия в предательстве, хватая за горло тех, кто жил бы без них припеваючи; а от них прямиком к мечтам о великих своей красотой тенях, целующихся на моросящем экране. Из-за всего из-за этого мы ненавидим сверх меры, мы сверх меры терзаем себя и других. Мы боимся отстать от поезда, и этот страх нас сводит с ума. Этот страх в нас залег, как туча. У нас черно внутри. Только изредка грозой разражаются боль и тоска, и нас проливает дождем.

7 января

Контора Эйдлера посылает его на две недели в Сан-Франциско. Завтра едет. Так что беседа наша откладывается.

8 января

Джон Перл пишет про свою выставку в нью-йоркском женском клубе. Успеха она не имела. Из-за нехватки места все картины заткнули в столовую, а там Красный Крест без передыху устраивал завтраки, так что не протиснешься. Он ничего не продал. Правда, дамочка, влюбившаяся в один натюрморт, заказала было цветы для дочкиной спальни — три цветка в синей вазе. «Всего три? Четвертый вам обойдется еще в двадцать пять долларов. Он превысит размер картины». Вполне логично. Она долго думала, потом решила, что хватит и трех. Муж выращивает пионы. Вазу с цветами она пришлет. «Ах, извините, — сказал Джонни. — Я думал, мы договариваемся насчет роз. Пионы за такую цену не пойдут. Придется надбавить на каждый цветок по десятке. Такая такса на цветы диаметром свыше пяти сантиметров. Лимон — еще десятка. Неочищенный. Полуочищенный — пятнадцать долларов». «На все есть такса?» — она спрашивает. Что-то заподозрила. «В общем-то да. Правда, чуточку ниже моей. Конвенция на Джонс-стрит 1930 года определила более низкие цены. Но в связи с инфляцией...» Тут она бежала. Этель говорит, что это с моей стороны большое свинство, но ты бы видел эту серьезность, грех не подыграть. Надеюсь, я не подорвал свои акции».

Он держится пока в своем рекламном агентстве, «изображая мужчин с разлитием желчи и секретарш, изнемогающих от мигрени. И это, — продолжает он, вдруг изменив тон, — называется взрослый, разумный, сознательный мир. Фантастическая бессмысленность собственной работы доводит меня до экстаза. Бредятина. Мой труд оплачивают недоноски. Зато я абсолютно свободен. От меня ни черта не требуется. Получаю кусочек булочки с ребенка за то, что умею шевелить ушами. Детские забавы. Но я единственный на все наши пятьдесят три этажа знаю, какая это бредятина. Остальные относятся ко всему на полном серьезе. Если мы занимаем пятьдесят три этажа, значит, все серьезно. «Это — жизнь». А это мура, дичь, чушь собачья! Истинный мир — мир искусства и мысли. Единственная стоящая работа — работа воображения».

Соблазнительная идея. Она его подключает к жизни, вырубает из тоски, ограждает от вони этих пятидесяти трех этажей. Он ничего не выдумал. Я ж его знаю. И меня-то — зачем ему морочить? Он ровно так и чувствует: избежал капкана. Такую победу стоит отметить. Восхищаюсь, чуть-чуть завидую. Он может за себя постоять. Потому что художник? Наверно. Его спасает эта работа воображения. Ну а я? Нет у меня таланта к таким вещам. И вообще, весь мой, прошу прощенья, талант — быть гражданином или, как теперь очень лестно принято выражаться, хорошим человеком. И что прикажете делать, если нет у меня воображения?

Вот уж не знаю, не знаю. Но, конечно, он благополучней меня. Сидит себе в Нью-Йорке, рисует и, несмотря на все катастрофы, ложь, подлость, кромешный содом, осколки зол и бед, засевшие в каждом сердце, — несмотря ни на что в известной мере сохраняет чистоту и свободу. Впрочем, эта работа воображения, в строгом смысле, не его личное дело. Через нее он связан с лучшей частью человечества. Он это чувствует и никогда не окажется на мели, за бортом. Он — в обществе. Я — в своих четырех стенах. И добра достигают не в пустоте, а полюбовно, общими усилиями. Мне, в этой комнате, одному, одичавшему, подозрительному, вместо мира видится затхлый застенок. Ничего нет, кроме этой клетки. Луч будущего сюда не доходит. Есть только прошлое, жалкое и невинное. Некоторые вот точно знают, где искать свои возможности; рушат тюрьмы, рыщут по всей Сибири, только б до них дорваться. А меня эта комната не пускает.

Когда итальянский генерал Бергонзоли (кажется, это Бергонзоли) потерпел поражение в Ливии, он отказался рассуждать о войне, анализировать свою пагубную стратегию: «Извините! Я не воин. Я прежде всего поэт!» Кто в наши дни не признаёт преимуществ художника?

11 января

На днях Айва по всем полкам искала книгу, которую уже несколько месяцев как отложила, и вслух удивлялась, куда она могла подеваться.

Я приводил в порядок ногти и слушал вполуха, стараясь не врезаться в мясо гнутыми ножничками и сосредоточенно — мне это свойственно в мелочах — собирая обрезки, как вдруг до меня дошло, что я же дал эту книгу Китти Домлер.

— Что, ты сказала, ты ищешь?

— Ах, так ты, оказывается, не слушал! Маленькая такая, синенькая. «Дублинцы». Не видал?

— Тут где-нибудь.

— Лучше помог бы искать.

— Завалилась куда-то. Может, другую почитаешь? Полно же книг...

Айва внушаема, но не до такой степени. Она продолжает поиски, стопкой складывает книги у моего кресла.

— Тебе ее не найти, — говорю я.

— Почему это?

— Некоторые вещи имеют манеру прятаться и всплывают только через полгода. Она, наверно, за тот ящик упала.

— Ну давай его сдвинем.

— Зачем. Вот будет у Марии очередная генеральная уборка. — Я щепоткой собираю обрезки и кидаю в мусорный ящик. — Полагается их похоронить достойно.

— С какой стати? — Она выпрямляется в своей узорной шали, устало приваливается к стене. — Не могу гнуться в три погибели. Старость не радость.

— Ногти, волосы, все обрезки и отходы тела. Во избежанье волховства.

— Дверь несколько дней запирали. Он не мог. Да и зачем ему «Дублинцы»?

— Ванейкеру?

— А то кому же. — Айва по-прежнему не сомневается, что он виноват в исчезновении флакончиков.

— Да достану я тебе завтра эту книгу.

— Не могла же она сквозь землю провалиться.

— Совершенно верно. Не могла. Но раз ее нет, она ниоткуда не возникнет, несмотря на все твое упорство.

— То есть ты считаешь, что ее нет в комнате?

— Ничего я такого не говорю.

— Тогда что ты имеешь в виду?

— Я имею в виду, что не понимаю, почему надо убивать весь вечер на поиски, когда можно почитать другую книгу.

Она — с возмущением:

— Ты сам говорил, чтоб я ее почитала. Настаивал.

— Так ведь когда это было, уже несколько месяцев прошло. А ее за несколько часов можно прочитать.

— Да. Уже несколько месяцев прошло, как ты на меня не обращаешь никакого внимания. Тебе вообще плевать, есть я или нет. Не слушаешь, что я говорю. Неделю домой бы не являлась — ты б не спохватился.

На это я отвечаю молчанием.

— Ну? — она злится.

— Что ты мелешь?

— Это не ответ.

— Айва, все дело в нашей жизни. Она на нас на обоих влияет. Но не может же это продолжаться вечно.

— То есть скоро ты уйдешь и на этом будет поставлена точка.

— Ах, — я закипаю. — Не пили меня. Говорю тебе, все из-за нашей жизни. И ты сама это прекрасно знаешь.

— Да уж, на тебя она, безусловно, влияет.

— Естественно. На кого хочешь повлияла бы.

Я встал, сдернул с вешалки пальто, двинулся к двери.

— Ты куда?

— Продышусь немного. Тут душно.

— Ты что, не видишь? Дождь! Но, наверно, лучше мокнуть, чем сидеть весь вечер с занудой женой.

— Да! Лучше! — взрываюсь я. — За десять центов меня пустят в ночлежку, не приставая с расспросами. Сегодня меня не жди!

— Правильно! Давай-давай. Объявляй на весь дом...

— Это для тебя важны такие вещи. Дом! Плевать я хотел на твой дом! Стыдно так себя вести, а не то, что дом узнает. Да пошел он ко всем чертям, твой дом!

— Джозеф!

Я грохнул дверью, уже соображая сквозь бешенство, что это недостойно меня и непропорционально поводу. Я поглубже надвинул шляпу из-за дождя. Наши зашторенные жаркие окна проштамповали двумя оранжевыми прямоугольными клеймами тепла и уюта тьму, ливень, зябнущие деревья, ледяную улицу. Жуткий холод, который стоял на прошлой неделе, уже отпустил. Зато над скользкими тротуарами серыми пасмами поднялся туман, повис над дворами, заполнил моросящую, ноздреватую пустоту, подмигивал вместе с задышливыми светофорами — зеленым, желтым, красным, желтым, зеленым — и прятал улицу. Распахнулось окно Ванейкера. Он запустил бутылкой, как рукоять использовав горлышко. Она мягко шлепнулась в грязь рядом с другими; в кустах валялись десятки бутылок, и на их высокие плечи стекал с веток ртутный блеск. Окно проворно захлопнулось.

Ботинки у меня обтрепались и, задрав некогда пижонские острые носы, вовсю просили каши. Я шлепал к углу, и в ноздрях застревали запахи сырой одежды, сырого угля, сырой земли, выдавливаемые туманом. Внизу вдалеке сипло рявкнул гудок и смолк. Вот опять. Фонарь изгибался над тротуаром, как женщина, которая не может повернуть к дому, пока не найдет в бурлящей канаве колечко или монетку. Я различил сзади женский топоток, решил было, что это выскочила за мной Айва, но женщина оказалась чужая, возле углового навеса она меня обогнала, лицо было отуманено вялым фонарным светом и тенистой горжеткой. Навес прогнулся, дождь лил в прорехи. Снова взвыл над водой гудок, сигналя с мыса буксирам. Было легко воображать, что города нет никакого, даже озера нет, одно сплошное болото, которое рассекает отчаянный вопль; и корявые деревца вместо домов, вместо телеграфных проводов — виноградные плети. Набегающий звон трамвая спугнул виденье. Я влез, взял билет, остался на площадке. До Китти было рукой подать. Можно и пешком, если б не ботинки.

Цель моя была не вернуть книгу — хотя, конечно, и это, но между прочим, — а повидать Китти.

Абсолютно вылетело из головы, почему она вдруг у меня ее попросила. Или я сам навязал? Она, конечно, о «Дублинцах» и не слыхивала. Не постигаю, в каком контексте они могли выплыть. Тут примешивается еще одно обстоятельство, которое не берусь объяснять и анализировать. Китти — это я вовсе не в осуждение — не интеллигентная девушка и даже не умная. Она простая, теплая, прозаичная и без комплексов. Два года назад я отправил ее в круиз по Карибскому морю, и потом она зашла поблагодарить за полученное удовольствие и попросила оценить кой-какие ее покупки. Для этой цели я к ней явился на квартиру. Мой вердикт по поводу ее туристских приобретений она приняла вполне небрежно, зато подчеркнуто окружала меня теплом, давая мне основание полагать — не без некоторого приятного трепета, — что она больше, чем в моих оценках, заинтересована во мне самом. При первой же возможности я ввернул Айву, но по реакции, верней, по абсолютному отсутствию реакции сделал вывод, что она и не сомневалась, что я женат. Для нее, она сказала, брак как таковой просто не существует. Есть люди. Далее развернулась беседа о любви и браке, которую у меня нет желания подробно воспроизводить. Я давал понять яснее ясного, что разговоры разговорами, но дальше их я пойти не рискну. Но, конечно, мне лестно, что я понравился такой красивой женщине. Она рассказывала, что некоторые во время круиза позволяли себе разные глупости с гидами и мальчиками на пляже. Она не выносит такую распущенность, а на хорошенькие, безвольные, романтические южные личики прямо смотреть не может. Тоска зеленая, а не мужчины.

Когда я откланивался, ее рука, ласково оттрепетав, на минутку успокоилась на моем плече. Она выразила надежду, что я как-нибудь еще загляну поболтать. Тут уж говорить буду я. Слушать она тоже умеет.

Два месяца я ее не видел. Потом она зашла как-то ко мне в контору и без прелюдий спросила, куда я пропал. Я сказал, что жутко много работы.

— Но как-нибудь вечером вы можете вырваться?

— Конечно могу, если понадобится.

— Ну, тогда почему, например, не в четверг? Вместе бы поужинали.

У нас с Айвой уже подпортились отношения. Наверно, не только она виновата. Годами я на нее давил, и она начала вскидываться (как, скажем, тогда у Серватиусов). Сначала я не мог понять, чего она бунтует. Неужели не хочет, чтобы я ее воспитывал, вел? Я, в общем, ждал возражений. Никто, я сказал бы тогда, никто просто так, сам по себе, с легкостью не оценит человечнейших традиций, путей к Небесному Граду. Надо, чтоб тебя научили, как к ним прорваться. Одного желания мало. Прежде чем завертятся гребные винты, еще надо, чтоб тебя сняли с мели на буксире. Но скоро выяснилось, что Айва вовсе не хочет, чтоб ее тянули на буксире. Вынырнувшие из Буркхардта[1] великие дамы Ренессанса и не менее глубокие современницы Августа царили в моих, не в ее мечтах. В конце концов я догадался, что Айва не может жить исключительно моими пристрастиями. Есть еще тряпки, парикмахерские, мебель, детективы, прелести модных журналов, радио, выходов в гости. И что тут возразишь? Женщины — так я тогда рассудил — не подкованы для противостояния этим соблазнам. Хоть десять лет их держи над томами Якоба Бёме[2], им все равно не разонравится эта дребедень. Ты можешь их научить восхищаться «Уолденом»[3], но вдохновить их надеть немодные туфли ты не можешь. У Айвы к пятнадцати годам, когда я с ней познакомился, сложились уже собственные критерии, которые (почему-то такое я против них ополчился) она припрятала до поры, пока не научилась их отстаивать, во всяком случае формулировать. Тут начались осложненья. Пошли бурные ссоры. Она, закусив удила, стала демонстрировать свою независимость. Я прикинулся безразличным и от нее отстал.

Ну, и зачастил к Китти Домлер. Она снимает комнату вроде той, где мы с Айвой прожили первые два года, пока не осилили квартиру. Я отчасти виню эту квартиру в том, что Айва изменилась, так что у Китти мне сразу понравилось. Замызганная мебель, обои возле зеркала все в помаде, кругом валяются предметы туалета, вечно не застлана постель. Заботы о собственной внешности тоже сведены к нулю, волосы укрощаются единственным гребнем и вечно падают на крепкое, большебровое, большеротое лицо. Милое, плотоядное, бесстыдное, щедрое лицо.

Мы болтали о всякой всячине. Друзья один за другим поуезжали из города. От них вообще мало толку. Я больше ни с кем не мог разговаривать так, как с Китти. Но за этими разговорами я стал различать реальную Китти — лихую, румяную, крупную, пухлую, пахучую. Она мне понравилась. Дальше разговоров дело, однако, не шло. Она не отрицала, что «любит быть с мужиками», если они в ее вкусе. Я был в ее вкусе. Мы были друг с другом нежны и всё улыбались. Этот мотив — нежность плюс улыбки, — как мы понимали оба, был сложносплетенный: порыв и помеха. Помехой были улыбки. Я продолжал улыбаться.

И вот как-то ранней осенью в сырой, не по сезону холодный вечер я застал ее в ночной рубашке, в постели. Она пила чай с ромом. Попала под дождь, промокла. Я присел поближе с чашкой виски, помеченной по краю помадой (ее знак: на полотенцах, наволочках, салфетках, ложках, вилках). Комната в обычном своем виде — бронзоволистая лампа, выпотрошенное бумажное нутро обувной коробки, спрятавшийся у куклы в подоле телефон, Венеция в рамке, трусики на батарее — уже не была почему-то уютным прибежищем. Я не улыбался. Я перестал улыбаться, как только вошел. Она потягивала питье, приподняв голову в расщелине взбитых подушек. Подбородок, когда она ставила чаш-

---

[1] Якоб Буркхардт (1818—1897) — швейцарский ученый, исследователь культуры, специалист, в частности, по итальянскому Возрождению.

[2] Якоб Бёме (1575—1624) — немецкий философ-мистик.

[3] «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854) — главное произведение американского писателя Генри Дэвида Торо (1817—1862).

ку, угнездился над другой расщелиной, прелестнейшей в мире картиной двойственности, нежнейшим делением плоти, зачинавшимся высоко над кружевами выреза. Кровь бросилась мне в лицо. Она заговорила, я что-то промямлил. Я не слышал.

— Что?

— Я говорю — принесешь мою сумочку, да? Она в той комнате.

Я неуклюже вскочил.

— Напудриться хочу.

— А, да-да.

Мои ботинки оставили большое серое пятно на круглом ковре.

— Я тут тебе наследил. Прости.

Она приподнялась, глянула, придерживая чашку.

— Ой, надо было сказать, чтоб ты разулся.

— Я виноват. Теперь тебе его чистить. Я заплачу. — Я был уже красный как рак.

— Да ты что, разве я об этом. Бедненький, ты же весь промок. Снимай их скорей, я носки пощупаю.

Нагибаясь развязать шкурки, я боялся, как бы голова у меня не лопнула от прилива крови.

— Ух, какие мокрющие. Давай сюда, я повешу. — И мои носки приникли к ее трусикам. Она стояла надо мной с полотенцем.

— Разотрись. Пневмонии тебе не хватает?

Когда я опустился в кресло, ее рука, скользя по моим волосам, задела за шнур лампы, рванула. В темноте я услышал, как он брякает по стеклу. Переждал звук, протянул руку. Китти перехватила мои пальцы.

— Это будет только отсрочка, Джозик.

Я убрал руку и стал впопыхах раздеваться. Она ощупью пробралась мимо кресла, села на кровать.

— Я же знала, что рано или поздно ты со мной согласишься.

— Милая.

Я с ней соглашался два месяца, то есть пока она не начала намекать, что мне следует бросить Айву. Айва не умеет со мной обращаться, мы не подходим друг другу. Я не давал ей ни малейшего повода так думать, но она говорила: я же вижу. Я не большой любитель обмана; жить двойной жизнью было дикое напряжение. Я был сам не свой. Это не для меня. Очень скоро я разобрался, что в корне всего этого мероприятия — мое стремление ничего не упустить. Союз с одной женщиной отменяет те удовольствия, которые нам сулили другие. С мечтами о нежных блондинках и брюнетистых дивах приходится расстаться. Ах, но как прожить без них жизнь? Неужели это необходимо? То есть опять-таки: та же жадность. Как только я это сообразил, я стал сворачивать отношения с Китти. Они умерли в процессе долгих разговоров, пока я тщательно разъяснял, что мужчина должен держать себя в рамках, а не стараться заменить все и вся для всех и вся. Не могу сказать, что она очень обрадовалась, но ей нравилась моя серьезность, льстил мой тон, показывающий, что я ценю и уважаю ее суть, ее душу. Мы решили, что будем встречаться на дружеской основе. Почему нет? Мы ведь разумные люди? Я ей нравлюсь, она любит меня слушать. Она уже многому научилась. Понимает ли она, спрашивал я, что лично она тут совершенно ни при чем? Мне, в общем-то, совсем не хотелось бы... я... «не из тех, кто стремится и рыбку съесть, и на что-то сесть», — беззлобно заключила она мою мысль.

Это было огромное облегчение. Но дело на этом не кончилось. Я счел своей обязанностью ее навещать, сначала как бы доказывая, что она мне по-прежнему не безразлична. Если б она подумала, что я на нее наплевал, она бы ведь жутко обиделась. Но эти визиты недолго оставались вынужденными и самопожертвованными. Когда началась моя бездельная маета, мне уже было очень даже приятно заглянуть, выкурить сигаретку-другую, выпить рюмочку рома. У Китти я отдыхал.

Исчезновение «Дублинцев» мне напомнило, что я недели три ее не видел, и я решил, что лучше посижу вечер с Китти, чем цапаться с Айвой и ложиться спать в гнусном настроении.

Фрамуга над ее дверью чернела, но там кто-то был. Я слышал голос Китти, прежде

чем постучать. Тишина. Я снимаю перчатку, стучу снова. Фрамуга замалевана краской, чтоб не подглядывали с лестницы. Так что нельзя понять, выключен ли свет. Да если и выключен, Китти может быть рядом, на кухне. Но на третий мой стук свет вдруг просиял сквозь мазки и разводы. Я слышу, как она совещается с кем-то, потом ручка поворачивается и выходит Китти, завязывая кисти халата. Она, конечно, не в восторге при виде меня, да и я как-то мнусь. Говорю, что шел мимо, вот, решил забрести за книгой. Она меня не приглашает в комнату, хоть я с неуместной иронией сообщаю, что промочил ноги.

— Я... ой, сейчас мне неудобно. Такой кавардак... Может, завтра зайдешь?

— Не знаю, завтра, может, и не получится.

— Занят?

— Угу.

Теперь ее очередь иронизировать. Она наслаждается ситуацией и, небрежно заслоняя рукой дверь, улыбается мне, ничуть не смущенная тем, что ее застукали.

— Работа?

— Нет.

— Чем же ты тогда занят?

— Есть кой-какие дела. Нет, завтра не смогу. Но мне нужна книга. Она не моя, понимаешь...

— Айвина?

Я киваю. Заглянув в комнату, я замечаю на спинке стула мужскую рубашку. Чуть просунуть голову в дверь, и я увижу, конечно, мужскую руку на одеяле. В комнате, как всегда, жара, и в духоте разлит густой, уютный, но возбуждающий запах, который прочно ассоциируется у меня с Китти. Он и тут, на пороге, настигает меня, вызывает зависть, ностальгию, и я, к сожалению, чувствую, что я идиот, навсегда отринувший отраду и утешение, которые мне предлагали в моей безутешной, безрадостной жизни. Она оглядывается через плечо, опять смотрит на меня, улыбаясь, слегка презрительно, как бы говоря: «Я же не виновата, что на стуле не твоя рубашка».

Я — желчно:

— Когда мне удастся ее получить?

— Книгу?

— Мне это важно. Может, сейчас посмотришь? Я подожду.

Она, кажется, удивилась.

— Сейчас вряд ли. А если я ее завтра по почте пошлю? Это же не горит?

— Горит не горит, делать, видно, нечего.

— Тогда спокойной ночи, Джозеф, — и она закрывает дверь.

Я еще постоял немного, глядя на фрамугу. Световые разводы погасли. Осталась матовая, унылая тьма. Я спускался по лестнице, овеваемый вонью: капуста с салом, скопившаяся за обоями пыль. На подходе к первому этажу в неплотно прикрытую дверь я увидел внизу женщину в трусиках, она сидела у зеркала, выгнув и отведя назад руку с бритвой, а сзади, на радиоприемничке, выпускала два дымных ветвистых рога сигарета. Я застыл. И то ли потому, что смолкли мои шаги, или почувствовав на себе мой взгляд, она вздрогнула, подняла лицо — широкое и злое. Перескакивая через две ступеньки, я сбежал в вестибюль с дежурной, невозможной портьерой, плюшевыми креслами, высокими полированными раздвижными дверями и неизбежной крашенной под дуб доской, пучившей медные сосочки звонков. На пути из меблированных недр скрещивались звуки: там жарили, там плескались, ссорились, мирились, убеждали, напевали модный мотивчик:

После сытного обеда
Позабыты быта беды.
Чатануга чучу...

летали звонки, и внизу, у консьержа, грохотало надрывно радио. Бронзовый Лаокоон тянул с подставки громадный варварский шлем-абажур в бахроме потрепанных кружев. Застегивая перчатки, я прошел в наружный вестибюль, думая при этом, что Китти и ее партнер, конечно, снова (как бы это поудачней выразиться) совпали, так как мое вторжение наверняка разогрело его аппетит. Казалось бы, ну и что, она имеет право делать что хочет, но почему-то я себя чувствовал обиженным и оскорбленным.

Дождь и туман прогнало ветром, и на месте воображавшегося болота, где в мутных хлябях ощеренным ящером залегла смерть, теперь узко и четко тянулась улица и металась вязы. Ветер прорвал тучу — в дыры просыпались звезды. Перепрыгивая через лужи, я побежал к углу. Грохоча, кренясь, пером выбивая из провисших проводов искры, надвигался трамвай. Я вскочил на ходу, задыхаясь, встал на площадке. Кондуктор ворчал, что нельзя эдак в слякоть сигать на ходу, мало ли, и шею сломать недолго. Дребезжа и подмигивая окнами, пробивая сырые пласты, мы неслись, и наши звоночки тонули в завывании ветра.

— Шторм, буквально, — кондуктор хватался за висячий ремень.

Входили: солдатик с девицей, пьяные оба; старуха с острым, волчьим лицом; мозгляк-полицейский, так глубоко совавший руки в карманы, будто держался за живот, и прятавший в воротнике подбородок; и еще немолодая женщина в куцей юбчонке и перекрученных чулках, стуча зубами и смаргивая слезы, валко протопала по проходу.

— Это ж надо, — кондуктор сочувственно проводил ее взглядом, — чай, не молоденькая, в такую стынь у печи бы сидеть, чем по ночным по трамваям мотаться. Если вот только, — он подмигнул нам с полицейским, — работа у ней на улице. — И выказал в улыбке желтые зубы.

— Дочестер следующая! Дочестер!

Я спрыгнул и припустил против ветра домой, сперва отдышавшись под угловым навесом. Тучи выстригло, и голые звезды дрожали в сферической тьме — Вселенная занималась своей еженощной, извечной работой.

Айва не ложилась. Она не стала спрашивать, где я был, видно, решила, что я, как всегда после ссоры, бродил над озером. Утром мы поговорили немножко и помирились.

13 января

Нудный, мутный день. Утром, продрав глаза, не знал, за что приняться, то ли нашарить тапочки, то ли сразу одеться, включить последние известия, причесаться, приготовить бритье. Снова завалился в постель и около часу собирался с силами, наблюдая, как, прорезав жалюзи, прокатывается по стене тусклый свет. Наконец встал. Низкие тучи. Запотевшие окна. Крыши вокруг — зеленые, непропеченно-красные, темно-медные — сияли, как кастрюли в сумрачной кухне.

В одиннадцать постригся. Поесть пошел далеко, аж на Шестьдесят третью, ел за белой стойкой, среди запахов жарящейся рыбы, глядя в окно на железные контрфорсы и огромные, как плиты котельной гигантского лайнера, бруски мостовой. Над домом напротив гамбургер с ручками и ножками, балансируя на светящейся проволоке, демонстрировал банку горчицы. Я подобрал горбушкой сладкую кофейную муть и вышел под непрочные крупные хлопья. Послонялся по дешевой лавке, разглядывая шуточные поздравительные открытки, хотел купить конверты, но купил вместо этого кулек трюфелей. Жадно уплел. Потом меня понесло в тир. Заплатил за двадцать выстрелов, а стрельнул меньше десяти раз, не попал ни разу. Снова вышел на улицу, погрелся у жаровни возле газетного киоска, приютившегося под надземкой со всеми своими журналами. Любовные сцены, ужасы. Зашел в благотворительную читалку, взял «Монитор». Не читал. Так, посидел, стараясь вспомнить названье компании, рекламировавшей газовые плиты в «Манчестер гардиан». Скоро опять оказался на улице, против спортзала, постоял, поглазел на фотографии боксеров. «Младший Салеми, в настоящее время с Рейнгерами в Австралии». Это ж надо — какие плечи!

Поплелся обратно, выбирая незнакомые улицы. На поверку они ничем не отличались от уже изученных. Двое пилили дерево. Из-за забора без всякого предупреждения с лаем вылетела собака. Ненавижу таких собак. Кто-то в куртке, в рыжих сапогах бросал в костер ящики посреди участка. В высоком окне каменного дома белоголовый мальчик изображал короля в бумажной короне. На плечах одеяло, в тонких пальчиках зеленый прутик — скипетр. При моем появлении скипетр тут же превратился в ружье. И, сделав губами «Пиф-паф!», стрелок пальнул в меня шариком. Я снял шапку, в ужасе ему показывая воображаемую дыру. Он улыбался.

Книга пришла с дневной почтой. Вечером ее найду. Надеюсь, это в последний раз мне придется врать.

14 января

Сегодня встретил на Пятьдесят пятой Сэма Пирсона, Айвиного двоюродного брата. Он:

— Вот не ожидал, не ожидал. Все еще среди нас? — А сам же знает прекрасно.

Я — мрачно:

— Да, не на Аляске.

— И как поживаешь?

— Абсолютно никак.

Он снисходительно отвечает на мое остроумие улыбкой.

Вопрос:

— Кто же это мне говорил, что ты поступил в коммерческое училище?..

Ответ:

— Пустые слухи.

В.: Хорошо, но что же ты тогда делаешь?

О.: Сижу на шее у Айвы.

Снова улыбка, но он несколько скисает.

В.: Слышал, ты вроде пописываешь.

О.: Нет, сижу дома и ничего абсолютно не делаю.

В.: Ничего?

О.: Абсолютно.

В.: Ладно, скоро, глядишь, нас всех загребут, куда денешься, а? (У Сэма трое детей.)

О.: Ну, если дефицит пушечного мяса еще обострится.

На сей раз я не очень миндальничал с Сэмом. Знаю я эти вопросики — общественная, семейная тирания. Проверочка — подхожу ли я Айве. Уж конечно, все будет доложено Алмстадам.

15 января

Умей позаботиться о самом себе, и так будет выгодней всему человечеству.

Вчера имел разговор с мистером Фанцелем, господином из Эльзаса. Прошлой весной он купил лилльских ниток, примерно двести бобин, купил по дешевке. По двадцать пять центов бобина. Сейчас они по семьдесят пять центов. Он не собирается их продавать. Разница входит в цену костюма, а сейчас у него больше заказов, чем в самый его счастливый год, 1928-й. Один клиент заказал аж шесть новых костюмов и два спортивных пиджака. «Скоро у меня, очень возможно, не будет материи. Надо уметь заглянуть вперед. И я, знаете ли, повысил цену», — говорит мистер Фанцель. Мудрость, деловая мудрость. Если каждый сам позаботится о себе, всеобщее благосостояние обеспечено. В прошлом году мистер Фанцель пришил мне пуговицу к пальто бесплатно. В этом году взял пятнадцать центов. Возможно, в ход пошли бесценные лилльские нитки, а может быть, время его стало дороже теперь, когда нет отбоя от клиентов. Мистер Фанцель напуган. Он всячески хорохорится, демонстрирует свое процветание, но все равно проскальзывает страх. Его жильцы, четыре года назад сидевшие на пособии, теперь расцвели на оборонке. Один неделю назад просто его ошарашил: заказал костюм за восемьдесят долларов. До сих пор клиентами мистера Фанцеля были богатеи из Кенвуда. Мистер Фанцель не устает рассказывать про своего жильца, которого уж совсем было согнал за неуплату, а тот теперь зашибает сто десять долларов в неделю. Во власти мистера Фанцеля нитки и ножницы, а не судьба, которая вытворяет такое, и, напуганный войной, преображением жильцов, а может, падающей тенью самолета Джефа Формана, омрачающей его тихий небосвод, он заламывает восемьдесят долларов за костюм, который и сорока не стоит, и назначает пятнадцать центов за пуговицу, которую раньше пришивал за так. Мистер Фанцель не виноват. Я виню нравственный климат. Когда можно спокойно сглотнуть Джефа Формана, не подарив его ни единой мыслью, не то что словом благодарности. Предложение есть предложение, спрос есть спрос. И каждого удовлетворят — гребенками, флейтами, резиной, виски, тухлым мясом, консервированными бобами, сексом или табаком. На каждую потребность, хвала провидению, найдется специалист. Вы сыщете человека, который похоронит вашу собачку, потрет вам спинку, научит вас суа-

хили, составит вам гороскоп, убьет конкурента. В нашем мегаполисе все возможно. Был в Париже во времена Джона Лоу[1], такого шотландского деятеля, один горбун, который стоял на улице и за соответственную мзду подставлял свою спину тем, кому негде было приткнуться для подписания купчей.

Что же делать бедному мистеру Фанцелю? Пока может, надо деньги зарабатывать. Человек он маленький. Просто спасает свое имущество во время пожара. Знает, что я не работаю, а сдирает пятнадцать центов за пуговицу. Не то из-за этой самой из-за доброты он будет плестись в хвосте и черт, который так уж нашуровался в голове колонны, что надоело, тут-то его и зацапает. А кто, интересно, если мистер Фанцель останется при своих низких ценах и порывах благотворительности, кто ему обеспечит бифштекс, капусту, кофе с рогаликом, постель, крышу над головой, утреннюю «Трибюн», билеты в кино и табачок «Принц Альберт»?

Он показал мне статью бывшего президента Гувера[2], ратующую за полную отмену контроля над ценами ради поощрения производства оружия в условиях повышенного спроса.

— Как вы считаете? — Ему интересно мое мнение.

— Ну а сами вы как считаете, мистер Фанцель?

— Этот план мог бы спасти страну.

— Но с какой стати мы должны им платить, чтоб спасти страну? Они же и так производят оружие?

— Это их бизнес.

— Но они же на нем так и так загребают кучу денег?

— А еще больше — было бы еще лучше для всех. Бизнес есть бизнес. Э-э, — он смеется и машет на меня ручкой. — Да что вы в этом понимаете? Они бы больше работали, и мы бы скорей победили.

— Но тогда цены подскочат и на поверку окажется не больше денег, а меньше.

— Э-э, да что вы понимаете, — и он пускает смешок сквозь рыжие волоски ноздрей и усов.

— Мистер Фанцель, а если вы сошьете платье своей жене, вы с нее возьмете деньги?

— Я мастер по мужской, а не по женской одежде.

Я положил ему на конторку три пятака, взял свое пальто.

— Вы все ж таки подумайте, — крикнул он мне вдогонку. — Просто так человека президентом не сделают.

Я поплелся прочь, теребя пуговицу, неделями грозившую отпаденьем, и прикидывая, стоит ли гарантия ее прочности всего того, что потеряно вместе с этими пятнадцатью центами: три чашки кофе, или три сигары, или полторы кружки пива, или пять утренних газет, или почти пачка сигарет, или три телефонных звонка, или один завтрак. У Айвы задержали чек в библиотеке, и сегодня я вообще без завтрака. Но иногда даже полезно лишний раз не поесть. Я же не трачу калорий, как нормальный активный мужчина, имеется кой-какой жирок про запас. Если бы мистер Фанцель узнал, что лишил меня моего кофе с тостом, он бы, конечно, пришел в ужас, несмотря на тот факт, что теоретически он имеет полное право на чистую совесть. Я обязан был сам о себе позаботиться. Он не может нести за меня ответственность. Помню этого жениха из «Преступления и наказания», Лужина. Он начитался английских экономистов или делает вид, что читал. «Я рвал кафтан пополам, — рассуждает господин Лужин, — делился с ближним, и оба мы оставались наполовину голы». А зачем же обоим дрогнуть? Пусть лучше хоть один согреется. Безукоризненный вывод. Если бы я все это рассказал мистеру Фанцелю (не поминая про завтрак), он безусловно бы согласился. Жизнь сурова. Vae victis![3] Туда и дорога.

16 января

День, в общем, прошел тихо-спокойно.

---

[1] Джон Лоу (1671—1729) — шотландский финансист, авантюрист.
[2] Герберт Кларк Гувер (1874—1964) — 31-й президент США (1929—1933).
[3] Горе побежденным! (*лат.*).

18 января

Утром Мария меняла постель, вытирала пыль, мыла окна, а я сидел и смотрел. Особенно меня впечатлило, как она моет окна. Это всего лишь ее работа, но, кажется, она наслаждается, следя за скольжением тряпки по блеску, открывая и захлопывая звучным шнурком фрамугу, все выше и выше возводя на испятнанное стекло кучерявый водный рубеж.

Делать чистой грязную поверхность — естественная человеческая потребность. Я люблю чистить обувь и по себе это знаю. Как преобразилась Мария на окне, как очеловечилась, когда терла стекло. Я вот думаю: может, чистить — вообще одно удовольствие? Дело важное, ему отдаются телом и душой. Но тут еще важна идея центра, равновесия, порядка. Женщины проникаются ею на кухнях своего детства, и от раковин, окон, столешниц она ответвляется на ручки и лица детей или, как у некоторых женщин бывает, входит в понятие Бога.

19 января

Сюзи Фарсон прибежала в слезах спрашивать у Айвы, что ей делать с мужем. Я ретировался, чтоб им не мешать. У Сюзи с мужем вечные битвы. Муж, Уолтер, блондин из Дакоты, румяный бугай, рот корытом — такие часто нравятся городским девочкам. Сюзи — одноклассница Айвы, а он на шесть лет моложе. Его возмущают эти шесть лет, возмущает, что его захомутали, и, главное, возмущает ребенок — Барбара. На днях Айва требовала, чтоб я набил ему морду: он заткнул девчушке рот носовым платком — спать, видите ли, мешала. На прошлой неделе он из этих же соображений связал ей челюсти, чуть не удушил. Недавно наставил Сюзи синяк. Айва посоветовала Сюзи его бросить, та сказала, что и сама собирается.

20 января

Мы с Айвой встретились в городе в шесть. По случаю шестилетия свадьбы. Она решила, что мы имеем право на праздник. Новый год мы не встречали. Год был неважный — тем более повод посидеть за бутылочкой французского вина и вкусно поужинать. И Айва решила: почему не сегодня?

Я приехал надземкой, вышел на Рэндольфа и Уобаш. В одном конце улицы змеились красные мазки, в другом — висела черная полоса, будто мягко намеченная углем, и в ней дрожали многоточием береговые огни. Толпа на платформе — час пик — плавилась в налетавших лучах поезда. Каждый поезд оставлял по себе интервал тьмы, настигавшей на повороте прощальное цветное подмигиванье заднего вагона. Искры снизу, с улицы, застревали в тяжелых лежачих ступенях шпал. Голуби под закопченным железом карнизов уже спали. Их ватные тени падали на афиши и от каждого поезда вздрагивали, будто с крыши к ним на насест прыгнул стервятник.

Я пошел по Ист-Рэндольф-стрит, останавливался поглядеть на роскошные яства и экзотические фрукты. Вышел на дымный проход у библиотеки, откуда выныривают вагоны на юг, и вдруг прямо передо мной растянулся человек. Миг — и меня зажала толпа, и с расстояния, наверно, не такого большого, как казалось, от вагона на Коттедж Гроув смотрел вниз конный полицейский.

Упавший был почти старик, хорошо одет. Шляпа лежала, прижатая большой лысой головой, язык выпал, губы как-то вспухли. Я нагнулся, подергал воротничок. Отскочила пуговка. Полицейский уже к нам пробивался. Я посторонился, вытирая руки бумажкой. Мы вместе смотрели в лицо упавшему. Потом я всмотрелся в лицо полицейского. Длинное и узкое, как сапог. Резкое, красное, исполосованное ветром, мощные челюсти, седые бачки перехвачены ремешками жесткой синей фуражки. Он свистнул в свисток. В этом не было необходимости. К нам уже бежали люди в мундирах. Первым добежал тоже человек пожилой. Наклонился. Ощупал карманы несчастного, извлек старомодное, на шнурках, как у моего отца, портмоне. Поднес к глазам карточку, разобрал фамилию. Широкий плащ жертвы задрался, ходуном ходили грудь и живот, он жадно ловил воздух. Толпа, теснясь, пропустила «скорую помощь». Взвыла сирена. Зеваки нехотя разбреда-

лись. И это багровое лицо сейчас побелеет, перестанут метаться забрызганные руки, отвалится челюсть? Может, просто эпилептический припадок?

Уходя вместе со всеми, я ощупал лоб, его саднило. Пальцы прошлись по шраму: тетя Дина оставила в ту ночь, когда умерла мама. Нас кликнула сиделка. Мы сбежались из всех комнат. Мама была, наверно, еще жива, хоть глаза уже закрыла, потому что, когда тетя Дина к ней припала, мамины губы дрогнули и криво сложили последнее слово, может быть, поцелуй. Тетя Дина взвыла. Я пытался ее оттащить, она, обезумев, вонзила в меня ногти. В следующее, застланное мгновение мама умерла. Я смотрел на нее, стиснув себе рукой лицо, тетя Дина рыдала: «Она хотела что-то сказать! Она хотела мне что-то сказать!»

Наверно, для многих в завороженной толпе распростертая фигура была, как и для меня, предуведомленьем. Без преамбул, вот так, вдруг. Кирпич, балка, пуля в затылок — и кость вдребезги, как дешевые черепки; или враг похитрей избегает засады лет; спускается тьма; мы лежим со страшным грузом на лице, боремся за последний вздох, и он выходит, как скрип гравия под грузным шагом.

Поднимаясь по библиотечным ступенькам, я видел, как синяя «скорая помощь» вынырнула из прохода и спокойно посторонилась лошадь.

Айве я не стал рассказывать: расстраивать не хотел. Но сам не расстраиваться не мог, то и дело за ужином вспоминал упавшего, кусок не лез в горло, и я откладывал вилку. Праздника не получилось. Айва думала, я заболел.

21 января

Сюзи Фарсон явилась дико возбужденная: они с мужем едут в Детройт. Военное ведомство его командирует на курсы радистов. Она надеется пристроиться там же. Ребенок остается с сестрой Фарсона, она девушка сверхнадежная, работает в одном ресторане.

— Она за ней присмотрит. Дженни просто обожает ребенка. Я тебе напишу, сообщу, как устроились. И, знаешь, Айва, может, ты заскочишь когда-никогда, посмотришь, что да как, а? Адрес Дженни я оставляю.

— Конечно, — сказала Айва, но холодно.

А когда Сюзи убежала, сказала:

— Ну не дура? А вдруг что случится с ребенком!

— Не хочет мужа терять, — говорю я.

— Этого? Да я б его пристрелила. И зачем она такое накручивает? Думает, главное, что действует во имя любви. Ах, ты бы уж лучше молчал!

Мистер Ванейкер прочищал горло, кашлял, смачно отхаркивался, снова кашлял. Не выносит в нашей комнате ни малейшего шума. Так бы и продолжалось до бесконечности, если бы Айва, вдруг озверев, не постучала об стену туфлей.

22 января

Плотно поел за завтраком, чтоб продержаться до вечера. Но в час, голодный как волк, отшвырнул статью Абта и пошел пообедал. На обратном пути купил три апельсина и большую плитку шоколада. В четыре все умял. Потом плотно поужинал у Фаллуна. А через несколько часов, в кино, добавил еще упаковку карамелек и чуть не целый кулек мятных лепешек. Сейчас одиннадцать, и еще хочется есть.

24 января

Сегодня ужинали у Алмстадов. Сэм на меня не донес. Айву я подготовил, передал наш разговор, но все обошлось. Старый Алмстад держал площадку, рассуждал о прибыли, какую он получит, если не урежут поставки. Теща тоже при деле. На днях испекла торт для благотворительного базара в пользу русских. Все дамы из ее клуба на этой неделе сдают кровь для Красного Креста. Она еженедельно вяжет по шарфу. Варежки пробовала — не вышло. Не получается палец. Девочки, Альма и Роза, жаловались, что все кавалеры поисчезали в армии, остаются одни студентики. Миссис Алмстад снова заверила, что с удовольствием приютит Айву, когда меня заберут. Я сказал — это не срочно, еще успеется. Я слишком люблю Айву, чтоб им ее выдать.

На той неделе идем к моему отцу. Мачеха все зовет-зовет, а мы не идем — она уже обижается.

26 января

Слег с простудой. Утром Мария для меня заварила чай. Айва после обеда пришла домой за мной поухаживать. Принесла луизианской клубники, для пущей вкусноты обваляла ее в сахарной пудре. Одеяло вызвездили зеленые черенки. Она была сама широта и доброта, как иногда умеет. Часок почитала мне вслух, и мы прикорнули оба. Я проснулся под вечер; она еще спала. Я оглядел уютную комнату, услышал легкое ритмичное посапыванье в лад моему. И нежностей никаких не надо. Вспыхнул узор на окне, деревья, как инструменты в оркестре, пустили все звуки на ветер, и ярко горели льдистые краски неба, и снега, и облаков. Хоть день бы один в мире без увечий, без угрозы погибели, и мой восторг перед природой еще обострился бы, потому что она занята только собственной красотой и прочим не озабочена. Освещение восстанавливало невинность пошлейших предметов, высвобождая их от уродства. Меня уже не мутило от красного овального коврика возле постели, от вышивок на радиаторе, пузырящейся по крестовине белой краски и шести ручек комода, которые обычно хотелось сравнивать с носами соответственно шестерых братьев-гномов. Посреди комнаты раскинулась символом безмятежности красная бечевка.

На нас давит жуткий пресс, вызывая комплекс неполноценности. С другой стороны, цивилизация учит, что каждый — бесценное сокровище. И потом эти две подготовки: одна к жизни, другая к смерти. Соответственно мы ценим себя и одновременно стесняемся этого, мы бронзовеем. Нас натаскали в спокойствии, а если кто хочет вдруг определить себе цену, он это делает с прохладцей, будто ногти разглядывает, а не душу, морщится, обнаруживая изъяны, будто увидел грязь или щепку под ногами. Мы потому что призваны покорно смиряться с несправедливостями, строем стоять под палящим солнцем, бежать по рушащимся мосткам, быть часовыми, разведчиками, чернорабочими, быть в поезде, когда он взлетает на воздух, и перед воротами, когда их запирают, сходить на нет, умирать. В результате — мы сами к себе равнодушны и нелюбопытны. Кому это надо — всерьез выслеживать себя, если вот-вот превратишься в гонимого зверя? И даже не в четкого, определенного гонимого зверя, а в рыбку, которую косяк несет на запруду.

Но я должен знать, кто я такой.

А приятно вот так поваляться в постели, лежать и не спать. Весь день зажатый, в безделье, я ложусь спать размаянный и в результате не сплю. Даже забыл, как это — спать без снов. Раньше, давно, меня раздражали мои пустые, тягучие сны. Я бегал по дурацким поручениям, вел еще более дурацкие споры, устраивал какие-то дико нудные дела. Сейчас мне снятся прямые, вещие сны. Иногда жуткие. Несколько ночей назад я оказался в низкой комнате, и там были корзины, что ли, или плетеные люльки, и в них — жертвы резни. Я знаю, что это жертвы резни, потому что одного разыскивает семья и мне поручено его истребовать. Мой проводник поднимает бирку, говорит: «Вот этот найден близ...» Названия не помню. Что-то на «танца». Констанца? Там, кажется, — или это в Бухаресте? — перебитые Железной гвардией свисали с крюков на бойне. Я видел фотографии. Я смотрю в склоненное лицо и бормочу, что не был лично знаком с покойником. Просто меня попросили, я человек посторонний... Я и семью-то не знаю толком. Тут мой проводник повернулся с улыбкой, и я понял, что́ он подумал, — в склепе темно, так что это только догадка, но по-моему, он подумал: «В таких делах лучше подстраховаться». Как бы такое предупреждение. Он одобрял мой нейтралитет. Раз я занят гуманной миссией — мне ничто не грозит. Но меня оскорбило сочувствие этого типа, заговорщическая улыбка на остром лице. Неужели же я такой лицемер? «Вы думаете, удастся его найти?» — спросил я. Выказывая ему недоверие. Мы двинулись дальше по проходу: скорей воздушной тягой, чем по твердому, вещественному полу. Трупы, как я уже говорил, лежали в люльках и казались удивительно детскими, но — сморщенные, искаженные лица. Дальше не помню. Только вижу: низкое длинное помещение, как зал Музея промышленнос-

ти в Джексон-парке; детские тела с пробитыми головами; мой проводник, как крыса, шустрый среди своих подопечных; ужас, какой отец когда-то давным-давно нагнетал во мне, описывая геенну и муки грешников, пока я с криком не молил его перестать, и эти два слога — «танца».

Были еще сны — не намного легче. Например: я сапер в Северной Африке. Мы вошли в город, у меня приказ — обезвредить гранаты в домах. Я лезу в окно, спрыгиваю с глинобитного подоконника и вижу гранату, прикрепленную к двери проволочками, ребристую, мерзкую. Я не знаю, с чего начать, за какую проволочку браться. Время поджимает. Есть еще работа. Я дрожу, меня прошибает пот, я прохожу в дальний угол, долго, старательно целюсь из пистолета, стреляю. Когда смолкает грохот, я соображаю, что, попади я в цель, мне бы конец. Но мне некогда радоваться. С кусачками в руке я нацеливаюсь на проволочку.

В проводнике из того, первого сна я распознал давний образ, временно замаскировавшийся, чтобы потом посильней обдать жутью.

Мы встретились в грязном проулке. Днем здесь проезжали телеги, но в этот вечерний час только козел бродил по стылым колеям, твердым теперь, как выбившие их стальные ободья. Вдруг я слышу: к моим шагам прибавились другие. тяжелей, скрипучей, и — страшное предчувствие еще до того, как меня тычут в спину. Я оглядываюсь. И это взбухшее лицо быстро-быстро приближается к моему; меня корябает чужая щетина; в меня вжимается холодный нос; и эти губы меня целуют в висок со смехом и стоном. Я бегу, ослепнув, я снова слышу скрипучие сапоги. Собаки за щербатым штакетником не помня себя исходят лаем. Спотыкаясь о груды щебня, я выбегаю на улицу.

Тот, упавший на прошлой неделе, открой он вдруг глаза — увидел бы он свою смерть на склоненном лице полицейского? Мы знаем: нас ищут; ждем: нас найдут. Сколько разных личин он принимает — убийца. Откровенный, простой, или глубокий и сложный, или пусть даже скучный, без затей и примет. Но — убийца, незнакомец, который когда-нибудь отбросит учтивую или механическую улыбку и тебе покажет оружие в своей руке — орудие твоей смерти. Кто не знает его? Он присматривается к тебе на улице и в подъезде, он нестерпимо мешает тебе в темноте, когда слипаются веки, и одним равнодушным пинком тебя вытолкает в небытие, он, исполнитель, — кто не знает его? Кто не боится его обнаружить за отворяемой дверью? И кто, когда уже кончилось детство, не думал о сопротивлении, бегстве или о том, как совсем не насмешливо, ласково даже коснуться его плеча, когда он придет? А уж это ему выбирать — когда. Он может явиться, когда ты на вершине успеха, когда ты в бездне позора. Может явиться, как приходят чинить радио или розетку. Молчком, или время коротать, перекинуться в картишки. Или без обиняков, наливаясь багровой злобой, он протянет руку к твоему горлу. Или, заслоняясь маской спокойствия, проволочит тебя к твоему последнему, захлебывающемуся, перехваченному вздоху — и отшвырнет.

Как это будет? Что это будет? Падение в глубь, в глубь, в глубь взморщенного моря? Или, как снилось — перекушенная проволочка, граната? Или в обстрелянной с бреющего полета реке, среди рубленых камышей, кровь фонтаном хлестнет сквозь ткань рукавов?

Хорошо валяться и раздумывать о таких вещах при дневном свете. А когда ночью находит, сердце, как жаба, с мерзким всхлипом выталкивает страх. Или, бывает, к утру я устраиваю себе самосуд — это еще хуже. В полудреме я собираю против себя показания, вижу просчеты, провалы, обманы, вилянья, страхи всей своей жизни. Я должен сам себе вынести приговор и задаю вопросы, которые ни за что не хочется задавать: «Для чего?», «Зачем?», «Для чего я тут?», «Для того ли я создан?» Убеждения мои ни при чем, меня не спасают мои затрушенные убеждения. Я все думаю про тот навес на углу. Он защищает от дождя и от ветра в точности, как меня защищают мои убежденья от обступившего ужаса. «Кто крепко спит, того Бог хранит» — старая поговорка. Увы. Утром я одеваюсь, иду по своим «делам». Снова день — как все дни. Но снова будет ночь, тот же сон, «зловещее приключение», по слову Бодлера, и череда кошмаров про счеты-расчеты меня по ступенькам протащит к бодрствованию, и мысль будет биться, как белье на ветру.

Нам выдали невероятный закат: грубые краски, апокалиптическая алость и фиолетовость — такие проступали, наверно, после казни на телах великих святых — в щедрых синюшных подтеках. Я разбудил Айву, и мы вместе смотрели, взявшись за руки. У нее рука прохладная, легкая. У меня немножко подскочила температура.

28 января

У отца все прошло гладко. Мачеха проявляла сердечность, он не возникал. Ушли в десять. Айва мне только сегодня призналась, что, когда мы прощались, мачеха сунула ей конверт, где лежало поздравление с годовщиной и чек.

— Ну, не дуйся, Джозеф, — сказала Айва. — Деньги нам не помешают. Мы обносились оба.

— Я вовсе не дуюсь.

— Они же хотели как лучше. Очень мило с их стороны. Тебе рубашка нужна. И трусы. Латать я отказываюсь, — она усмехнулась, — живого места нет.

— Я не дуюсь, с чего ты взяла. — И я заправил ей за ухо заблудшую прядь.

Я рад-радешенек, что обошлось без дежурного интервью, которое отец обычно начинает с того, что отводит меня в сторонку: «Я тебе говорил про сына Гартнеров? Младшего? Который химию изучал? Его взяли из института. Теперь у него отличная работа на военном заводе. Ты его помнишь».

Естественно, я его помню.

Иными словами — почему я не стал химиком, физиком, инженером? Гуманитарное образование — слишком жирно для людей среднего достатка. Ненадежное вложение капитала. И собственно, кому оно нужно — умный человек и сам прекрасно может дойти до всего, что ему положено знать. Отец, например, университетов не кончал, но всегда может поддержать разговор цитатой из Шекспира — «Нет повести печальнее на свете», «Есть многое на свете, друг Горацио» — и даже продекламировать весь монолог Гамлета: «Быть или не быть — таков вопрос».

Мои знания, конечно, шире, чем у него, кто спорит. У меня и возможностей было побольше. Но сначала все-таки хлеб с маслом. Кстати, люди точных профессий тоже часто бывают очень культурными. Джордж Сакс, например (наш домашний доктор в Монреале), — ученый, даже книгу написал в свободное время (брошюрка Квебекского музыкального общества: «Глухота Бетховена в свете медицинских фактов»). В защиту отца, конечно, можно сказать, что я себя готовил для образа жизни, который никогда не осилю. И если раньше я маниакально рвался осуществить свои планы, теперь я знаю, что пора успокоиться на очень-очень малом. Верней — пора закругляться, какое уж там успокоиться. И личный выбор теперь вообще не учитывается.

29 января

Проходя мимо любимой свалки Ванейкера, я заметил в кустах, среди бутылок, пару носков, показавшихся мне знакомыми. Подобрал один, осмотрел. Мой. Так и есть. Я год назад закупил таких несколько пар. Для полной уверенности взял его домой, сопоставил с остальными. Абсолютно. Значит, возможно, он и духи спер. А я еще не хотел верить. У Ванейкера, миссис Бригс говорит, хорошая служба в гараже. По воскресеньям, когда он отправляется к обедне, мы же видим — одет прилично. Что могло вдохновить человека на кражу моих заношенных носков? Айве я не сказал, зачем, завернул улику в бумагу и выбросил.

30 января

Написал Абту. О статье не упомянул. Он, конечно, разобидится.

31 января

Чуть отпустили холода. Яростная чистка. Одна рубашка вернулась из прачечной без единой пуговицы. Буду жаловаться.

1 февраля

На углу Тридцать шестой наткнулся на Альфа Стайдлера, сто лет его не видел. Он слышал, что меня призвали, я слышал, что его. Его, оказывается, забраковали.

— Плохие зубы, сердце барахлит, нервная система никуда. Последнее особенно. А Джек Брилл вот их устроил.

— Взяли его?

— В декабре. В артиллерию.

— А каким ветром тебя сюда занесло с Гурон-стрит?

— Братана в больнице навещал. В четверг свою тачку разбил.

— Да ну? И сильно пострадал?

— Нет, ничего, вывеску вот только немного подпортил.

Я сказал, что очень сочувствую.

— Тут уж кому как повезет, — сказал Стайдлер. — Теперь-то ничего, когда женился. Неповадно будет по бабам бегать.

— А я и не знал, что он женился.

— Откуда, интересно, тебе знать? По радио не объявляли.

— То есть я хочу сказать, я удивлен. И кто она?..

— Вилма. Женился на этой пупочке.

— Это с которой я его в Пакстоне тогда видел?

— Она самая.

Каждый раз при виде Стайдлера мне вспоминается племянник Рамо, описанный Дидро, как «...un (personnage) composé de hauteur et de bassesse, de bon sens et de déraison»[1]. Только не такой выспренний, более чувствительный (на свой лад, конечно) и отнюдь не такой блестящий.

Поджег спичкой остаток сигары, пососал. Черные свежеподстриженные волосы по-прежнему зализаны назад, как пририсованы к выступу темени. Длинное, скуластое лицо с мясистым носом и губами кажется от этого смехотворно голым. В пыльных лучах между столбами подземки он был бледный, зеленый просто. Выбрит, припудрен, новый галстук в полосочку. Но стильный когда-то плащ обтрепался, коричневый пояс позеленел.

— А как наш старик Моррис? — спросил он.

— Абт? Цветет. Он в Вашингтоне.

— Ну а ты?

— Вот, в ожидании армии. А ты-то как, Альф?

— А-а, да все то же. Устремляюсь к изячной жизни. Туговато приходится. Несколько лет все шло путем. Я был заслуженный артист республики. Я же сперва по части театра, ты помнишь. Потом организовал балет на воде в парках, потом хором руководил в одном богоугодном заведении. Ну? А я же, можно сказать, с нуля начинал. Рыл канавы на улице — первая моя работа. Люди спрашивали потом — чем занимался, объяснял: был геологом. Ха-ха! Потом еще за дымом следил.

— Не понял.

— По восемь часов в день на фабричной крыше сидел, со схемой шести оттенков дыма, следил за трубами. Дальше — этот театральный проект. Потом лавочка накрылась, подался на Побережье. Слушай, там дальше кафешка. Как насчет чашечки кофе, а? Ладненько. Сто лет тебя не видел. Да-а, доброе старое Побережье. Пробовал там с кой-какими идеями выйти на Любича, искал, кто бы меня представил, не нашел. Эх! Там с ума сойдешь, буквально, общая психушка. Бывал на Побережье?

— Ни разу.

— Ух, и не суйся, это полная жуть. Хотя, конечно, если хочешь понаблюдать, до чего народ может докатиться, — съезди, взгляни. В Лос-Анджелесе меня накололи на пятьдесят баксов, как младенца. Я, конечно, не в таком, как ты, обществе вращаюсь. Короче, на полном нуле, отбил телеграмму мамаше, она мне — двадцать баксов и текст, что, мол, прогорает косметический кабинет. Та еще была неделька. Пришлось даже на работу наняться, чтоб собрать кой-какие средства. — Он окинул меня томным взором: разорив-

---

[1] ... (персонаж), составленный из выспренности и низости, здравого смысла и безрассудства (*франц.*).

шийся испанский гранд, расплющенный нос, щеточка на длинном надгубье. Голубые глаза потемнели. — Да, мне несладко пришлось. Правда, одно хорошо на Побережье, — он несколько просветлел, — никакой напряженки по части баб, если не слишком много вокруг солдатни вертится. Только свистни. Про дурацкий этот процесс читал, нет? Ой, тут просто блеск, будь мы цивилизованной нацией — прямо ставь на сцене. Канадский офицер держит в гостиничном номере девку. Она заявляет: чисто братские отношения. Он ее называл «моя шлюшка». «Плюшка, вы хотите сказать?» — прокурор уточняет. Тут бы ему понять, что случай провальный. «Нет, — она настаивает, — шлюшка. Это булочки такие, их англичане любят». — Альф хохочет, подрагивая ложечкой над кофейной чашкой. — Суд, как говорится, может отдыхать! — Наклоняется, передает мне сахарницу, и я вижу скрученный номер «Верайети» в кармане плаща. Собственное остроумие умиротворяет его; призадумавшись, улыбаясь, он помешивает, потягивает; потом слюнит свежую сигару, водя по нижней губе.

В свои двадцать восемь он старомоден. Все ухватки актерского поколения, вымиравшего тогда уже, когда он прогуливал школу ради старых комедиантов в затхлой пышности «Ориентала». Взрос под сенью материного косметического салона. Когда я поближе его узнал, в шестнадцать, он уже был на театре помешан, каждый день вставал в два и завтракал чаем с сардинами. Вечерами толокся в «Стреле», среди любителей обсудить «Любовь под вязами»[1]. Переиграл на всех местных сценах, был Джоксуром в «Юноне и Павлине»[2] и даже исполнял Сирано в течение блаженной, победной недели (запомнившейся на всю жизнь) перед школьной аудиторией.

— Я бы так на Побережье жил и жил, — говорит он. — Но моя очередь подоспела. Вызвали. А все же хорошо нашу родину характеризует, что меня завернули. Если б они меня упекли в эту самую армию, их бы за одно за это надо разгромить. Психиатр спрашивает: «Род занятий?» А я: «Если честно, доктор, я всю свою жизнь паразитирую». Он: «И как же вы намерены существовать в армии?» Я: «А вы как думаете, доктор?»

— Так и сказал?

— Ну. Я по-честному. На кой я им сдался? Я всемирный рекорд могу побить по сачкованию. Это вам, недоноскам нормальным, сам Бог велел сражаться за родину. Да-а. Так и сказал: «А вы как думаете, доктор?» Тут он снова глянул в мои бумажки и говорит: «Здесь указано, что у вас сердце плохое. Что ж, оставим так». А сам пишет: «Шизоидный тип». Ну? В какое я влип дерьмо? Я уж думаю. Неужели с одного взгляда можно такое определить? Или потому, что я сказал, что я паразит? Неужели этого достаточно?

— Нет, — сказал я. — Нужно много чего еще. Этого недостаточно. Так что ты не огорчайся.

— Я? Огорчаюсь? Да ты что! — В очках двоился и трепетал острый огонек следующей спички. — Они же так и так не знали бы, с чем меня едят, я же не ваш брат, они к таким не привыкли. Что я, не понимаю? Нет, для войны я не создан. Не мое это дело. Мое дело вертеться.

— И как тебе удается вертеться, Альф?

— Сам удивляюсь. Вот опять январь на дворе, а я тут как тут. Обошлось. Как — и не спрашивай. Где подхалтурю, где халява набежит, где кого-нибудь подою, где выиграю. Конечно, я паразит. Или буду паразитом, пока не добьюсь своего. Но я, между прочим, развлекаю тех, кого дою. Это тоже не фунт изюма.

— По-твоему, я должен заплатить за твой кофе? — спрашиваю я.

— С чего это? Каждый за себя. Ну и шуточки у тебя, Джозеф. — Вид обиженный.

— Я к тому, что ты меня развлекаешь.

— А-а, мне в одном месте кое-что светит... на днях буквально...

— Да я вовсе не про то, — говорю я.

— Замнем для ясности. Кто станет обижаться на твои плоские шутки. Ты меня потом на федеральной сцене не видел, нет? А неплохо получалось. Большой прогресс по сравнению со старыми временами. Рокса-ана! Помнишь? Ха-ха-ха! Кстати, это у нас семейное. Ты не слыхал никогда, как моя старушка поет, тебя не было? О! Много поте-

---

[1] Пьеса Юджина О'Нила.
[2] Пьеса Шона О'Кейси.

рял. А брат у меня песни пишет. Сейчас как раз написал одну для Объединенных Наций. «Протянем через океан друг другу руки». Все пристает ко мне, мол, надо с этим что-то делать. Уверен, что будет колоссальный успех. И теперь, значит, пусть я еду в Нью-Йорк, на свою страховку. Вилма против.

— Ты поедешь?

— Год назад — я бы пулей. Но поскольку Вилма против... Я перед девочкой в долгу. Несколько лет назад, они уже вместе жили, Фил ей наставил фонарь за то, что сперла двадцать долларов у него из кармана. А она не брала. Это я украл.

— Ты признался?

— Признался? Да он бы навек утратил ко мне доверие. И я знал, что все у них утрясется. Как он ее изукрасил! Она плакала...

— И все это при тебе?

— Прямо тут же, в комнате. Но я, естественно, не мог соваться.

— Ну а деньги?

— Я спер их в напрасных надеждах. Ты, конечно, думаешь, ах, какой кошмар, да? Но, может, это жестоко звучит и ты не поверишь, но они больше на людей похожи, когда дерутся. Вообще, все как в кино. Он угрызается, она прощает его, потому что любит и тэ дэ. Получили большое удовольствие. Я мирил. А теперь она говорит, что сама повезет эту его песню в Нью-Йорк. Заранее, видимо, себе представила, как стоит на Тин-Пэн, вся в слезах...

— Ну не выдумывай.

— Прямо! Не выдумывай. Ты себе не представляешь этот тип. Сейчас я тебе опишу. Ночью она прячется у издателя в кладовке и утром преподносит сюрприз самому мистеру Снайт-Хокинсу. «Что вы тут делаете?» — «Ах, сэр, ради меня, выслушайте эту вещь. Ее написал мой муж». Он сурово отказывает, она бросается к его ногам, он бормочет: «Ну-ну, моя девочка». Неплохой человек, понимаешь. «И не только ради меня, но ради демократии и...» Он раскисает: «Зачем же лежать на полу, моя дорогая. Вот, садитесь в кресло. Я дам это просмотреть мистеру Трубчевскому (партитуру то есть)». Нет, погоди. (Я попытался вставить слово.) Трубчевский играет. Снайт-Хокинс хмурится, оглаживает бороду. Выражение лица меняется. Трубчевский в полном восторге. Хором поют: «Протянем через океан...» и тэ дэ. Трубчевский — глаза сверкают — кричит: «Ваш муж гений, мадам, форменный гений!» Снайт-Хокинс: «Зачем же плакать, моя дорогая». — «Ах, сэр, вы не можете понять. Пройти через такие муки, водить такси, работать над музыкой ночами». И тут они оба расчувствуются. Понял? Такая вот картинка. И она, конечно, поедет. Выброшенные деньги. Но он иначе не успокоится.

— Жаль.

— Почему это жаль. Плевать. Но только подумать, что вообще было бы с человечеством, если б сбылись их мечты.

«А твои?» — подмывает меня вставить.

И так целый божий день. Он увязался за мною к нам, торчал до пяти, не закрывал рот ни на минуту, так накурил, что пришлось потом проветривать комнату. Я устал, как будто весь день предавался вместе со Стайдлером мерзкому разгулу. Айве я ничего не стал говорить. Она его и так не любит.

2 февраля

По-прежнему ни плодов, ни цветов. Лень даже нос высунуть. Но я же знаю — я не ленивый. Чистый обман зрения. Вовсе мы не ленивы. Просто от вечных разочарований делаем из гордости вид, что нам на все плевать.

Правильно египтяне произвели в божественный статус кошку. Уж они-то знали, что только кошачий глаз может проникнуть во тьму души человеческой.

По газетным данным, с прошлого лета в Иллинойсе не мобилизовали ни одного женатого. Но сейчас с пополнением туго, так что женатых без иждивенцев скоро будут брать. Стайдлер спрашивал, как я пользуюсь своей свободой. Ответил, что занимаюсь самоусовершенствованием, чтоб стать достойным членом армии, а не винтиком. Он счел

мой ответ невероятно остроумным. Вообще меня держит за присяжного остряка, ржет над каждым моим словом. Чем я серьезней, тем он громче заливается.

Он, оказывается, прожил три месяца в городской больнице, в помещении для практикантов. Врачи ничего не знали. Один приятель, Шейлер, студент-практикант, жил там и взял его к себе, остальные его прикрывали. Ел в больничной столовке, белье стирали в больничной прачечной. На карманные расходы подрабатывал картами; были разные выдачи; обхохочешься; его представляли пациентам как специалиста; он давал рекомендации. Студенты его обожали; отрадное время. В комнате Шейлера до утра толокся народ. Перед отъездом в Калифорнию ему прямо в больнице устроили отвальную. Но, между прочим, все это, наверно, правда. Стайдлер приукрашивает, но он не врет.

3 февраля

Часок с Духом Противоречия.

— Ну как, потреплемся, Джозеф?

— С удовольствием.

— Устроимся поуютней.

— Тут не очень устроишься.

— Все отлично. Обожаю мелкие неприятности.

— Ты не испытаешь в них недостатка.

— Обо мне можешь не беспокоиться. Это ты что-то мнешься.

— Да, честно говоря, хоть я рад и все такое, я не знаю, как тебя, собственно, определить.

— В смысле имени?

— Ну, это не важно.

— Вот именно. Я значусь под несколькими.

— Например?

— О... «Но с другой стороны» или «Tu As Raison Aussi»[1]. Главное, всегда знаю, кто я такой. Вот что важно.

— Завидная позиция.

— Я сам часто так думаю.

— Съешь апельсинчик.

— О, спасибо, не стоит.

— Ну, один-то возьми.

— Они теперь дорогие.

— Ну, доставь мне удовольствие.

— Ну, разве что...

— А я к тебе привязался, знаешь. Ты мне нравишься.

— Съедим его пополам.

— Давай.

— Так, значит, я тебе нравлюсь, Джозеф?

— О да.

— Это лестно.

— Нет, серьезно. Я тебя очень ценю.

— Это тебе недолго: полюбить, невзлюбить?

— Я стараюсь быть объективным.

— Да, знаю.

— Это что, плохо?

— Что? Руководствоваться разумом?

— Тебе угодно, чтоб я отдавался неразумию?

— Ничего мне не угодно. Просто я предлагаю...

— Чувства?

— Они есть у тебя, Джозеф.

— И еще инстинкты.

---

[1] Ты тоже прав (*франц.*).

— Инстинкты тоже.

— Слыхали-слыхали. Вижу, к чему ты клонишь.

— К чему?

— К тому, что не в слабых силах человеческих противостоять Непостижимому. Наша природа, природа нашего разума слишком слаба, и мы можем рассчитывать только на сердце.

— Что ты мелешь, Джозеф? Ничего я этого не говорил.

— Зато подумал. Разум должен себя победить. Но тогда зачем он нам сдался, этот разум? Чтоб постичь благодать бессмысленности? Довольно жидкий аргумент.

— Зря ты на меня окрысился. Могу тебя поздравить с изящным умозаключением, только ты попал пальцем в небо. Конечно, тебе туго пришлось.

— И приходится.

— Вот именно.

— И дальше будет не легче.

— Конечно. Ты должен быть к этому готов.

— Да готов я, готов.

— Ну и молодец, что не требуешь от жизни чересчур много.

— Но это печально, согласись.

— Главное — уяснить, сколько можно от нее желать.

— О чем это ты?

— О счастье.

— А я о том, чтоб желать остаться человеком. Мы не хуже других.

— Кого, например?

— Тех, кто доказал, что можно остаться человеком.

— А-а, в прошлом.

— Слушай, ты, Tu As Raison Aussi! Слишком уж мы топчем настоящее, тебе не кажется?

— Да ты и сам его не слишком обожаешь.

— Обожаешь! Ну и слова!

— Ладно, скажем так: ты от него отчужден.

— Тоже словечко далеко не первый сорт.

— Модное зато.

— Теперь без конца талдычат про отчуждение. Глупости все это.

— Ты думаешь?

— Можно порвать с женой, бросить ребенка, но с собой-то самим что прикажешь делать?

— Ты не можешь декретом отменить мир, если он в тебе самом, да, Джозеф?

— Как его отменишь? Ты ходишь в их школы, смотришь их кино, слушаешь радио, читаешь газеты. Предположим, ты объявляешь о своем отчуждении, говоришь, что отвергаешь голливудину, мыльную оперу, пошлый боевик, ну и что? В самом твоем отрицании уже повязанность со всем этим.

— Можно просто взять и забыть, отрезать, и все.

— Мир достанет. Всучит тебе пистолет, электродрель, к тому-сему тебя прикурочит, донесет известие о бедствиях и победах, будет туда-сюда швырять, урезать в правах, гробить, лишать будущего, ловкий, гнусный, коварный, черный, блядский, наивный, смешной и продажный мир. Никуда ты от него не денешься.

— Так. И что дальше?

— Может, слабина в нас самих, во мне. Слабое зрение.

— А не слишком ли ты требователен к себе, а?

— Я серьезно.

— Куда девать эти косточки?

— Извини. Ой, ты их в руке держишь? Вот, в эту пепельницу. Да, о чем я? Отрекаться и презирать проще простого. Узость. Трусость.

— Если б ты прозрел, что бы ты узрел, как думаешь?

— Даже не знаю. Может, что мы неразумные дети или что мы ангелы.

— Ну, ты просто придуряешься, Джозеф.

— Хорошо, я бы постиг, куда подевались те качества, которым мы были когда-то обязаны своим величием.

— Не приведи бог.

— Кто спорит. У тебя, случайно, нет табачку?

— Нет.

— А бумаги? Бумажку бы, я сварганил бы тогда из этих бычков самокрутку.

— Прости, что явился с пустыми руками. Так, хорошо, ты не отчужден от мира, но чего ж ты тогда со всеми ссоришься? Ты ведь не мизантроп, я знаю. Может, из-за того, что тебя вынуждают признать, что ты такой же, как все?

— Ну, я не прав, верней, я неудачно выразился. Я вовсе не утверждаю, что не чувствую отчужденности, просто нельзя идти на поводу у своих чувств.

— Это общественный или это личный подход?

— Не понял.

— Как у тебя насчет политики?

— Хочешь о политике порассуждать? Это со мной? Сейчас?

— Ну, поскольку тезис о своей отчужденности ты отклоняешь, может, тебе хочется изменить наше бытие?

— Ха-ха-ха! У тебя есть идеи?

— Это, собственно, не совсем по моей части, знаешь ли...

— Знаю. Но ты сам начал.

— ...не моя позиция. Ты никак не поймешь.

— Нет, почему.

— Итак, насчет изменения бытия...

— Мне вовсе не нравилось быть революционером.

— Нет? Разве ты не испытывал ненависти?

— Почему, испытывал, но мне это не нравилось. В общем-то...

— Да-да?

— Как ты мил... Я считал политику недостойной деятельностью. Платон говорит, что, будь мир таким, как он задуман, лучшие люди избегали бы постов, а не рвались к ним.

— Н-да. Они к ним рвались, было дело.

— Да. Общественная жизнь неприглядна. Ее человеку навязывают.

— Я часто слышу этот скулеж. Но он ни к селу ни к городу, когда речь идет о необходимости соответствующих мер.

— Но с кем, при каких обстоятельствах, как, с какой целью?

— А-а, в том-то и дело. С кем?

— Ты ведь не веришь в историческую роль классов?

— Опять ты забываешь. Я по части...

— Противоречий. Прошу прощения. Вернемся к нашим баранам — с кем. Ужасный, неразрешимый вопрос. С людьми, сидящими по углам, с индивидуалистами? Им чуть ли не одну-единственную свободу и подавай: любопытствовать — куда же дальше?

— И все же, если б ты вдруг прозрел... Вот ты хочешь сказать, что скудость воображения тебя ведет к отчужденности, но ведь та же самая скудость портит тебя политически. Если бы ты мог взглянуть шире... Ты куда?

— Посмотреть, нет ли в пальто сигаретки. Одну, кажется, оставлял.

— Если б ты мог взглянуть шире...

— Ни малейших признаков курева в доме.

— Охватить целое...

— То есть будь я политическим гением. Я таковым не являюсь. Ну, дальше — что теперь на повестке дня?

— Как быть в данных обстоятельствах.

— Стараться жить.

— Как?

— Tu As Raison, знаешь, а от тебя ведь немного толку. Как — как. Подбросил бы планчик, программу, хоть навязчивую идею.

— Идеальную конструкцию.

— Немецкие штучки. А еще французское имя носишь.

— Приходится быть выше подобных предрассудков.

— А что? Недурно пущено. Идеальная конструкция, этим охвачено все. Были тысячи вариаций: тут тебе и наука, и мудрость, и храбрость, и войны, и польза жестокости, тут тебе и искусства; богочеловек древности, свободный человек гуманистов, галантный любовник, рыцарь, богослов, деспот, аскет, миллионер, предприниматель. Да я тебе кучу назову этих идеальных конструкций, и для каждой свои правила, символы, и для каждой находится — в поведении, в Боге, в искусстве, в деньгах — свой особый ответ, и в каждом случае провозглашается: «Только так можно побороть хаос». Даже такие, как мой друг Стайдлер, под влиянием идеальной конструкции, только третьесортной. Потому что слянана кое-как, левой ногой. Но вещь это вполне реальная. Он, скажем, хотел бы выкинуть из своей жизни все недраматичное. Другой вопрос, что понятие о драме у него плоское совершенно. Простые, неизбежные вещи для него недостаточно драматичны. У него есть понятие о высоком стиле. Муть стопроцентная. Ему подай благородство жеста. И при своей пресловутой лени он будет до потери пульса рваться к своему идеалу.

— Сам-то что же не обзаведешься такой конструкцией, а, Джозеф?

— А как по-твоему, они нам очень нужны?

— Не знаю.

— Может, я и без них перебьюсь?

— Ну, при таком взгляде на вещи...

— Надо, наверное, как-то так настроить фокус судьбы, чтоб тебя поглотило и увлекло.

— Возможно.

— А как насчет зазора между идеальной конструкцией и реальным миром, правдой?

— Да уж.

— И как они соотносятся между собой?

— Интересный вопрос.

— И потом: навязчивая идея изнуряет. Может осточертеть. Так и бывает сплошь да рядом.

— Гм.

— Что ты на все это скажешь?

— Что скажу?

— Да, как ты думаешь? Сидишь тут, смотришь в потолок, темнишь, даешь уклончивые ответы.

— Я ответов не даю. Не мое это дело — давать ответы.

— Вот именно. Непыльная у тебя работенка.

— Что-то не очень ты стараешься быть объективным, Джозеф.

— Объективным! Да ну тебя, надоело. Смотреть тошно на твою рожу противную. Меня мутит от твоих фальшивых, сладких ужимочек.

— Джозеф! Послушай!..

— А-а, да пошел ты! Вон отсюда! Двуличный. Я тебе не верю, дипломат проклятый, все ты врешь!

Я в бешенстве запустил в него апельсинной коркой, и он бежал.

4 февраля

У хозяйки, миссис Кифер, вчера опять был удар, отнялись ноги. Миссис Бартлетт, нанятая миссис Бригс в сиделки к матери, считает, что та и трех недель не протянет. Окна затенены, лестницы и коридоры пропахли карболкой, и когда поднимаешься в сумраке к верхнему витражу, кажется, что попал в больницу какого-то монашеского ордена. Кроме приходов и уходов Ванейкера, ничто не нарушает тишины. Он шумит по-прежнему: не научился прикрывать дверь, приобщаясь к удобствам. Чтобы его урезонить, я вынужден выскакивать из комнаты и воинственно топать к уборной. После чего он грохает дверью. Несколько раз я делал обобщенные, но отчетливые и грозные замечания о чести и совести. То ли от пьянства, то ли по глупости он не реагировал. Я же от собственных выступлений просто заболеваю. Когда я эдаким нервным, вспыльчивым юношей выле-

таю его воспитывать, я в себе чувствую хамство, которое ненавижу в других, — как у посетителя ресторана с официантом, у мамаши в обращении с ребенком. Айва такая же. Она стонет: «Ох, какой идиот!», когда я, злобно толкнув дверь, выбегаю в коридор. Это относится, конечно, к Ванейкеру. Но вдруг и ко мне?

5 февраля

Этот плохой характер впервые у меня проявился прошлой зимой. Перед тем как мы переехали, я позорно полез в драку с мистером Гезеллом, хозяином.

Схватка наша давно назревала. В течение лета держались мирные отношения. Мы вовсю старались быть любезными с Гезеллом и миссис Гезелл, которая ежедневно грохотала внизу могучим резцом. Скульптор-любитель. Дом буквально трясся. Она брала у нас книжки почитать и возвращала в каменной пыли.

Но вот начались морозы, а топили они плохо. Вечерами невозможно помыться. В декабре приходилось укладываться в девять, когда делались ледяными батареи. Потом, в январе, прорвало котел. Сам мистер Гезелл был электрик. В целях экономии он занялся починкой котла лично. Но он ходил на службу, а над котлом работал вечерами и по воскресеньям. Камин завалили кирпичом, и мы задыхались от дыма. Внизу миссис Гезелл, окруженная рефлекторами, вовсю ваяла кессонщика, которого готовила для новой подземки — собиралась представить на конкурс. Мы спускались жаловаться, нам не открывали на звонки. Мы ужинали в свитерах.

От кухонной газовой плиты, единственного обогрева, мы мучились головной болью. На неделю перебрались к Майрону, спали втроем в одной постели. Наконец я застиг мистера Гезелла, когда тот прогуливал пса. Он пошутил насчет холода и сказал, что такого здоровяка, как я, этим не проймешь. Игриво стукнул меня по плечу, раззадорив пса, я метнулся в сторону. Гезелл сказал: «Ничего! Вы малый крепкий, даром что жизнь у вас нежная. Моей бы вам сутки не вытерпеть». Сильный такой, лет сорока мужчина. Всегда в старых штанах и байковой рубашке. Жена одевалась так же: джинсы, рубашка, косынка на шее. Он стал рассказывать, как они чуть до смерти не замерзли во время «депрессии» в голой студии на Лейк-парк авеню. Жгли ящики из-под апельсинов в ожидании, когда по пособию выдадут уголь. Содрали шторы и позатыкали щели от ветра. «Депрессия кончилась», — сказал я. Он хохотал так, что ухватился за мое плечо, чтобы не упасть. «Ну-ну! Вы молодцом!» Пес печальными красными глазами следил за обметающей улицу вьюгой. «Поглядим-поглядим, что с вами делать».

Понемногу стало сочиться тепло, но дом не прогревался. Айва решила задержать квартирную плату. Пятнадцатого числа Гезелл выступил с воинственным заявлением. Айва ответила резкостью. Не приходится ожидать от художника правильного ведения дома. «Но вы-то, вы-то, мистер Гезелл!» «Художник!» — я хмыкнул, подумав о бедном кессонщике с его носом и ляжками. Гезелл, очевидно, наябедничал своей Бет, потому что она перестала со мной разговаривать. Сильные чувства.

Но в феврале наметились благие перемены. При встречах, входя и выходя из дому, мы снова начали кланяться. За жилье было уплачено, стало теплей, вернулась горячая вода. Как-то я вошел с чеком, когда Гезелл завтракал за столом, более уместным в деревянной хижине. Явился далматин, смущенно потерся о мои ноги — бедняга, существо подчиненное, он не имел самостоятельной жизни. Гезелл с благодарностями взял чек и начал писать расписку. Бет, уткнув подбородок в ладонь, смотрела в окно, на снег. Толстая, рыжая, с боксерской стрижкой. Я подумал было, что она все еще дуется и не желает со мной разговаривать, но она просто разглядывала мохнатые хлопья и заметила вдруг:

— В детстве, в Монтане, мы говорили: на небе гусей ощипывают. Интересно, говорят еще так или нет.

— Что-то не слышал, — говорю я, исполненный миролюбия.

— Может, выродилась поговорка. Это ж когда было!

— Ну, не так уж давно, — говорю я галантно и стяжаю в награду печальную улыбку.

— О, достаточно давно.

Гезелл пишет, улыбается тоже, думая, очевидно, о детстве жены или подобных же мифах из собственного былого. Пес, завершив зевок, звонко щелкает челюстями.

— А вот когда дождь... — говорит Бет.

— Знаю, — говорит Гезелл. — Ангелы, да?

— Да ну тебя, Питер. — Она хохочет, и пламя волос будто опаляет щеки. — Золото промывают.

— Тоже никогда не слышал, — говорю я.

— Ну вот, пожалуйста вам. — Гезелл помахивает распиской.

И все трое мы улыбаемся.

Вскоре, однако, как-то в воскресенье, в доме опять стало холодно, и в два часа было вырублено электричество. День был довольно теплый; холод можно бы перетерпеть. Но мы слушали концерт Брамса. Я бросился вниз, позвонил. Далматин отчаянно кидался на дверь, когтя стекло. Обежав дом, я без стука вошел прямо с улицы. Гезелл стоял у верстака с куском трубы в руке. Меня бы не отпугнул и пистолет, я двинулся к нему, расшвыривая ногами доски, прутья, проволочки.

— Вы почему электричество отключили?

— Генератор наладить надо, вот почему.

— Так какого черта вы воскресенья дожидались? Почему не предупредили?

— Я вам не обязан докладываться, когда генератор налаживать буду.

— Когда включите?

Игнорируя мой вопрос, он хмуро отворачивается к верстаку.

— Когда же? — повторяю я. И, видя, что отвечать он не собирается, хватаю его за шкирку, поворачиваю к себе лицом, отшвыриваю его эту трубу и отвешиваю ему оплеуху.

Он падает, труба грохочет по цементу. Но тут же он вскакивает, размахивает кулаками, орет: «Вот чего тебе надо!» Но ему со мной не сладить. Я его оттаскиваю к стене, колочу в грудь, в живот, обдирая костяшки пальцев об ощеренный, задыхающийся рот. После первых же ударов злость моя иссякла. Я прислоняю его к кирпичам. И под хриплые вопли, миролюбиво:

— Вы только успокойтесь, мистер Гезелл. Простите меня. Успокойтесь.

— Идиот проклятый! — вопит он. — Ты у меня дождешься! Сволочь ненормальная! — Голос дрожит от злобы и страха. — Бет! Бе-ет! Да я тебя!.. — Я отдираю его от стены и отшвыриваю прочь. — Да я полицию вызову! Ордер на арест выпишу! Бе-ет!

— Не советую, — сказал я.

Но я уже чувствовал пустоту своей угрозы, мне было дико стыдно, я дотащился наверх, перевязал руку и сел ждать полицию. Айва над моими опасениями посмеялась и сказала, что ждать придется долго. Она оказалась права, но я всю неделю готовился идти в отделение и платить штраф за хулиганскую выходку. Айва-то сразу смекнула, что Бет не станет тратиться на этот ордер. Через месяц мы съехали. Все дела утрясали Айва и Бет. Пришлось пожертвовать квартирной платой за несколько недель, только бы смыться.

Это было «на меня не похоже». Ранние симптомы. Прежний Джозеф был человек мирный, покладистый. Конечно, я давно уже знал за собой этот наследственный страх, вечно мы начеку, как бы нас не оскорбили пренебреженьем: раздутое «чувство чести». Конечно, это не столетней давности ярость дуэлянта. Тем не менее мы подвержены вспышкам; слово, брошенное в киношке, в толпе, — и мы готовы кинуться друг на друга. Только вспышки эти, по-моему, не вполне натуральны. Мы слишком темны, слишком бедны духовно, чтоб разобраться, что кидаемся мы на «врага» из-за смутных причин: от любви, одиночества. И еще, наверно, от презренья к себе. Но главное — от одиночества.

Айва, хоть тогда это скрыла, удивилась на самом деле, она мне потом сказала. Это было попирание моих же собственных принципов. Меня это насторожило. И в предательстве, которое я наблюдал у Серватиусов, я сам отчасти был виноват, в чем не мог не признаться.

8 февраля

Температура никак не оторвется от нуля. Холод — часть общей гнусности. Каждый раз думаю о его уместности, узнавая военные новости. Нельзя не уважать эту зиму за неослабную лютость. «Вихрь, гром и ливень... Я вас не упрекаю в бессердечье», — во-

пит Лир. Взывает: «Так да свершится вся ваша злая воля надо мной»[1]. Как он прав, однако.

9 февраля

Я как граната с сорванной чекой. Знаю, что взорвусь, постоянно чую в себе этот миг, кричу в молитвенном ужасе: «Бабах!» Но все рано, рано.

Вот тут Гёте прав: продолжение жизни означает надежду. Смерть — отмена выбора. Чем больше сужается выбор, тем ближе мы к смерти. Жестокость страшнейшая — отнять надежду, не отняв окончательно жизни. Это как тюремный пожизненный срок. Как гражданство в некоторых странах. Лучшим выходом было бы жить так, будто надежда не отменена, день ото дня, вслепую. Но тут требуется немыслимое самообладание.

10 февраля

На прошлой неделе дважды был Стайдлер. Кажется, видит во мне достойного собрата. То есть, рискну сказать, считает, что мы два сапога пара. Я ничего не имел бы против его визитов и пусть себе считал бы что хочет, но только вот опять через несколько часов — это чувство, будто мы предаемся вместе стыдному греху. Мы курим, разговариваем. Он рассказывает — о своих похождениях в Калифорнии, в больнице, о теперешних своих делах. Оказывается, он получает десять долларов в неделю от матери и еще пять от брата. Благодаря строжайшей экономии живет на двенадцать, остальное уходит на лошадей. Бывает, выигрывает, но вообще, он подсчитал, за последние десять лет ухнул на это дело четыре тысячи долларов.

Он такие вещи обсуждать не любит. Упоминает мимоходом. Он не слепой, понимает, какая все это пошлость и муть. Но считает, что от пошлости никуда не денешься. Всюду дрянь, и притом показуха. А чего уж прикидываться? Все равно все вылезет наружу и ты же окажешься в дураках. Так буквально он выражается. Начнешь его расспрашивать о житейских подробностях — смотрит с удивлением. Нет, без обиды. Но то, что такая заведомая тягомотина может тебя интересовать, искренне его удивляет. Лучше он расскажет, как зевнул или сорвал куш, как словчил, как отбрил, расколол кого-то, какое подковыристое письмо послал кредитору, о своей незабываемой встрече.

В последний раз поведал долгую, изнурительную историю об ухаживании за норвежкой, которая живет с ним в одном отеле — «Лаэрд-тауэрс». Познакомились в День благодарения, в холле. Хартли, коридорный, ему сигнализировал, и он пошел на приступ. Сперва, конечно, он ей не показался. Сначала всегда так бывает. К Рождеству она стала понежнее к нему приглядываться. А денег у него, как назло, полный ноль. Тут он получил информацию, что еще кое-кто в отеле на нее сделал ставку. Хартли держал его в курсе. «Зря старался. Я и без него разгляжу классную кобылку».

И вот на Святках он огребает кучу денег на Пеструшке — смотреть не на что, пони буквально. Всех уделала на пару столбов. Приглашает норвежку вечером во «Фиоренцу», покушать спагетти.

«Все у нас шло вроде путем, в одиннадцать она говорит — я выйду на минуточку, я сижу себе, посасываю преспокойно сигару («Перфекто», кстати) и думаю: «Ну, парень, дело в шляпе». Она «Пинк леди» пила, вещь крепкая, перебрала малость. Покачивало ее. Ну, сижу, жду. Четверть двенадцатого — а ее нет как нет, я забеспокоился — может, тошнит ее там, в туалете. Пошел за дежурной, чтоб глянула. Дошел только до оркестра, а там она — на коленях у лабуха. Ну, я виду не подаю, что меня это оскорбляет, но намекаю, что поздно и не пора ли, мол, нам домой? Она и не думает вставать. Я не стал себя выставлять идиотом. Слинял».

Две недели он ей посылал письма. Не отвечала. Когда уже порастряс почти весь свой выигрыш, он встретил ее на Петле. Она сказала, что у нее день рожденья. Он предложил выпить. Пошли в «Черный ястреб», взяли пива. И тут подходят к стойке пижоны, несколько человек, обалденно одеты, один в морском кителе. Альф встает, платит за пиво, остаток

---

[1] *Шекспир*. «Король Лир», акт III, сц. 2 (*перев. Б. Пастернака*).

мелочи ссыпает на столик: «Я свою весовую категорию знаю». И без цента в кармане идет в отель.

История доплелась до своего логического завершенья — победы, причем норвежка поняла наконец, что внешность бывает обманчива, шутя и играя ему отдалась по пьянке, а тут ее ждал приятный сюрприз, и тэ дэ. Альф поразился бы, узнав, что наводит на меня тоску, он считает себя первоклассным затейником. Любой кафешантан оторвал бы его с руками. Он в совершенстве владеет несколькими арго. Но мне не надо, чтоб меня развлекали. Я сначала ему обрадовался, я и сейчас к нему хорошо отношусь. Ходил бы только пореже.

11 февраля

Вернулся Майрон Эйдлер. Утром звонил, что заглянет, как только вырвется. Робби Стилман приехал после шести месяцев в офицерской школе. Стал инженером. Будет строить аэродромы. Говорит, не так уж страшна армейская жизнь, если притерпеться к дисциплине. Приучить себя к подчинению.

Его брат Бен где-то в дебрях Бразилии. С октября ни слуху ни духу.

14 февраля

Никаких признаков Майрона, никого вообще. Стайдлер и тот меня, кажется, бросил. Два дня без гостей, без вестей, разговоров. Две выдранных из календаря пустоты. Поневоле взмолишься о перемене, не важно какой, возмечтаешь о любом, каком-никаком происшествии. Если бы не упрямство, я бы давно признал свое поражение, сознался бы сам себе, что свобода мне не по плечу.

15 февраля

Письмо от Абта, изобилующее вашингтонскими сплетнями, разъясняющее текущую политику. Почему мы так-то и так-то действуем в Северной Африке, в отношениях с Испанией, с Мартиникой, де Голлем. Меня забавляет тонкая гордость, с которой он намекает на свои короткие отношения со знаменитостями. (То есть они, как я понимаю, знамениты в официальных кругах. Я о них понятия не имею.)

16 февраля

Старая миссис Кифер, как выражается миссис Бартлетт, «уходит». Недели две, может, и протянет, но на этом деле — пантомима: она вонзает в собственную руку иглу — век не продержишься. Мы ходим по дому на цыпочках. Капитан Бригс уже не выходит вечерком покурить. Чересчур холодно.

17 февраля

Мы сблизились с Айвой. В последнее время она заметно избавилась от кое-каких вещей, которые меня раздражали. Не сетует на жизнь в меблирашках; меньше, кажется, занята тряпками; не критикует мой вид; ее не так огорчает состояние моего белья, из-за которого я, одеваясь, часто сую ногу не в ту дыру. И прочее: дешевые забегаловки, где мы едим, хроническое безденежье. И все же она по-прежнему далека от того, что я пытался из нее сделать. Боюсь, она на это не способна. Зато меня самого потрясает, как нахально я делил людей на две категории: с ценными идеями и без оных.

18 февраля

Вчера, проходя мимо куста, где я обнаружил краденый носок, заметил еще пару. Значит, Ванейкер украл несколько. Вечером, когда шли мимо, показал Айве. Она их тоже узнала. Говорит, надо как-нибудь так ему показать, что мы знаем о воровстве.

19 февраля

Опять письмо от Джона Перла, спрашивает, что новенького в Чикаго. Ну, это, как говорится, не ко мне. Я не лучше его знаю эти новости. Сам стремился в Нью-Йорк, а теперь ностальгирует, пишет с отвращением об «этом кошмарном месте».

«Кошмарная мебель, кошмарные стены, плакаты, мосты, все в этом Южном Бруклине кошмарное, невозможное. Мы погнались за деньгами, а теперь, видно, уж не до них, надо самим спасаться, уносить ноги. Еще я мучаюсь от бездеревья. Беспримородная, искусственно сверхочеловеченная мертвечина».

Джона жалко. Я знаю, что он чувствует, понимаю его этот ужас перед беспримородностью, сверхочеловеченностью, которая пахнет бесчеловечностью. Мы это понимаем, как кое-кто понимал и за двести лет до нас, и шарахаемся обратно к «природе». Так во всех городах. Но ведь у городов своя «природа». Он думает, ему будет легче в Чикаго, где он вырос. Сантименты! Он не представляет себе Чикаго. Тут та же бесчеловечность. Он себе представляет отцовский дом, два-три смежных квартала. Чуть подальше от них, ну еще двух-трех островков — и его догонит тоска.

Но взбадривает и такое письмо. Значит, я не один, значит, еще кто-то ощущает, как печалит и давит то, что для других остается безразличным, несознаваемым фоном, — место.

22 февраля

Был бы со мной сегодня Tu As Raison Aussi, уж я бы ему сказал, что совершеннейшая идеальная конструкция та, которая отпирает заточающее «я».

Мы постоянно бьемся, пытаясь высвободиться. Или скажем так: хотя мы сосредоточенно, отчаянно даже, удерживаем, не отпускаем себя, на самом деле нам себя хочется отпустить. А как — мы не знаем. Но вдруг подступит — и мы безоглядно себя отдаем, выбрасываем. Это — когда больше невмоготу жить исключительно для себя, нечисто и слепо, замкнувшись, заклинившись на себе.

Я уж думаю, гонка, которая ведет к богатству, славе, взбуханию гордости и которая ведет к воровству, к убийству и жертве, — по сути та же. Все стремления клонятся к одному. Мне не совсем ясен механизм. Но по-моему, суть — желание чистой свободы. Нас всех тянет заглянуть в одни и те же кратеры духа, понять, кто мы, зачем, понять наше назначение, снискать благость. А раз суть одна, различия в частных судьбах, которым мы придавали такое большое значение, в общем-то — совершенный пустяк.

24 февраля

Ночью валом валил снег. Пропустил завтрак, чтоб три раза не мочить ноги.

27 февраля

До весны всего двадцать один день. Клянусь, двадцать первого — какая бы ни была погода, хоть буран! — вылезаю из зимних тряпок и без шляпы и без перчаток гуляю по Джексон-парку.

1 марта

Наконец заявился Эйдлер. Пришел среди бела дня, когда я и не ждал. Открыла ему миссис Бартлетт и, как я понимаю, велела не шуметь, потому что, когда я его обнаружил, он шел по площадке на цыпочках.

— Кто заболел, Джозеф? — спросил он, испуганно озираясь на миссис Бартлетт, осторожно маневрировавшую входной дверью.

— Хозяйка. Старая совсем.

— Ой! А я два раза позвонил. — Он глядел на меня виновато. Я провел его в комнату. Он ужасно расстроился. — По-твоему, не надо было?

— Да все звонят. Иначе как сюда попадешь. И перестань убиваться.

Эйдлер блистал элегантностью: широкоплечее пальто, твидовый костюм рукава без обшлагов — писк моды. Свежий, здоровый. Шляпа тоже новая — очень жесткая, с прямой тульей. На лбу от нее осталась красная полоса.

— Садись, Майк. — Я расчистил для него стул. — Ты ведь тут у нас еще не был?

— Нет, — пробормотал он, оглядывая комнату, не в силах скрыть удивление. — А я думал, у вас квартира.

— Наша старая? Но мы давно съехали.

— Знаю. Ну, я думал, снимаете какую-нибудь такую квартиру.

— Тут удобно.

Комната, надо правду сказать, предстала не в лучшем виде. Мария кое-как убрала, но — мятые покрывала, полотенца на вешалке будто неделю не стираны, из-под кровати свой гнутый ряд выказывали каблуки Айвы. Да и день не отличался прелестью. Небо висело близко-близко к земле, и неопрятные тучи всё от нашего тротуара до горизонта закляксили тенями. И погодка лезла в комнату. Стены над отоплением — грязные, как снег на дворе, а полотенца, салфетки и прочее будто выкроены из той же ткани, что небо.

— Ты тут с осени, да?

— С июня. Скоро девять месяцев.

— Неужели так долго? — с изумлением.

— Вот, десятый пойдет.

— И никаких новостей?

— Неужели я стал бы скрывать от тебя новости? — почти крикнул я. Он вздрогнул. Меня это смягчило, я сказал: — Да нет, без перемен.

— Не обязательно откусывать мне голову только за то, что я спросил.

— Ну, понимаешь, все задают одни и те же вопросы. Устаешь отвечать. Одно и то же, без конца. Стреляют вопросами, и я, как спаниель, должен кидаться за ответами. Чего ради. Я, между прочим, не претендую на сертификат вежливости. Уф!

Эйдлер так покраснел, что полоса, оставленная над бровями шляпой, сделалась белой.

— Ты не очень-то любезен, Джозеф.

Я не ответил. Смотрел на улицу, на дворы, на грязные буруны снега.

— Ты так изменился. Все говорят, — сказал он, уже градусом ниже.

— Кто — все?

— Ну, те, кто тебя знает.

— Я ни с кем не вижусь. Ты, очевидно, про то, что было в «Стреле».

— Ну, это как раз частность.

— Я в «Стреле» был, кстати, не так уж виноват.

— У тебя характер портится.

— Предположим. Ну, и что тебе от меня надо? Ты пришел сообщить, что у меня портится характер?

— Я пришел с тобой повидаться.

— Очень мило с твоей стороны.

Он смотрел на меня распаляясь, поджав губы. Меня разобрал смех. Он вскочил, кинулся к двери. Я втащил его обратно.

— Ну, не уходи, Майк. Не идиотничай. Сядь. Я же не над тобой. Просто подумал: вот жду-жду — заглянет кто-то. А приходит человек — и я его оскорбляю.

— Рад, что ты сам это сознаешь, — проскрипел он.

— А то не сознаю. Сознаю, конечно.

— Зачем на людей кидаться? О господи...

— Знаешь, это как-то само получается. Как говорят французы, c'est plus fort que moi[1]. Но разве это доказывает, что я не рад тебя видеть? Ничего подобного! Даже на самом деле и противоречья тут нет. Естественная реакция. Можно сказать, почти радость встречи.

— Хорошенькая радость. — Но он, кажется, смягчился.

— Я почти никого не вижу. Забыл, как себя вести. И ведь я стараюсь не закипать. Но,

---

[1] Это сильней меня (*франц.*) .

с другой стороны, те, кто меня обвиняет в плохом характере, они же не нюхали такой жизни, когда ни души, как в лесу. Произошли кой-какие перемены, Майк. Ты занят, ты процветаешь, и дай тебе бог. Только давай не будем.

— Да в чем дело?

— Мы временно оказались в разных классах. Такой расклад. Нет, не спорь. Хотя бы то, как ты воспринял эту комнату, как озирался...

— Не понимаю, о чем ты. — Ему явно не по себе.

— Прекрасно ты понимаешь. Не такой дурак. Не уподобляйся Абту, который любит говорить: «Не улавливаю твоей мысли». Мы правда в разных классах. Хотя бы разница в одежде это доказывает.

— Какие перемены. Какая разница. — Он качнул головой огорченно, задумчиво. — Ты всегда был совершенно разумным человеком.

— Я был компанейский.

— А теперь такое порешь.

Тема себя исчерпала.

— Ну, как ты съездил? — спросил я.

Он оставался до вечера, старался все свернуть на старые рельсы. Но после такого вступления это было невозможно. Он был бодр и деловит, избегал шероховатостей, боялся опять вляпаться. Кое-как охватили ряд тем: общественное мнение, война, наши друзья и опять война. Минна Серватиус ждет ребенка. Да, я что-то такое слышал. Джордж Хейза вот-вот получит офицерское звание. Тоже слышал. Ходят слухи, что Абта отправляют в Пуэрто-Рико. На той неделе Эйдлер уточнит. Он едет на Восток.

— Знаешь, Джозеф, — сказал он в четыре часа, — мы бы с превеликим удовольствием, как раньше, забегали к тебе потрепаться. Но куда денешься. Некогда. Тебе самому скоро так станет некогда, как и не снилось.

— Да, все меняется. C'est la guerre. C'est la vie[1]. Милый штампик.

— Как ты, однако, офранцузился.

— Слушай, а ты Джефа Формана помнишь?

— Да, читал. Посмертная медаль. Бедный Джеф.

— C'est la vie.

— И вовсе не остроумно. — В голосе звякнула укоризна.

— Это просто пошло еще с прошлой войны. Я и не собираюсь острить. Но ведь и своими вытянутыми физиономиями мы Джефу не поможем. Верно?

— Может быть.

В таком вот стиле свиданье тащилось к концу.

— Будешь на Востоке, — говорю я, — разыщи Джона Перла. Он соскучился по Чикаго. Ты бы к нему заглянул, — и я прибавляю со смешком: — Кстати, можешь набежать на еще одного чикагца в Нью-Йорке. На Стайдлера. Он давно что-то не заходит. Скорей всего, взял деньги у брата.

— Альф?

— Его брат написал песню и хочет, чтоб Альф отвез ее в Нью-Йорк. Ищет издателя.

— Если есть шанс напороться на Стайдлера, я лучше перебьюсь без Перла. Почему он не в армии?

— Говорит, нам, нормальным середнячкам, войну предоставил.

— И ты с ним видишься. Я бы не стал. Он тебе не чета. Держись от него подальше.

— Ах-ах! Он меня не укусит. К тому же голь перекатная не имеет права выбора. Цитирую свою племянницу. Строку, посвященную мне.

— Ну да? Дочка Эймоса?

— Да. Девочка выросла.

И Майрон удалился, явно недовольный результатами своего визита. Я вышел с ним на улицу. Дотащились до угла по забывшему о белизне снегу. Пока ждали у перехода к остановке автобуса, Майрон совал мне деньги в долг.

— Нет, — сказал я и мягко отвел его руку. — Нам хватает. Вполне справляемся. — Деньги вернулись в бумажник. — Там пятьдесят пятый идет! Беги.

---

[1] Война есть война. Такова жизнь (*франц.*)

И, прощально потрепав меня по плечу, он устремился через дорогу, взмахами шляпы привлекая вниманье водителя.

3 марта

Звонила Долли, звала на воскресенье ужинать. Сказал, что мы уже обещали в другом месте.

Фарсоны вернулись из Детройта, кончилось ученье. Сюзи забегала к Айве в библиотеку. У девочки грипп, но ничего страшного. Они решили отправить ее к родителям Фарсона в Дакоту, а сами едут в Калифорнию, работать на авиационном заводе. У Сюзи чудное настроение, она в восторге, что едет в Калифорнию. Уолтер скучал по девочке больше, чем она сама. Они ее возьмут, как только устроятся.

5 марта

Есть тут одна женщина, ходит с хозяйственной сумкой, набитой религиозной литературой. Останавливает молодых людей и с ними заговаривает. У нас с ней общие маршруты, так что я часто на нее натыкаюсь, но она не помнит меня, и невозможно бывает от нее улизнуть. А она совершенно не умеет останавливать людей. Кинется наперерез и загородит путь своим телом. Если промахнется, стоит растерянно, и если тебе удастся проскочить — если ты захочешь, если у тебя хватит пороху, — просто убито смотрит тебе вслед. А если ты остановишься, вынет свои брошюрки и заведет разговор.

На вид ей под пятьдесят, высокая, плотная. Но лицо больное — тонкие растрескан-ные губы, тупые желтые зубы, запавшие темные глаза, в которых ты тщетно вычитываешь смысл. Кожа под глазами в крошечных синеватых прожилках. Серые волосы, на широком лбу шрам, как от старой пулевой раны. Быстрый шепоток. Слушаю и жду, когда удобно будет смыться.

Речь заученная. Слежу, как растрескан-ные губы вышелушивают слова, быстрые и сухие, произносимые часто так, будто она их не понимает. Эти слова, слова разжигают в ней жар. Она беседовала со многими юношами, уходившими на войну, навстречу погибели. Ее долг им сказать, что средство избавления рядом, только протянуть руку. Только в вере спасенье. Она и с другими беседовала, с вернувшимися из-под обстрела, из окопов, с выжившими под ураганным огнем единственно благодаря вере. Основы этой науки — не суеверие, но истина, это доказано. Вот тут у нее книжечка свидетельств, ее написали солдаты, которые умеют верить.

А лицо и твердые темные пуговицы глаз тем временем не меняются. Она что-то записывает на бумажке. Протягивает ее тебе. Названия и адреса ближайших церквей и читален. Все. Она в твоей власти. Ждет. Губы сжаты, как швы на плохо сшитом мяче. Лицо горит и на глазах у тебя иссякает. Даже волоски в углах рта исчезают почти. После долгой паузы, если ты не предлагаешь купить у нее брошюру, она идет прочь, стуча по тротуару стоптанными башмаками, тяжко, как куль с песком, волоча свою сумку.

Вчера она выглядела совсем уж больной. Кожа цвета кирпичной пыли, кислое дыханье. В своем старом берете, едва прикрывающем шрам, и грубом, потемнелом, застегнутом до горла пальто она напоминает мелкого политического деятеля в изгнанье, брошенного, ненужного, пожираемого двойным жаром.

Я услышал всегдашний шепоток.

— Вы со мной уже две недели назад разговаривали, — сказал я.

— А-а. Ну тогда... вот тут у меня брошюра про веру по всей науке. И свидетельства... — Она запнулась.

Тут мне стало ясно, что ей понадобились эти добавочные минуты, чтоб услышать, что я сказал. У меня чуть не вырвалось: «Вам плохо?» — но я боялся ее обидеть и сдержался. Губы у нее сегодня были особенно растрескан-ные, такого я еще не видел. Над взбухшим краем верхней сидела болячка.

— Людей из Батаана, — сказал я. — Вы мне в прошлый раз говорили.

— Да. Пять центов.

— А какую вы больше хотите продать — эту или ту?

Она вытаскивает свидетельства ветеранов.

— Вы тоже в армию уходите, да? Эту тогда. — Взяла монету, сунула в карман, отороченный тлелым мехом. Потом сказала: — Так вы ее прочитайте.

Ну что бы мне сказать «да».

Но я говорю:

— Постараюсь найти время.

— Значит, не прочитаете. Я ее обратно возьму.

— Нет, я ее оставлю.

— Я вам деньги верну. Вот.

Я отказываюсь. Она трясет опущенной головой, как грустный ребенок.

— Я прочитаю, прочитаю, — говорю я. И сую книжонку в карман .

— Все от гордыни, — говорит она. Ложно поняв мою улыбку. Выглядит она в этот момент совсем больной. При сохранной твердости темной радужки белки утратили влажность, и в каждом сухо проступила жилка.

— Честное слово, я прочитаю.

Она уже неуклюже тянула руку за своей брошюркой. Теперь убрала. И какое-то время, пока я разглядываю ее лицо, убегающий подбородок, нечистый лоб, мне кажется, что она полностью потеряла ощущенье реальности. Но почти тут же она подобрала свою сумку и поплелась прочь.

10 марта

Вчера был дождь и за ночь обернулся снегом. Опять холодрыга.

12 марта

Получил записку от Китти, спрашивает, почему я не заскочу. Порвал, пока не попалась на глаза Айве. Я последнее время и думать забыл про Китти. Не до нее.

15 марта

В воскресенье было тепло, пахнуло весной. Были у Алмстадов. Вечером бродил по парку Гумбольдта, возле лагуны, перешел по мосткам к лодочной станции, где обсуждался когда-то «Человек и сверхчеловек»[1], а еще раньше я бывал с Джоном Перлом и швырял в устроившиеся под балюстрадой парочки кислицей. Пахло назойливо — мерзлыми сучьями, сырой трухой, но воздух был легок, и смутные, но будоражаще-неотменимые стояли в нем луга и деревья, сизый и рыжий камень и зеркала луж. Когда стемнело и я возвращался, без всякого предупрежденья, внезапный, как удушье, как из ведра грянул теплый ливень. Я бросился бегом.

16 марта

Опять разговор с Духом Противоречья.

— Не могу тебе рассказать, как я рад, что ты вернулся.

— Да?

— И хотел бы извиниться.

— Да ладно тебе.

— И объяснить.

— Я к оскорбленьям привык. Работа такая.

— Нет, я хочу сказать. Я человек истерзанный, побитый как отбивная котлета.

— Легко предающийся отчаянию.

— Словом, сам знаешь. Я раздражен, измучен, затравлен, загнан, приперт к стенке...

— Чем? Совестью?

— Да, в некотором роде это совесть. Я не так с ней считаюсь, как со своей собственной. Это моя общественная струнка. Но сидит это глубоко. Мир, забравшийся вовнутрь, одним словом.

— И чего ему надо?

---

[1] Пьеса Дж. Б. Шоу.

— Чтоб я перестал жить так, как живу. Колет меня до такой степени, чтобы стало уже все равно, что со мной будет дальше.

— То есть чтобы ты сдался?

— Вот именно.

— Но за чем же дело стало? Ты как раз готовишься к будущей жизни...

— И по-твоему, пора взять расчет.

— Основной опыт вашего времени связан главным образом не с жизнью. Думал ты о том, чтобы к этому подготовиться?

— К смерти? Ага, злишься, что я в тебя апельсинной коркой запустил.

— Нет, я серьезно.

— К чему тут готовиться? Готовиться можно только к жизни. Чтоб умереть, особых знаний не требуется. Просто надо усвоить, что в один прекрасный день ты умрешь. Я давным-давно усвоил. Нет, мы дурачимся оба. Я знаю, ты это мелешь просто так.

— Мелю не мелю, ты каждое слово мое выворачиваешь наизнанку.

— Нет. Но я-то говорю почти всерьез. Ты хочешь, чтоб я поклонялся антижизни. Я говорю, что вне жизни нет ничего ценного. Вообще ничего нет.

— Ладно, не будем по этому поводу дискутировать. Но у тебя невозможные цели. Не ты один болтаешься между небом и землей. Когда (и если) останешься в живых, вот тогда в себе и разберешься.

— А-а, это как раз и важно. Из-за чего сыр-бор? Возникает ряд важных вопросов. Тут-то и весь вопрос о моем истинном, а не поверхностном человеческом назначении.

— Ах, скажите! А с чего ты взял, что можешь во всем этом разобраться в одиночку?

— А кто у меня есть еще для начала?

— Да ну, ерунда какая!

— Но вопросы требуют ответов.

— Тебе комната эта не надоела?

— Осточертела.

— Может, надо двигаться побольше, на люди выходить?

— Иногда думаю, что это было бы самое милое дело.

— Но ты правда считаешь, что можешь сам решить все свои вопросы?

— Как когда.

— Да-с, тебе действительно не позавидуешь.

— Знаешь, бывают минуты, когда хочется плюнуть на все, пойти на призывной пункт и попросить, чтоб тут же отправили.

— Да?

— Я отрекся бы от самых своих сокровенных чувств, если бы заявил, что хочу, чтобы меня пощадили и избавили от того, чему подвергаются другие в моем поколении. Я не собираюсь охранять свою жизнь, как наседка. И я не настолько черств и не настолько извращен, чтоб ценить вкус жизни только на грани уничтожения. Но, как ни крути, ценность ее в этой комнате ото дня ко дню убывает. Скоро она мне омерзеет.

— Ну вот видишь.

— Погоди ты, мне еще надо собрать свои чувства и страхи в точку. Меня, в общем, даже пугает моя тщеславная затея собственным путем добиться ясности. Но еще важнее мне знать, имею ли я право сохранять себя в смертельном водовороте, который унес уже стольких таких, как я, оглушил, поволок, вниз-вниз-вниз — неиспытанный разум, бесполезные мышцы, хлам, ошметки. Вправе ли я уберегать себя от такой судьбы, вот вопрос.

— И каков ответ?

— Помнится, Спиноза писал, что нет добродетели выше, чем стараться сохранить самого себя.

— Себя? Любой ценой?

— Ты не понял. Себя. Он не говорит — свою жизнь. Он говорит — самого себя. Почувствовал разницу?

— Нет.

— Он знал, что каждый должен умереть. Он не учит нас вживлять новые железы или есть фазаньи потроха, чтоб тянуть до трехсот. Мы не можем себя сделать бессмертными.

Мы можем решать только то, что нам по силам решить. Прочее вне нашей власти. Словом, он не имеет в виду сохраненье животного.

— А-а, так это он о душе, о духе?

— О разуме. То есть о сути, о личности, которой мы сами должны управлять. Мы сами, а не удача или беда. Мы сами отвечаем за свою человечность, свое достоинство и свободу. И вот, возвращаясь к моему случаю, я не вправе уклоняться от войны. Я должен пройти этот смертный риск, как уже проходил его прежде, борясь с детскими болезнями и невзгодами, в результате которых я стал, между прочим, Джозефом. Я понятно говорю?

— Все сплошной бред, от первого до последнего слова.

— Мы боимся собой управлять. Конечно. Это же так трудно. Нам бы поскорей избавиться от свободы. Да и на свободу это тянет с трудом, потому что свобода должна быть осознанной. А это так, прелюдия свободы. Но нам она и такая ненавистна. И мы сбегаем, мы ищем хозяина, мы валимся кверху брюхом и требуем поводка.

— Ах! — сказал Tu As Raison Aussi.

— Так и происходит. И любовь тут ни при чем, не от нее в нас ощущение скуки жизни. Это все наша неготовность к свободе.

— Боишься, что с тобой так будет?

— Боюсь.

— Ну хорошо, тогда отвлеченно: как тебе угодно рассматривать эту войну?

— Как инцидент.

— Просто инцидент?

— Исключительно важный инцидент. Может, самый важный. Но тем не менее. Разве война изменила истинную природу мира? Нет. Решит она глобальные жизненные проблемы? Нет. Спасет нас духовно? Нет, нет и нет. Освободит нас в самом примитивном смысле, то есть даст возможность дышать, есть? Будем надеяться, хотя не уверен. Ни в чем существенном она ничего не решит — если, конечно, ты принимаешь мое понятье существенного. Допустим, я владел бы полной картиной мира. Война не могла бы на меня существенно повлиять. Она меня может разрушить физически. Это да, это она может. Но ведь это может и микроб. Естественно, я должен о них помнить. Брать в расчет. Они меня могут истребить. Но покуда я жив, я должен, невзирая на них, следовать своей судьбе.

— Тогда последний вопросик.

— Да?

— Имеется ли у тебя отдельная судьба. Хитрый какой, — сказал Tu As Raison Aussi. — А я-то все жду, на чем тебя подловить. Итак?

Наверно, я побледнел.

— Я не готов к ответу. Не знаю, что на это сказать.

— Ну-ну, зачем же все принимать так близко к сердцу! — вскричал Tu As Raison Aussi. — Мы просто дискутируем. У мальчика зубы стучат. Ты что, простудился?

Он побежал сдирать с постели одеяло. Я еле выдавил:

— Ничего-ничего, я здоров.

Он подтыкал под меня одеяло, ужасно тосковал, вытирал мне лоб и просидел со мной дотемна.

17 марта

Помылся, побрился и отправился в город встречать Айву. Прошел пешком от Ван Бурена к Рэндольф-стрит, вдоль Мичиганского бульвара, мимо львов перед Институтом искусств и типов, наслаждавшихся сигаретами, жидким солнцем и мрением выхлопных газов после зимней отсидки в четырех стенах. Седая трава кое-где чуть занялась робкой желтизной и повылезли зеленые штифтики ириса, так что хотелось им сказать: «Ну вас, братцы, куда вы лезете?»

18 марта

В почтовом ящике — ничего. Если не считать скомканной на одеяле газеты, редких солдат да случайных военных машин на улице, мы полностью изолированы от войны.

Могли бы спустить шторы, запустить газетой в прихожую — пусть подбирает Мария, — и духу бы ее не было вообще.

19 марта

Тем не менее в воскресенье начнется весна. На меня двадцать первого всегда накатывает: «Слава тебе, Господи, — опять дожил!»

22 марта

Выполнил свою угрозу, прошелся по парку в плаще, и зря, между прочим. День был серый, ветреный, в промахивавших по деревьям снеговых бликах. На обратном пути заскочил в пивную, угостился стаканчиком виски.

Из-за миссис Кифер мы не могли слушать концерт из филармонии, так что валялись в постели, ели апельсины, читали журналы и воскресные газеты, а в четыре потащились в кино. Когда в прихожей застегивали пальто, ввалился Ванейкер — котелок, шарф в горошек, гремучая сумка с бутылками.

— Sacre du Vin Temps[1], — усмехнулся я.

Ужинали поздно, вернулись в одиннадцать. Ванейкер утробно кашлял всю ночь, а на рассвете меня разбудил гроханьем двери и своим обычным журчаньем.

23 марта

Мистер Рингхолм на той неделе съехал. Комнату сняла китаянка. Сегодня прибыл багаж. Я прочел наклейки: мисс Олив Линг.

24 марта

Утром на столе в прихожей открытка с картинкой Таймс-сквера, от Стайдлера, с текстом: «Подумываю здесь остаться неограниченно». Профукал, видно, братишкины денежки.

Миссис Бартлетт меня подозвала, когда я поднимался по лестнице. Чтоб помог вынести из подвала раскладушку. Отныне она будет спать внизу с миссис Кифер. Я с ней спустился. Она уже проволокла раскладушку из затхлого чулана до середины подвала. В жарком блеске колосниковой решетки ее лицо, лицо перезрелой деревенской девахи, с широкими, чуть выдвинутыми вперед зубами, придававшими ей оттенок невинности, выглядело вполне ничего. Я был рад, что она меня попросила помочь. «Снизу беритесь. Так. Опля. Я впереди пойду, — она выдувала инструкции. — Хоссп, делали бы эти штуки из дерева». Мы ее подняли по лестнице, втащили в комнату, где лежала старуха: седые волосы выложены челкой чуть не до самых бровей. Так Китти носила. Щеки миссис Кифер запали, лицо мокрое. Мне вспомнился батон, когда, обмазав яичным белком, булочник сует его в печь. Я выскочил за дверь.

— Спасибо, — громко шепнула миссис Бартлетт из темного квадратного затона нижней прихожей. — Спасибо огромное. — И осияла меня добродушной улыбкой.

25 марта

Утро начиналось хмурое, нудное, потом сказочно похорошело. Околачивался на ближних улицах. К часу нешуточное тепло нанесло летнюю вонь коровников и канализации (вонь, настолько въевшуюся в городскую память, что уже не противно).

В верхнем свете качали пушистыми головами ясные облака. Улицы, наоборот, как погасли; в задышливом изнеможении к небу тянулись трубы. Расчерканный дорожками дерн загажен скопившимся за зиму: спички, сигареты, бут и собачий кал. Трава возле штакетника и чугунных завитушек еще скучно желта, но уже солнцу кое-где удалось взбить ее бодрой празеленью. А дома, разинувшие окна и двери, глотая свежесть, похо-

[1] Пора вина священная (*франц.*). Обыгрывается французское название балета И. Стравинского «Весна священная» («Le Sacre du Printemps»).

жи на старых пьянчуг или чахоточных на леченье. И весь вид этих домов: кирпич, доски, гипс, трубы, решетки, гидранты снаружи, а внутри занавески, постели, мебель, полосатость обоев, облезлые потолки, надсаженные глотки подъездов, ослепшие, заволоченные глаза окон, — весь вид, ей-богу, твердит о надежде, несбыточной, невозможной надежде на то, что юность вернется.

Кое-какие крупные птицы, дрозды и грачи, под шумок поустраивались на деревьях, ожили и сами деревья. Поверху лопались крупные почки, выказывая нутряную зеленую клейкость, а на одном дереве верхние ветки пошли грубой красной сыпью. Я даже бабочку видел в кирпичном проеме, ошибкой залетевшую в город и в календарь, чуждую вообще всем условиям нашего века.

И всюду детишки, на великах, роликах, гоняют в салочки, играют в классики, скачут по меловым квадратам. И никаким ограничениям рациона не отменить этих рожков мороженого и этих взблесков весны на всем, пусть дети еще в шерстяных рейтузах, а взрослые до подбородка застегнуты и в скучных шляпах. Звук усилен, расширено зрение, красное стало сырым, кровавым, желтое — прозрачным и жидким, и все больше сдается теплу синева. Но собственная желтизна солнца мреет в каждой улице и все стоячее двоится: тень и предмет.

В комнате, когда я вернулся, эта желтизна плавала, как желток в яйце. В честь преображенья погоды решил подчиститься к ужину, и когда менял рубашку, в отвычном сверкании зеркала уловил морщины вокруг глаз, у крыльев носа, у рта, которых год назад не наблюдал. Не на очень приятные это наводит мысли. Но, повязывая галстук, я уже их стряхнул: что ж, цена опыта, неизбежные издержки, и лучше не роптать, раз все равно от них никуда не денешься.

26 марта

Мы на несколько дней остались без средств. Айва получила свой чек в четверг, но вместо того, чтоб поменять на деньги, приволокла его домой и оставила у меня в столе с инструкцией погасить в банке. Объяснила, что не стала брать деньги в городе, как всегда, — мол, всю неделю торчит допоздна в справочной и побоялась тащить домой такую сумму. Слышала об ограблениях.

Но я отказался идти в соседний банк.

Я уж там нахлебался с этими чеками Айвы. Осенью меня дважды завернули: один раз, когда не понравились мои документы, и еще раз, когда вице-президент глянул на меня, на мое удостоверение, опять на меня и спросил: «Откуда я знаю, что вы — это самое лицо?»

Я ответил: «Поверьте моему слову».

Он не улыбнулся, на улыбку я не потянул. Однако обозначалось, что при иных обстоятельствах — будь я, скажем, чисто выбрит, и моя рубашка не потрепана, и рваное белье, например, не торчало из рукавов пиджака — мои слова вызвали бы улыбку. Он важно откинулся на стуле и стал изучать чек. Пухлявый, лет тридцати господин. Мистер Фринк, как сообщали медные буквы на деревяшке возле его ногтей; мытые рыжие волосы сбегали назад по двум широким веснушчатым скатам. Через несколько лет облысеет, будет голая голова с темным крапом.

— Это ведь городской чек, мистер ... Фринк, так? — Он подтвердил обращение. — Принять городской чек, кажется, небольшой риск.

— Если знаешь, кто предъявитель, — сказал мистер Фринк, развинчивая ручку и профессионально, одной рукой тасуя мои документы. — Так, а место работы, Джозеф?

В этих случаях я называю обычно туристическое агентство; достаточно внушительно и не совсем с потолка, в случае чего мистер Маллендер меня бы подстраховал. Но поскольку он обратился ко мне по имени, будто я мальчишка какой-нибудь, иммигрант или негр, я, отбрасывая дипломатию, выдал ему правду-матку:

— Нигде не работаю. Армии жду.

Тут, разумеется, участь моя была решена. Он моментально завинтил ручку и сказал, что банк гасит только чеки своих клиентов. Он просит прощенья.

Я собрал свои бумажки.

— Вы могли бы заметить, Фринк, что у меня есть фамилия, — сказал я, ткнув пальцем в одну из бумажек. — Понимаю, это трудная работа — общаться с публикой дельно и все-таки вежливо. Однако не каждый будет в восторге, если с ним обращаться как с подозрительной личностью и покровительственно в то же время.

Произнося это, я вовсю сдерживался, но заметил, договорив, что вокруг на меня поглядывают. Фринка больше напугал, кажется, мой тон, чем смысл сказанного. Не уверен даже, что он до него дошел, но весь его вид показывал мне, что я бросил вызов человеку отважному. Дурацкая история. Год назад я бы просто вежливо принял его объяснения и удалился.

Спохватившись, я сунул чек в карман и ушел, не глянув на Фринка.

Естественно, объясняя Айве, почему не хочу идти в этот банк, я не стал вдаваться в подробности. Просто сказал, что меня оттуда два раза турнули и я не хочу нарываться на третий.

— Ох, ну Джозеф, ну что за сложности? Я сто раз гасила чеки.

— Но меня выгнали. Мало приятного, между прочим.

— Я тебе дам свой пропуск. Покажешь, и все.

— Не пойду, — сказал я.

— Ну еще куда-нибудь сходи. Сходи в обменный пункт какой-нибудь, на Лейк-парк авеню, кстати, есть пункт.

— Там, пока суд да дело, заставляют заполнять длиннющий бланк. Все им надо знать... где работаешь. Если я скажу, что нигде, засмеют: «Как это так? В наше время, когда...» Нет, не пойду. Почему бы тебе самой не пойти?

— Не хочу таскать среди ночи такие деньги. Нет, это исключено. Если меня ограбят, придется у твоего отца занимать, или у моего, или у Эймоса.

— Тебя когда-нибудь грабили?

— Нет, и ты прекрасно это знаешь.

— Так чего же ты вдруг взволновалась по этому поводу?

— Ты каждый день две газеты читаешь, от корки до корки. Мог бы и знать. Были случаи ограбления.

— Ах-ах-ах! Двоих ограбили! И то не здесь совсем, а у черта на рогах, на Шестидесятой.

— Джозеф, ты пойдешь с этим чеком или нет?

— Нет, — говорю я.

Может, надо было ей рассказать про мистера Фринка. Тогда, по крайней мере, хоть ясно было бы, почему я отказываюсь. Но она ничуть не меньше бы злилась. Дулась бы в сознании своей правоты. И хотя от посещения банка меня бы, очень возможно, избавили, мне бы это все равно вышло боком. И я не стал ничего говорить.

— Хорошо, — говорит она. — Чек останется в ящике. Посидим без еды.

— Ну, я-то перебьюсь.

— Не сомневаюсь. Исхудаешь, как... как Ганди, пока не уступишь. Упрямый осел.

— По-моему, не тебе меня называть упрямым ослом. Уж кто бы говорил. Не будем из-за этого ссориться, Айва. Правда. Я пойти не могу. У меня есть свои причины.

— Ах, конечно, Причины и Принципы. С большой буквы, — и она выводит по воздуху большое П.

— Не будь дурой. Думаешь, очень приятно, когда подходишь к окошечку, а тебя гонят взашей?

— А ты точно не ввязался там в склоку? — спрашивает она проницательно. — У меня возникают кой-какие догадки...

— Догадки твои неверны. Вечно ты делаешь самые неприятные умозаключения. Да я бы... если б я захотел... Нет, ладно.

— Ну?

— Я бы много чего сказал.

— Например?

— Ты меня гоняешь по таким делам, о каких раньше не заикнулась бы. И откуда вдруг взялся этот страх ограбления? По-моему, ты все это просто придумала. Годами носила деньги, и побольше, между прочим. Вдруг испугалась. Нет, тебе надо, чтоб я был на посылках.

— На посылках?

— Да.

— Нет уж, давай договаривай. Тут, безусловно, кроется какой-то твой принцип.

— Мне не до шуток, Айва. Времена изменились. Ты теперь у нас единственный кормилец, и, может, ты сама не сознаешь, но тебя злит, что я торчу дома без дела, а ты каждое утро тащишься на работу. Вот ты и придумываешь, чем бы меня занять. Чтоб харчи оправдывал.

— Ну, знаешь, уж это... — Айва побелела. — Никогда не известно, что ты выкинешь. Все тихо-мирно, и вдруг ты выдаешь такое ... такое... Это ужасно — то, что ты сказал.

— Но это, между прочим, правда.

— Неправда!

— Это у тебя подсознательное, Айва. Я тебя не виню. Но ты добытчик. И в конце концов это не может на тебя не влиять...

— Это ты, ты на меня влияешь. Я просто заболеваю из-за тебя.

— Нет, ты выслушай, Айва, — не унимаюсь я. — Я не выдумываю. Я это постоянно чувствую, вижу. Я знаю, тебе неприятно, что это правда, но это тем не менее правда. Ты исходишь из того, что мне делать нечего. Каждое утро оставляешь десяток инструкций. Кстати, только что ты отметила, что я читаю газеты.

— Как ты все выворачиваешь. — Она почти стонет.

— Это тебе кажется.

Она нащупывает носовой платок.

— Стоит мне заикнуться о чем-то, что тебе не нравится, и ты начинаешь рыдать. Ты хочешь, чтоб я помалкивал?

— Да разве ты смолчишь, когда тебе кажется, что тебя оскорбляют? Нет, на это я не рассчитываю. По-твоему, все только и думают, как бы тебя поэксплуатировать. Даже я... — У нее срывается голос.

— Вот, так всегда, когда я затрагиваю неприятную тему. Я просто пытаюсь проанализировать кое-что, чего ты, видимо, сама не замечаешь. Я думал, тебе интересно. Раньше ты против этого не возражала.

— Раньше ты никогда не был таким мелочным и злым. Ты...

Тут она расплакалась.

— Господи боже! Неужели невозможно поговорить без потока слез! Тебе хорошо плакать. А что мне прикажешь делать? Я ухожу. Мне бы уйти навсегда. Это не жизнь. Да прекрати ты эти слезы!

Она честно попыталась перестать; усилия ее разрешились нелепым вырвавшимся из горла звуком. Она рухнула на кровать и спрятала от меня лицо.

До этого места в нашей ссоре Ванейкер несколько раз предостерегающе кашлял, но тут я услышал его шаги в прихожей, направляющиеся к ванной, и сразу, как я и ждал, через открытую дверь этот звук, этот плеск, журчанье, усилившееся, когда он нацелился своей струей на глубокое место. Я скидываю шлепанцы и крадусь к его силуэту. Заслышав меня, он оглядывается, но моя нога уже втиснута в дверь. Он не позаботился включить свет, но я прекрасно вижу и при голой коридорной луковке. Ужас застилает пьяные слезящиеся глаза, он кидается на меня, но я прочно угнездился на пороге.

— Ага, попался! — ору я. — Сволочь старая, алкоголик! Нет, это слишком! Внизу женщина умирает, а он тут пьяный, как свинья, стучит, грохает, безобразничает.

— Джозеф, — задушенным голосом позвала меня Айва. Она выскочила в прихожую. — Джозеф!

— Нет уж, пора все ему выложить. Я сыт по горло. Хватит! Вы что думали? Так вам все и сойдет? Стучать среди ночи, сопеть, хрипеть, заставлять нас слушать, как ты нужду свою справляешь, воронье пугало! Неужели нельзя научиться дверь закрывать, когда входишь в туалет? Еще как плотно заперся, когда всех нас чуть не спалил!

— Мистер! — раздается с лестницы вопль миссис Бартлетт.

Хлопнула дверь. Айва ушла в комнату, и аналогичный звук мне подсказывает, что то ли миссис Фесман, то ли мисс Линг тоже выскочили на шум и поскорей ретировались.

— И вдобавок вы воруете, — несет меня.

— Ворую? — еле слышный голос.

— Да-да, воруете. А потом идете исповедоваться у святого Фомы-Апостола, стоите в моих носках и воняете духами моей жены. Честное слово, вот пойду и все там расскажу. А-а, ну что, нравится?

Он смотрит на меня тупо, и тень от его головы длинной кляксой падает в оловянное мерцание зеркала на аптечке. Потом он делает шажок вперед, обнадеженный тем, что за мной, в халате, уже стоит капитан.

— Что же это творится? — произносит капитан строго. Рядом вырастает миссис Бригс. — Приведите себя в порядок, — приказывает он Ванейкеру, и тот юркает за дверь.

— Пусть он съезжает, или мы с женой... Мы не обязаны это терпеть, — говорю я.

— Ладно, — говорит капитан. — Покричали, и будет. Подняли крик на весь дом.

— Это безобразие, — шипит его жена. — Когда внизу лежит моя мать.

— Извините меня, миссис Бригс. — Я понизил голос. — Но я долго терпел. Согласен, я погорячился.

— Да уж.

— Минуточку, Милл, — вклинивается капитан. И — мне: — Мы не можем тут допускать такое поведение...

— А его поведение — это как? Он вытворяет что хочет, а если я протестую — я же и виноват. Вы бы лучше его спросили, почему он прячется?

— В случае, если у вас имеются жалобы, вам следует обращаться ко мне или к супруге, а не скандалить. Тут не кабак...

— Я терплю его непотребства. Это мне плевать. Но такое неуважение к людям... — непоследовательно лепечу я.

— Какое безобразие, стыдоба какая, — причитает миссис Бригс.

— Мы не допустим, — говорит капитан. — Не допустим. Это злостное хулиганство!

— Говард, — увещевает миссис Бригс.

— Сами вы кричите, капитан, — говорю я.

— А вы меня не учите, как мне разговаривать, — рявкает капитан.

— Я вам не подчиненный. Я штатский. Я не обязан такое от вас терпеть.

— Да я из тебя сейчас котлету сделаю!

— Попробуйте! — И я отступаю назад, сжав кулаки.

— Говард, ох, Говард, ну не надо, — взывает миссис Бригс.

— Джозеф, — Айва стоит в дверях, — иди сюда. Иди в комнату. — Я осторожно протискиваюсь мимо них. — Сюда, — командует Айва.

— Только тронул бы меня, я бы его убил, и плевать я хотел на его мундир, — реву я, вваливаясь в комнату.

— Ах, помолчи. Миссис Бригс, ради бога, минуточку, — и Айва выбегает к ним.

Я надел ботинки, сдернул с крюка плащ и выскочил на улицу. Было еще не поздно, десять от силы. Воздух, черный, густой, плотно стягивал осиные станы фонарей. Я не мог замедлить шаг: ноги не слушались. Я шел, шел и вышел на какой-то пустырь, видно служивший бейсбольной площадкой. Всю ее затопило, ветер морщил очень черную воду. Тут же, плюясь в теплоту вечера, стояла питьевая колонка. Я напился и уже не так быстро, но так же бесцельно пошел дальше вперед, на обложной ливень огней, на их струю над блеском мостовой. И, дойдя до улицы, повернул обратно.

Я даже подумать не мог о том, в каком сейчас состоянии Айва и что творится дома. Наверно, Айва пытается им объяснить; миссис Бригс, если вообще слушает, слушает с ледяным видом; а Ванейкер пробирается к себе, слабый, но отмщенный, и не вполне, наверно, понимает, что произошло. Снова он мне показался, как в самом начале, тупым, даже, может, ненормальным.

Я прошел по школьному двору, гаревой дорожкой, в проулок под нашими окнами. Стал высматривать тень Айвы на шторах. Нет как нет. Прислонился к ограде, на которую налегло дерево с только что проклюнувшимися почками, взмокшее под дождем. С усилием вытер лицо. Тут меня осенило, что она, наверно, просто опять легла. Лицо у меня вдруг стало мокрое, но это уже от пота. Повернулся, пошел обратно вдоль школьной ограды. Стальное кольцо на веревке громко лязгало о флагшток. На секунду меня выхватили автомобильные фары. Отскочил, постоял, глядя вслед двум красным расплывшим-

ся кляксам. Исчезли. Что-то метнулось среди банок и газет. Крыса, наверно. Удерживая тошноту, почти бегом обогнул лужу, где горбился в грязи сломанный зонтик. Жадно глотнул теплый воздух.

Наверно, я уже какое-то время знал, что момент, которого я дожидался, — что этот момент наступил и больше бороться нельзя. Надо сдаваться. Со мною — все. И было не горько, ничуть не горько. Даже когда, для самоконтроля, шепнул «поводок» — и то не испытал ни боли, ни унижения. Можно бы придумать символ и похлеще. Меня все равно бы не пробрало, ничего бы я не почувствовал, ничего, кроме благодарности, хотелось только поскорее бежать и действовать.

Было, наверно, не больше одиннадцати. Призывные пункты иногда открыты допоздна. В Севиер-отеле такой. Пошел туда, и когда проходил по старорежимному холлу, припоминая, с какой стороны у них это заведение, меня окликнул дежурный. Догадался, чего ищу.

— Вам если пункт, так все ушли давно.

— Можно я записку оставлю? Хотя ладно, по почте пошлю.

Сел за столик в углу, у портьеры, накатал на почтовом бланке:

«Заявляю, что прошу как можно скорей зачислить меня в ряды вооруженных сил».

Имя, фамилия, телефон. И снизу:

«Меня можно застать в любое время».

Отправил, а после зашел в пивную и спустил последние сорок центов на кружку пива.

— На войну ухожу, — сказал бармену. Рука его помешкала над монетами. Потом он их сгреб и повернулся к кассе. В общем-то, полпивной были солдаты и матросы.

27 марта

Утром все рассказал Айве. Ее единственный комментарий был — почему я с ней не посоветовался. Я сказал: «А что мне тут делать?» Ответа не последовало. Она взяла этот чек в город, и я ждал ее на ступенях библиотеки, читал газету. В двенадцать она вышла, мы вместе пошли поесть. Выглядела она неважно. Лицо пошло пятнами, так у нее всегда, когда нервничает. Из-за этого солнца сам я тоже погано себя чувствовал.

Миссис Бригс попросила съехать обоих виновников вчерашнего срама.

— Ты-то можешь остаться, — сказал я Айве. — Она не будет против.

— Я погляжу. Когда, ты думаешь, тебя вызовут?

— Не знаю. В течение недели, наверно.

— Ну и незачем тебе тратить последнюю неделю на переезд. Еще недельку поживем. Конечно, миссис Бригс разрешит.

О собственных планах она ничего не говорит.

29 марта

Ночью умерла миссис Кифер. Когда выходил завтракать, я видел: дверь настежь, постель разобрана, шторы отдернуты, окна открыты. Миссис Бригс потом появилась в черном. К вечеру прибыли еще скорбящие, собрались в гостиной. В пять начали вытекать из дому. Прошли тихой улицей в похоронное бюро. Из кухни плыл запах кофе.

Вечером, когда вышли из ресторана, мы видели миссис Бартлетт. Свою белую униформу она сменила на шелковое платье и меховой жакет. На голове нечто немыслимое: плоская шапочка и то ли занавес, то ли плат — много лет назад промелькнувшая мода. После долгого заточения с миссис Кифер она, конечно, направлялась в кино. Черная длинная блестящая сумка-книжечка зажата под локтем. Энергический, тяжелобедрый шаг устремлял ее к сверканью проспекта.

31 марта

Сегодня похороны. Капитан повез на машине венок. Особа в синем плаще, коротконогая, чулки в рубчик, утвердила стопу на подножке машины, будто стоит за стойкой. Потом занырнула, и они укатили вместе. Все утро носили телеграммы. И сколько же у

старухи детей? Сын в Калифорнии, Мария говорила. Семейство собралось у подъезда. Заплаканные женские лица, суровые лица мужчин. В двенадцать вернулись с похорон и сели за трапезу к длинному столу в гостиной. Я видел, когда спускался за дневной почтой. Капитан заметил, что я заглядываю, и нахмурился. Я поскорей ретировался.

Почтальон, совавший письмо к соседям, энергично ткнул в меня пальцем, провел ребром ладони по горлу. Я получил повестку. «Комитет ваших соседей...» Вызывают на девятое. В понедельник анализ крови. Я вынул бумажки из конверта и приткнул к полке: Айва сразу увидит, как придет.

Потом сидел читал. Явилась Мария с чистыми полотенцами. Тоже в черном. Ходит горестная, неподступная, будто делит с миссис Кифер и со скорбящими редкий секрет смерти. Я воспользовался случаем, сказал, что ухожу.

— Супруга-то остается?

— Не знаю.

— Угу. Ну, счастливо вам. — Она сумрачно отерла щеки платочком с черной каймой.

— Спасибо, — сказал я.

Взяла грязные полотенца и хлопнула дверью.

2 апреля

Всеобщее облегчение. Как выразился старик Алмстад: ехать так ехать. Мой отец тоже сказал: «Ну, тебе хоть больше ждать не придется». Эймос, когда я с ним вчера разговаривал, пригласил пообедать в свой клуб. Я сказал, что занят. Он бы, конечно, представлял меня всем знакомым: «Вот, мой брат идет на войну» — и заделался бы отныне «тем, кого это не миновало».

4 апреля

Утром съехал Ванейкер. Я услышал, что там у него Мария, и зашел. Она вытащила из мусорной корзины два флакончика из-под духов. Я был прав. В кладовке обнаружилось много чего любопытного. Бутылки — те, естественно, которые почему-то не удостоились быть вышвырнутыми в окно, журналы с цветными ню, перчатки, грязное белье, черенок трубки, перемазанный носовой платок, «Путь паломника», школьное издание «Ста эпических поэм», спичечный коробок, фетровая шляпа, галстук с какой-то налипшей дрянью. Вся коллекция отправилась в ящик, и Мария ее выволокла в подвал.

Несколько часов разбирал свои вещи.

5 апреля

Вышел затемно на анализ крови. Много месяцев не выходил в такую рань. Автобусы набиты фабричными. Когда спросил кондуктора про свою остановку, какой-то неведомый парк, он сказал: «Сиди, парень, скажу». Мы долго ехали широким проспектом, потом он ткнул меня локтем, сказал: «Приехали». И не без игривости подтолкнул к двери, пока остальные мрачно клевали носами.

Простоял в очереди к полевому сооружению под жидкими деревцами. В спортзале разделся, со всеми вместе прошествовал голышом, осматривая чужие шрамы и ссадины и представляя на обозренье свои. Молодых было всего ничего, больше дядьки за тридцать. Непригодных тут же отсеивали. Доктор каждого щупал в паху; другой, пожилой, с сигарой, отвлеченно бросал, направляя иглу: «Сжали руку; разжали. Тэкс». Подержишь в руке этот тампон, с интересом разглядывая собственную кровь в трубочке, и тебя отпускают.

Было восемь, яркое, звонкое утро. Обычно я в это время только продираю глаза. Зашел в кафешку, позавтракал, пошел домой, целый день читал.

6 апреля

Айва собрала те считанные вещи, какие, по ее мнению, мне пригодятся в армии: бритва, несколько носовых платков, ручка, блокнот, кисточка для бритья. И не буду я брать

их этот десятидневный отгул. Лучше потом использую, если доведется, конечно. Айва считает, наверно, что это признак холодности с моей стороны, но мне просто уже невмоготу никакие оттяжки. Она вернется к Алмстадам. Старик десятого заберет ее вещи.

8 апреля

Вчера, когда был у отца, поднялся в свою бывшую комнату. После моей женитьбы какое-то время в ней жила работница. Теперь никто не живет, и я нашел кучу вещей, окружавших меня десять лет назад, пока я не уехал учиться. Персидский коврик над постелью: дева бросает цветы на погребенного возлюбленного, который, в саване, наблюдается под камнями; книжная полка, которую мне мама подарила; грубая акварелька — графин, стакан, — творенье Берты, полузабытой девицы. Сидя в качалке, вдруг я почувствовал, какая уже у меня долгая жизнь, раз есть в ней полузабытые сроки, ряды неопознаваемых лет. Я недавно стал чувствовать возраст, и вот подумалось, что возраст, наверно, меня потому волнует, что мне не дожить до старости; наверно, такой механизм срабатывает: дает ощущение завершенности жизни, когда скоро она оборвется. И хотя, конечно, мне думать про возраст нелепо, я дошел, конечно, до точки, с которой открывается перспектива времени куда ограниченней, чем была совсем недавно. Вдруг доходит смысл слова «невозвратный». Да. Эта самая обыкновенная, даже, в общем, убогая комната двенадцать лет была моим верным пристанищем, а бородатый перс под круглыми камнями и эта акварелька — неизменными спутниками жизни. Десять лет назад была школа, а до этого... И — так со всеми, наверно, бывает — ни с того ни с сего нашло: комната съежилась, стала крохотным квадратиком, отъехала вдаль, и в этой дали вместе со всеми предметами едва различался малюсенький я. Нет, не просто зрительный трюк. Я понял, мне было откровение об эфемерности тех пропорций, какими мы себя мерим, в соответствии с которыми мы живем. Я оглядел восстановившиеся стены. Это место, которого обычно я избегал, полно для меня огромного личного смысла. Но тридцать лет назад тут ничего еще не было. Птицы спокойно летали сквозь пустоту. А через пятьдесят, глядишь, опять не будет. Опасная, предательская штука эта реальность. Ей вверяться нельзя. И, пошатываясь, я встал с качалки, чувствуя, что в самих порождениях здравого смысла есть некоторая измена здравому смыслу. Это им вверяться нельзя, а лучше сказать, им можно вверяться только на основах общего договора, и моя опасная отсеченность от общего договора чуть совсем не выбила у меня почву из-под ног. Я в одиночку не справился. Кто, интересно, бы справился. Когда варишься в собственном соку, ум за разум заходит. Может, война меня чему научит, силком научит тому, до чего сам не допер за эти месяцы в своих четырех стенах. А возможно, я другим путем постигну творенье. Возможно. Но деваться теперь уже некуда. Следующий ход — за миром. И не могу я об этом жалеть.

Эймос, и Долли, и Этта, и Айва — все сидели за столом, когда я спустился к ужину. Отец презентовал мне часы, Эймос — чемодан: незаменимая вещь для кратких переездов, когда я вернусь, как он выразился. От Этты и Долли я получил шкатулочку с разными ножницами и пуговицами.

9 апреля

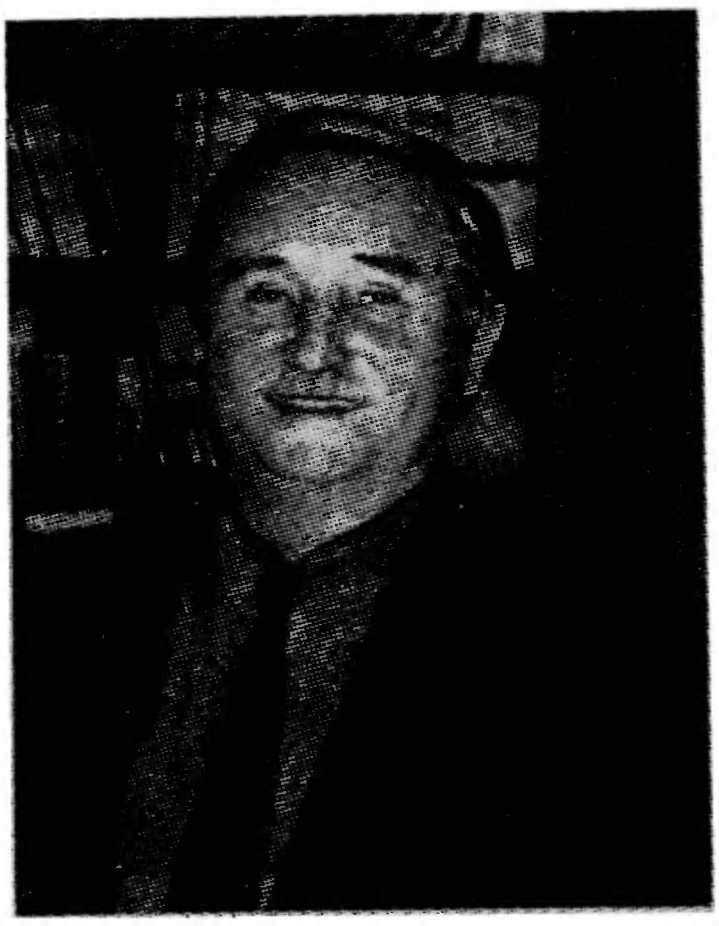
Мой последний день на гражданке. Айва сложила мои вещи. Ей бы, конечно, хотелось, чтоб я выказывал побольше грусти расставанья. Я бы и рад. Мне правда жаль расставаться с ней, но ничуть не жаль остального. Больше не надо будет за себя отвечать; и на том спасибо. Я попадаю в чужие руки, избавляюсь от самоопределения, свобода отменяется.

Ура, правильный образ жизни!

И надзор над духом!

Да здравствует принудиловка!

■



МИЛОРАД ПАВИЧ

Корсет

РАССКАЗ

Перевод с сербского НАТАЛЬИ ВАГАПОВОЙ

Один прекрасный день подруга сунула мне клочок, вырванный из газеты.

— Посмотри, может, тебе это подойдет. А то мои данные не соответствуют вкусу работодателя, — добавила она посмеиваясь.

Это было объявление. В нем было написано следующее:

> ПРИГЛАШАЕТСЯ БРЮНЕТКА,
> ПРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦА МУЗЫКИ (гитара).
>
> Предпочтительные данные: рост приблизительно 1 м 70см,
> при одинаковом объеме груди и бедер.

К этому бесподобному тексту прилагался и адрес. Дата на объявлении была совсем свежая — 23 мая 1923 г. Я находилась в том возрасте, когда нравится все самое сладкое: осенью — липкий виноград, а весной — черешни, уже поклеванные птицами. Я научилась подхватывать на лету выпущенные из рук предметы и ужасно гордилась тем, что я уже взрослая и могу заниматься любовью. Я была брюнетка, рост и прочие данные соответствовали обозначенному в объявлении. Прихватив с собой инструмент, я отправилась по адресу, указанному в газете.

Дверь открыл молодой человек примерно моего роста. Бледность его лица несла на себе отпечаток четырех-пяти поколений. На меня повеяло незнакомым приятным ароматом одеколона, быть может чересчур сладковатого.

А он ничего, подумала я, только вот половина лица, что ночью покоится на подушке, явно старше той, которая во сне бывает обращена вверх.

— Так вы — преподавательница? — спросил он, пропуская меня в квартиру.

Когда я оказалась на середине большой комнаты, он смерил меня взглядом с головы до ног.

— Пожалуй, вы мне подойдете, — задумчиво процедил юноша. — А что, цвет волос у вас естественный?

— При чем тут мои волосы? Натуральный черный цвет. Голландская ламповая копоть... Так ведь написано в вашем объявлении, кстати не слишком-то вежливом. Перейдем лучше к делу... — Мне хотелось как-то повернуть этот несколько натянутый разговор. Я сказала, сколько беру за урок, и предупредила, что после пятого занятия, если замечу, что дело не движется, прекращаю обучение. Затем я усадила его на диван рядом с собой, взяла аккорд и начала урок:

© Милорад Павић, 1997
© Н. Вагапова. Перевод, 1998

— Прежде чем приступить к обучению, объясню вам, что следует помнить о пальцах, когда вы играете. Большой палец правой руки — это вы, а большой на левой — ваша любовь. Прочие пальцы — ваше окружение. Средние означают: правый — ваш друг, левый — враг; безымянные — ваши отец и мать; мизинцы — ваши дети, и мальчики, и девочки; указательные пальцы — ваши предки... Когда будете играть, иногда думайте об этом.

— Ну, коль скоро из струн гитары звуки извлекает моя левая рука, то, — заключил он, — согласно вашей присказке, играют моя любовница, моя мать, мой враг, моя бабушка и моя будущая дочь, если я окажусь достоин ее иметь... Короче говоря, это будет женская игра, особенно если мой главный враг — тоже дама.

Такой вывод меня несколько озадачил, поскольку ничего подобного мне раньше в голову не приходило. Однако я твердо решила не выказывать ни малейшего смущения. Иначе какой смысл откликаться на подобные объявления.

И потому я сказала:

— Открою вам еще кое-что. Учтите, повредите палец, это будет касаться не вас одного. Любая ранка на пальце означает болезнь или угрозу для жизни близких вам людей.

Затем я показала расположение пальцев для простейших аккордов, и он это быстро усвоил. Но правой рукой к струнам ни разу не прикоснулся. Ни в первый урок, ни потом. Он учил только аккорды. Выучив все, что относится к пальцам левой руки, он стал очень точно воспроизводить первую мелодию, которую я ему задала, но, вопреки всем моим указаниям, не пускал в ход правую руку. Это были хорошо оплачиваемые уроки беззвучной музыки.

— Почему бы нам не начать работать и правой рукой? — продолжала я настаивать. — Напоминаю, завтра у нас пятый урок. Если вы будете брать только эти спотыкающиеся аккорды, я прекращу занятия.

— Но боже мой, как вы одеты?! — с недовольным видом прервал он меня, быстро вставая. — Пока вы в таком виде, я не могу заниматься.

Я остолбенела. Мы сидели в доме на улице Пашича, на третьем этаже, примерно над входом в банк Нехамы. Он взял меня за руку, как маленькую девочку. Мы спустились вниз, вышли на улицу и заглянули в два-три модных салона. Проявив потрясающую сноровку и безошибочный вкус, он купил мне прекрасную юбку, клетчатые чулки, к которым полагался такой же шотландский берет с помпоном, двусторонний плащ и блузку с перламутровыми пуговками. Здесь же, в салоне, он заставил меня все это надеть. Мои прежние тряпки он приказал продавщицам сложить в пакет и выбросить, но все мое возмущение улетучилось при первом взгляде на себя в зеркало.

— Ну вот, теперь можно продолжить урок, — заявил он удовлетворенно, и мы вернулись к нему в квартиру.

Здесь пора признаться, что с первых минут знакомства он мне понравился, и очень. Иначе я не позволила бы над собой проделывать все эти фокусы. Конечно, я была несколько напугана. Я взяла свою гитару и уселась, чтобы продолжить занятие. Однако он и не думал браться, как обычно, за свой инструмент, а вдруг подошел ко мне сзади и обнял. Я хотела вырваться, но он, не выпуская меня из объятий, взял первый аккорд на моей гитаре. Аккорд был кристально чистым, его правая рука безошибочно делала свое дело. Тихим, глуховатым голосом он запел старинный романс, которому я его обучила во время третьего урока беззвучной музыки. Через каждые два слова он меня целовал в шею, и я глубоко вдыхала запах его необычного одеколона, которого я раньше ни у кого не встречала.

Пойман тихой сетью завтрашних движений
И в твоих объятьях недвижим почти...

На середине романса он прервал игру и начал медленно меня раздевать. Сначала снял берет и туфли, потом кольца, разомкнул перламутровую пряжку на поясе. Затем через блузку расстегнул лифчик и перегрыз резинку на трусиках.

Я тоже стала его раздевать. Дрожащими руками стащила с него рубашку и все остальное. Когда же мы оба остались голыми, он швырнул меня на постель, уселся рядом,

задрал вверх ногу и начал натягивать мои шелковые клетчатые чулки. К своему ужасу, я обнаружила, что мои только что купленные чулки смотрятся на нем гораздо лучше, чем на мне, а затем пришла к такому же заключению относительно юбки и блузки. Все это сидело на нем превосходно! Оправив юбку, он обул мои туфли, причесался моей гребенкой, небрежно нацепил мой берет с помпоном, обвел губы моей помадой и стремительно вышел из комнаты.

Я осталась, лишенная как дара речи, так и одежды, одна-одинешенька в чужой квартире. У меня было два выхода — или уйти в его мужском костюме, или сидеть и ждать, пока он вернется. И тут меня осенило. В шкафу я нашла великолепную старинную женскую кофточку с вышитой серебром монограммой *A* на воротничке. И еще юбку со шнуровкой. Все это, конечно, сто лет никто не носил. Ну и пусть, подумала я. Поскольку все это мне оказалось впору, я оделась, спустилась вниз и вышла на улицу Пашича. Он сидел невдалеке за столиком и пил пиво. При виде меня глаза его сверкнули, он вскочил.

Наш поцелуй был слишком горячим для двух подруг, случайно встретившихся вечером на улице. Затем, все еще в обличье двух высоких девушек, мы поднялись в квартиру, причем он стащил с меня одежду еще на лестнице. Не успела закрыться дверь, как он уже лежал на мне, весь прямой, как пловец, устремившийся с вышки в воду. Его сложенные вместе ладони оказались над моей головой, ступни ног тоже были соединены и вытянуты. Он был весь вытянут, как копье, чей полет дольше его собственного века. Больше я ничего не помню.

Человеку свойственно быстро забывать свои лучшие минуты. Вслед за мгновениями высшего творческого наслаждения, оргазма или чарующего сна наступает забвение, амнезия, утрата памяти. Ибо в моменты прекрасных снов или в минуты осуществления высшего животворящего начала — зачатия ребенка — все наше существо поднимается по лестнице жизни на несколько ступеней выше самого себя. Не в силах долго оставаться на такой высоте, мы, возвращаясь к реальности, стараемся поскорее забыть эти мгновения наивысшего просветления. За свою жизнь мы не раз бываем в раю, но помним всегда только изгнание.

***

Наши уроки музыки перешли в нечто иное. Он был от меня без ума. Однажды утром он сказал, что хотел бы мне показать свою мать и тетку.

— Но, — прибавил он, — чтобы их увидеть, нам надо будет поехать в Котор и заглянуть в наш фамильный особняк.

Тут он достал старинный позолоченный ключ, головка которого была исполнена в виде перстня. Если зажать ключ в ладони, может показаться, что у вас на руке просто кольцо с прекрасным сардониксом. Именно так он и надел мне его на палец. Это было своеобразное обручение. И тут вдруг произошло нечто странное. Мне представился образ не самого дома, а его внутреннего убранства, причем на секунду я увидела расходящуюся влево и вправо лестницу. По-своему истолковав мое замешательство, он добавил:

— Согласишься ты или нет, зависит от твоей свободной воли.

— Я не верю в свободу воли. Если существует свободный выбор внутри нас, то и в мире вне нас должно быть многообразие времени, — произнесла я, не отвечая на его вопрос.

Когда мы приехали в Котор, был полный штиль. Лодки парили в воздухе над своими перевернутыми изображениями, точно моря вообще не было. На Салатной площади перед нами предстало жилище его предков. Особняк семьи Враченов, дом номер 299. Минуту мы постояли под фамильным гербом. Ворона, сидящего на золотой ветке, поддерживали над нашими головами два каменных ангелочка.

— Жуткая рухлядь, — сказал он, — дом построен пятьсот лет назад. Известно, что в XIV веке он принадлежал вдове Михи Врачена, госпоже Катене. Катеной назвали и мою мать...

Стены особняка были покрыты красной штукатуркой из кирпичной пыли. Но его внешний вид меня не интересовал. Сгорая от нетерпения, я хотела увидеть, что окажется там, внутри. Надев на палец кольцо с ключом, я отомкнула дверь. Войдя, я сразу узнала расходящуюся на две лестницу, вдоль нее по стенам были росписи кисти итальянского мастера Наполеона д'Эсте. На уровне второго этажа оба ответвления лестницы упирались в прелестные женские портреты, написанные в полный рост.

— Их-то я и хотел тебе показать, — сказал он. — Та, что справа, брюнетка, — моя тетка, а другая — мать.

Из золоченых рам на нас смотрели две красавицы. У одной в ушах сверкали дивные зеленые серьги, оттенявшие ее волосы цвета воронова крыла, вторая же была совершенно седая, хотя еще красивее первой и такая же молодая и высокая. На ее руке было кольцо с сардониксом, в котором я узнала головку ключа, украшавшего теперь мой палец.

Однако нас никто не встречал. Я жаждала взглянуть на его мать, госпожу Катену, или хотя бы на тетю, но напрасно. Никто так и не появился. Мозаичный пол и инкрустированная дверь вывели нас в комнаты второго этажа, а потом в маленькую домашнюю часовню, расположенную над сводом уличного перехода. Там на коленях молилась какая-то старая женщина. Я предположила, что это его мать или тетка. Он от души расхохотался:

— Да нет, что ты, это Селена, наша старая служанка.

В третьей комнате оказались поясные портреты тех же двух красавиц, так похожих друг на друга. Тетка была изображена с гитарой. И тут он сообщил, что тетя велела подарить его будущей невесте свои серьги с драгоценными камнями.

— При одном условии, — добавил он. — Если моя невеста будет играть на гитаре. Судя по всему, эти серьги предназначались тебе.

— А где они? — спросила я.

Он ответил, что обе они давно умерли.

— Разве серьги могут умереть? — удивилась я. Он снова рассмеялся и достал из кармана пару изумительных серег, похожих на две зеленые слезы. Это были те самые серьги с портрета, завершавшего одну из лестниц.

— Мама и тетя давно умерли, — пояснил он, — мать я едва помню, а тетка была мне вместо матери. Они были, как ты видела, очень красивые...

Он вдел мне в уши серьги, поцеловал, и мы продолжили обход дома. В следующей комнате я обнаружила две кровати — большую мужскую и женскую, поменьше. К стене были прибиты пять карт Таро в виде магического креста. Мать перед смертью не успела открыть их и прочитать предсказание. Не захотел и он открывать карты, но навсегда прикрепил к стене непрочитанными, повернув к комнате рубашкой.

***

Утро в Которе бывает соленым, а рассветает только после завтрака... Однажды он ушел довольно рано по делу, уладить кое-какие формальности относительно своего имущества. Я завтракала с Селеной. Служанка поставила на стол запеченных в молоке угрей и зеленый салат, заправленный единственной каплей солнца, проникшей в дом.

— Я там видела очаровательные женские портреты. Вы знали этих сестер?

Селена обнажила зубы, источенные волнами слов, которые десятки лет их глодали, лизали и захлестывали во время приливов, повторяясь в одних и тех же устах до бесконечности...

Совершенно неожиданно она произнесла:

— Берегись, девочка. Ведь женщина может состариться в одно мгновение, даже в час любви... Что до этих картин, то лучше бы им не висеть рядом друг с другом. Ни одна из них этого бы не потерпела. Ни Анастасия, ни Катена.

— Но почему?

— А Тимофей не рассказывал?

— Нет. Я считала, что они живы. Я думала, он меня привез, чтобы с ними познакомить. Видите, как я ошиблась.

— Да они уж давно умерли. Тимофеева мать, Катена, вышла замуж в семью Враченов. Когда она пришла в этот дом, волосы у нее были черные-пречерные, как у ее сестры Анастасии, которую она с собой привезла. Сестры были очень похожи. Только у госпожи Катены в постели всегда валялось много мелких денежек, и мужского, и женского достоинства. Они выпадали у нее из карманов, из прически, из перчаток... Так и сеяла вокруг себя деньги. А у старшей сестры, у Анастасии, глаза сияли, как два перстня... Я тогда еще не ей служила, а мужу госпожи, господару Медошу. А что потом случилось, все знают.

— Я не знаю. Расскажите.

— Госпожа Катена была убита на дуэли.

— На дуэли? С кем она дралась?

— С другой женщиной, которая хотела у нее отнять любимого.

— Господи боже мой! А что известно о той, другой женщине?

— Да все известно. Вот, на вас ее серьги, значит, все по-прежнему остается в семье. Теперь они обе покойницы, можно и рассказать. Я уже вам намекнула, другая женщина — это госпожа Анастасия, старшая сестра госпожи Катены, чей портрет над лестницей с правой стороны. Похоже, господар Медош, отец Тимофея, не остался равнодушным к ее прелестям. Во сне она укрывалась своими волосами цвета воронова крыла, точно в черной постели спала... Тайный сговор Медоша Врачена и его свояченицы происходил, бывало, через еду, подававшуюся на ужин. Анастасия каждый день заказывала, что готовить к столу. И отдельные блюда, которые я готовила под ее неусыпным наблюдением, обещали Медошу, если он ночью ее навестит, определенный род наслаждений. Точно сказать не могу, но догадываюсь, что похлебка с укропом означала одно, заяц под смородинным соусом — другое, а фрукты в вине — третье. Особенно блестели глаза моего господина, если по приказу госпожи Анастасии я ставила на стол морские улитки а-ля Сен-Жак с грибами. Что уж там делалось в спальне Анастасии, сказать не могу. Но Катена была в полном отчаянии. От ревности она поседела за одну ночь. Так ее и написал живописец. Она тогда как раз носила Тимофея...

Все мы ходим по грязи, что во сне, что наяву. Родился Тимофей, госпожа Катена вернулась в опочивальню своего мужа, и можно было ожидать, что его страсть угаснет, как многие другие человеческие страсти. Но связь между Медошем Враченом и его свояченицей не прекратилась.

Госпожа Катена была женщина с характером. Она предприняла решительный шаг, чтобы отстоять свое семейное счастье. В один прекрасный вечер, когда Анастасия приказала готовить морские улитки а-ля Сен-Жак с грибами, не зная о том, что господина Медоша не будет в Которе, госпожа Катена подала на стол вместо морских раковин шкатулку с пистолетами своего мужа. Она зарядила их и предложила сестре выбирать. Или сию же минуту, той же ночью навсегда уехать из Котора и оставить их семью в покое, или на заре драться на дуэли на пистолетах. В то время дуэли были в моде, правда среди мужчин. А госпожа Катена решила разрубить этот узел дуэлью с родной сестрой...

Глядя на Катену своими красивыми неподвижными глазами, Анастасия тихо спросила:

— Почему на заре?

И громко добавила:

— Бери свои пистолеты. Идем немедленно на берег!

Я тогда уже служила Анастасии, поэтому видела все.

Мы вышли к морю через черный ход. Воткнули в песок саблю, повесили на нее фонарь. Дул сирокко, ребристый и жгуче-холодный. Он дважды задувал огонь. Ничего не было видно и слышно из-за дождя и шума морских волн. Сестры взяли по пистолету, повернулись спинами друг к другу и к фонарю, а я должна была считать — каждой предстояло сделать по десять шагов. Первой стреляла госпожа Катена. И промахнулась. А у той и у другой было право на два выстрела, но по очереди.

— Смотри целься получше, второй раз я не промахнусь, — крикнула Катена сестре сквозь ветер.

Анастасия выпрямилась во весь рост, мёдленно повернула к себе дуло пистолета, облизнула и взяла в рот. Постояла так минуту, потом поцеловала дуло и выстрелила в сестру. Она убила ее на месте. Пуля прошла сквозь поцелуй.

Дело это замяли, представив его как несчастный случай. Мы перенесли тело в дом и сказали, что, дескать, госпожа рассматривала оружие мужа в его отсутствие и пистолет сам по себе выстрелил. Что творилось с господином Медошем — не описать. Первое время он слова не мог произнести. Наконец успокоился и сказал:

— Преступление, совершенное в дни, когда дует сирокко, даже на суде карается вполовину.

То ли ему попритчилось, что он еще молод, то ли еще что — но он покорился судьбе и не стал выяснять отношения со свояченицей. Да и что ему оставалось? Мы оба, и он и я, молчали ради мальчика. Сестра покойной осталась жить в доме Враченов. Она стала растить ребенка. Вот и вырастила нашего Тимофея. Была ему вместо матери...

Говорят, что ненависть живых переходит в любовь умерших, а неприязнь покойных — в любовь живых. Не знаю. Знаю только: быть счастливым — это особый дар, здесь нужен слух, как в пении либо в танце. Ведь счастье можно и завещать, как бы передать по наследству.

— Ну нет, счастье нельзя унаследовать, его надо строить по кирпичику. И вообще, гораздо важнее, как выглядишь со стороны, чем как себя ощущаешь, — возразила я, вставая из-за стола.

***

На другой день я нашла в ящике пару шелковых перчаток и в одной из них — флакончик духов. Понюхав его, я узнала запах одеколона, которым пахло от Тимофея. Он и его тетка пользовались одними и теми же духами. Я ему ничего не сказала. Бродя по дому, мы натыкались на огромные комоды и корабельные сейфы с железными засовами и секретными замками, какие изготовляют в Дубровнике.

Однажды он сказал:

— Тетя была бы счастлива, узнав, что моя невеста щеголяет в ее бархатных платьях и мехах. Они здесь. По-моему, ее вещи тебе подойдут, ты сложена почти как она.

Мы начали рыться в шкафах и чуланах старого дома. Он попросил меня примерить горностаевую шубку, которая мне очень подошла.

— Она твоя, — прошептал он, целуя меня. Он задаривал меня дорогими браслетами, дюжинами митенок и перчаток. Попадались и кольца, которые носят поверх перчаток и подбирают в тон к любым — кружевным, шелковым или лайковым — перчаткам.

Однажды, устав бродить по дому, я прошла мимо портрета госпожи Катены с седыми волосами, и мне показалось, что она смотрит на меня из своей рамы как-то странно. Не так, как раньше. В меня вселилось пугающее, но непреодолимое желание. Я велела Селене приготовить к завтрашнему ужину зайчатину под смородинным соусом. Служанка посмотрела на меня с ужасом, но послушалась. Перед ужином я шепнула Тимофею, что будет означать для наших постельных дел появление на столе зайчатины, и выполнила свое обещание. С тех пор он стал внимательнее относиться к блюдам, которые ему подавали, и глаза его ближе к вечеру приобретали особый блеск.

Шел день за днем, было тепло и солнечно, мы купались, ели рыбу, собирали мидии. Как-то раз он поцарапал краем раковины средний палец левой руки. Я высосала из ранки капельку крови, и все быстро прошло. Если он куда-нибудь уходил, я слонялась по пустому дому одна. На дне какого-то сундука я нашла старинный корсет на китовом усе, прошитый черным кружевом с золотой ниткой, с жемчужными пряжками и стеклянными пуговками. Такие корсеты надевались поверх панталон, а чулки к ним пристегивались каучуковыми подвязками.

Я извлекла корсет из сундука, велела Селене приготовить морские улитки а-ля Сен-Жак с грибами, и, решив этой ночью преподнести сюрприз Тимофею, капнула его лю-

бимыми духами себе на запястье и за ухом... Слышно было, как за окнами дует сирокко, как Тимофей наигрывает на гитаре тот самый романс, которому я его научила:

Пойман тихой сетью завтрашних движений...

Потом я услышала, как он вышел, чтобы прополоскать зубы водой с медом. Не успел он лечь в огромную кровать, как я появилась перед ним, облаченная в один только корсет его тетки. Он лежал совершенно нагой, и уд его торчал, похожий на огромный нос, под которым выделяются лихо закрученные усы. Я уселась на него верхом. В ту минуту, когда моя страсть достигла апогея, я запрокинула голову и чуть не потеряла сознание от ужаса: на меня, слегка покачиваясь в любовном ритме, смотрела из своей золоченой рамы его черноволосая тетка в корсете и в зеленых серьгах... Я не узнала себя в висевшем над постелью зеркале.

Когда наступает оргазм, мы не в силах его сдержать. За те мгновения, пока мой возлюбленный тоже испытывал наслаждение, мои волосы совершенно поседели, как у той, другой женщины, а из зеркала, как, впрочем, и из реальности, навсегда исчезла некая брюнетка.

ЯСМИНА МИХАЙЛОВИЧ

Три стола

РАССКАЗ

Перевод с сербского НАТАЛЬИ ВАГАПОВОЙ

Мой муж — известный писатель, а сама я — что-то вроде ясновидящей.

В тот год, желая немного отдохнуть и прийти в себя после болезней, мы снова поехали в Котор. Я хорошо себя чувствую в этом городе, омываемом двумя водами. Я воспринимаю его как существо женского рода: спрятавшийся на берегу извилистого залива, зажатый волнообразными крепостными стенами и горами, он как бы двуутробен. Тенистый и влажный, пронизанный змеящимися подземными потоками, бесчисленными глубоко скрытыми водоворотами, которые в дождливые дни затопляют город. Считается, что его название происходит от древнегреческого «катарео» — богатый источниками, ибо пресные воды, приходящие с материка, с двух сторон обтекая его стены и смешиваясь, впадают в соленые, захлестывающие его с лица, и лоно города время от времени всасывает немного моря. Так которские воды постоянно преображаются, забавляясь своими играми: то подземное — надземное, то пресное — соленое.

В первый же день я стала перелистывать туристский проспект с картинками старой части Котора и его окрестностей. При взгляде на фотографию Доброты (панорама с воздуха) в моем воображении вдруг возник некий стол, который я должна во что бы то ни стало заполучить. «Увиденный» мною стол был большой, массивный, длинный, темного цвета, с резьбой «косичкой» в самых разных местах. Видение было расплывчатым, но я поняла, что это не секретер, а обычный стол, даже без ящиков. На чем он стоит, какие у него ножки, я увидеть не смогла. Однако была почему-то уверенность, что стол находится в Доброте, в доме у моря, в стороне от шоссе. Все, что открылось мне о нем, походило на разбросанные перевернутые осколки и оттого было волнующим.

Всю ночь, в полусне, неясная картина менялась, усложнялась и прояснялась, как отражение в слегка покачнувшейся водной поверхности, которая постепенно успокаивается, с тем чтобы под конец, совершенно умиротворившись, дать двойное отражение — неба и подводного мира.

Видение преследовало меня, и на другой день я рассказала мужу о своей маленькой тайне, которая меня скребла и грызла, как «слабая боль под сердцем, что скулит, как легкий голод».

— Я тут присмотрела один стол, — сообщила я.

— Но когда?! — изумленно спросил он.

— Вчера, вернее, сегодня ночью, — ответила я смущенно. — Собственно, я не знаю, один ли это стол или три.

© Jasmina Mihajlović, 1997
© Н. Вагапова. Перевод, 1998

И правда, образ стола затуманивался тем, что я с самого начала не знала, один ли это стол или их несколько. Позднее я убедилась, что передо мной изображение, умноженное во времени, как бы разные фазы и места его нахождения. То и дело смешивались три картины.

В первой являлся какой-то дом в Каменари, у мыса, где теперь пристает паром. Впрочем, может, он и прежде там приставал. Этот дом я видела снаружи, и стол ассоциировался с его верхним этажом. Во втором видении представал интерьер комнаты, вернее, часть его, так как, хотя я чувствовала, что это огромное помещение, изображение вибрировало. Оно становилось то двухмерным, то трехмерным, но, во всяком случае, это было фронтальное изображение, увиденное с одной определенной точки зрения. Я видела даже стену, на фоне которой стоял стол, за ним вдоль всей стены тяжелую, богатую драпировку, темную, скорее всего бордо, всю в пыльных складках; за ней угадывалась другая занавесь, легкая и прозрачная. Есть ли там окно, я не была уверена. Скорее всего, занавеси тянулись вдоль стены. Воздух в помещении был душным, тяжелым, непрозрачным. В этом видении отсутствовали человеческие силуэты. Единственно живым было стоящее сбоку растение с большими листьями. Виделась мне еще и какая-то статуэтка на деревянной подставке в форме колонны. Самой туманной была третья картина: комната, так заставленная мебелью, что к столу не подойти. Он — в плотном кольце других вещей.

Меня так и подмывало разыскать этот стол. Я связала его в своем сознании с историей, услышанной в Которе во время нашей предыдущей поездки. Историей о выжившей из ума даме, обладательнице страусиного яйца, и об одном находящемся в Доброте доме — доме про́клятом, разрушенном во время последнего землетрясения и оставленном его хозяевами. Местное предание о том, как и почему прокляты этот дом и обитавшая в нем семья, оказалось весьма туманным, что подтвердили и все (кроме одной) мои позднейшие беседы с жителями Котора. Припомнилась мне и фамилия капитана, семья которого жила в доме, — Трипкович.

И еще я чувствовала: помочь мне в розысках должна женщина, именно женщина, а не мужчина. Да и сам стол из моих видений таинственным образом связывался с женским началом.

***

В тот же день я стала расспрашивать в Архиве города Котора, где у нас работает приятельница, что сталось с семьей Трипковичей, поскольку я уже знала, что в Черногории их потомки больше не живут, и, кстати, нет ли случайно в других домах в этом городе предметов их обстановки. Мне ответили весьма категорично, что о мебели Трипковичей, которая перешла бы во владение других семей, ничего не известно, иначе об этом знал бы весь Котор. После того как рухнул дом, последние Трипковичи переселились в Риеку; разрушенный их особняк многие хотели купить, но он почему-то не продается. Один письменный стол, принадлежавший этой семье, правда, выставлен в которском Музее мореплавания, но он ни в коей мере не соответствует моему описанию. Кроме того, что это очень красивый стол, известно, что в нем множество потайных отделений[1].

Тем временем нашу приятельницу словно сам черт под руку толкал. Ничуть не удивившись всей этой истории и поддавшись моему маниакальному стремлению найти стол, она продолжила поиски. К вечеру того же дня она сообщила нам, что стол, полностью соответствующий моему описанию, наконец обнаружен.

Привидевшийся мне стол и вправду существует. Темный, из черного эбенового дерева, массивный, длинный, с мраморными вставками и инкрустациями, собственно, скорее консоль, чем обычный стол. Принадлежала консоль семье Трипковичей, а еще

[1] Разумеется, мы потом отправились в музей посмотреть стол. Это был большой, красивый секретер в стиле барокко с венецианскими зеркалами в верхней части. Мой супруг, у которого особый нюх на потайные ящички, разобрал и собрал его с невероятной быстротой, найдя в нем не менее шести потайных отделений.

раньше — роду венецианского дожа Морозини, пришедшему в упадок вместе с упадком Венеции. Консоль стояла у них в капелле. Привезли ее из Венеции (наверное, вместе с одеждой и прочими вещами Морозини). Датируется она XVI или XVII веком. Последним владельцем стола-консоли был Даро Трипкович, который, переселяясь в Риеку, отдал часть своей мебели, в том числе и этот таинственный стол, г-ну Р. Далее все невероятно усложнилось. Г-н Р., живущий в Доброте, разместил стол и прочие переданные ему вещи в доме, который как бы ему принадлежит и в то же время не принадлежит (рядом с домом, где он обитает), в каком-то помещении, заставленном мебелью. Стол якобы находится в глубине этого помещения, и добраться до него невозможно, ибо он загорожен мебелью и завален строительным мусором. Г-н Р. не может показать стол, потому что сам он инвалид и с трудом передвигается, а беспокоить женщину, живущую в комнате рядом с этим нагромождением мебели, ему неудобно.

Напомню, что во всей этой истории до момента, когда стол был найден (а речь идет о сутках, прошедших от первого моего видения до появления сведений о том, что он существует, и о его нынешнем местопребывании), не было никаких противоречий, все совпадало. И семья оказалась именно эта, а не другая из множества семей капитанов в Которе, и дом, где некогда стоял стол, и сам стол именно этот. Однако потом все пошло наперекосяк.

Наши попытки хотя бы просто взглянуть на стол оказались безуспешными, хотя за нас просили самые уважаемые люди Котора, представители разных общественных слоев. Ни о виде, ни о происхождении, ни о возрасте и нынешнем состоянии стола ничего больше нам узнать не удалось. Поскольку попытки заполучить его становились все более настойчивыми, г-н Р. выдвинул новое, на этот раз непреодолимое препятствие. Трипкович, мол, взял с него клятву никому не показывать этот стол.

На мой вопрос, не хромает ли г-н Р., с которым я, естественно, незнакома, мне ответили утвердительно. Однако он хром не от рождения, но после какого-то несчастного случая, причем какого именно, узнать мне не удалось.

Итак, на страже стола стояли хромой ключник и неизвестная женщина.

Разговоры о столе взбудоражили весь Котор и постепенно приобрели новые нюансы. Один за другим возникали вопросы: кто и откуда узнал касающиеся стола подробности, неведомые самим обитателям города, особенно когда стало известно, что речь идет о предмете древнем и прекрасной работы; что эти неизвестные собираются делать со столом и т. д. и т. п. Вопросы обрастали к тому же соображениями политического и религиозного свойства. Нам пришлось отступиться.

В один прекрасный день, гуляя по Доброте вдоль моря в поисках хотя бы дома г-на Р., который ни один из прохожих нам не мог показать, мы остановились отдохнуть у какого-то дока. Присев на железную тумбу, из тех, к которым привязывают лодки, я попросила мужа сфотографировать меня на фоне ближайших домов. Дом, оказавшийся у меня за спиной, как мы узнали минуту спустя от внезапно появившегося горожанина, принадлежал г-ну Р. Я еще не проявила пленку и не знаю, получился ли снимок (или этому что-то воспрепятствовало), но на нем должна быть видна узенькая улочка, ведущая от дома г-на Р. в направлении суши. Этой улочкой мы прошлись до необычной постройки, после которой улочка превращается в пассаж под круглым сводом. Дом этот своим видом отличался от всех его окружавших. Он производил впечатление почти нежилого. Деревянная калитка оказалась открытой, я вошла в маленький квадратный дворик с колодцем. Несколько плотно закрытых окон с облезлыми зелеными ставнями и такими же дверями вели, очевидно, в разные квартиры. И я, как кладоискатель, указала мужу на дверь, за которой, по моему убеждению, стоял «мой» стол. Не знаю, удастся ли мне выведать, был ли он там, но по крайней мере моя жажда найти и увидеть стол была частично утолена возможностью указать пальцем на эту дверь.

***

В последний вечер нашего пребывания в Которе мы отправились с одним господином, историком искусства, в обитый изнутри красным плюшем ресторан, что у западных которских ворот, там, где вход в город со стороны горы Ловчен через мост, тот самый, под которым течет река, вытекающая отовсюду и ниоткуда. В этом ресторане мы раньше не были. Наш гость, приятель покойного Даро Трипковича, рассказал нам историю этого потомка мореплавателей.

Дарица, или Даро Трипкович, родившийся году в 1910-м, никогда никого не принимал в своем доме, так что и наш собеседник, близкий ему человек, никогда не был ни в каких помещениях дома, кроме холла. Точно так же историк искусства и друг дома ничего не знал о столе вплоть до нашего приезда и разговора с г-ном Р. — одной из попыток все-таки прервать заговор молчания, возникший вокруг стола. После моих настойчивых просьб рассказать нам все о женщинах, имевших отношение к Трипковичам, он поведал следующее. У Даро были две двоюродные сестры, дочери его дяди. Старшая — Мария и младшая — Мила. Чтобы помешать Марии унаследовать половину состояния, он женился на младшей — ее родной, а своей двоюродной сестре Миле. Поскольку речь шла о кровосмесительном браке, им пришлось, как болтают, обращаться за разрешением чуть ли не в Рим. Детям, родившимся от этой связи, сыну и дочери, сразу после рождения делали полное переливание крови. Все они продолжали жить в том же доме, сестры, по свидетельству нашего собеседника, очень любили друг друга и были дружны, а брак Даро и Милы оказался счастливым. Мария, конечно, так и не вышла замуж. Она недавно скончалась в Риме. Умерли и Мила и Даро, дети же их, которые теперь живут в Риеке, уже немолоды, а потомства у них нет. После их смерти род Трипковичей исчезнет.

Таким образом, стол, спасенный после гибели семьи Морозини, попал в руки другой семьи, которая угасает уже в нашем веке, и вот стол теперь стоит в темноте, заваленный штукатуркой и строительным мусором.

Все время, пока длился этот рассказ, в ресторане звучала музыка из фильма «Halloween». Музыка, которой я очень боюсь.

Вслед за тем прояснилась и история о выжившей из ума женщине, обладательнице страусиного яйца. Ее звали Гизелла Трипкович, она вышла замуж в известную семью капитанов Томичей и произвела на свет многочисленное потомство. Во время последнего землетрясения все домочадцы кинулись прочь из дома, унося на руках детей и ценные вещи. Гизелла же сломя голову бросилась обратно в дом, чтобы спасти страусиное яйцо, привезенное ею из каких-то заморских стран. Когда она умерла, яйцо похоронили вместе с ней. К столу она, кажется, отношения не имела, но принадлежала к семье Трипковичей.

Наш собеседник, разумеется, понял, каким образом я «обнаружила» стол. И ему захотелось рассказать нам об одном своем приключении. Его как историка искусств часто просят оценить различные предметы. По его словам, он видел немало изысканных вещей, особенно в Боке Которской, но ни разу, за одним только исключением, ему не хотелось что-нибудь купить.

В доме, куда его вызвали оценить какие-то предметы старины, он увидел фрагмент написанной маслом картины XVI—XVII веков, изображавшей Матерь Божью, и страстно захотел его приобрести. Эта неземной красоты Мадонна представляла часть большой композиции. Недоставало двух ангелов слева и справа и младенца Христа, которого она должна была держать на руках, не отрывая от него взора. Матерь Божья осталась без младенца и без ангелов потому, что четыре брата, получив эту картину в наследство, не могли поделить ее и разрезали на четыре части. Один из братьев продал свою часть картины, и фрагмент с Мадонной попал в тот дом, куда пригласили нашего знакомого. После всевозможных перипетий ему удалось купить эту Мадонну. Он повесил ее над своим изголовьем в спальне. И тут начались ночные кошмары, пробуждения в холодном поту, бессонница, бред. Вначале он не связывал свои ночные бдения с переселившейся к нему

Мадонной, но однажды в теплую и светлую ночь заметил, куда она смотрит. Ее взгляд, ее глаза были постоянно устремлены на него. Это она не давала ему спать. Поняв, в чем дело, он пустился в погоню за остальными частями картины, нашел двух ангелов, но младенца так и не нашел. В отчаянии он снял изображение Матери Божьей со стены и спрятал его от самого себя.

«А ведь она искала взглядом своего сына, — сказал на это мой муж, — но видела только вас. Перевесьте изображение Матери Божьей на другую стену и поставьте перед ее ликом пюпитр с раскрытой Библией. Она будет смотреть на Книгу, и это, быть может, принесет ей утешение. Ведь это — Книга о ее сыне».

***

По возвращении в Белград, в первую ночь, проведенную в нашей квартире, я почувствовала сильный прилив спиритической энергии. Мне казалось, что я в состоянии без всяких вспомогательных средств призвать и материализовать что угодно. Я очень испугалась. Собственно, я боялась, что вместе с сонмом духов придут мои покойные близкие.

Спустя несколько дней, немного успокоившись и попросив мужа быть мне ассистентом, я при помощи блюдечка и букв вызвала высшего духа, а затем и покойного Даро Трипковича. Все это было продиктовано непреодолимым желанием узнать «правду» о столе. Вернее, уяснить суть: почему мне явилось изображение стола и имеет ли оно отношение к какой-нибудь женщине. Эти вопросы требовали ответа.

Духи очень ясно и точно ответили на два вопроса. Что владелец стола — дож и что стол относится к XVII веку. На вопрос об имени дожа мы получили неожиданный ответ. Блюдечко упорно выписывало два имени: Сатаса и Санаса. Я говорю упорно, потому что мы спрашивали не один раз, желая услышать вполне земной, рациональный, ожидаемый нами ответ, что владельца зовут Морозини. И только на середине нашего сеанса, вглядевшись в иероглифы, написанные на бумаге, я вдруг в одно мгновение поняла, что это имя — анаграмма. Мы были потрясены.

Тайнопись множилась, а мы все больше постигали искусство разгадывать криптограммы. Один ответ и по сей день остался непонятым. Вопрос был — почему нам так важен этот стол. Ответ гласил: «Для S L V». Кратким оказался и ответ на вопрос, что мог бы принести этот стол в наш дом, — «Рану». Мы узнали, что стол использовался в ритуальных целях, но на нем никого не мучили, и что он не связан ни с каким насилием. При этом духи категорически отрицали связь его с чьей-либо женской судьбой. По крайней мере, так нам было сказано, или так мы поняли. Духи глотают гласные звуки или же заменяют их цифрами. Вообще говоря, их язык труден, впрочем, как и наш.

На другой день у меня в уме без конца крутилось другое имя — обозначение высшего духа, которого я призывала. Оно гласило: Ариэль. Порывшись в книжных и компьютерных энциклопедиях, мы установили, что это имя духа из шекспировской «Бури», духа воздуха, передвигающегося с необыкновенной скоростью. Мне казалось, что я узнала имя Ариэль из «Хазарского словаря»[1], но мой муж это отрицал. Ответ я получила через несколько дней, и презабавный. К крышке моей французской стиральной машины была приклеена пестрая реклама стирального порошка, который стирает очень быстро. Порошок назывался «Ариэль». Итак, я бессознательно читала это имя почти каждый день. Таким образом, подтвердились и идея мифологического преображения повседневной жизни, и юнговская синхронность применительно к жизни конца XX века.

В ту ночь, когда мы призывали духов, с нами ничего не случилось. Мы еще не успели осмыслить узнанное. Хотя и невероятное, оно казалось достаточно безобидным. Следующей же ночью мы проснулись в страхе, даже в легкой панике, причем оба одновременно. Для этого не было никаких внешних причин, кроме, пожалуй, некоторого шоро-

[1] «Хазарский словарь» — роман-лексикон Милорада Павича («ИЛ», 1991, № 3).

ха, но ведь ночью все шумы кажутся очень громкими, особенно если вам хочется что-то услышать. Чувство страха было иным — неопределенным, но очень сильным. Некоторое время словно что-то реяло в воздухе, а потом исчезло...

Через несколько дней, после всевозможных оттяжек, я уселась, чтобы занести рассказ о которском столе в свой компьютерный дневник. Я заполнила несколько экранных страниц, как вдруг, в самом начале истории, мой «Гомер» PC-386 отказал. Курсор исчез с экрана, словно мышь куда-то улетела, клавиатура перестала слушаться, и на экране светилась только картинка части текста, ложная картинка, потому что компьютер в это время был, в сущности, мертвым. До сих пор в моем опыте работы с компьютерной техникой не было ничего подобного — чтобы отказало все, включая клавиши. Естественно, текст, написанный до того, не сохранился, и я поняла, что могу спасти только оставшуюся ложную картинку, имитирующую работу компьютера, пока она не канула в небытие за черной рамкой монитора. И я записала на магнитофон обрывки текста, опасаясь доверить его бумаге. Я подумала: лучше звукозапись, чем рукопись[1].

Тем не менее история о которском столе завершилась двойным эпилогом. В плане материальном и духовном.

***

Эпилог материального свойства относится к нашему многолетнему желанию заполучить сделанные в единственном экземпляре письменные столы архитектора Куцины, находящиеся во владении известного лица — г-на Радина. Мы видели их года три назад лишь однажды, в зале выставочного салона. Этого оказалось достаточно, чтобы в них влюбиться, — ну прямо Гауди с его постмодернизмом, только на балканской почве.

Гарнитур состоял из мужского и дамского письменных столов, причем мужской включал собственно стол и книжный шкаф, а дамский был из единого куска и опирался на ножку-колонку. Мужской вариант, вырезанный из великолепного темного ореха, был очень наряден, но в то же время нарочито грубоват. Ни на столе, ни на дополняющем его шкафу ни разу не повторялась ни одна линия, ни одна форма. Все в этих столах было асимметрично, неожиданно, с сумасшедшинкой, но невероятно функционально. Дамский вариант — единое целое из белого ясеня, светлое, огромное и в то же время эфемерное, тоже асимметричное, но совсем по-иному. У этого стола был один недостаток — он был хромым. Задуманное вначале как дамский туалетный стол (!) длиной в два метра и такой же высоты в правой части (колонка, в которую врезана столешница), это произведение мебельного искусства с левой стороны не имело ноги. Для равновесия под него была подсунута какая-то доска.

За три прошедших года все наши усилия заполучить столы (дело не только в их красоте, а прежде всего в том, что у нас в доме не было ни одного письменного стола) остались тщетными. Возникали разные препятствия — материальные, психологические, общественные, иррациональные, военные, метеорологические, деловые и т. д.

В то же время в силу разных причин не удавалось и купить какие-нибудь другие столы. Время шло, мы обзавелись хозяйством, но у нас не было того, что прежде всего необходимо для нашей работы. Но столы г-на Радина тоже не попали ни в чьи другие руки и стояли на складе недалеко от Савы, запрятанные глубоко, на несколько метров ниже уровня воды в реке.

---

[1] Когда все это произошло, я не могла не вспомнить письмо от польского издателя «Хазарского словаря», молодого человека, страстно желавшего напечатать роман. Хотя бы один-единственный, свой экземпляр на польском языке. Вышел, естественно, весь тираж, но в письме, сопровождавшем роскошное красно-золотое польское издание книги, Лех Рабакевич писал, что он наконец опубликовал роман, но сейчас сам он лежит больной, совершенно без сил из-за всевозможных перипетий, сопутствовавших изданию. Весь набор книги несколько раз необъяснимым образом исчезал, так как компьютер отказывал всякий раз, когда редактура текста доходила до частей, относившихся к какому-либо из трех дьяволов.

После истории с которским столом я сказала мужу, что, по-моему, он сам бессознательно препятствует появлению в нашем доме какого-либо письменного стола, потому что попросту не хочет его заводить. Он задумался и признал, что, наверное, так оно и есть.

Но, как я теперь убедилась, мое желание обзавестись столами было сильнее. Как-то раз, уже по возвращении из Котора и после сообщений Ариэля, моему мужу приснилось, что у него стоят или стояли три стола. Один — его собственный, стоявший у него в молодости[1], а кроме того, которский и тот, что в стиле Гауди.

Неделю спустя все три предмета из коллекции г-на Радина оказались в нашей квартире, на самом почетном месте. Они стоят в лучшей комнате с угловым окном. Эта комната, именуемая хазарской, ранее гостиная, теперь называется кабинетом и наконец-то занята столь желанными столами. Столы к нам попали потому, что за дело взялись супруга г-на Радина и я. Я ей сказала, что столы нам необходимы по множеству причин, и прежде всего по причинам эмоциональным. Вот и все. Она ни о чем не спросила, все поняла, и столы перекочевали к нам. Тем самым которский стол лишился своего магического воздействия. Он просто вернул нас к нашим давно уже выбранным столам. Я пишу это сейчас на моем ясеневом столе, у которого появилась белая мраморная ножка.

Осталась неразгаданной только одна тайна. Был ли стол из Котора связан с какой-то женщиной? Почему я постоянно ощущала присутствие вокруг него какой-то женской ауры?

***

Второй, духовного свойства эпилог дал ответ на этот вопрос. Дело было сразу же после появления новой мебели в нашем доме. У швейцара одного весьма солидного учреждения моему мужу было оставлено написанное от руки письмо. Оно переночевало у нас нераспечатанным, и на другой день мы вскрыли его довольно равнодушно, полагая, что это очередное письмо читателя, мечтающего стать писателем. Писал двадцатилетний студент первого курса математического факультета Миомир Радованович. Все же я стала читать его вслух. От фразы к фразе наше изумление возрастало все больше и больше.

«...Уважаемый господин Павич,

Я уверен, что Вы знаете в деталях и лучше меня историю Севаста, поэтому меня и удивило, что Вы не включили ее в «Хазарский словарь». Напомню ее Вам.

...Спустя более трех веков после того, как Никон Севаст покинул монастырь Николье, в его святых стенах появился молодой священник по имени Домептиан, только что завершивший богословское образование. Поскольку одновременно с теологией он изучал и историю искусства, этот начинающий богослов обрел в монастыре Николье богатую духовную пищу: он мог служить и Богу, и искусству, которые в глубине его сознания были связаны неразрывно.

Время, остававшееся от обязанностей священника, Домептиан проводил, рассматривая щедро расписанные стены церкви в Овчарском ущелье...

...Войдя как-то в церковь, он вдруг заметил при слабом огоньке свечи, трепетавшей в его руке, что одна фреска как бы выдается вперед по сравнению с прочими, что ее края отбрасывают тень, правда еле заметную, но видимую наметанным глазом, словно образ Девы Марии написан поверх чего-то другого. Домептиан смиренно приблизился и стал рассматривать фреску так, будто видел впервые.

---

[1] «Он был похож на пианино и в то же время мог служить письменным столом. У него были боковые выдвижные ящики, а наверху — маленькая готическая загородка для книг и откидная доска, на которой можно было писать. Если доска откидывалась, то открывалась деревянная колонка, вся перевитая, как выкрученное полотенце, и за ней два зеркальца. Таким образом, человек, приступая к писанию и макая перо в чернильницу, вынужден был посмотреть самому себе в глаза» (из рассказа М. Павича «Ядовитые зеркала»). Фотографию упомянутого стола можно увидеть в журнале «Casa Vogue», Milano, novembar 1988, p. 207.

И лучезарная бледность Богородицы в сравнении с ее фигурой показалась ему еще более неестественной — будто лик был написан поверх другой фрески новыми красками.

В Доментиане взыграл историк искусства, и он ударил подсвечником по лицу Девы Марии. Поняв, что он натворил, он покаянно опустил глаза и молитвенно сложил руки, но услышал глас Божий, приказывающий ему открыть глаза и снова взглянуть на фреску, что он и сделал.

На том месте, где край тяжелого подсвечника задел лик Богородицы, подобно шраму проступило какое-то чужое лицо, и Доментиан, ободренный, начал сбивать всю фреску, пока со стены не упал последний кусок нанесенной сверху штукатурки. Окаменевший, обессиленный телом и душой, Доментиан не мигая смотрел на то, что проступило на стене.

Очам Доментиана предстал Сатана в расцвете молодости и красоты, и богобоязненному священнику достаточно было трех секунд, чтобы в него влюбиться. Как Вам, господин Павич, хорошо известно, Сатана имел женское обличье и стремился скрыться под одеждами Девы Марии. На этом-то фоне бледный лик Богоматери и выглядел противоестественно. Наверняка это звучит богохульно, но Сатана казался таким божественно естественным и прекрасным, что не вписывался во всю роспись этой скромной церквушки, придавая ей оттенок монументальности, и Доментиан должен был себе признаться, что не видел ничего красивее.

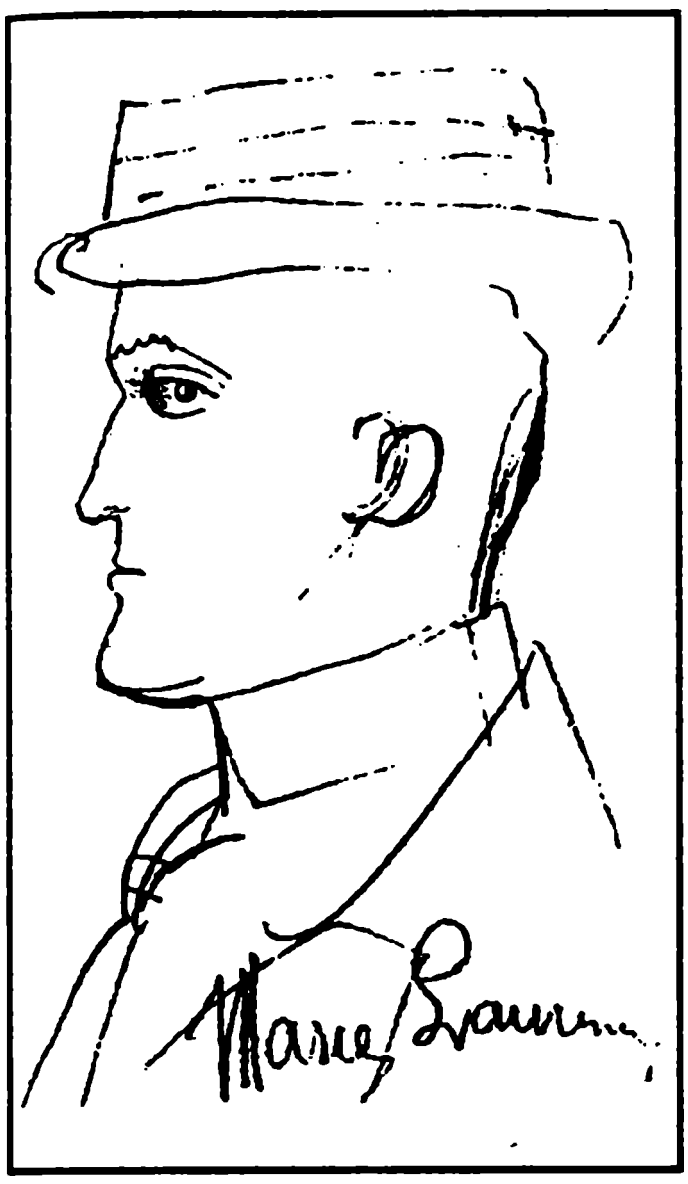
Это и открыло новую страницу в его труде о фресках в Овчарском ущелье и на Кабларе.

Можно ли теперь с уверенностью утверждать, что это — единственный Сатана (исправлено; было «единственная Сатана». — *Я. М.*), написанный на стенах наших монастырей? Эта мысль настолько нарушила душевное равновесие Доментиана, что он сжег свою с таким тщанием созданную рукопись и ушел из монастыря».

Карты наконец-то раскрылись. Под фреской оказалась антифреска, икона-палимпсест, вроде той, что упоминает Успенский в «Семиотике иконы», описывая, как святой Василий Блаженный камнем разбивает чудотворный лик Богоматери и открывает нарисованного под святым ликом иконы диавола. Но произошло и еще нечто. Описка, lapsus calami неизвестного автора письма переменила пол образа на лжефреске и тем самым придала новое значение всей истории. Мои предположения подтвердились. Которский стол все-таки связан с Женщиной.

Белград, 1995

■



Г. Аполлинер.Рисунок Мари Лорансен

ГИЙОМ АПОЛЛИНЕР

Мост Мирабо

С французского

Друзья Аполлинера любили его рисовать. Вламинк, Матисс, Таможенник Руссо, особенно Пикассо, Макс Жакоб и Жан Кокто. И Мари Лорансен.

Его античный профиль, его голова — по словам Гертруды Стайн, «как у императора позднего Рима» — притягивали художников. Его сравнивали то с Цезарем, то с Вергилием.

Романские корни определили его внешность и южную живость характера; славянские — гордость и открытость. К тому же почти всю жизнь он прожил французом без гражданства. Достаточно взрывчатая генетическая смесь, умноженная на повседневные обстоятельства, располагавшие к жесткости и обидчивости, — из всего этого мог получиться сложный и трудный характер.

Так — сложно и трудно — его и воспринимали: впечатлительный, наивный, немного суеверный, сангвиник, тиран, самодур; внутренне чистый, простой, легко сходящийся с людьми; блестящий и остроумный собеседник, постоянно готовый к шутке; певец меланхолии, поэтике которого вовсе не присуща радость... Польская писательница Юлия Хартвиг, автор превосходной книги об Аполлинере, свела воедино это удивительное разнообразие его психологических портретов: «масштабы поэтического Гаргантюа, с трудом приспосабливающегося к человеческим критериям».

Можно сказать, что лирику Аполлинера питали два источника: поиск любви и жажда мистификации. Это свойство его натуры так прочно вошло в сознание современников и обросло такими легендами, что даже солидные энциклопедические словари сопровождали имя поэта пометой «mystificateur».

Чуть ли не мистификацией было рождение Аполлинера: через пять дней после этого знаменательного события он был зарегистрирован в римской мэрии под вымышленной фамилией Дульчини — как ребенок от неназвавшихся родителей. В дальнейшем это дало ему повод пестовать и поддерживать самые фантастические россказни о своем происхождении — вплоть до того, что его предками были то ли Наполеон, то ли Папа римский. Уже в лицее он придумал свой первый литературный псевдоним — Гийом Макабр (Гийом Мрачный), и это было только прологом. В 1909 году шумным успехом пользовались в Париже статьи и стихи некоей Луизы Лаланн, которая оказалась псевдонимом все того же Аполлинера.

И большинство его любовных историй сопровождалось авантюрами. Начиная с юношеского увлечения в бельгийском городке Ставло: три летних месяца, проведенных с младшим братом в пансионате, очаровательная валлонка Марей, дочка местного ресторатора, первый

© М. Яснов. Вступление, 1998

Мари Лорансен. Автопортрет

серьезный поэтический цикл юного поэта — и первое судебное разбирательство после того, как мать Гийома, в очередной раз стесненная в средствах, повелела братьям тайком ускользнуть из пансионата, не расплатившись с хозяином. Эта история, как и многие ей подобные, в которых чувствовалась рука «красивой авантюристки» Анжелики Костровицкой, позволили позднее композитору Франсису Пуленку произнести сакраментальную фразу: «Аполлинер провел свои первые пятнадцать лет у фривольных юбок деспотичной мамаши».

Известно, что Пуленк положил на музыку многие четверостишия из первой поэтической книги Аполлинера — «Бестиарий». Вспоминая поэта, композитор вспоминал его голос — «такой своеобразный, полуироничный, полумеланхоличный». «Голос чародея», — говорила Мари Лорансен.

Они познакомились с легкой руки Пикассо в 1907 году, ей — двадцать два, ему — двадцать семь. Она художница и немного поэтесса, за его плечами — крах сумасшедшей любви к англичанке Анни Плейден, значительный опыт работы журналистом и критиком, первые серьезные публикации стихов и прозы.

Они пробудут вместе пять лет, которые окажутся, возможно, самыми знаменательными в жизни поэта. Это время главных художественных открытий начала века — и у их истоков стоял Аполлинер: орфизм, кубизм, футуризм, Пикассо, Матисс, Таможенник Руссо. Это время прорывов в поэтическое будущее — и их ознаменовал своим присутствием Аполлинер. Но прежде чем стать певцом новой эстетики и нового лирического сознания, он станет великим завершителем классической эпохи французского стиха — и в этом тоже скажется его «двойственность».

Сборник стихов Аполлинера «Алкоголи» вышел в апреле 1913 года. А за несколько месяцев до того — соответственно в декабре и ноябре 1912 года — были опубликованы два его стихотворения, открывших дорогу новейшей поэзии: «Зона» и «Вандемьер». Работая над композицией «Алкоголей», поэт именно ими начинает и завершает книгу. Вслед за «Зоной» он помещает «Мост Мирабо», увидевший свет в феврале 1912 года. В «Алкоголях» Аполлинер использует прием обратной перспективы: за «Мостом Мирабо» он ставит прощание с ушедшим — «Песнь несчастного в любви», затем «Безвременник», «Дворец» и снова возвращается к настоящему, посвящая стихотворение «Сумерки» мадемуазель Мари Лорансен. Плавание по волнам времени и памяти начинается именно с «Моста Мирабо», трагического прощания с Мари, вобравшего в себя горькую память о всех его прошлых отвергнутых любовях: и о «шепелявой» Линде Молина де Сильва, к которой в свое время были обращены «Любовные диктовки», и об Анни Плейден, героине «Рейнских стихов» и «Песни несчастного в любви», и о мимолетных увлечениях — об Иетте, которую он вспомнит в «Каллиграммах», о Мариетте Грено, о Карола́ Стайн, о всех тех, кто, подобно Линде, мог спросить: «Неужели он в меня влюблен? Он очень горд и, думаю, очень страдает, видя, что я не могу ответить ему на это чувство...»

Попыталась ответить Мари Лорансен.

В еще не опубликованной по-русски «Автобиографии Алисы Б. Токлас» Гертруда Стайн, рассказывая о знакомстве с Мари, дает ее примечательный портрет:

«Пикассо все называли Пабло, а Фернанду — Фернанда, и Гийома Аполлинера все называли Гийом, а Макса Жакоба — Макс, но Мари Лорансен все называли Мари Лорансен... Она была худая и угловатая, как средневековая француженка с французского примитива. Она говорила высоким голосом с красивыми модуляциями...

Ведя странную жизнь и создавая свои странные картины, Мари Лорансен продолжала жить с матерью, очень спокойной, очень приятной, исполненной достоинства женщиной, и их быт напоминал монастырский. В их небольшой квартирке всюду висели вышивки матери по рисункам Мари Лорансен. Мари относилась к матери в точности как молодая монашенка к более почтенной. Все было очень странно...»[1].

Странное пятилетие любви Гийома и Мари было восхитительным и чудовищным. Непохожесть Мари на друзей Аполлинера, подмеченная Гертрудой Стайн, постоянное противостояние жестких и самостоятельных характеров, несовместимые семейные традиции, убивающие, как и в прежних любовных историях Аполлинера, живое чувство, и все-таки, как прежде, как всегда, — надежда, что все можно вернуть, повернуть вспять, остановить мгновение...

Мари Лорансен тоже напишет прощальное стихотворение: короткое, на одном дыхании, одной фразой, но не про него, не про них — про себя. И назовет его «для себя» — «Успокоительное»:

---

[1] Перевод И. Ниновой.

Не просто печальная
А скорбящая
Не просто скорбящая
А несчастная
Не просто несчастная
А страдающая
Не просто страдающая
А покинутая
Не просто покинутая
А сирая
Не просто сирая
А изгнанная
Не просто изгнанная
А мертвая
Не просто мертвая
А забытая

В стихах же Аполлинера как раз забвения и не было.

С публикацией «Моста Мирабо» он завоевал верленовскую славу любовного лирика. Может быть, именно Верлена вспоминал он, когда десятки раз пересекал Сену по мосту Мирабо, спеша в тихий и буржуазный Отей — тогда еще почти пригород, — где жили мадам и мадемуазель Лорансен. Это был тот самый Отей, который воспел Верлен в «Записках вдовца».

Для прощания с любовью и — подспудно — классической эпохой французской поэзии Аполлинер интуитивно выбрал такой же традиционный, как устоявшаяся жизнь Отея, и так же мало подверженный изменениям жанр — песню. Как за четверть века до того Верлен и поэты его круга черпали вдохновение в салонном музицировании, водевиле, музыкальном кабаре, так и в эпоху Аполлинера художественный быт Монмартра и Латинского квартала, отнюдь не чуждый серьезной музыке, больше тяготел к домашней и народной песне. Музыкальная стихия Парижа рождала «бардовскую» песню в современном толковании этого слова.

Знаменитый папаша Фреде, владелец «Проворного кролика», играл на гитаре, а завсегдатаи этого монмартровского кабачка, среди которых наверняка бывал и Аполлинер, всласть распевали за столиками все что душе угодно. Мари Лорансен была по сердцу подобная атмосфера: ее мать часами напевала за рукоделием, и сама Мари осталась в памяти современников поющей красивым высоким голосом старинные нормандские песни. Не это ли сочетание домашнего шитья и народного пения вызвало в памяти Аполлинера ритмику ткацкой песни тринадцатого века? При первой журнальной публикации он еще следует вплотную за народной мелодикой, выстраивая трехстрочный куплет песенного одиннадцатисложника:

Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours, faut-il qu'il m'en souvienne?
La joie venait toujours après la peine...

Но в работе над книгой он уже смело делит вторую строку на две — по четыре и семь слогов, — создавая необычный поэтический эффект образовавшимся нерифмованным и словно выбивающимся из ритма четырехсложником. Не менее удивительный эффект узнавания происходит и в рефрене. Тонкий знаток творчества Аполлинера Мишель Декоден указал на связь второй строки рефрена со строчкой из «Большого завещания» Франсуа Вийона: «Allé s'en est, et je demeure» — «Оно (время юности) ушло, а я продолжаю жить». Во французском «je demeure» — «я остаюсь, живу, пребываю в настоящем» анаграммировано «je meurs» — «я умираю, исчезаю, гибну». Эта игра на антитезе, борьбе жизни и смерти, воплощенной в одном слове, вдвойне важна и как жест высокой печали, и как символ высокой поэзии.

Автор «Моста Мирабо» не просто созерцает, как река жизни уносит от него любовь, превращая судьбу в перечень утрат и несбывшихся надежд. Поэтическое мышление ищет аналогии увиденному, и этот поиск роднит Аполлинера с Бодлером, для которого было непреходящей мукой чувство ускользающего времени. «Нас ежеминутно гнетут идея и ощущение времени», — записывал Бодлер в дневнике. «Изменился Париж мой, но грусть неизменна», — говорил он в стихах. Аполлинер ощущает ту же «психологическую симультанность» и создает шедевр лирической поэзии.

Русскому читателю «Мост Мирабо» стал известен сравнительно поздно.

Одним из первых Аполлинера начал переводить Бенедикт Лившиц, но «Мост Мирабо» оказался за границами его переводческих интересов. Потребовалось полвека, чтобы в русской поэзии появились возможности для усвоения и интерпретации аполлинеровской поэтики. Соглашусь с А. Гелескулом, который писал: «Для перевода неподатливей всего песни: у них слишком глубокие корни и при пересадке легко обрываются» («ИЛ», 1995, № 7).

И все же «Мост Мирабо» привлекает как раз сложностью задачи: сохранить эти песенные корни и в искусстве потерь, которым является художественный перевод, достичь максимальной гармонии между утратами и обретениями.

МИХАИЛ ЯСНОВ

Le pont Mirabeau

Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu'il m'en souvienne
La joie venait toujours après la peine

Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure

Les mains dans les mains restons face à face
Tandis que sous
Le pont de nos bras passe
Des éternels regards l'onde si lasse

Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure

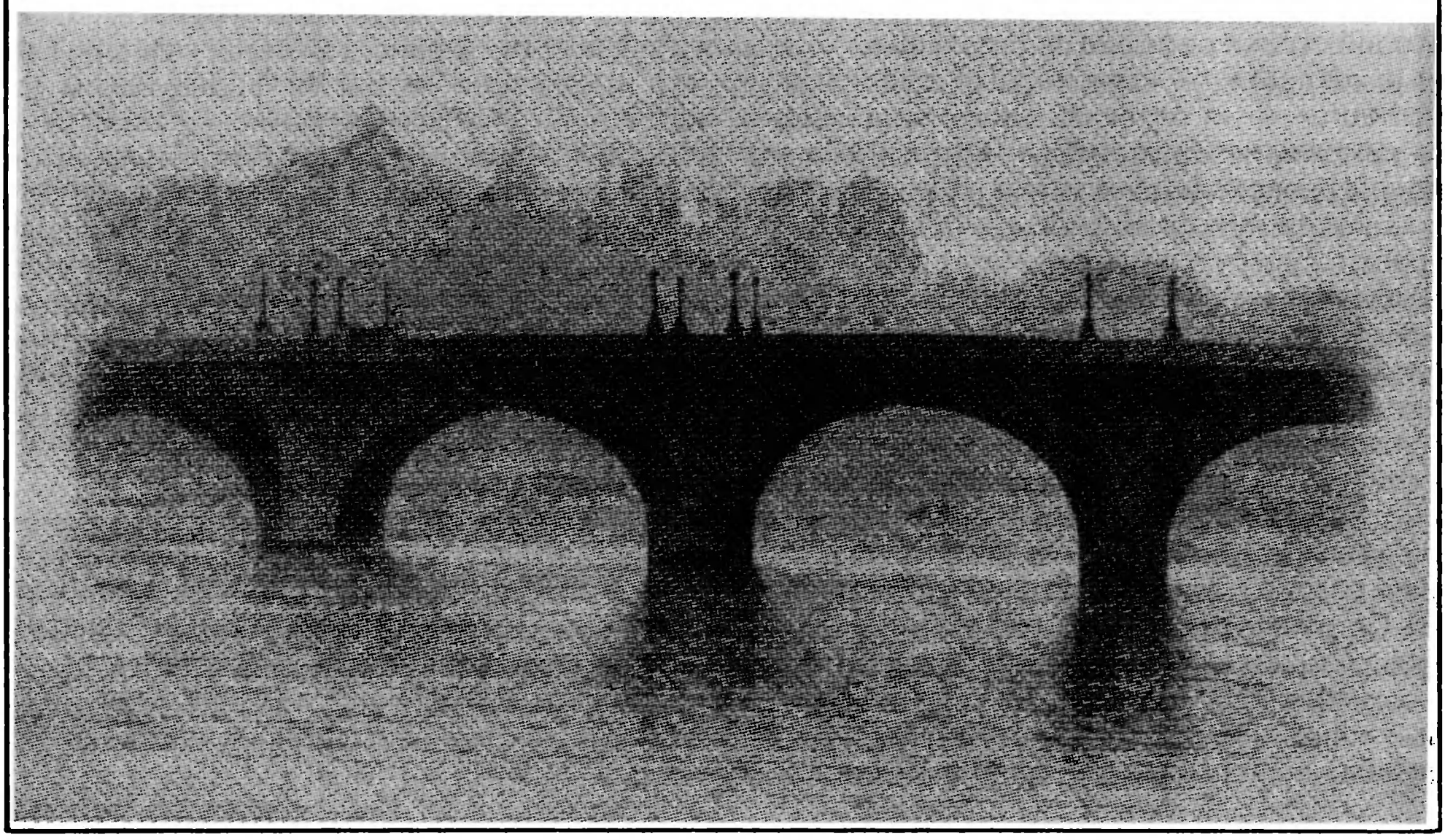
L'amour s'en va comme cette eau courante
L'amour s'en va
Comme la vie est lente
Et comme l'Espérance est violente

Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure

Passent les jours et passent les semaines
Ni temps passé
Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure

«Alcools», 1913



Мост Мирабо

Г. Аполлинер. Рисунок Анри Матисса

Под мостом Мирабо тихо Сена течет
И уносит нашу любовь...
Я должен помнить: печаль пройдет
И снова радость придет.

Ночь приближается, пробил час,
Я остался, а день угас.

Будем стоять здесь рука в руке,
И под мостом наших рук
Утомленной от вечных взглядов реке
Плыть и мерцать вдалеке.

Ночь приближается, пробил час,
Я остался, а день угас.

Любовь, как река, плывет и плывет,
Уходит от нас любовь.
О, как медлительно жизнь идет,
Неистов Надежды взлет!

Ночь приближается, пробил час,
Я остался, а день угас.

Проходят сутки, недели, года...
Они не вернутся назад.
И любовь не вернется... Течет вода
Под мостом Мирабо всегда.

Ночь приближается, пробил час,
Я остался, а день угас.

Перевод МИХАИЛА КУДИНОВА

(В кн.: *Г. Аполлинер.* Стихи. Серия «Литературные памятники». М., 1967)

Мост Мирабо

Под мостом Мирабо вечно новая Сена.
Это наша любовь
Для меня навсегда неизменна,
Это горе сменяется счастьем мгновенно.

Снова пробило время ночное.
Мое прошлое снова со мною.

И глазами в глаза, и сплетаются руки,
А внизу под мостом —
Волны рук, обреченные муке,
И глаза, обреченные долгой разлуке.

Снова пробило время ночное.
Мое прошлое снова со мною.

А любовь — это волны, бегущие мимо.
Так проходит она.
Словно жизнь, ненадежно хранима,
Иль Надежда, скользящая необгонимо.

Снова пробило время ночное.
Мое прошлое снова со мною.

Дни безумно мгновенны, недели мгновенны.
Да и прошлого нет.
Все любви невозвратно забвенны...
Под мостом круговерть убегающей Сены.

Снова пробило время ночное.
Мое прошлое снова со мною.

Перевод ПАВЛА АНТОКОЛЬСКОГО
(В кн.: *П. Антокольский*. Медная лира. М., 1970)

**Г. Аполлинер.
Рисунок Мориса
Вламинка**

Мост Мирабо

Под мостом Мирабо исчезает Сена
А с нею любовь
Что же грусть неизменна
Уступавшая радостям так смиренно

Тьма спускается полночь бьет
Дни уходят а жизнь идет

Словно мост мы сомкнули руки с тобою
Покуда волна
За волной чередою
Взгляд за взглядом влечет под него с тоскою

Тьма спускается полночь бьет
Дни уходят а жизнь идет

Вот и наша любовь подобна стремнине
И медлят года
Как река на равнине
Но надежда неистова и поныне

Тьма спускается полночь бьет
Дни уходят а жизнь идет

Дни уходят недели тают как пена
И словно любовь
И как жизнь постепенно
Под мостом Мирабо исчезает Сена

Тьма спускается полночь бьет
Дни уходят а жизнь идет

Перевод МИХАИЛА ЯСНОВА (1974)

© М. Яснов. Перевод, 1998

Мост Мирабо

Мост Мирабо в пути минует Сена
И с ней любовь
Но в жизни непременно
Приходит радость горестям на смену

Бьет час и ночь грядет незримо
Я остаюсь дни мчатся мимо

Лицом к лицу постой еще со мною
Мост наших рук
Простерся над рекою
От глаз людских не знающей покою

Бьет час и ночь грядет незримо
Я остаюсь дни мчатся мимо

Любовь уходит как вода разлива
Любовь уходит
Жизнь течет лениво
О как Надежда вдруг нетерпелива

Бьет час и ночь грядет незримо
Я остаюсь дни мчатся мимо

Так день за днем идут без перемены
Их не вернуть
Любовь и счастье тленны
Мост Мирабо минуют волны Сены

Бьет час и ночь грядет незримо
Я остаюсь дни мчатся мимо

Перевод ИРИНЫ КУЗНЕЦОВОЙ (1974)

Мост Мирабо

Под мостом Мирабо тихо катится Сена
И уносит любовь
Лишь одно неизменно
Вслед за горем веселье идет непременно.

Пробил час наступает ночь
Я стою дни уходят прочь

И в ладони ладонь мы замрем над волнами
И под мост наших рук
Будут плыть перед нами
Равнодушные волны мерцая огнями

Пробил час наступает ночь
Я стою дни уходят прочь

**Г. Аполлинер.
Рисунок Пабло Пикассо**

© И. Кузнецова. Перевод, 1998

Г. Аполлинер.
Рисунок Гери Пьере

Уплывает любовь как текучие воды
Уплывает любовь
Как медлительны годы
Как пылает надежда в минуту невзгоды

Пробил час наступает ночь
Я стою дни уходят прочь

Вновь часов и недель повторяется смена
Не вернется любовь
Лишь одно неизменно
Под мостом Мирабо тихо катится Сена

Пробил час наступает ночь
Я стою дни уходят прочь

Перевод НАТАЛЬИ СТРИЖЕВСКОЙ

(В кн.: Западноевропейская поэзия XX века. Серия «Библиотека всемирной литературы». М., 1977)

Мост Мирабо

Под мостом Мирабо Сена медленно льется,
Так уходит любовь.
Только память со мной остается:
И отрада, и грусть — все навеки дается.

Бьют часы — ведут темноту.
Дни бегут — я здесь, на мосту.

Слиты руки, и все еще сближены лица,
И под хрупким мостом
Двух ладоней — река будет литься,
Бег усталой воды — нескончаемо длиться.

Бьют часы — ведут темноту.
Дни бегут — я здесь, на мосту.

И уходит любовь — как волна, невозвратна,
И уходит любовь,
Словно целая жизнь, необъятна,
Как надежда последняя, невероятна.

Бьют часы — ведут темноту.
Дни бегут — я здесь, на мосту.

День за днем, за неделей неделя несется,
Ибо время не ждет,
И любовь никогда не вернется...
Под мостом Мирабо Сена медленно льется.

Бьют часы — ведут темноту..
Дни бегут — я здесь, на мосту.

Перевод ВЛАДИМИРА ПОРТНОВА

(«Литературный Азербайджан», 1984, № 12)

Мост Мирабо

И наша любовь словно в Сене вода
Под мостом Мирабо
Все течет в никуда
Страсть за грустью волной набегает всегда

Дни плывут наяву
Минет ночь я живу

Друг на друга глядим держим руку в руке
И на нас как на мост
Словно в тихой тоске
Вечно смотрит волна пробегая в реке

Дни плывут наяву
Минет ночь я живу

Утекает любовь как вода как река
Утекает любовь
Ах как жизнь коротка
Как желанием властным надежда крепка

Дни плывут наяву
Минет ночь я живу

Дни текут бьют часы слышен времени ход
И недели и год
Кто любовь мне вернет
Под мостом Мирабо только Сена течет

Дни плывут наяву
Минет ночь я живу

Г. Аполлинер.
Рисунок Пабло Пикассо

Перевод ЮРИЯ КОЖЕВНИКОВА
(«Иностранная литература», 1997, № 2)

Мост Мирабо

Сена течет под мостом Мирабо мимоходом
Наша любовь течет
Надо ль мириться с печальным исходом
Помнить что радость приходит на смену невзгодам

Ночь приходи здесь тебя ждут
Дни уходят а я все тут

Руки сомкнем прояснятся усталые лица
И над рекой возведем
Мост наших рук Под него устремится
Взглядов немеркнувших медленных волн вереница

Ночь приходи здесь тебя ждут
Дни уходят а я все тут

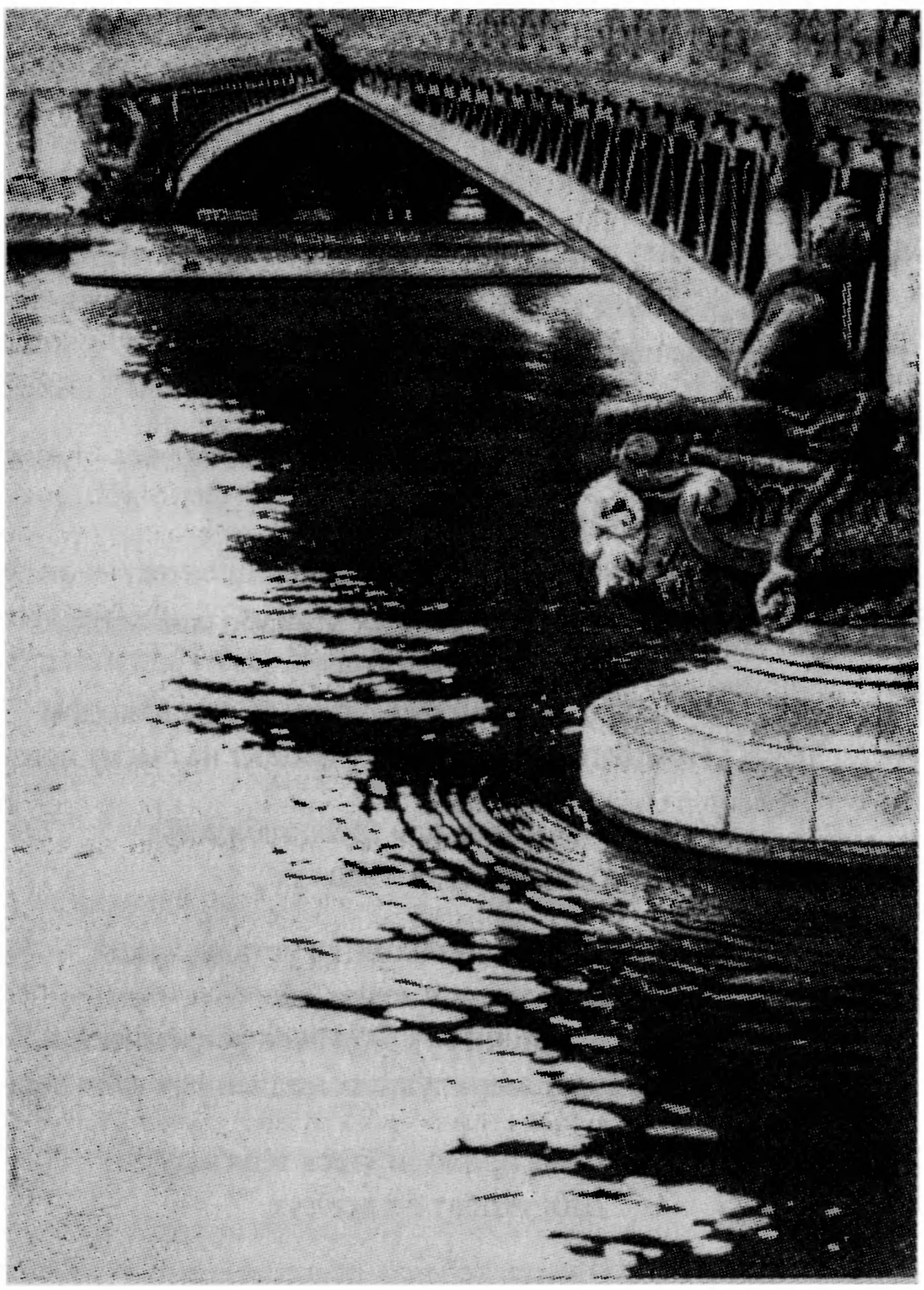
Прочь устремится любовь за водою текучей
Прочь устремится любовь
Вяло течение жизни тягучей
Яростны в сердце удары надежды живучей

Ночь приходи здесь тебя ждут
Дни уходят а я все тут

Дни проплывают и год проплывает за годом
Канувшим дням и любви
Вспять не вернуться как льющимся водам
Сена течет под мостом Мирабо мимоходом

Ночь приходи здесь тебя ждут
Дни уходят а я все тут

Перевод АЛЕКСЕЯ ПАРИНА
(В кн.: Жилище славных муз. Париж
в литературных произведениях XIV—XX вв.
М., 1989)



ИРВИН УЭЛШ

ИЛЬЯ КОРМИЛЬЦЕВ

Ирвин Уэлш — Жан-Жак Руссо химического поколения

Ирвин Уэлш — очень модный писатель. Для писателя это в равной степени привлекательно и опасно, поскольку влечет за собой неизбежное обвинение в конъюнктурности — особенно если он сам подыгрывает своему статусу живой легенды. А Ирвин Уэлш подыгрывает — и еще как!

В мире, где каждый шаг творческой личности, добившейся успеха, попадает под неусыпное око масс-медиа, анонимность и конспирация — парадоксальный, но беспроигрышный способ привлечь к себе внимание. Уэлш, очевидно, рано это понял и сделал так, чтобы мы знали о нем по возможности меньше. Лишь недавно пронырливым журналистам удалось восстановить кое-какие детали его жизненного пути — официальные же биографические справки ограничиваются констатацией простого факта: «В настоящее время проживает в Амстердаме».

Ирвин Уэлш родился в 1958 году в пригороде Эдинбурга Мьюирхаусе — там, где разыгрывается действие его самого известного произведения, романа «Трейнспоттинг» («Trainspotting», 1993). Посещал колледж, где учился менеджменту в строительстве, после чего работал в муниципальных строительных фирмах все того же Мьюирхауса. В начале 90-х переехал в Амстердам и полностью посвятил себя литературной деятельности.

Попытки выяснить, как и когда жизненный путь заурядного клерка пересекся с пестрым миром его героев — безработных, наркоманов, футбольных хулиганов и прочих маргиналов, — так и остались попытками; с фигуры писателя не удалось сорвать покрова тайны и мистификации, им же самим и созданного. Даже фотографии Уэлша не были доступны до тех пор, пока он не поддался на заманчивое предложение сыграть торговца наркотиками Мики Форрестера в экранизации романа «Трейнспоттинг»; визуальная конспирация после этого, естественно, потеряла всякий смысл.

Литературная карьера Уэлша выстраивалась внешне так же бессобытийно и гладко. В бестселлеры пробивается как сборник его ранних рассказов «Эсид хаус» («The Acid House»[1], 1994), так и второй роман — «Аист марабу из кошмаров» («Marabou Stork Nightmares», 1995). «Трейнспоттинг» становится хитом по обе стороны океана, причем в Великобритании роман

---

[1] Так называется один из популярных стилей техно-музыки (*буквально* — «Кислотный дом»).

© И. Кормильцев, 1998

быстро обретает сценическую жизнь (постановки в Эдинбурге и Глазго, а затем и на лондонских подмостках), а блестящая экранизация довершает успех. Читательское внимание к Уэлшу не ослабевает и с выходом его последней книги — «Экстази» («Ecstasy», 1996).

Ирвина Уэлша можно уверенно назвать подлинной культовой фигурой 90-х. Сложнее ответить на вопрос, почему он ею стал. Только ли «жареное» содержание большинства его книг, с экстремальными по социальным (и психическим) характеристикам героями, тому причиной? Только ли обилие ненормативной лексики (впрочем, всего лишь адекватно воспроизводящей языковую норму персонажей), описаний (кстати, довольно сдержанных) наркотических «трипов» и секса (опять-таки в тональности комической, на грани фарса)? Книги Уэлша, кроме того, весьма непросты в языковом отношении — ведь все они написаны фактически на двух языках: авторская речь — на вполне качественном литературном английском, а речь персонажей — на эдинбургском диалекте. Для жителей Соединенного Королевства диалект этот — благодаря анекдотам, спектаклям и телепостановкам — такой же родной и знакомый, как одесский жаргон или блатная феня для нас; а вот для американских читателей издание романа «Трейнспоттинг» пришлось даже снабжать специальным словарем.

Конечно, говор «лоулендеров» — усилиями прежде всего таких писателей, как Джеймс Келман и Аласдер Грей, — уже обрел в английской литературе права гражданства. Но Ирвин Уэлш идет дальше — он превращает язык своего детства в средство создания фантастического мира, выходящего далеко за пределы окрестностей Эдинбурга, и маркирует им территорию, не просто ограниченную рамками определенного региона, но лежащую вообще за пределами буржуазной нормы. Язык у Уэлша порой важнее содержания текста (что, увы, чудовищно осложняет работу переводчиков).

Если мир, причем не только англоязычный, так откликнулся на явление Ирвина Уэлша, то, возможно, он принес миру некое новое послание? Уэлша, наряду с такими писателями, как Джефф Нун или Гэвин Хилл, стали называть певцом «химического поколения». Следовало бы разобраться, что это за поколение и насколько оно химическое. Если видеть в этом термине сугубо полицейское указание на злоупотребление наркотиками, то мы продвинемся недалеко. В этом отношении поколение, скажем, битников, с монументальными фигурами заядлого героиниста Берроуза и законченного алкоголика Керуака, — ничуть не менее химическое; что уж говорить о поколении хиппи, где перечень подобных (говоря языком субкультуры, «по жизни удолбанных») персонажей занял бы целую журнальную страницу?

Показательно, что новые корифеи молодежной культуры постоянно исповедуются в любви к битникам и ненависти к хиппи; возможно, именно в этих симпатиях и антипатиях следует искать ключ к ответу на вопрос о специфике нового поколения. Ведь изменение сознания (путем ли химического воздействия или принятия нового мироощущения — неважно, эстетического или религиозного) приводит обычно к двум альтернативным типам поведения — миссионерскому или сектантскому. Первое стремится одарить мир новообретенными истинами, второе — оставить их в узком кругу посвященных, которым до всех прочих и дела нет. Бегство к миру или бегство от мира — вот вечная дилемма.

В Англии 60-х культура блестящего «свингующего Лондона» была по преимуществу культурой богемы, культурой выходцев из среднего класса (несмотря на такие исключения, как «Битлз»), и оставалась (в отличие от Америки) явлением прежде всего эстетическим. Первым манифестом, прозвучавшим непосредственно из глубин сугубо британской «организации жизни», был манифест панка. Лидер группы «The Jam» Пол Уэллер так высказался в свое время по поводу породившей его среды: «В английской кастовой системе, если ты родился внизу, у тебя есть три выхода: стать звездой футбола, звездой рок-н-ролла или... куском дерьма. Последнее, понятно, всего рискованней — и всего легче».

Расцвет панка в Великобритании не случайно совпал с эпохой раннего тэтчеризма — периодом, поставившим точку в истории британского рабочего класса, корнями уходящей в предыдущее столетие и вызывающе анахроничной в ситуации постиндустриального общества. Безработные родители служили неубедительным примером для не менее безработных детей; культура, замкнутая в треугольнике паба, фабрики и футбольного поля, имела единственный сильный аргумент — экономические гарантии. Потеряв этот аргумент, она стала тем, чем и была на самом деле — затхлой тюрьмой.

Немалое значение имела и изменившаяся этническая ситуация. Волны переселенцев с Антильских островов и Индостана захлестывали Британию еще с 50-х, но до начала «большой приватизации» устремлялись прежде всего в большие города и сосредоточивались в специфических гетто. Для коренного населения новые иммигранты оставались, в сущности, посторонним элементом, своеобразной домашней экзотикой.

«Housing projects» — блоки муниципального жилья, превратившиеся в конце 70-х в подлинные «микрорайоны для неудачников», — коренным образом изменили ситуацию:

белая молодежь оказалась с цветной не только рядом, но и в одинаковом положении. Был сломлен социальный барьер, а вместе с ним — и культурные границы, раздвинувшиеся настолько же широко, насколько сузилась социальная перспектива. Более всего этот процесс отразился в культуре музыкальной — 80-е начались с усвоения ямайского стиля «рэггей» и завершились рождением новой танцевальной рейв-культуры, густо замешенной на столкновении ритмов «третьего мира» с электронными технологиями мира цивилизованного, «первого».

Как рейв-вечеринки в гаражах и заброшенных складах стали альтернативой телесериалам, так и наркотики стали альтернативой традиционному пьянству старшего поколения. Вот что говорит по этому поводу сам Уэлш в одном из своих немногочисленных интервью: «В принципе ничего не изменилось — раньше алкоголь, теперь наркотики. Просто от алкоголя не уйти, он повсюду, особенно — на Севере, а наркотики... с ними вместе ты выбираешь замкнутое общество». Вначале героин, а с конца 80-х — экстази становятся тем элементом, который консолидирует молодежную субкультуру. Ключевая роль экстази в формировании образа посетителя «рейвов» и породила клише «химическое поколение».

Вот приблизительные характеристики уэлшевской вселенной: место — пригород шотландской столицы, время — 80-е или начало 90-х, герой — молодой человек не вполне определенных занятий, интересы которого: музыка, танцы, секс и наркотики. Таковы, впрочем, интересы молодежи во все времена — за исключением тех, когда подросткам приходится командовать полками. Отличие героев Уэлша в том, что вышеуказанным занятиям они предаются с особым ожесточением, ибо за пределами этого modus vivendi никаких перспектив у них нет, а вернее, есть одна: стать такими же никчемными неудачниками, как их родители.

Именно таких персонажей мы встречаем и в романе «Трейнспоттинг», и в рассказах Уэлша, один из которых — «Вечеринка что надо» — публикуется в этом выпуске рубрики «NB». Позднее, в амстердамский период, круг персонажей расширяется и становится пестрей, хотя сама международная тусовка, собирающаяся в «самом свободном городе Европы», по сути, мало чем отличается от мьюирхаусской братии — это те же самые дети пригородов, но уже на новом витке бегства от скуки. Они продолжают искать выход за пределы породившей их среды, косной и социально бесперспективной. Уэлш дал этому пестрому интернациональному сброду меткое определение — «eurotrash», т.е. «еврохлам»; словцо оказалось до того точным, что сразу укоренилось в англоязычной публицистике.

Следует отметить, что сам Уэлш весьма далек от воспевания того, что описывает; даже при передаче речи своих персонажей он все время сохраняет ироническую дистанцию. В этом — одно из основных отличий уэлшевской прозы от того потока «трансгрессивной литературы», которая попросту развлекается описанием периферии постиндустриального социума и составлением перечня всевозможных человеческих странностей и извращений.

Герои Уэлша (по крайней мере те, которых он любит) страстно ищут выхода за пределы своего универсума. Кончается вечеринка, уходит наркотический кайф, на тебя смотрит лишенное ночных прикрас лицо случайной подруги, и какое-то тревожное, печальное чувство горького похмелья, скорее экзистенциального, чем физического, наполняет последние страницы любого произведения шотландского писателя. Выхода нет. А когда его находишь, оказывается, что нужная дверь возвращает тебя в ту точку, откуда ты начинал. И все же выход следует искать: нужно, говоря устами главного героя романа «Трейнспоттинг» Рентона, «выбрать жизнь».

Основная тема прозы Уэлша, в сущности, не нова и характерна для европейской литературы времен больших переломов, будь то появление индустриального общества на заре прошлого века, закат его в начале нынешнего или же рождение на наших глазах чего-то нового, что — по привычке к определению грядущего через прошедшее — все еще по инерции называют обществом постиндустриальным. Тема эта — воспитание чувств с целью обретения смысла существования; внимательный читатель сумеет почувствовать ее, несмотря на все пикантности изложения и демонстративную «чернуху».

Поиски прорыва к смыслу уводят героев Уэлша по разным дорогам, и зачастую этот прорыв оказывается хотя и эффектным, но иллюзорным (как в повести «Судьба всегда в бегах», где современные «мстители» оказываются на пороге гибели) или запоздалым (как в романе «Аист Марабу из кошмаров», где лежащий в безнадежной коме, но остающийся в сознании герой по крупицам восстанавливает свою бестолковую и жестокую жизнь, хотя выводы, к которым он приходит, пригодиться ему уже не смогут).

Коварный Уэлш, сознавая, очевидно, как трудно создать образ безусловно положительного героя, любит оставлять своих персонажей в самом начале нового поворота их жизненного пути и предоставляет читателю судить о том, насколько удачным окажется их выбор. Так,

Рентон из «Трейнспоттинг» — безусловно, самый популярный уэлшевский герой — «выбирает жизнь», решительно порывая с компанией своих дружков, продолжающих крутиться в бесконечном беличьем колесе (наркотики-паб-дискотека-кража-суд-тюрьма), и с нажитым не совсем честным путем капиталом собирается начать новое существование — респектабельное, но лишенное той ограниченности, что возмущала его в родителях. Элен же из «Непокоренных» («The Undefeated» — третья часть книги «Экстази», откуда взята повесть «Судьба всегда в бегах»), напротив, впервые попав в тот мир, из которого уходит Рентон, порывает с деловым, но занудным мужем и начинает свое свободное падение.

Противоположность подобных жизненных выборов — лишь кажущаяся, если иметь в виду те задачи, которые решает Уэлш. Речь идет, в сущности, о том, что необходимым является сам акт выбора — ибо у прошлого перспектив нет. А ловушки и соблазны, губительные для души (к состоянию которой Уэлш, несмотря на всю внешнюю безрелигиозность, предельно чуток), поджидают в этой жизни каждого, будь то бизнесмен или наркоман. Ощущение настоятельной необходимости выбора, присутствующее в прозе Уэлша, и делает ее, как нам кажется, популярной и актуальной в местах, географически и исторически весьма удаленных от Мьюирхауса и Амстердама. Ибо время — на изломе, и излом этот, как всегда, проходит в первую очередь через сердца (и тела) молодых. Проходит зачастую именно в тех формах и разыгрывается в тех декорациях, что и в произведениях Ирвина Уэлша, — нравится нам это или нет.

ИРВИН УЭЛШ

Вечеринка что надо

РАССКАЗ

Перевод с английского И. КОРМИЛЬЦЕВА

Круки и Кэлум сидели в популярном, несмотря на спартанскую обстановку, пабе на Лейс-Уок и препирались на тему, стоит или нет завести музыкальную машину.

— Вруби долбаный ящик, Кэл, — наезжал Круки. — Теперь твоя очередь.

Он недавно уже скормил прожорливой твари фунтовую монетку, а у Кэлума — он знал — деньги были.

— Вот еще, бабки тратить, — отрезал Кэлум.

— Ну ты и жмот! Вруби долбаный ящик, — не унимался Круки. — Не люблю я, когда в пабе тихо.

— Кончай дергаться, понял? Вот увидишь, не пройдет и минуты, как какой-нибудь мудел заведет ящик. Нечего бабками сорить.

— Ну ты и жмот!

Кэлум собрался было возразить, но тут его внимание привлекла некая личность, неуверенно двигавшаяся от стойки в их угол паба со стаканом лимонной содовой в руке. Добравшись до свободного стола, личность расслабила нетвердые ноги и шмякнулась в кресло.

— Вот это да! Глянь-ка на вон того мудела, Крук! Это же маленький Бобби Престон! Бобби! — окликнул Кэлум доходягу, но тот, казалось, его даже не услышал.

— Заткнись, мать твою! — прошипел Круки. — Ты что, не в курсе? Этот пидор с иглы не слазит! Еще сядет к нам на хвост... Никаких халявщиков сегодня, понял?

Кэлум обозрел Бобби Престона с головы до ног, пытаясь различить в усохшей, грязной фигурке, склоненной над стаканом, тень прежнего Бобби Престона. Воспоминания детства и отрочества роились в его голове.

© Irvine Welsh, 1995
© И. Кормильцев. Перевод, 1998

— Старик, да ты его совсем не знаешь. Он такой клевый. Бобби... Бобби Престон, — задумчиво сказал Кэлум, словно многократным повторением имени можно было вернуть к жизни прежнего Бобби Престона. — Я тебе про него такого могу порассказать... БОББИ!

Бобби Престон услышал. Пару минут он взирал на приятелей в недоумении, пока не кивнул в ответ. По лицу его было видно, что он только наполовину понимает, с кем имеет дело. Кэлуму стало очень грустно оттого, что старый друг не узнал его, к тому же ему было несколько неудобно так обломаться в присутствии Круки. Подавив раздражение, он встал и направился к столику Бобби. Круки нехотя пошел за ним следом.

— Бобби, мудила старый! Все долбаешься или как? — участливо спросил Кэлум.

Бобби криво улыбнулся и неопределенно махнул рукой.

Вконец расстроенный, Кэлум подумал, что если он погрузится в воспоминания о старых временах, то, возможно, прежний Бобби Престон выползет из своего нынешнего логова, построенного из сухих костей, обтянутых болезненно-серой кожей.

— Знаешь, старик, кто мне вчера повстречался? Парень, который чуть не завалил своего предка, когда тот ему на мороженое не дал! Помнишь, ну тот мудел? Разбил бутылку из-под «Кока-колы» и горлышком его, горлышком...

Бобби молчал, криво улыбаясь.

Кэлум обернулся к своему спутнику:

— Мы еще в школу вместе ходили, в один класс. Этот мудел с нами вместе учился... Как звать, не помню, ну, короче, порезал он своего предка, потому что тот ему на мороженое не дал, на «Марс», понял? Потом мы как-то раз сидели в «Маршалле», но это позже было, понял? Я, Бобби вот этот, еще Тэм Макговерн, так вот Тэм мне и говорит: «Вон тот мудел, который своего предка порезал, когда тот ему денег на «Марс» не дал». А я ему: «Не, тот вроде другой был...» Помнишь, Бобби? — попытался снова растормошить друга детства Кэлум.

Бобби кивнул, продолжая улыбаться все той же кривой улыбкой, словно она была нарисована у него на лице.

Кэлум продолжал:

— Но Тэм уперся: «Нет, этот именно тот». А парень знай себе сидит и читает газетку, понял? Но мы с Бобом, нас так просто не наколешь — верно, Бобби? А Тэм уперся и говорит: «Я щас пойду и сам спрошу у этого пидора, кто он такой». А я говорю Тэму: «Если это он, смотри не нарвись, парень-то трёхнутый на полную голову». Ну а Тэм говорит: «Этот маленький веснушчатый мудел?» — и пошел. А дальше — мудел этот как вскочит, а я смотрю — у Тэма щека распорота и вся харя в крови. А мудел из паба как дал деру, а мы — за ним, а он как врезал по шоссе — только его и видели. Честно говоря, не так уж быстро мы и бежали — верно, Боб? С тех пор лет сто прошло. Но вчера я того мудела снова видел: пилит мимо паба «Шестнадцать» по Лейс-Уок, понял?

Круки стало скучно. Он терпеть не мог джанки: все они зануды, пока не уколются, а как уколются, так тоскливей людей на свете не найдешь. Короче, лучше с ними вообще не связываться. Какого хера Кэлум болтает с этим типом? Школьный друг и все такое — но они же не нанимались на работу в отдел социального обеспечения.

К счастью, тут Круки увидел, как в бар вошел молодой блондин с большим крючковатым носом. Волосы его были заплетены в мелкие грязные ямайские косички неопределенного цвета. Парень прошел к стойке и принялся рассматривать напитки на полке.

— Глянь, Ворон! — воскликнул Круки. — Пойду потрясу этого мудела, может, разживусь колесами, понял?

— Говорят, сегодня вечером что-то намечается в «Цитрусе», а? — спросил Кэлум, отрываясь от отмороженного Бобби.

— Тебе экстази брать, если у него будет? — спросил Круки.

— Угу... только никаких капсул. Я закинулся одной в «Саб клаб», ну, в Глазго, на прошлой неделе. Час тащился, потом, блин, съехал. И так всегда. Ди-джеи, муделы, прут-

ся на «Малькольм Икс» — крутая чистая дрянь, от которой крышу сносит в натуре, — а я обломался и съехал.

Круки сделал понимающее лицо:

— Верно. Капсул не надо.

Он подошел к Ворону, поздоровался, после чего оба удалились в сторону мужского туалета.

Кэлум вновь сосредоточился на Бобби:

— Эй, Боб, старик, послушай. Я просто тащусь от этой встречи. Помнишь: я, ты, Тэм, Иэн и Скуби? Улетная была компашка, верно? Ничего не боялись. Бобби, я не какой-нибудь там зануда, но я уже четыре года только с Элен, понял? Удолбаться время от времени — это на здоровье, но вот игла совсем не по мне, понял? Помнишь Иэна? Откинул ласты... СПИД и все такое...

— Да-да, Иэн... Гилрой... — пробубнил Бобби, выйдя на миг из героинового ступора и поморщившись от воспоминания о какой-то старой обиде. — Я его терпеть не мог, понял?

— Не надо, Боб... мать твою так... Парень помер! Не смей так говорить!

— Он меня подставил, — буркнул Бобби.

— Верно, но теперь кому какая разница? Парень-то помер, вот я о чем... На мертвых зла не держат, понял?

Круки вернулся из туалета:

— Достал кислоты, понял? Промокашки... Кислоту любишь?

— Не очень. Экстази лучше. — Кэлум был не в духе. Он думал об Иэне, о Бобби, о том, как хорошо все было раньше. У Бобби в голове полно дерьма. От этой встречи такое настроение, что в трип отправляться просто опасно.

— Кончай, Кэлли, все будет в кайф! Пойдем к Чиззи. Ты ведь с ним знаком, верно?

— А, Чиззи, — кивнул Кэлум. Вообще-то он не знал Чиззи. Ему было как-то не по себе, но, с другой стороны, очень хотелось оттянуться.

— По мне бы лучше экстази... ну да ладно...

Они прожевали промокашки настолько поспешно, насколько позволял их малопривлекательный вкус. Между тем Бобби, побуждаемый сигналами из болевого центра, с трудом собрал себя и поплелся в туалет. Неизвестно, сколько времени он там находился, но Круки и Кэлуму показалось, что не меньше месяца, потому что, когда он вернулся, оба друга уже находились в самом разгаре кислотного прихода.

Зеркала, висевшие на стенах паба, изогнулись и заключили их в странный пузырь, отрезав от всех остальных посетителей паба. Впрочем, внешний мир можно было по-прежнему рассматривать сквозь зеркала, словно через огромные вогнутые линзы. Сперва такая изоляция показалась друзьям приятной, но вскоре они поняли, что сойдут с ума и задохнутся внутри этого пузыря. Они сидели, прислушиваясь к сокращениям мышц, стуку сердца, шипучей циркуляции крови по венам. Они поняли, что являлись, в сущности, машинами. Кэлум, водопроводчик по профессии, ощущал себя зданием, пронизанным канализационными стоками. Мысли о канализации вызвали у него спазм в прямой кишке. Круки недавно был в кино на «Терминаторе». Он видел весь мир через окошечко видоискателя, по поверхности которого пробегали красные светящиеся буквы диалога с компьютером.

— Ни хера себе... — прошептал он.

— Это конец света... а может, начало? — вопрошал Кэлум сам себя, наблюдая странную тварь, которая медленно ползла к ним по полу.

Это просто собака... или кошка... кошек в пабах не держат, но вот в Ирландии, в деревенских пабах, кошки часто сидят и греются у камина... нет, это все-таки долбаная собака...

— Вот это трип так трип, крышу на хер сносит! — сказал Круки, покачав головой.

— Угу... — промычал Кэлум и подумал: «А Бобби уже зарядился, тварь болотная. Надо же!» Сперва Кэлуму было даже приятно, что есть Бобби, на котором можно сфоку-

сировать взгляд, но потом он снова вернулся к созерцанию своих сосудов, вздувавшихся под стремительным турбулентным потоком крови, словно река, вышедшая из берегов.

— Давай свалим отсюда, старик, — наконец сказал он.

— Верно, давай свалим, — согласился Круки.

Им понадобилось некоторое время, чтобы встать на ноги. Весь паб кружился колесом, дико искаженные лица людей мелькали перед глазами. Было то нестерпимо светло, то темно, как ночью, в зависимости от того, что вытворяли их перегруженные впечатлениями органы чувств. Кэлум чувствовал, как реальность ускользает у него из рук, словно промасленный канат, который тянет за другой конец немыслимая сила. Круки ощущал, что с его психического ядра отслаивается шелуха, и понял, что, когда она слетит вся, он станет совсем иным существом — возможно, инопланетянином.

Друзья поспешно выбрались из паба, оглушенные и ослепленные потоками света и звука. Круки чувствовал, как он покидает смертную оболочку и устремляется в космическое пространство, но затем со страшной силой падает обратно в тело. Он медленно обводил взглядом улицу: яростная какофония странных, но до боли знакомых звуков и мелькающий калейдоскоп неоновых огней сливались в причудливую и восхитительную картину. Сквозь все это с трудом прозревалась шаткая фигура Бобби, который плелся в некотором отдалении.

— Эй, мудел удолбанный! — крикнул ему Кэлум, затем повернулся к Круки и сказал: — Всю картину портит, пидор!

Несмотря на агрессивный тон, в глубине души Кэлум был рад присутствию Бобби, который создавал хоть какую-то точку отсчета в изменившейся реальности.

Друзья неуверенно шли по знакомой улице, ставшей внезапно такой чужой. Временами на какой-то краткий миг Лейс-Уок приобретала привычные очертания, но в основном местность напоминала Дрезден после бомбардировки. Фонтаны огня, клубы дыма и запах горящей плоти окружали Круки и Кэлума со всех сторон. Они остановились, обернулись и снова увидели Бобби. Круки понял, что Бобби очень похож на Терминатора, выходящего из пламени взорвавшегося бензовоза.

— Что-то страшновато здесь...— пробормотал Круки.

Затем оба снова на время потеряли свои телесные оболочки, но потом нашли их и чувство реальности вместе с ними.

— Нам не справиться, старик, — хрипло прошептал Кэлум. — Похоже, тут что-то вроде атомной бомбы долбануло...

— Кончай гнать, — простонал Круки. — Все только и ждут, когда ты закинешься, а потом бросают бомбу, чтобы ты в штаны наделал. Саддам Как-Его-Там только и ждет, когда Кэлли закинется.

Кэлум громко рассмеялся в терапевтических целях. Это подействовало. С таким муделом, как Круки, улететь не страшно. На измену не потянет, когда рядом Круки. Высший класс!

Друзья вошли в сияющий золотом подземный переход и в изумлении принялись смотреть по сторонам.

— Блин, так не бывает. Полный улет! — пробормотал Круки, разинув от удивления рот.

Кэлум не мог ему ответить. Голова ломилась от мыслей, предмет которых не поддавался определению. Он понял, что такого же типа мысли бывают у младенцев, которые еще не знают слов. Он чувствовал ритм этих мыслей, чувствовал даже то, как они рифмуются между собой, но он не мог их высказать вслух, потому что их нельзя было выразить речью. Он знал, что, протрезвев, он забудет эти мысли навсегда и разучится пользоваться этим тайным бессловесным языком. Как только Кэлум окончательно это понял, он сильно огорчился. Утратить навсегда такое прозрение! Он стоял на пороге высшего знания, но не мог переступить этот порог.

— Мы ничего не знаем, но, блин, мы же все знаем!.. Но никто из нас не знает, что знает...

— Кэл, старик, не грузись, — уговаривал его Круки. — Главное, не спи за рулем. Смотри, мы уже почти у Чиззи. Бобби, где ты, мать твою так! Боб! Иди сюда, мудило! Ты в норме?

— Не могу я говорить. Я же под героином, приятель... Героин... — промямлил Бобби.

— Вот пидор! Лучше бы ты с нами кислоты лизнул. Как тебе приход, Кэл?

— Приход что надо... — неуверенно ответил Кэлум.

Дело не в кислоте. Дело в чем-то другом, подумал он. Он закидывался не первый год, полагал, что его уже ничем не удивишь, вообразил, что он знает о кислоте все. Долбаные старые всезнайки, которые говорят, что завязали с кислотой после одного слишком дурного трипа. Стоит тебе только решить, что ты все изведал, как отлетаешь так, что вся твоя жизнь меняется навсегда. Как эти умники были правы! Все случившееся с ним до этого было лишь подготовкой к тому, что происходит сейчас. Впрочем, это даже подготовкой не назовешь. После этого все будет по-другому.

Они шли и шли, минуты казались часами, но с места практически не удавалось сдвинуться. Было такое впечатление, словно делаешь шаг вперед, а затем два шага назад. По дороге бесконечно приходилось пересекать узкие улочки с непременным пабом на углу. Иногда это была та же самая улочка и тот же самый паб, иногда — вроде другие. Вскоре они оказались под дверьми у Чиззи, так и не разобравшись, какой дорогой пришли.

— Хммм... не помню, куда жать... — бормотал Круки, пытаясь прочесть выцветшие таблички на панели домофона. — Нет здесь никакого Чиззи...

— А как его по-настоящему зовут? — спросил Кэлум.

Бобби в это время начало рвать желчью.

Кэлум чувствовал, что попасть в квартиру необходимо во имя их спасения. На улице полным-полно демонов. Сперва Кэлум только догадывался об их присутствии, но теперь был убежден, что интуиция его не подвела.

— Давай войдем, — сказал он. — А то тут демонов много.

— Не пори чушь! — фыркнул Круки. После трипа можно посудачить о демонах, которых встретил во время трипа. После трипа, но не сейчас. Они же условились не говорить о демонах во время трипа, а теперь этот мудел...

Круки с трудом овладел собой.

— Думаю, его зовут Чизхольм или вроде того...

— Блин! — закричал Кэлум. — Да жми же на долбаную кнопку! Жми на любую! Какой-нибудь хер откроет, мы войдем и найдем Чиззи по шуму. Это же вечеринка.

— Верно! — Круки надавил на первую попавшуюся кнопку, дверь открылась, и они вошли в подъезд.

На резиновых ногах друзья карабкались по лестнице навстречу звукам голосов.

Вид Чиззи, стоявшего на верхней площадке, несколько их успокоил.

— Всем привет! — воскликнул Чиззи. — Рад вас видеть! Отличный вечер, верно?

— Неплохой... мы в крутом трипе, — признал Круки.

— Ну и сукины же вы дети! Валите сюда!

В квартире Кэлума и Круки одолела клаустрофобия. Сев у искусственного камина, они взяли по банке с пивом и попытались разобраться в обстановке. Бобби же сразу заперся в сортире. Он выполз оттуда только через полчаса и бессильно рухнул в деревянное кресло-качалку.

Усатый парень с квадратной челюстью подошел к приятелям и сказал:

— Так, ребята. Продаю лотерейные билеты. «Клуб-86». Первый приз — «Ровер ретро». Второй приз — туристический ваучер агентства «Сфиэр трэвел» на двести фунтов, понял? Третий приз — рождественская корзина с хавкой, фунтов на сто потянет. Билет стоит один фунт.

— Я в лотерею не играю, — сказал Круки.

Парень окинул их воинственным взглядом.

— Рождественский тира-а-ж! — рявкнул он и потряс пачкой билетов у них перед носом.

— А, ну тогда... — Круки принялся шарить в карманах.

Кэлум счел, что ему будет лучше сделать то же самое.

— Долбаный рождественский тираж, мудел! Всего один фунт стерлингов за долбаный билет... хавка, тур или тачка... вы мне, мудни, еще спасибо скажете!

— Э, я возьму один... — Круки протянул парню фунтовую монету.

— Что? Один долбаный билет? Да ты меня за кого держишь, мудел? Долбаный рождественский тира-а-ж! «Клуб-86»! Департамент содействия развитию шотландской молодежи... можно подумать, вы сюда на своем «боинге» прилетели!

— Ну ладно... возьму пять! — неожиданно загорелся Кэлум.

— Ты парень что надо! — сказал усатый.

Круки неуверенно протянул ему два фунта.

— Куда пойдешь в субботу? — спросил усатого Кэлум.

— Что? — переспросил тот и злобно уставился на Кэлума.

— На Истер-роуд пойдешь?

Усатый снова посмотрел на Кэлума, а затем раздраженно мотнул головой:

— Я пришел на эту долбаную вечеринку билетами торговать, а не трандеть про футбол!

И с этими словами он ушел, вогнав Круки и Кэлума в параноидальное состояние.

— Надо нажраться, — сказал Круки, поднося банку с пивом к губам. — Алкоголь успокаивает. Приводит в чувство.

Кэлум нервно кивнул и тоже принялся пить.

Через час им полегчало, они встали и принялись танцевать вместе с остальными. Кто-то включил на магнитофоне приятную музыку в стиле «транс». Бобби тем временем заснул в кресле-качалке.

Тощий, стриженный под бобрик парень кричал:

— Чиззи! Поставь мою кассету! Поставь мою кассету, мудел!

— Нет... пусть играет «Финитрайб», понял? — бормотал в ответ другой тощий парень с челкой, закрывавшей глаза.

Круки показалось, что он его уже видел где-то.

Кэлум снова ощутил приступ паранойи. Он не знал никого из гостей, и ему стало казаться, что он здесь лишний и никто его не любит.

— Боб, старик, херовые мои дела, — сказал Кэлум, подсев к Бобби. — Я знаю, ты скажешь, что это все фигня, но я видел здесь пару мудней, которые болеют за «Лохенд», и сдается мне, один из них — кореш этого психа Кейта Эллисона, того самого, который пырнул Муби... знаешь, такой, из приличной семьи... бритвами торгуют... мне рассказали тут, что какой-то мудел попытался наехать на одного из этих Эллисонов в «Почтовом клубе», а тот у него нож вырвал — спокойно так — и распластал этому козлу всю харю... будто маньяк какой, понял... много в моей жизни говна нынче, Боб... зря я кислотой закинулся... Элен знаешь, а? А сестру ее... Джулию? Знаешь Джулию?

Бобби молчал.

— Мою долбаную кассету поставь, Чиззи, пидор! — орал тощий с бобриком, но, не обнаружив в комнате Чиззи, принялся танцевать как полоумный под ту музыку, которая уже играла.

Кэлум вновь обратился к молчавшему Бобби:

— Не то чтобы я в нее втрескался — ну не совсем, в общем. Мы просто с ней никогда не разговаривали, и вот я шлялся по городу и занесло меня в «Бастер», ну и сестра ее Джулия там была с подружками. Ну, короче говоря, ничего такого и не случилось. Ну, потискались немного... короче говоря, я, может, был бы и не прочь. И да и нет — вот что я имею в виду, понял? В смысле, ты же понимаешь, верно, Боб?

Боб ничего не ответил.

— Слушай, Боб, беда в том, что я и сам не знаю, чего я хочу от жизни. В этом-то все

и дело… хер знает что… мне каждая сучка кажется такой старой… ну просто полной развалиной… даже эта телка Сандра… помнишь, та, что ходила с Кевом Маккеем… да ты ее как-то трахал, Боб, старый мудила… я-то знаю…

— Отвянь от этого козла! — сказал Кэлуму тощий брюнет. — Он только что вмазался в сортире.

Вид у брюнета был страшноватый. Он выглядел так, словно его только что выпустили из концентрационного лагеря — настоящий скелет. Как только Кэлум это заметил, ему сразу же стало ясно, что это и в самом деле скелет.

— Э… а где Круки? — спросил Кэлум у «скелета».

— Твой кореш? — кадык «скелета» заходил ходуном.

— Угу.

— Он в кухне и, похоже, совсем спятил. Чубастый такой, верно?

— Не… угу… я, в смысле… а что он говорит?

— Такой здоровый, чубастый мудел — верно?

— Угу...

«Скелет» внезапно исчез, предоставив Кэлуму самостоятельно выбираться из всего этого кошмара.

— Эй, Бобби, может, пора сваливать… верно, Боб? Не те здесь вибрации, понял?

Боб ничего не сказал.

Затем пришла девушка в красном платье и села рядом с Кэлумом. У нее были пергидрольные волосы с темными корнями. Кэлум решил, что на личико она вроде ничего, но голые руки чересчур шершавые и на них слишком много суставов.

— Ты пришел с Круки?

— Э... Угу. Меня зовут Кэлум.

— Ты случайно не брат Рикки Прентайса?

Кэлум дернулся, как на электрическом стуле. Всякий знал, что его брат Рикки — полный засранец. Если здесь станет известно, что он — брат Рикки, то решат, что он ничем не лучше.

— Да… Но я совсем не такой, как Рикки!

— А я ничего такого и не сказала! — передернула плечиками девушка.

— Ну да… я только вот говорю: Рикки — это Рикки, а я — это я. Между нами ничего общего. В смысле: он — сам по себе, а я — сам по себе. Ну ты понимаешь…

— Да ты, похоже, вконец удолбался.

— Это все промокашки… а тебя как звать?

— Гиллиан.

— Держись подальше от промокашек, Гиллиан.

— Я не принимала кислоту. Никогда. Те, кто принимает, все кончают дурдомом. Крыша съезжает. Я знала одного парня, который закинулся, и у него случилась кома…

— Э… ага, — нервно согласился Кэлум, надеясь сменить тему беседы.

— Ты меня жди, — сказала Гиллиан, внезапно что-то приметив. — Я скоро вернусь.

— Чиз-зи! Поставь мою долбаную кассету! — кричал парень с бобриком.

— Кончай, Чиззи! Поставь кассету Яичницы, — вмешалась Гиллиан.

Крикливый парень, которого, оказывается, звали Яичницей, повернулся к Гиллиан и сказал, не скрывая своего торжества:

— Вот видите! — затем грозно посмотрел на Чиззи, который забивал косяк на конверте пластинки, и показал пальцем на Гиллиан: — Послушай вот, что она говорит. Поставь мою долбаную кассету!

— Подожди, приятель, — ответил Чиззи и подмигнул.

Появился Круки и подошел к Кэлуму:

— Все тут спятили, Кэлум. Я смотрю, вы тут треплетесь; ну, эта Гиллиан и ты, мудел старый.

— Ты ее знаешь, верно? — спросил Кэлум.

— Ты на верном пути, эта точно даст, — улыбнулся Круки.

— Прикольная девушка,— неуверенно сказал Кэлум. —Приятная такая телка...

— От тебя, старый хер, сделали больше абортов, чем твоя бабушка закатала банок с компотом, — хихикнул Круки.

Гиллиан вернулась. Увидев ее, Круки почувствовал легкие угрызения совести и трусливо осклабился перед тем, как отойти в сторону.

— Слушай, — сказала Гиллиан Кэлуму, — не хочешь купить рождественскую лотерею? «Клуб-86», — улыбнулась она. — Департамент содействия шотландской молодежи.

— Конечно! — отозвался Кэлум, раньше чем вспомнил, что уже покупал сегодня лотерею. Но Гиллиан была в таком восторге, что Кэлуму пришлось купить еще пять билетов.

— Так о чем мы говорили? Ах да, значит, случилась у этого парня кома...

Кэлум почувствовал, что покрывается холодным потом... В груди бешено билось сердце. Нечаянно он задел Бобби за плечо, и тот свалился с кресла-качалки, с грохотом растянувшись на полу.

— Твою мать... — хрипло прошептал Кэлум, глядя на распростертое тело.

Со всех сторон сбежались гости. Усатый парень, тот, который продал Кэлуму первую партию лотерейных билетов, попытался прощупать пульс. Затем он расстегнул рубашку и приложил ухо к груди Бобби.

— Эй, Геггси, пусти меня! — кричал Чиззи.— Я медицине учился! Проваливай, Геггси, мудень старый!

— Да погоди ты, — отмахнулся Геггси.

Кэлуму показалось, что волосы Геггси, разметавшиеся по тощей груди Бобби, превратились в щупальца вроде крысиных хвостов и высасывают остатки жизни из бездвижного тела. Затем Геггси выпрямился и сказал:

— Этот пидор мертв. Этот твой дружок, — добавил он, глядя на Кэлума взглядом прокурора, словно это Кэлум убил Бобби, — он мертв, как кусок говна, понял?

— Блин, кончай наезжать... — сказал Кэлум.

Чиззи склонился над телом Бобби.

— Верно, парень совсем сдох. Я-то знаю: курсы начальной медицинской подготовки при больнице «Феррант». Они нас потом еще послали на практику в Хеймаркет, в госпиталь «скорой помощи» св. Андрея. Диплом и все такое, — гордо заключил Чиззи. Затем он подпрыгнул и заорал: — Круки! Прости, приятель, но это ты приволок сюда этого козла. Мне здесь теперь только копов не хватало! Забирайте своего дружка и сваливайте!

— Но... — начал было Круки.

— Нет, приятель, я вам помогать не стану. Пойми меня, не хочу я здесь копов, понял?

— Берите своего дохлого мудня и валите! — крикнул для ясности парень, которого звали Геггси.

— Да мы не можем... я в смысле... ну куда мы его денем?

— А это уже ваши проблемы. Долбаные кретины, притащили джанки в чужой дом. Вот пидоры! — Геггси угрожающе наклонил вперед голову.

— Всю вечеринку обломали, — встрял чей-то голос. Как оказалось, он принадлежал тому самому парню с бобриком по кличке Яичница. — Может, хоть сейчас поставите мою долбаную кассету, козлы! Видите, как от вашей музыки парню сплохело, — и он захихикал над собственной шуткой.

Круки переглянулся с Кэлумом. Затем они взяли Бобби под руки с двух сторон и вынесли его из квартиры на лестничную площадку.

— Жаль, что все так повернулось, друзья. Этот ваш кореш, он клевый был парень? — спросил Чиззи.

Кэлум и Круки молча посмотрели на него.

— Слушайте, друзья, конечно, сейчас момент неподходящий, но я хотел вас спросить — я тут билеты рождественской лотереи распространяю...

— Я уже купил, — сказал Кэлум.

— Ну тогда ладно,— сказал Чиззи, слегка расстроившись.

Круки и Кэлум начали стаскивать Бобби по лестнице. К счастью, он оказался легким и маленьким. Гиллиан и еще одна девушка вышли из квартиры вслед за ними.

— Все веселье испортили, пидоры,— огорченно сказал парень, которого звали Яичница, когда за ними захлопнулась дверь.

— Совсем спятили, — сказала вторая девушка Кэлуму и Круки. — Вы что, на улицу с ним собрались?

Друзья промолчали в ответ. Худшие из галлюцинаций уже остались позади, но ноги были по-прежнему резиновыми, а реальность — слегка искаженной.

— Интересно, что они с ним будут делать? — сказала Гиллиан.

— Что делать-то будем? — спросил Круки, продолжая спускать тело Бобби вниз по лестнице.

Бобби, хотя и не был тяжелым, перекатывался у них в руках как бурдюк с водой. Они по-новому ухватились за тело, но тогда ноги Бобби стали цепляться за ступеньки.

— А хер его знает, — огрызнулся Круки. — Сперва надо выбраться из этого долбаного подъезда.

— Тьфу! Я бы даже притронуться к нему не смогла! — сказала вторая девушка.

— Заткнись, Мишель, — цыкнула на нее Гиллиан.

Лестница наконец кончилась, и Бобби выволокли из подъезда на темную, пустынную улицу. Ноги Бобби безвольно тащились по асфальту. Гиллиан и Мишель сперва шли сзади на расстоянии нескольких футов, затем стали время от времени забегать вперед. Если же они видели, что кто-то идет навстречу, то переходили на другую сторону улицы.

— Первый раз мертвяка вижу, — констатировала Гиллиан.

— А я видала. Дедушку. Я видела, как его в ящик заколотили.

— Как в ящик? — переспросила Гиллиан, которой представилось, что это и было причиной смерти дедушки.

— Ну, священник... церковь... все такое... — с неожиданной грустью в голосе разъяснила Мишель.

— Ах вот оно что... — дошло до Гиллиан. Затем она вновь посмотрела на Бобби. — Деньги у него при себе есть?

Круки и Кэлум остановились.

— Ты это в каком смысле? — переспросил Кэлум.

— В прямом. На фига они ему теперь? Возьмем на них такси и повезем его.

Круки и Кэлум обмозговали предложение. Затем Кэлум сказал:

— Бедный мудел мертв! Нас могут обвинить в убийстве! Мы не можем везти его в такси!

— Мое дело — сказать, — сказала Гиллиан.

— Угу, — Круки посмотрел на Кэлума. — Ее дело — сказать. Круто, Кэл. Девки — они все такие...

Кэлум был готов взорваться. Это был Бобби. Тело Бобби. Он вспомнил ту ночь у костра и как они с Бобби задавали другим однокашникам жару. Бобби Престон. Он вспомнил, как они играли в ИРА и УДА вместе с Бобби. Он вспомнил, как выстрелил в Бобби из пугача, и Бобби притворился мертвым, и как он лежал в густой траве на обочине шоссе. Когда он встал, на спине к его тенниске прилипло собачье дерьмо.

Теперь Бобби уже не прикидывался мертвым, а в дерьме были они все по самые уши.

— Заткнитесь... ЭТО ЖЕ БОББИ... о, блин! — простонал Кэлум, внезапно остановившись. Он наконец заметил, что рядом с ними медленно едет полицейский автомобиль. Мысли его перекинулись с Бобби на собственную персону. Он понял, что его жизнь кончается так же необратимо, как кончилась жизнь Бобби — тихо, в кресле-качалке, от такой большой дозы героина, когда человек уже сам не понимает, что медленно умирает. Кэлум подумал о своей подружке Элен: увидит ли он ее когда-нибудь снова?

Коп выполз из машины, оставив своего напарника за рулем.

— У вас все в порядке, ребята? — Он посмотрел сперва на Бобби, затем на Круки и Кэлума. — Ваш дружок, видать, крепко надрался.

Кэлум и Круки смотрели на полицейского. У того был расплющенный нос с двумя огромными дырами вместо ноздрей. Кожа имела нездоровый розоватый оттенок и напоминала сырую свиную сардельку, а глаза — тусклые и глядящие в разные стороны — располагались на дне глубоких впадин в похожей на картофелину голове.

«Это все кислота, — подумал Круки. — Все эта долбаная кислота».

Кэлум и Круки переглянулись поверх безвольно болтавшейся головы Бобби.

— Вроде того, — наконец ответил Круки слабым голосом.

— Вы тут никакого беспорядка не видели? Ну, там, несколько психов, бьющих витрины…

— Не, ничего мы не видели, — сказала Мишель.

— Да, дружок ваш совсем отрубился, — сказал полисмен, подозрительно разглядывая Бобби. — Я бы на вашем месте отвел его домой.

Покачав пару раз своей головой-обрубком, коп презрительно фыркнул и наконец уехал.

— Мать твою так… нам кранты, приятель! Полные кранты! — простонал Кэлум.

— А это дело, — сказал Круки, — что легавый сказал.

— А? — переспросила Мишель.

Кэлум недоверчиво уставился на Круки.

— Ты послушай: если нас притормозят с его телом, то мы точно сядем. Но если мы отнесем Бобби к нему домой…

— Блин, — Кэлум покачал головой. — Лучше уж его прямо здесь бросить.

— Нет, что ты! — сказал Круки. — Сразу расследование начнется, понял?

— Плохо я соображаю, — простонал Кэлум. — Чертова кислота…

— На кислоте сидят только психи, — отрезала Гиллиан, жуя резинку.

Круки стал смотреть, как одна сторона ее лица вздувается и трясется при каждом жевке.

— Я знаю, что нужно сделать. Отвезем его в больницу. Несчастный случай. Скажем, что нашли труп на улице, — внезапно оживившись, предложил Кэлум.

— Нет, они все узнают… время смерти… — возразил Круки.

— Время смерти… — зловещим эхом отозвался Кэлум. — Да я этого мудела даже не знал. Я в смысле — было дело, дружили в лохматом году, но потом разошлись, понял? Первый раз за долгие годы на него напоролся, понял? А он, оказалось, джанки, понял?

Гиллиан приподняла голову Бобби. Кожа была серого цвета, глаза закрыты. Гиллиан оттянула веки пальцами.

— Тьфу… какая гадость… — плевалась Мишель.

— Заткнись на хер! — взвился Кэлум.

— Мертв, как кусок дерьма, — торжественно объявила Гиллиан, закрывая Бобби глаза.

Затем она вытащила компакт-пудру из сумочки и принялась гримировать Бобби лицо.

— Чтобы на мертвяка не так походил, — объяснила она. — Если нас снова тормознут.

— Умница, — одобрил Круки.

Кэлум посмотрел на темно-синее небо, на мертвые, уснувшие окна домов. Горящие фонари только подчеркивали безжизненность призрачного города вокруг. Впрочем, дальше по курсу ярко горела освещенная витрина. Это было заведение, где круглосуточно торговали кебабами.

— Я есть хочу, — заявил Круки.

— Ага, — сказала Мишель. — Я тоже.

Они усадили Бобби на скамейку под деревом у входа в городской сквер.

— Ты, Кэл, посиди с Бобби, а я всем возьму по кебабу,— сказал Круки.

— Погоди, — начал было Кэлум, но остальные уже шли через улицу по направлению к заведению.

— Спокойно, Кэлли, не оставляй его одного! Мы скоро вернемся, — раздраженно крикнул Круки через плечо.

«Вот суки, — подумал Кэлум, — как круто с их стороны: оставить меня здесь, с этим вот...» Он повернулся к Бобби:

— Послушай, Боб, прости меня за этого чувака, но он ни во что не врубается... ну вроде как Иэн и вся наша старая компания... ничего не знали про вирус, думали тогда, что он только через трах передается, вроде того, понял? Вроде это только лондонских педрил касается, а вовсе не наших торчков. А ведь некоторые парни — ну, вроде Иэна, — они на игле только несколько месяцев сидели, Боб... вот непруха! — верно, Боб?.. я же тоже проверялся, после Иэна, понял?

«О чем это я?» — подумал Кэлум, наконец осознав бесплодность беседы. В первый раз до него в полной мере дошло, что теперь уже ничего не поделаешь.

Пьяница в грязном, вонючем пальто подошел к нему. Он пялился на скамейку, что-то соображая. Затем он подсел к Бобби.

— Все только и говорят сегодня, что о НДС. Все дело в НДС, дружок! — на последнем слове он подмигнул Кэлуму.

— Ну и? — раздраженно переспросил тот.

— Толстожопая сука торгует в этой лавке на Кокберн-стрит. Толстожопая сука — поверь мне, сынок. Я всегда туда хожу. Лавка на Кокберн-стрит. Там чудной народ работает, понял? Ну, вроде тебя. Студенты. Студенты, понял?

— Ага, — Кэлум в отчаянье закатил глаза. Было очень холодно. И шея у Бобби тоже была очень холодной.

— Филадельфия, город братской любви. Семья Кеннеди. Дж. Ф. Кеннеди, — сказал пьяница вкрадчиво. — Филадельфия, братская любовь, — еще раз подчеркнул он.

— Вроде Бостон, — сказал Кэлум.

— Нет... Филадельфия, — уперся пьяница.

— Кеннеди, они из Бостона. Именно оттуда...

— Я, БЛЯ, ЛУЧШЕ ТВОЕГО ЗНАЮ, СЫНОК! НЕ ТЕБЕ МЕНЯ ИСТОРИИ УЧИТЬ! — прорычал старый алкаш. Кэлум видел, как брызги его слюны падают Бобби на лицо. — Ты еще узнаешь! Скажи своему долбаному дружку!

Тело Бобби навалилось на Кэлума, но тот отпихнул его обратно, придерживая рукой, чтобы оно не упало на пьянчужку.

— Не трогай парня — он вырубился! — сказал Кэлум.

— Я тебе сейчас скажу, где я был, когда пристрелили Джона Леннона... — просипел алкоголик.

Кэлум насмешливо покачал головой:

— Мы же с тобой о Кеннеди говорили, крыса помойная...

— Я ПОМНЮ, СЫНОК, НО ТЕПЕРЬ, ТВОЮ МАТЬ, Я ГОВОРЮ О ДОЛБАНОМ ДЖОНЕ ЛЕННОНЕ! — Пьяница встал и запел: — *Вот пришло Рождество, а что мы сделали хорошего? Веселого Рождества и счастливого Нового года!*

Он встал и, шатаясь, побрел по аллее. Кэлум внимательно следил за пьяницей, пока тот окончательно не растворился в ночи, хотя голос его еще долгое время доносился из темноты.

Вскоре вернулись остальные с кебабами. Круки всучил Кэлуму одну порцию. Когда он раздал все, у него в руках осталась лишняя.

— Блин! — процедил он сквозь зубы. — Совсем вылетело из головы, что сукин сын уже помер. — И он печально посмотрел на лишний кебаб.

— Да уж, конечно. Ужасно эгоистично со стороны этого мудела — взять и вот так помереть! — взорвался Кэлум, пытаясь смотреть Круки прямо в глаза. — Оставить лишний кебаб! Ты бы только послушал, что несешь, Круки! Бобби помер, а ты ведешь себя как полный пидор!

Круки стоял, раскрыв от неожиданности рот:

— Прости, дружище, совсем забыл, что он был твой кореш.

Гиллиан внимательно посмотрела на Бобби:

— Он же был джанки, он все равно не стал бы есть. Они никогда не едят.

— Помнишь толстого Фила Камерона? А, Кэл? — сказал Круки.

— Ага, — кивнул Кэлум, — жирный Фил…

— Единственный мудел из всех, кого я знал, кто сидел на игле и жирел, — улыбнулся Круки.

— Полная херня, — фыркнула Гиллиан.

— Нет, это чистая правда — верно, Кэл? — обратился Круки за подтверждением.

Кэлум пожал плечами, но затем утвердительно кивнул:

— Жирный Фил сперва вкалывался, а затем отправлялся искать сладенькое. Он заваливался в кафе «Бронкс» и выкатывал оттуда с полным мешком донатсов. Легче было его оторвать от шприца, чем от этих долбаных донатсов. Впрочем, с иглы он потом слез, не то что бедный Бобби. — Кэлум кинул взгляд на сереющее тело друга.

Они доели кебабы при полном молчании. Круки откусил кусок от лишней порции, но подумал и бросил в кусты. Гиллиан посидела некоторое время в печали, но затем принялась накладывать голубую помаду на губы.

— У него не было выбора, — сказал Кэлум.— Такие парни, как он… в общем, он зашел слишком далеко. Мы все были такие же — клевые парни, короче говоря, но так всегда бывает: кто-то покрепче, понял?

— Может, у него уже СПИД был? — вставила Гиллиан.

— Тьфу! — Мишель скорчила гримасу, но затем задумчиво сказала: — Какой ужас! Представьте себя на месте его мамы…

Неторопливая беседа была прервана каким-то шумом с улицы. Кэлум и Круки напряглись. Времени на бегство или на какой-нибудь маневр не оставалось. Они распознали источник этого шума — скопище пьяных ублюдков, распевающих футбольные песни и обшаривающих пустынные улицы, ища, на ком можно сорвать свою злость.

— Лучше сидеть тихо, — сказал Кэлум.

Только он это сказал, как скопище демонов вползло в его поле зрения. Свет луны и огни уличных фонарей освещали их лица. Сколько их было, он не успел сосчитать, но ясно понял, что они их засекли.

— ЭЙ ВЫ, ТАМ! — крикнул один из демонов.

— Это вы кому?! — визгливо отозвалась Гиллиан.

— Тсс! — зашипел Кэлум. — Не лезь, сами разберемся…

Чувствовалось, что его охватила паника. «Долбаные мокрощелки, — подумал он. — Это же нам прилетит, не им. Мне конкретно».

— ЭЙ, КОЗЛЫ, ВЫ КОПОВ ТУТ НЕ ВИДЕЛИ? — крикнул один из парней — высокий, атлетического сложения, с темными засаленными волосами и горящим бессмысленным взором.

— Да вроде нет… — сказал Кэлум.

— ВЫ ВАЩЕ ОТКУДА, БЛИН? — крикнул парень с засаленными волосами.

— С вечеринки, — ответил Кэлум, заметно нервничая. — От друзей, короче, понял?

— Это твой приятель, куколка? — спросил Гиллиан другой парень, в кепке пирожком, разглядывая при этом Кэлума.

Гиллиан не сразу ответила: она долго смотрела в глаза задавшему вопрос, а затем с нескрываемым презрением в голосе сказала:

— Вполне возможно. А тебе-то что?

Кэлум почувствовал в груди странную смесь страха и гордости. Усиленная кислотой, эта смесь завладела всем его существом. Лицо его задергалось в нервном тике.

Парень в кепке пирожком положил руки себе на бедра и медленно покачал головой. Затем он снова посмотрел на Кэлума.

— Послушай, приятель,— сказал он, пытаясь казаться рассудительным, несмотря на переполнявшее его раздражение. — Если это твоя пташка, я бы ей посоветовал фильтровать базар, понял?

Кэлум ограничился кивком головы. Лицо молодчика напоминало ему морду злобной гаргульи, которую Кэлум видел на открытках с видами Нотр-Дам. На открытке демон взирал на город с высоты крыши собора; сегодня ночью он сошел на землю.

— Пусть этот пидор сам что-нибудь скажет. — Парень с засаленными волосами еще раз посмотрел на Круки, а затем ткнул пальцем в сторону Бобби. — У него на губах помада. ТЫ ЧТО, ПЕДРИЛА, ЧТО ЛИ, ПРИЯТЕЛЬ?

— Видишь ли, у парня… — начал было Кэлум.

— ПУСТЬ САМ СКАЖЕТ! ЭЙ, ПРИЯТЕЛЬ, ТЫ КТО БУДЕШЬ? — рявкнули в сторону Бобби «сальные волосы».

Ответа, естественно, не последовало.

— АХ ТЫ ПИДОР! — с этими словами парень врезал Бобби по лицу. Кэлум и Круки отскочили в сторону; тело тяжело рухнуло на землю.

— ВЫ УБИЛИ ЕГО! ВЫ ЕГО УБИЛИ НА ХЕР! — заверещала Мишель.

— Если не убили, то щас убьем! — сказал парень с засаленными волосами, приближаясь к телу. — НУ-КА ТЫ, МУДЕЛ! ТЫ И Я! ОДИН НА ОДИН! ВСТАВАЙ, КОЗЕЛ!

И он принялся пинать труп ногами.

— ВЫПАЛ В ОСАДОК, ПИДОР! ВСЕ ВИДАЛИ? — и парень торжествующе посмотрел на своих дружков.

Тип в кепке-пирожке развел в восторге руками, затем показал на парня с засаленными волосами и сказал:

— С первого же удара! Ну ты даешь, Дуджи! — От удовольствия он даже прикрыл глаза и прикусил нижнюю губу. — Свалил пидараса с первого же удара!

Парень, которого, оказывается, звали Дуджи, раздувшись от гордости, посмотрел на Кэлума и Круки. — Кто следующий?

Кэлум оглянулся по сторонам в поисках потенциального оружия. Ничего подходящего под рукой не оказалось.

— Э… да мы тут никому не мешали… — промямлил Круки.

Парень, которого звали Дуджи, замер в недоумении, словно пытаясь переварить нечто до крайности несъедобное.

— Да пошли вы все к ебене матери! — вдруг взвизгнула Гиллиан. — Козлы вы все!

— ЭТО ТЫ С КЕМ ТАК РАЗГОВАРИВАЕШЬ? — взвился Дуджи.

— А я не знаю с кем, у тебя ярлык отвалился, — сказала Гиллиан, не прекращая жевать жвачку и глядя на Дуджи с нескрываемым презрением.

— ТАКИЕ ТЕЛКИ, КАК ТЫ, САМИ НАПРАШИВАЮТСЯ, ЧТОБЫ ИМ ВСТАВИЛИ! ЗАТКНИ СВОЙ ВОНЮЧИЙ РОТ! — чувствовалось, что еще ни одна женщина не наносила Дуджи подобного оскорбления.

— ДА ТЫ ПОЛНЫЙ КОЗЕЛ! ДА ТЫ, КРОМЕ МАМОЧКИНЫХ, НИЧЬИХ ТИТЕК НЕ ЩУПАЛ, ХЕР МОРЖОВЫЙ! ВАЛИ ОТСЮДА, МОЖЕТ, КТО ИЗ ТВОИХ ВОНЮЧИХ ДРУЖКОВ ТЕБЕ В ЖОПУ ДАСТ! — Гиллиан походила на разбушевавшуюся ведьму; видно было, что ни один мужчина раньше не позволял себе говорить с ней таким тоном.

Дуджи стоял, пыхтя как паровоз; казалось, его вот-вот хватит кондрашка. На лице у него застыла гримаса полного непонимания.

— Да ты… Да ты меня еще не знаешь… — хрипел он, словно раненый зверь, заискивая и угрожая одновременно.

В мозгу у Круки под действием кислоты все эти эмоции двадцатикратно умножились. Он почувствовал прилив животного страха, который моментально трансформировался в гнев, и тут же набросился на Дуджи, осыпая воздух ударами. В один миг Круки очутился на земле, а Дуджи с двумя дружками принялся остервенело пинать его. Параллельно парень в кепке-пирожке вступил в единоборство с Кэлумом, и они начали гоняться друг за другом вокруг припаркованного автомобиля. Кэлум оторвал от машины ан-

тенну и рассек ею щеку противнику. Тот закричал не столько от боли, сколько от досады, поскольку Кэлум заполз под машину.

Забравшись так, чтобы его нельзя было достать пинком, Кэлум совсем уже почувствовал себя в безопасности, но тут, к своему ужасу, заметил, что рядом с ним есть кто-то еще. Он начал ожесточенно пинаться, но тут осознал, что это всего лишь Круки.

— КЭЛ, МУДИЛА, ЭТО ЖЕ Я! УЙМИСЬ ТЫ!

Они лежали рядом, тяжело дыша, охваченные страхом, и прислушивались к голосам врагов:

— ДАВАЙ ВЛЕЗЕМ В ДОЛБАНУЮ МАШИНУ! ЗАВЕДЕМ ДВИЖОК! ПЕРЕДАВИМ КОЗЛОВ!

«Только этого еще не хватало!» — подумал Круки.

— Лучше трахнем подстилок! Сучки долбаные!

«Вот бля… Но они же все и начали, коровы!» — подумал Кэлум.

— Только рискните, козлы! — Кэлум узнал голос Гиллиан.

«Гиллиан, — подумал он. — Пусть только ее тронут!»

— А ну-ка, выползайте!

«Вот еще! — подумали приятели одновременно. — Сами ползите сюда!»

— Лучше врежем педриле, которого Дуджи завалил!

Эта идея показалась компании соблазнительной. Из-под машины Круки и Кэлум наблюдали, как хулиганы молотят тело Бобби.

Один из парней ткнул в губы Бобби зажженной сигаретой. Бобби никак на это не отреагировал.

— ОН В ПОЛНОМ ОТРУБЕ! ХВАТИТ! — крикнул кто-то, и компания угомонилась, увидев, что дело неладно.

Кто-то первый панически метнулся с поля битвы, за ним последовали остальные. Один парень в синей куртке крикнул напоследок, обращаясь к девушкам:

— Вы, телки! Проболтаетесь о нас — не жить вам на этом свете! Усекли?!

— Усекли! — саркастически крикнула ему в ответ Мишель.

Парень вернулся и ударил ее по лицу. Гиллиан подскочила и двинула парню по зубам. Она хотела ударить его еще раз, но он схватил ее за руку. Тогда Мишель сорвала с ноги туфлю и саданула парня снизу вверх по щеке высоким каблуком. Каблук скользнул по коже и впился прямо в глазницу.

Парень пошатнулся от пронзительной боли и ухватился за рану руками, пытаясь остановить кровь.

— Подстилка долбаная! Чуть мне глаз не вышибла! — взвыл он, пятясь назад, в то время как девушки медленно приближались к нему, словно два маленьких хищных зверька, атакующих более крупное, но раненое животное.

— ТЫ, ПИДОР, ТЕБЯ УБЬЮТ! МОИ БРАТЬЯ ТЕБЯ УБЬЮТ НА ХЕР! ЭНДИ И СТИВИ ФАРМЕР! ЭТО МОИ БРАТЬЯ! ПОНЯЛ, КОЗЕЛ! — визжала Гиллиан.

Парень не на шутку испугался и поспешно рванул к своим дружкам.

— ВЫЛАЗЬТЕ, МУДИЛЫ! — крикнула Гиллиан Кэлуму и Круки.

— Щас, — вяло отозвался Кэлум. Ему было хорошо лежать под машиной.

Круки, напротив, чувствовал себя так, словно его заживо похоронили вместе с Кэлумом.

— Вылазьте! — сказала Мишель.

— Как тут хорошо! Это все из-за кислоты… о, блин… я не могу. Вы бы шли домой… — бормотал Кэлум.

— Я СКАЗАЛА, ВЫЛАЗЬТЕ НА ХЕР! — взвизгнула Гиллиан голосом, который прямо-таки скреб по окончаниям слуховых нервов.

Жалкие от стыда и страха друзья выползли из-под машины.

— Тсс! — с мольбою в голосе прошипел Кэлум. — Тут же копов полно!

— Э… круто! Ну вы молодцы, девочки! — сказал Круки.

— Здорово, просто здорово, — согласился Кэлум.

— Этот хер ударил Мишель, — сказала Гиллиан, показывая на отчаянно рыдавшую подругу, которая пыталась надеть обратно свою туфлю.

Густые брови Круки нахмурились в порыве сострадания:

— Мы еще найдем этих мудаков, верно, Кэлли? Заявимся с кодлой. Если б не кислота, мы бы справились, верно? Жалкие ублюдки! Дрочилы несчастные! Скажи, я подумал — нам крышка, когда они навалились, но они больше друг друга, чем нас, пинали, козлы позорные! Ну, мы их еще найдем! Если б не эта кислота, верно, Кэл?

— На кислоте сидят только психи, — вставила Гиллиан.

Они посмотрели на Бобби. Лицо его сползло на одну сторону, словно у него была сломана челюсть и разбито полчерепа. Кэлум снова вспомнил, как он в шутку выстрелил в Бобби, когда они детьми играли в окрестностях Ниддри, и как Бобби прикинулся мертвым.

— Пойдем, — сказал он.

— Нельзя его здесь так оставить, — сказал Круки, весь дрожа. «Это могло быть мое лицо…» — подумал он.

— Нет, лучше свалить. Полиция решит, что это работа этих ублюдков. Они бы его и вправду убили, — сказала Мишель сквозь слезы. — Все помрем, ничего не попишешь…

В полной темноте они пошли в сторону квартиры Круки в Фонтейнбридже. Все молчали, только Мишель время от времени всхлипывала. Круки и Кэлум нетвердо вышагивали впереди; Гиллиан, ласково обняв Мишель, следовала за ними в нескольких ярдах.

— Все об Алане тоскуешь?— спросила Гиллиан. — Пора выкинуть его из головы, давно пора, Мишель. Думаешь, он сейчас сидит и тебя дожидается? Как бы не так! — фыркнула она. — Тебе нужно дать первому попавшемуся парню. Пусть он тебя так трахнет, чтобы мозги из башки вылетели. Ты давно ни с кем не спала, подруга! Отсюда все твои беды…

— Я из-за Алана работу в банке потеряла… — всхлипнула Мишель. — Хорошее место. Королевский банк.

— Забудь его. Лови кайф, — сказала Гиллиан.

Мишель скорчила злую гримасу, которую на лету попыталась переделать в улыбку. Гиллиан мотнула головой в направлении Круки и Кэлума. Девушки рассмеялись.

— Какого берешь? — спросила Мишель.

— Оба полные козлы, но тот, бровастый, немного получше будет, — сказала Гиллиан, показывая на Круки.

— Да, вроде ничего… — сказала Мишель.— А у дружка его — как его звать, Кэлум? — жопа больно тощая.

Гиллиан обмозговывала сказанное. Мишель права. У Кэлума, и верно, тощая жопа.

— Какая разница, если хер при нем, — рассмеялась она, покраснев от прилива гормонов.

Мишель рассмеялась вместе с ней.

Гиллиан пригляделась повнимательней к Кэлуму. «Очень тощий, но руки и ноги большие. Если учесть все три фактора, — подумала она, — не исключено, что с членом у него полный порядок».

— Пойдет, бери бровастого, а я займусь его приятелем, — предложила она.

— Допустим, — пожала плечами Мишель.

Они пришли на квартиру к Круки и устроились у камина. Гиллиан присела на край кушетки и стала массировать Кэлуму шею. Тот уже почти совсем отошел от кислоты, и прикосновения Гиллиан были ему приятны.

— Ты такой зажатый, — сказала она.

— Я зажатый, — беспомощно подтвердил Кэлум.

«Неудивительно, — подумал он, — после такого славного вечера. Я зажатый», — и тихо хихикнул.

Мишель и Круки лежали рядом на полу и перешептывались.

— Ты, поди, думаешь, что я шлюха какая-нибудь… — нежно шептала Мишель.

— Не-е... — неуверенно возражал Круки.

— Я работала в банке, в центральной конторе, — разъясняла Мишель, словно оправдываясь. — Королевский банк, — добавила она, напирая на слово «Королевский». — шотландский Королевский банк, понял?

— Ага, это на Маунд, — кивнул Круки.

— Да нет, я про Королевский банк, а ты — просто про шотландский. А я работала в шотландском *Королевском* банке. Центральная контора. Площадь Св. Андрея.

— Королевский банк… — согласился Круки. — Ага… Королевский банк… — повторил он, глядя в ее черные глаза.

Красивая какая: эти глаза, яркие губы. Помада. Даже на отходняке у него рябило в глазах от ее помады. Круки понял: ему нравятся женщины, которые знают толк в помаде. Мишель относилась именно к этой категории.

— Пошли с тобой туда, — сказала Мишель, потянув его к двери в соседнюю комнату.

— Ага… верно… в спальню. Ага, в спальню, — сказал Круки, поднимая кустистые брови.

Они встали с пола — Мишель легко и непринужденно, Круки несколько неуверенно — и на цыпочках направились в спальню. Круки, заметив, что Кэлум следит за ними, надул губы и нахмурил брови.

— Вот мы и одни остались, — улыбнулась Гиллиан.

— Ага, точно, — отозвался Кэлум.

Они легли на кушетку. Гиллиан сняла пальто из очень пушистого искусственного меха и укрыла им себя и Кэлума. Кэлуму очень понравилось, как Гиллиан выглядит в коротком красном платье. У нее были красивые руки, и Кэлум понял, что они показались ему страшными под воздействием кислоты.

Гиллиан была восхищена тем, какое твердое у Кэлума тело. Она не могла понять причины: то ли у Кэлума такие сильные мышцы, то ли он такой костлявый, и это ее возбуждало. Она начала гладить Кэлума через одежду, потом запустила руку к нему в пах. Кэлум ощутил эрекцию.

— Ох, как хорошо, — шептала Гиллиан низким грудным голосом.

Он в ответ поцеловал ее и засунул руку в разрез ее платья, но бюстгальтер был такой тугой, что, пытаясь извлечь из него груди, он сделал ей больно. Тогда он оставил в покое бюстгальтер и скользнул рукой по бедру. Он уже было совсем пробрался к Гиллиан между ног, но тут она внезапно вскочила с кушетки — оказалось для того, чтобы раздеться. Кэлум быстро разделся вслед за ней, но при этом у него пропала эрекция. Гиллиан снова легла на кушетку, привлекла его к себе, и Кэлум опять возбудился, но недостаточно сильно.

— Что с тобой? Тебе что-то не нравится? — отрывисто спросила Гиллиан.

— Это из-за кислоты, наверное… или… у меня есть девушка, понимаешь? Элен... Я в смысле, что я так и не знаю, с ней я или нет… ну, у нас что-то не сладилось, и я больше не живу с нею вместе, в этом смысле… но мы еще встречаемся иногда.

— Я за тебя замуж, блин, не собираюсь, понял? Я просто перепихнуться хочу.

— Ага, — он снова пробежал взглядом по ее наготе и внезапно почувствовал, что без всяких дополнительных усилий возбудился.

Накрывшись пальто, они занялись любовью. Любовь эта состояла в основном из жесткого трения гениталий, а не из слияния душ, но в это трение было вложено достаточно страсти и энергии, и Гиллиан быстро достигла оргазма. Кэлум кончил вскоре после нее. Он подумал, что смог бы и лучше, если бы не кислота, Бобби и прочее дерьмо…

«Ну ничего, — подумал он радостно, — не так уж плохо для первого раза».

Гиллиан удовлетворенно подумала, что вряд ли она придет сюда еще раз, но, по крайней мере, парень был достаточно тактичен, чтобы позволить ей кончить первой. Все в порядке, жить стало полегче.

— А ты ничего, — снизошла Гиллиан до комплимента перед тем, как заснуть.

Через какое-то время Кэлум почувствовал, что Гиллиан встает, но притворился креп-

ко спящим. Она начала одеваться, затем до Кэлума донеслось какое-то перешептывание, и он понял, что из спальни вышла Мишель. Кэлум смутился, осознав, что пальто едва скрывает его наготу.

— Ну как? — шепотом спросила Гиллиан у Мишель.

— Полное говно. Он ничего не умеет. Словно долбаный девственник какой. У него даже встало-то с трудом. Все про эту долбаную кислоту говорил.

Кэлум услышал, что Мишель плачет. Затем она неожиданно спросила с любопытством:

— А твой как?

Гиллиан долго шуршала платьем, а затем, через промежуток времени, который показался Кэлуму целой вечностью, ответила:

— Вполне ничего. Немного неуклюжий… ой, бедненькая Мишель… опять у тебя ничего не вышло… надо было тебе этого взять, — и она ткнула пальцем в сторону Кэлума.

Мишель вытерла слезы, смазав при этом всю тушь. Гиллиан хотела ей об этом сказать, но Мишель ее перебила:

— Вот с Аланом все было просто блестяще. По крайней мере, поначалу. Потом, когда он спутался с этой шлюхой, пошло полное дерьмо, но вначале… вначале он был бесподобен.

— О, — ласково сказала Гиллиан, решив промолчать о размазанной туши.

Она наклонилась к Кэлуму и легонько потрясла его за плечо:

— Эй, Кэлум! Встань, мне нужно мое пальто. Мы уходим.

— Угу.. — промычал Кэлум.

Мозги у него плавали в каком-то маринаде, а тело казалось одной сплошной отбивной, но, по крайней мере, действие кислоты совсем прошло.

— Дай я плавки надену. Они там, за кушеткой.

— Я не буду смотреть, честное слово, — сказала Гиллиан.

От этих слов Мишель рассмеялась, как показалось Кэлуму, каким-то хищным смехом, который очень гармонировал с размазанной тушью вокруг глаз. Как бы то ни было, Кэлум встал, натянул плавки и джинсы и вручил Гиллиан пальто.

— Ну ладно. До скорого… Мишель, Гиллиан. Да, Гиллиан, у тебя есть мой телефон? — спросил он осторожно.

Кэлум еще не решил для себя, захочет ли он с ней встретиться, но ему показалось, что будет вежливо хотя бы намекнуть на такую возможность. Еще он подумал, что Гиллиан, наверное, слегка психованная.

— Свой я тебе не дам, а твой напиши, если хочешь, — сказала Гиллиан, протягивая ручку и клочок бумаги. Клочок оказался ваучером распространителя рождественской лотереи «Клуб-86» Департамента содействия развитию шотландской молодежи.

— Ты билетики себе взял? — спросила она.

— Угу, целых пять, — ответил он, записывая номер на ваучере.

Гиллиан еще раз посмотрела на Кэлума, потом на Мишель, а затем сказала:

— Если захочу тебя увидеть, позвоню. Я не люблю, когда парни мне звонят: «Сходим куда-нибудь, а, Гиллиан?» — изобразила она чей-то противный, занудный голос.

Затем она подошла к Кэлуму, обхватила его голый торс и прошептала:

— Мы еще потрахаемся, очень скоро.

— Угу-м… — неопределенно буркнул тот в ответ. — Да, да, конечно.

В этот момент Кэлуму почему-то вспомнилось, как он смотрел по телевизору передачу о природе. Там самка богомола отъедала голову самцу во время спаривания. Кэлум проводил взглядом Гиллиан и Мишель, явственно представив, как Гиллиан отъедает ему голову.

Кэлум сидел в одиночестве в гостиной, смотрел по телевизору утреннюю программу и курил. Проведя рукой по члену и мошонке, он понюхал свою ладонь. Она пахла

Гиллиан. Он подумал об Элен и о Бобби и остро ощутил свое одиночество. Затем он стал заваривать себе чай, и тут вошел Круки.

— Как ночь провел? — спросил его Кэлум. Круки ответил ему улыбкой, похожей больше на резаную рану.

— Ты настоящий друг. Эта Мишель — Королевский банк и все такое, а трахается во все дыры. Она еще хотела, но старине Круки надо было выспаться перед работой.

— Так ты ей вставил, что ли? — спросил Кэлум с посеревшим лицом.

— Вставил? Да я ее на части порвал! Теперь она вместе со своим Королевским банком долго не сможет на велосипеде кататься. И есть ей не скоро захочется! Это же Круки! — При этих словах он ткнул себя в грудь указательным пальцем. — Теперь у меня кредит в Королевском банке! Я почти ничего не снимал со счета, но сделал несколько крупных вкладов — ну, ты меня понимаешь. Под большие проценты! Я ей так и сказал... если тебе нужно привести в чувство какую-нибудь подружку, дай ей мой адрес! Лучше Круки с этим никто не справится... Лучше Круки просто не бывает, — и Круки запел, отбивая ритм на бедрах:

Он лу-у-учше всех других,
Он лу-у-учше любого,
Кого я встреча-а-ла до сих
По-о-ор!..

Кэлум смотрел, как Круки приплясывает, и чувствовал, что неплохо было бы ему врезать. Но печаль сковала его по рукам и ногам: из головы все не выходил Бобби. Когда Бобби умер на самом деле? Пожалуй что задолго до этой ночи.

— А как ты, Кэл? Что у тебя с Гиллиан? — внезапно спросил Круки с лукавым выражением на лице.

— Да так, ничего. Я сам виноват. Все эта кислота, понял?

Круки изобразил на лице театральную маску презрения:

— Это не оправдание, Кэлли, старина. Возьми, к примеру, Круки. — Тут он снова показал пальцем на себя. — Ему можно присвоить официальный титул: КРУЧЕ ВСЕХ. Никакое количество наркотиков не сможет выбить этого парня из седла! Именно в этом и состоит различие между профессионалами высокого класса с большим стажем и самоучками-любителями.

— Это или есть, или нету, — безразлично согласился Кэлум.

— Я об этом и говорю, Кэл! Таланту не научишься. Ни один учебник в мире не поможет.

Кэлум думал о Бобби и о Гиллиан.

— Я однажды видел документальный фильм о насекомых, о богомолах. Такие большие свирепые твари, понял?

— Ага... злобные такие на вид, верно?

— Телка богомола отгрызает парню башку во время пистона... я, в смысле, не о богомолах. У парней с бабами вроде как бы то же самое, понял?

Круки посмотрел на Кэлума:

— При чем здесь эти богомолы херовы?

Кэлум наклонил голову и подпер ладонью щеку. Круки показалось, что он пытается закрыть лицо рукой. Потом он снова заговорил неторопливо и совсем упавшим голосом:

— Мы... видели парня... ну, Бобби... мы видели, как он умер... как мы могли... как будто ничего не случилось!..

Круки сел на край кушетки рядом с Кэлумом. Ему стало как-то не по себе. Он раз-другой попытался заговорить, но горло перехватывало. После долгого молчания он наконец сказал, глядя в телевизор:

— Что там за дерьмо кажут?

Кэлум поднял голову:

— Программа к завтраку. Надо бы позавтракать, понял?

— Верно, верно, умница! Я сбегаю на улицу за молоком и хлебом. — Затем Круки снова посмотрел на Кэлума, довольный тем, что напряженный момент прошел: — Интересно, как мы будем выпутываться из того, что ночью было?

Кэлум снова подумал о Бобби и еще о том, что этому наглому мудаку все равно ничего не объяснишь. Так и будет выхаживать по земле с оттопыренной нижней губой, словно весь мир обязан ему своим существованием.

— А хер его знает. Мы тут, в сущности, ни при чем. Просто скажем, что нашли Бобби на улице в полном отрубе и хотели ему помочь, понял? Гиллиан и Мишель — свидетели. Скажем, что убежали, когда на нас напали те парни. Они и будут выпутываться.

— Но Бобби загнулся от передозировки.

— Ну и что, может, загнулся, а может, эти психи его кончили. Выбора нет: или мы, или они. Пусть уж лучше они.

Круки посмотрел в окно: солнце всходило над домом напротив. Город оживал. Демоны, о которых они так любили говорить с Кэлумом, попрятались по норам: гости на вечеринке, уличная шайка, Бобби, Гиллиан, Мишель вместе с ее Королевским банком. «Надо было все же вставить сучке, — подумал он с горечью. — Хорошенькая, в целом». Солнце светило, жизнь продолжалась.

— Ага, — согласился он. — Лучше они, чем мы.

Кэлуму показалось, что под окном скрипнули тормоза. Затем он услышал стук тяжелых башмаков — двух пар по меньшей мере — на лестнице. «Паранойя, —подумал он, — шалят остатки кислоты. Это просто отходняк».

Судьба всегда в бегах

Фармацевтический романс

Перевод с английского БОРИСА КУЗЬМИНСКОГО

Кенни Макмиллану

Пролог

Пригожая деревенька Штольдорф, подарочный образчик сельской Баварии, располагалась милях в восьмидесяти к северу от Мюнхена, у самого края Байришервальда — дремучего Баварского леса. Впрочем, деревню правильней было бы называть Штольдорфом-вторым; развалины первого, средневекового, просматривались с шоссе милей-другой дальше. Раз, давным-давно, весенний Дунай вышел из берегов и начисто смыл добрую половину тогдашнего поселка. Дабы исключить такие наводнения в будущем, деревню отодвинули от реки-матушки вплотную к подножию лесистых кряжей, гигантскими ступенями уходящих в Чехию, за кордон.

Гюнтер Эммерих решил обосноваться именно в этом патриархальном, беспорочном уголке, благо и родственные зацепки у него в округе наличествовали. Здешней аптеке требовался новый владелец, и шесть лет назад Эммерих ее купил, навсегда распрощавшись с большой фармацевтикой и сопутствующими ей невзгодами.

© Irvine Welsh, 1996
© Б. Кузьминский. Перевод, 1998

Мудрый поступок. Гюнтер Эммерих был доволен жизнью и считал, что обладает всем, чего можно пожелать. И вдобавок испытывал ехидное удовлетворение, воображая, каким выглядит со стороны: старец с молодой женой, прелестным ребенком, богатый, здоровый. Пост деревенского аптекаря сразу обеспечил Эммериху определенное реноме, а местная родня помогла вписаться в штольдорфскую табель о рангах столь непринужденно, что человеку, подобного тыла лишенному, не приснилось бы. По натуре Эммерих был чересчур скромен, чтобы чваниться, и соответственно не будил в окружающих амбициозных мыслей. Большая фармацевтика этим, с его точки зрения, грешила: наилучшие вакансии доставались бездарям — бездари, как никто другой, умеют выгодно себя подать. В Штольдорфе же былая слабохарактерность обернулась бесспорным достоинством. Деревенские чтили этого мягкого, вежливого, обязательного человека, привечали его красотку супругу и малыша. Однако, хоть у Гюнтера Эммериха и не было оснований жаловаться, он засыпал и просыпался с ощущением смутной тревоги, словно бы понимал: настанет час, и все, что он имеет, может — или даже должно — быть у него отнято. Да, Гюнтер Эммерих остро чувствовал бренность сущего мира.

Бригитта Эммерих, надо заметить, была довольна жизнью еще больше, чем муж. Со времен отрочества, замаранного наркотиками и подростковыми кризисами, лучшим из совершенных ею поступков оказался брак с пожилым аптекарем. Иначе она бы ползала по мюнхенскому Нойперлаху, потребляя и продавая амфетамины. Забавно, что вышла она не за кого-нибудь, а за фармацевта! Любовь в их отношениях, конечно, не ночевала, зато искренняя приязнь крепла на протяжении четырех совместно проведенных лет и схватилась намертво в день рождения сына.

Между тем сувенирная внешность деревни, при всем ее правдоподобии, отдавала ощутимой показухой; как любой населенный пункт, Штольдорф был многослоен. Эта местность до недавних пор оставалась одним из самых потаенных районов Европы; доступ и с Запада и с Востока прищемлял близкий и непреложный Железный занавес. По ночам мглистый лес за околицей источал зловещие сны, оправдывая древние легенды о зверюгах, рыщущих в его дебрях. Гюнтер Эммерих был религиозным человеком, однако ведь и образованным тоже. Он не верил в зверюгу, которая подкрадывается к опушке, чтобы наблюдать за беспечными штольдорфцами. Хотя порой ему чудилось, что лично за ним-то как раз подсматривают, шпионят, охотятся. Гюнтер не знал, чего ожидать от монстров, но отлично знал, на что способны люди. Бавария играла ключевую роль в становлении и триумфе нацизма. Едва ли не у каждого старожила в Штольдорфе было что скрывать, и о твоем прошлом тут не расспрашивали. Эта черта местного уклада импонировала Гюнтеру Эммериху. По скрытности он был настоящим экспертом.

Морозным, сумрачным декабрьским утром Бригитта и ее маленький сын Дитер поехали в Мюнхен купить кое-что к Рождеству. Как христианин Гюнтер Эммерих не одобрял околорождественскую коммерцию, но любил сам праздник и традиционный обмен подарками. Мальчик появился на свет незадолго до минувшего Рождества; иными словами, скоро они впервые усядутся под елкой втроем, по-семейному. В прошлом году Рождество не задалось. Сразу после родов Бригитта впала в депрессию. Гюнтер поддерживал ее как мог, заставлял молиться. Господь был их главным оплотом: оба некогда работали в мюнхенской благотворительной миссии, где и познакомились. Мало-помалу Бригитта вернула себе бодрость духа и зимних праздников ждала с нетерпением.

За минуту-другую все это рухнуло.

Всего на минуту-другую она оставила ребенка одного на людной Фусгенгерцоне и заглянула в магазин «Подарки», чтобы купить Гюнтеру прелестную булавку для галстука. Выйдя на улицу, она обнаружила, что малыш и прогулочная коляска исчезли; на их месте зияла тошнотворная пустота. В крестце вспыхнул зубчатый озноб, пополз вверх по спине, последовательно выламывая позвонки. Объятая цепенящим ужасом, она с усилием повела головой — ничего, мельтешенье прохожих. Некоторые с колясками, но коляски другие и дети другие. Ржавчина паники будто разъела все скрепы ее костяка, так

что громкий стон, вырвавшийся у Бригитты Эммерих, расплющил, размазал ее по витрине.

— Вас ист лос? Бист ду кранк? — спросила некая старушка.

Но Бригитта лишь кричала в ответ, и зеваки окружали ее плотным кольцом.

Полиция ничего толком не добилась. Примерно в то время, когда исчез ребенок Бригитты, кое-кто видел молодую пару с малышом в прогулочной коляске, удаляющуюся от магазина «Подарки». Описать их точные приметы свидетели, впрочем, не сумели. Чего приглядываться: рядовая семья с ребенком. Однако опрошенные припоминали, что в этих молодых людях была какая-то странность. Трудно уловить, в чем конкретно она заключалась. В том, как они двигались, что ли?

Восемь дней спустя убитые горем Эммерихи получили из Берлина посылку без имени отправителя. Внутри лежали сизые, отекшие пухленькие ручки — правая и левая. Оба сразу догадались, что из этого следует, но только Гюнтер знал почему.

Полицейские медики пришли к выводу, что ребенок ни при каких условиях не мог выжить после подобной ампутации, произведенной посредством примитивного инструмента типа ножовки. Над локтевыми суставами считывались отчетливые следы тисков. Если б Дитер Эммерих не умер от болевого шока сразу, он погиб бы от потери крови через несколько минут.

Гюнтер Эммерих понял, что прошлое с ним все-таки рассчиталось. Он направился в гараж и выстрелил себе в лицо дробью из охотничьего ружья, о существовании коего жена даже не подозревала. Бригитту Эммерих соседи нашли наглотавшейся таблеток, в луже крови, вытекшей из изрезанных запястий. Ее поместили в психиатрическую лечебницу на окраине Мюнхена, где она скончалась через шесть лет, так и не выйдя из кататонии.

Заморочки

Если честно, я б обошелся без этих хреновых заморочек, особо учитывая дельце, которое мы загрузили на вечер. Что уж, все планирование заведомо летит на хрен. Вы же сюда не приходите специально, чтобы махаться. Это не в нашем заводе, ёшь-то, не в нашем.

— Давай выйдем разберемся, ну-ка, — говорит эта выпендрежная илфордская сука.

Я повернулся к Бэлу и лишь затем к трепливой илфордской твари.

— Ну-ка, и правда разберемся, только выйдем. Выйдем.

Это теперь, задним числом вспоминая сучий настрой, трясучие губы хмыря и его кореша и их слегка бледный вид перед выходом, я бы мог предсказать, чем все это кончится.

Илфордский Лес, не такой уж и раздолбай, говорит:

— Эй, ребя, нам эти все заморочки ни к чему. Дейв, успокойся, — говорит он мне.

Но нет, они не высказываться сюда пришли. Не высказываться. Я на трепню этого хмыря плюю, я киваю Бэлу, и мы направляемся прочь.

— Вы двое, — тычет Бэл пальцем в наширявшегося амбала Хипо и его дружка, сволочь трепливую, — вы, суки, двое, на воздух, быстро!

Они шлепают за нами, но не уверен, что так уж хотят. Несколько илфордских хмырей пробуют выйти следом, однако Ригси гавкает:

— Сидите, блин, тихо и пейте свое пиво. Все устаканится без вашего участия.

Значит, мы с Бэлом против двух илфордских мордоворотов, и не к кому им припасть, они как овечки на очереди к резаку. Но тут я примечаю, что одна сука при оружии, вынимает лезвие и становится в стойку напротив Бэла. Это все фигня по сравнению со вторым кренделем, о котором я прилично было подумал, да он спекается, сука. Он выдает

пару техничных ударов, но не дотумкивает, что я в полусреднем, а он в весе пера, и мне до его тычков как до фонаря, а мне и впрямь до фонаря, и раунд заканчивается досрочно. Я бью его в челюсть и два раза по ребрам, и он рушится на гудрон автостоянки.

— Это у нас, бля, Рембрандтов блудный сын, глядите-ка! Никак, бля, с холста не слезет! — кричу я мерзавцу, который прям-таки размазался по тротуару и вроде не так уж выпендривается. Засаживаю носок ботинка ему в кадык, и у него вырывается визгливый рвотный позыв. Еще пару раз его херачу. Вся эта процедура печальна; он уже ни на что не годится, и я отправляюсь к Бэлу на подмогу.

А тут такая фигня: поначалу Бэла не видать, затем он появляется из ниоткуда, зенки растопырены вовсю, запястье в крови. Вид еще тот. Хмырь пырнул его и сбежал, метелка поганая.

— Чертов раздолбай руку мне порезал! У него перо! А мы один на один! Эта гребаная тварь та еще блядь! Та еще блядь! — вопит Бэл, и тут его взгляд падает на хмыря, которого я уделал, тот все валяется на тротуаре и стонет. ССУУУКИ! ФИГОВЫ ИЛФОРДСКИЕ ССУУКИ! — Он отбивает ботинками морду этой илфордской суки, которая пытается заслонить свою, ёшь-то, вонючую вывеску.

— Погоди, Бэл, сейчас эта сука вытянет руки по швам,— говорю и принимаюсь бить по сукиному копчику, отчего он выгибается, и Бэлу становится хорошо и вольготно, а подонку плохо и мутно. — Я НАУЧУ ВАС СУК МАХАТЬ ПЕРОМ КОГДА ОДИН НА ОДИН ССУУКИ!

Мы оставляем илфордского онаниста лежать где лежал. Ему пришлось бы хуже, был бы он не наш, с Майл-энда например, а не из конторы. Они-то себя тоже зовут конторой, но настоящая контора — это мы. Нам это ясно как день. Легионеры, ёшь-то. Мозговой центр из себя корчат.

Как бы там ни было, мы оставляем хмыря отдыхать на парковке и валим в «Грозди» докончить выпивку. Бэл стягивает футболку и забинтовывает ею кисть руки. Голый по пояс, вылитый Тарзан. Рука-то у него порядком кровит, требуется немедля наложить швы в травмоотделении Лондонской больницы в конце улицы. Но это подождет: главное — чтоб увидели, чтоб охнули, какие, ёшь-то, дела творятся.

Честно говоря, приятно вернуться в бар, лыбясь, ровно пара чеширских котов. Наши разражаются приветственными воплями: илфордские помаленьку сваливают через заднюю дверь. Один только Лес из их группировки выступает вперед.

— Ну лады, вы своего, ребята, добились, от и до, — говорит он.

Хороший парень Лес: соблюдает конвенцию, если врубаетесь, о чем я вообще.

У Бэла кислый вид. Его раненая рука — убедительное зрелище, ничего не скажешь.

— Нечестно вы, ребятки, играете, — говорит он. — Какой-то хмырь втихаря подсунул Хипо лезвие!

Лес пожимает плечами, словно он тут ни при чем. Может, он и впрямь ни при чем. А Лес — не такой уж и раздолбай.

— Впервые слышу, Бэл. Куда делись Грини и Хипо?

— Грини — это та тварь трепливая, что ли? Последний раз мы его видели у стоянки, в разобранном состоянии. А этот сучонок Хипо, тот поволокся к метро. Скорей всего, сел на Восточную линию через Темзу, так ее мать. В следующем сезоне он как пить дать к милуоллским подастся!

— Не перегибай, Бэл, мы все тут болеем за Западный Гэмпшир. Ты в этом не сомневайся даже, — подходит сзади Лес. Лес парень нормальный, но что-то в его, ёшь-то, голосе наводит меня на печальные размышления. Я дергаю головой назад и попадаю ему прямо по переносице. Хруст, он откидывается навзничь, пытаясь остановить кровотечение.

— Хоть убей, Торни... мы, бля, на одной стороне... не надо нам друг против друга-то, — говорит он, захлебываясь кровищей, которая течет из него на стол. Похоже, все и впрямь по-честному. Мастерский получился удар. Хотя кровь, она да. Держал бы свою вывеску подальше, хмырь непомнящий. Кто б этому говнюку платок поднес, чесслово.

— И попробуйте, илфордские суки, сделать вид, что ничего этого не было, — кивая мне, орет Бэл. Он смотрит на Культяпого и Ригси: — Давайте, ребята, выпьем за Леса и тех, кто с ним пришел. Мы ж все здесь контора, твою мать, или кто?

— Эй! — кричу я илфордским. — Подали б вы, хмыри, старине Лесу платок, или уж полотенце из сральника, или уж я не знаю. Хотите, чтоб он истек кровью до смерти?

И все они начинают суетиться, трахари.

Я поворачиваю зенки к Крису, бармену, который как ни в чем не бывало протирает кружки.

— Извини, Крис, — ору я, — давай сговоримся о паре вещей. Нам ведь заморочки ни к чему? — Он кивает. Нормальный крендель — Крис.

Илфордцы остаются ненадолго, однако их явно потряхивает, и они выстраиваются чуть ли не в очередь, чтобы извиниться и отчалить. Бэлу приходится ждать, пока не уйдет последний, и держать морду лопатой, хотя порез на руке его уже доконал. Он не желает, чтоб хмырь по имени Хипо всюду трепался, что солидно подколол самого Барри Лича.

Едва все они отвалили, Ригси мне говорит:

— Лишнего ты тут, Торни, наворочал. Лесу-то зачем было вывеску портить? Он же правильный хмырь. Мы ж с ним на одной стороне баррикад.

И вроде за экстази полез, сутенер сраный. Нет, здесь я ему компанию не составлю.

— Херня все это, — говорит Бэл. — Торни был прав. Тут ты меня, Дейв, уел, признаю. Да, вся эта шобла нам, может, и пригодится, но не целоваться же с ними из-за этого.

— Мне одно не понравилось в том, как он себя вел, — говорю. — Отсутствие, блин, должного уважения!

Ригси изо всех сил кивает, подскакивает и прочее, значит, куда-то намылился, что и кстати, так как, заскочив в травмопункт, чтоб Бэлу наложили швы, я, Бэл и Культяпый должны пилить прямо к Бэлу и обмозговывать ночную работенку, мы давно б уже у него были, если б раздолбаи илфордские не вклинились.

Так что, завалившись к Бэлу, мы приходим в отличное расположение духа; ну, Бэла-то, я подозреваю, слегка пошатывает от потери крови. Оглядываю себя в высоком Бэловом зеркале: парень хоть куда. В спортзале я одной левой побивал тяжеловесов. Все на месте, с какой стороны ни сунься.

Гляжу на дружбанов: иногда они кажутся порядочными гадами, но это лучшие дружбаны, о каких только мечтать можно.

Бэл, он на голову ниже меня, но в том же весе. Культяпый, он отчасти зануда, но все равно второго такого поискать. Лучше б он, конечно, побольше помалкивал, однако поладить с ним нетрудно. Ригси в последнее время от нас как-то откололся. Нас всегда было четверо, а теперь только трое, ну и что с того? Даже когда его нет, он с нами, если вы сечете, что я имею в виду.

— Ригси, — хмыкает Бэл, — совсем уж паинькой заделался, правда?

И мы дружно гогочем над этим хмырем.

Лондон, 1961

Верный своим привычкам Брюс Стерджесс явился в конференц-зал за четверть часа до начала совещания. Порепетировал со слайдами, следя, чтобы изображение, отбрасываемое на экран лучом проектора, четко и ясно просматривалось из всех углов помещения. Наладив резкость, он подошел к окну и оглядел новый административный корпус, строившийся напротив старого. С фундаментом возились целую вечность, но уж когда закончили, здание быстро пошло в рост, и по меньшей мере два ныне здравствующих поколения горожан обречены, как впервые, восхищаться его силуэтом. Стерджесс позавидовал строителям, позавидовал зодчим. «Вот кто и впрямь возводит себе прижизненные памятники», — подумал он.

Зал понемногу заполнялся. Первым пришел Майк Хортон, потом энергичный Бар-

ни Драйсдейл, на пару с которым Стерджесс накануне вечером изобретал всякие тактические хитрости за обильной выпивкой в пабе «Белая лошадь» у Трафальгар-сквер. Они с Барни засиделись в крохотном тесном баре, чья клиентура состояла в основном из сотрудников соседнего южноафриканского посольства, обсуждая вероятный ход сегодняшнего совещания. Барни подмигнул Брюсу и принялся перебрасываться дружелюбными репликами с шефами подразделений, рассаживавшимися вокруг большого полированного дубового стола.

Сэр Альфред Вудкок вошел, как обычно, последним и на подгибающихся ногах проследовал к своему креслу во главе стола. Брюс Стерджесс произнес про себя то, что произносил каждый раз, когда сэр Альфред там устраивался: «Хочу сидеть на твоем месте».

Все тут же прикусили языки, кроме Барни: тот не сумел вовремя заглушить свой бас, и финальную гласную ему пришлось тянуть в полной тишине.

— Ой... виноват, сэр Альфред, — сказал он с хриплой горчинкой.

Сэр Альфред скривился; пожалуй, один Барни мог вычитать в этой усмешке не только злобу, но и снисходительность великодушного патриарха.

— Доброе утро, господа... мы собрались здесь прежде всего затем, чтобы поговорить о теназадрине, который должен бы обеспечить нам лидирующие позиции на рынке лекарств... выражаясь точнее, Брюс доложит, в силу каких таких достоинств данный препарат обеспечит нам лидерство. Брюс? — повел подбородком сэр Альфред.

Стерджесс поднялся, словно его подбросило. Не отводя глаз от кислой мины Майка Хортона, с театральной оттяжкой включил проектор. Чертов Хортон пропихивает в рекламную смету какую-то убогую микстуру против стоматита. Куда ему тягаться с теназадрином. Брюс Стерджесс очень надеялся на этот препарат; но еще больше Брюс Стерджесс надеялся на Брюса Стерджесса.

— Спасибо, сэр Альфред. Господа, я постараюсь убедить вас в том, что, если компания откажется от раскрутки теназадрина, она упустит шанс, который фармакология предоставляет нам раз в четверть века, не чаще.

И Брюс Стерджесс действительно постарался. Хортон ощущал, как атмосфера холодной сдержанности, царившая в зале, смягчается. Он фиксировал растроганные кивки, оживленные поерзыванья. Постепенно во рту у него пересохло; сейчас бы глоточек родимой микстуры против стоматита. Жаль, за ее производство примутся, судя по всему, еще весьма и весьма не скоро.

Индзастройка

В хоккейной маске довольно душно, но такими уж их изготавливают. Лучше на эти темы не думать. Однако маску явно варганил какой-нибудь выдающийся халтурщик, черт. Квартал мы предварительно обнюхали до кирпичика, выяснили, насколько хозяин тароват и на что его деньги тратятся. Надо отдать должное Культяпому: соглядатай он классный. Кстати, за этими типами из коттеджей следить не так уж и трудно. Они рабы привычек, день их расписан по часам. И пускай они такими и остаются, потому как это выгодно для дела; а, по выражению Мэгги, все, что выгодно для дела, выгодно для Британии, цитирую близко к тексту.

Единственная подлянка заключалась в том, что дверь открыл не кто-нибудь, а эта курица Дорис. Ну и раз уж я выполнял обязанности тарана, то просто как следует пихнул ей меж ключиц, она и растянулась в прихожей ногами к порогу, грянулась всеми своими телесами и лежит там на полу, корчится, словно ее паралич разбил. Ни звука не проронила, не вскрикнула, ничего. Я вошел и захлопнул дверь. Лежит, и все; жутко умилительно; представляете, как я на нее разозлился? Бэл наклоняется и приставляет ей к горлу нож. Едва она фокусирует взгляд на лезвии и осознает, что это, собственно, за штука, глаза выскакивают у нее из орбит. Потом она прижимает подол к коленкам. Я сдавленно ржу: захотеть ее, щекастую рухлядь, способен разве что полный псих.

Бэл ровно говорит ей своим специальным ниггерским голоском, с вест-индским таким акцентом:

— Будешь молчишь, будешь живешь. Шутишь с нами шутки, завтра твоя белая жопа попадай телевизор, жынщна.

Бэл настоящий артист, этого у него не отнимешь. Он даже веки и губы под маской зачернил. Дорис молча его разглядывает, зрачки расширились, будто кто-нибудь накормил ее экстази.

Тут возникает этот хмырь, ее муженек.

— Джеки... бога ради...

— ЗАТКНИ СВА ГРЯЗНУЮ ХАВАЛКУ! — ору я ему с шотландским выговором. — ЕСЛИ ХААЧЕШЬ ПАЛЧИТЬ СВА БАБУ ЦЕЛОЙ, ЗАТКНИСЬ, ПОЯЛ? — Он робко так кивает и просит:

— Пожалуйста, берите все что унесете, только не...

Я подхожу и сильно бью его затылком об стену. Бью три раза: первый ради дела, второй ради забавы — ненавижу таких вот ублюдков — и третий на счастье. Затем врезаю ему по яйцам коленкой. Он со стоном сползает по стене, сука недобитая.

— Яа велел те заткну-уться, хеар! Яа скаал заткнись и делай шо тея пап-росят, и таа не буэт бо-бо, поял?

Кивает, присмирел, вдавился в стену, дрочила жалкий.

— И теэрь, если падымешь шум, сынок, тая миссэс сю жись буэт на аптеку ра-аботэть. Поял?

Кивает, у него уже полные штаны.

Смешно, когда я был мальцом, люди то и дело жаловались моему старику — а он шотландец, — люди типа этого сраного мешка жаловались, что не понимают шотландского акцента. Это смешно потому, что всякий раз, как я проворачиваю подобные делишки, смысл до них доходит безошибочно, со всеми нюансами.

— Вод деберь бсе апстоаит роасдюдесно, — говорит Культяпый, прикидываясь коренным ирландцем. — Вод. Чичоас я буду воам дизнаделен, коль вы пдинеседе сюда бсе дедьги и доагоценнодти, коакие есть в добе. Вод. Подожите бсе в эдод бакедик, не? Есди не роашшумидесь, нам, пра, не пдидется будить бедных бадышей тоам, даведху. Вод.

Разные акценты — отличная уловка, чтоб запутать мусоров. У меня хорошо выходит шотландский благодаря моим старухе и старику. Ирландский у Культяпого тоже неплох, хотя он иногда перегибает палку, а уж вест-индский говорок Бэла — шедевр, да и только.

Муж, сука обдристанная, ходит по дому с Культяпым, а Бэл не отнимает ножика от горла жены и прижимает ее, чтоб не рыпнулась ненароком. На мой вкус, чересчур сильно прижимает, хмырь паршивый. Я же готовлю всем чай, что вовсе не так легко, когда на тебе перчатки и прочая амуниция.

— Пеэнье есть, мать? — спрашиваю у нее, но у несчастной телки и язык-то не шевелится. Она показывает пальцем на сервант выше по лестнице. Я проверяю, что там есть. Ё-моё, пакетик «Кит-Кэт». Это ж объедение, и впрямь подзакусить было бы кстати.

Чертова маска, до чего жарко в ней.

— Саись на кшетку даай, мамаш, — предлагаю ей. Она не двигается. — Посаи ее на ее занницу, Бобби, — говорю я Бэлу. Он взгромождает ее на кушетку, приобняв одной рукой, словно лучшую, блин, подружку.

Я ставлю перед ней чашечку.

— Токо не удумай плснуть чаэм в чу-нито морду, ма, — предупреждаю ее, — а то вишь, там детская наэрху? Буэт корм червяам!

— Я и не... — отстукивает она зубами.

Бедняжка Дорис. Сидит себе дома, телик смотрит, и вдруг такое. Страшно представить, по правде-то говоря.

Бэл недоволен:

— Пей свой сраный чай, жынщна. Мой кореш Херсти готовить вкусный чай. Пить чай Херсти. Думать, мы твои шестерки? Белая сучка!

— Эй-эй, остыэнь. Дэушка нашего чаю не хочт, дэушка ваще чаю не хочт, — говорю я Бэлу, или Бобби, если на то пошло.

Когда мы обделывали такие делишки, всегда звали друг друга Херсти, Бобби и Мартин. В честь Бобби Мура, Джеффа Херста и Мартина Питерса — «Хаммеров», которые добыли нам Кубок мира в 1966-м. Барри был Бобби, капитаном; я был Херсти, центральным нападающим. Культяпый — тот воображал себя Мартином Питерсом, полевым диспетчером, за десять лет до того, как сам стал играть и как все это плохо кончилось.

Естественно, наличных в доме негусто: мы наскребаем порядка двух сотен. В этих чертовых коттеджах никогда и фартингом не разживешься. Мы их грабим исключительно потому, что это легко и взбадривает. А также заставляет работать головой в подготовительный период. Соображалку тоже тренировать надо. Вот почему мы контора номер один в стране: мозговать умеем, а как же. Размахивать руками на людях каждый болван может; только планирование и организация отличают истинных профессионалов от тупого сброда. Тем не менее Культяпый выведывает шифры кредитных карточек хмыря муженька, обходит несколько ближайших банкоматов и возвращается с шестью сотнями добычи. Хреновы машинки с их дурацкими предохранителями. Лучше выждать до полуночи и, к примеру, в 11.56 снимешь двести, а уже в 12.01 — еще двести. Сейчас только 11.25, и маячить тут столько времени стремно. Всегда закладываешься на больший срок, думая, что тебе окажут сопротивление. А в этом коттедже все получилось слишком, ёшь-то, быстро.

Связываем обоих, Бэл выдирает телефонный провод из розетки. Культяпый кладет руку хмырю на плечо.

— Вод. Вы, дебядки, де вздубоайте ходидь в бодицию, не? Даведху спьоат двое бидых дедишек, и звоадь их Энди и Джессика, ведно?

Те кивают, совсем припухнув.

— Ваб же де подравица, если бы за диби веднебся, де подравица? Вод.

Они в ужасе пялятся на него, суки перепуганные. Я добавляю:

— Мэ знам в каую школу ониэ хоят, в каой скаутский круок, в каой отряэд для дэочек, мэ знам все. Выэ нас заудьте, и мэ вас заудем, ладыэ? Выэ дешво отделаэлись!

— Так что к влас-тяаам не ходить, — тянет Бэл, прикасаясь к теткиной щеке тупым краем лезвия.

Вся левая половина лица у бабы вспухла и покраснела. И мне становится как-то не по себе. Я никогда бы не ударил Дорис, я ж не такой, как мой старик. Правда, он маму больше не бьет, но только после того, как я предупредил эту задницу, чтоб он ее пальцем не трогал. На что я ни при каких условиях не способен — так это ударить Дорис, ту или эту, неважно. А сегодня, ну ладно, сегодня не считается, мы ж работали, и этим все сказано. Тебе отвели роль тарана, и уж будь добр, не подведи. Первая же сука, которая откроет дверь, получает по морде, Дорис, ёшь-то, или не Дорис, получает полную порцию. А моя полная порция — это вам не бирюльки. Вроде успех всей работы от первого шага зависит, и ты просто не должен подвести. Профессионал есть профессионал. Я уже говорил, речь идет о деле, а то, что выгодно для дела, выгодно и для Британии, и я обязан в меру сил поспособствовать «Юнион Джеку». Надо попросту вывести за скобки свои личные «нравится — не нравится», они тут абсолютно ни при чем. Однако мордовать какую-нибудь Дорис я не готов, ни хрена не готов, и это совсем не личное. Я не говорю, что это недостойное занятие, я знаком с кучей дорис, которые заслуживают хорошей плюхи; я просто имею в виду, что настоящего удовлетворения от такой плюхи не получишь.

— Ду, бдиядно ибедь дело с такими мидыби дебядкаби, — говорит Культяпый, и мы исчезаем, не тревожа более покой этого уважаемого семейства, и в ушах у нас привычно рокочет адреналин.

Единственное, чему я рад, так это тому, что мы не разбудили детей. У меня самого есть пацан, и как представишь, что какая-нибудь сука... да нет, никакая сука не осмелится. И все же меня чуть подташнивает, и я решаю пацана поскорее проведать. Может, завтра с утра к нему заскочу.

Вулвергемптон, 1963

Спайк хохотнул и поднял кружку берегового горького на уровень подбородка.

— Ну, Боб, твое здоровье, — когда он лыбился, глаза по обе стороны вдавленной переносицы суживались в слитную горизонтальную щелочку, похожую на второй рот, — и шоб все у тебя было в ажуре!

Весело прищурившись, Боб глотнул пива, оглядел трудяг за столиком. Отличные они ребята, даже Спайк. Спайк, в общем, не такой уж дундук. Ему нравится сидеть в дерьме, и осуждать его за это глупо. Предел Спайковых мечтаний — жить себе поживать и дальше на Шотландцах, транжирить солидный оклад на выпивку и лошадей, которые заведомо не придут первыми. С тех пор как Боб переехал в район коттеджной застройки «У брода», они отдалились друг от друга не только территориально — человечески. Спайк тогда сказал: «Фиг ли ты прешься к черту на рога, да еще за такие бабки, а нам тут скоро квартплату скостят. Во загуляем!»

Загул, по его понятиям, как раз в этом и состоял: нажраться берегового. «Северный берег Молино» по субботам после получки и ставок. Потолок Спайка, выше ему не прыгнуть. Боб тоже рабочий и не стыдится этого, но он рабочий квалифицированный, с будущим. Он обеспечит своим детям пристойную жизнь.

Детям. Первый уже на подходе. От этой мысли голова закружилась сильней, чем от стопки рома, опрокинутой прицепом к пиву.

— Ща по второй, Боб, — припечатал Спайк.

— Мне вообще-то хорош. В роддом надо подскочить. Врачи говорят, в любой момент.

— Ни хрена подобного! Первый всегда годит, кого хошь спроси! — рявкнул Спайк, а Тони с Клемом в знак согласия забарабанили пустыми кружками по столешнице.

Но Боб все-таки ушел. Он не сомневался, что оставшиеся примутся честить его, и догадывался, какими словами: он-де стал слаб в коленках, такой навар испортил. Пусть честят. Ему надо повидать Мэри, и точка.

Шел дождь: мерная тоскливая морось. Хотя не было еще и четырех, уже смеркалось по-зимнему, и Боб поднял воротник, спасаясь от пронизывающего ветра. Показался автобус «Мидленд-ред», проехал мимо Бобовой протянутой руки, зафитилил в горку. В салоне были свободные места, Боб стоял прямо на остановке, но автобус не притормозил. От такого тупого хамства Боб и растерялся, и разозлился. «Эй ты, говенный «Мидленд-ред»!» — крикнул он вдогонку вертлявой, бесстыжей автобусной корме. И потащился на своих.

Едва очутившись в роддоме, Боб смекнул: что-то неладно. Всего лишь сполох в глазах, мимолетное предвестие беды. «Каждый будущий отец такое чувствует», — подумал он. И ощутил это снова.

Что-то не так. Но что может быть не так? На дворе двадцатое столетие. Нынче все у нас так. Мы ведь в Великобритании живем.

Боба точно под дых ударили, когда он увидел Мэри под простыней, слабо завывающую, наколотую транквилизаторами. Выглядела она чудовищно.

— Боб, — простонала она.

— Мэри... что творится-то... ты уже что, того... прошло нормально, нет... где ребенок?

— У вас девочка, крепенькая девочка, — с холодным безразличием сообщила медсестра.

— Они мне ее не показывают, Боб, не дают обнять мою малютку, — заскулила Мэри.

— Да что тут происходит? — крикнул Боб.

За его спиной выросла вторая сестра. С вытянутым измученным лицом. Такое лицо бывает у человека, только что узревшего нечто жуткое и непостижимое. Профессиональная вежливость сидела на ней как смокинг на бомже.

— Есть пара отклонений от нормы, — протяжно выговорила она.

Вошья привычка

Замок она, тварь, так и не сменила; правильно, чует, что я с ней тогда вытворю. Я когда свалил с этой помойки, свою связку погодил выкидывать. Я ей вправил, что мне требуется отдельная берлога, так всем удобней. Но уж и от ее клоповника я себе ключ оставлю, чтоб иногда заскакивать и видеться с пацаном; а кто мне запретит видеться с пацаном? Она слышала, я в скважине шебаршу, а все равно таращится на меня, как отмороженная. Пацан, правда, тоже тут, из-за нее выглядывает.

Она курит при нем, ёшь твою. Высмаливает по две пачки в день. Привычка ее Вошья. Не терплю, когда кони курят. Кренделя там — пускай их, а вот если конь, особо молодой конь. Ну, короче, к старушке своей я ж не в претензии. Она и так никакой, ёшь-то, радости в жизни не видит, вот и пусть себе дымит, я не против. А молодой конь с сигаретой — прошмандовка прошмандовкой. Потом, надо ж учитывать медицинский аспект. Последний раз я ей так и сказал. Я ее, сучку, предупредил, чтоб не курила при мальце. Ты медицинский, ёшь, аспект учитывай, говорю. Ладно, лопнет у меня когда-нибудь терпение.

— Ему новые туфли нужны, Дейв, — говорит.

— Да-а? Ну так я ему сам принесу, сам, — отвечаю.

Хрен она у меня еще живых бабок допросится. Купит самую дешевку, на то, что от курева останется, Вша чертóва. Меня, ёшь, запростак не разжалобишь.

Пацан глаз с меня не сводит.

— Ну, как оно тут, сынок?

— Нормально, — говорит.

— Нормально? — это уже я. — Как понимать «нормально»? Что ж ты не целуешь папаню-то своего, а? — Подходит, чмокает меня в витрину, слюнка влажная такая. — Вот это другой разговор, — говорю и волосы ему ерошу. Хотя пора б завязывать с облизываньями, великоват он уже для таких дел. Глядишь, слабина в нем поселится от этих сюсь-пусь, а то еще станет одним из малолетних педиков, от которых давно плюнуть некуда. Извращение это. Поворачиваюсь к ней: — Слышь, тот толстожопый рукосуй больше, надеюсь, не вертелся у школы, а?

— Нет, больше я про него не слыхала.

— Услышишь — прямиком ко мне. Никакая рвотная шваль к моему сыну не подкатывалась, не подкатывалась, а, сын? Помнишь, чему я тебя учил, если тебя в школе кто-нибудь вздумает обжимать?

— По яйцам р-р-раз! — отвечает.

Я смеюсь и отвешиваю ему пару тренировочных ударов. Сильные руки для такого возраста, от хорошей яблони яблочко, только б Вша его своим воспитанием не изгадила.

Вша. Видок у нее сегодня смачный, макияж и все такое.

— Есть у тебя кто-нибудь, родная? — спрашиваю.

— В данный момент нет, — колется она и всячески строит из себя целку.

— Ну, тогда снимай трусы, быстро.

— Дейв! Не смей так выражаться. При Гэри не смей, — говорит она, показывая на парня.

— Ну, лады. Слушай, Гэл, нá, держи бумажку, купишь себе конфет. Вот ключи от машины, этим дверца открывается. Полезай туда и жди нас, хорошо? Я через минуту спущусь. Нам надо с мамой о взрослом поговорить.

Кренделек учапывает с денежкой, а она начинает ломаться.

— Я не хочу, — говорит.

— А мне насрать, хочешь ты, ёшь-то, или не хочешь, — говорю я ей.

Никакого, ё, уважения, всегда со Вшой так, дефект у нее, что ли, врожденный? Она строит этакую говнистую физию, но порядок знает: скидывает шмотки и рулит в комнату. Я заваливаю ее на постель и принимаюсь целовать, сую язык ей в рот, будто в захезанную пепельницу. Раздвигаю ей ноги, вставляется довольно легко, у нее там, у Вши немы-

той, чвакает, как в мокром поролоне, и начинаю ее дрючить. Мне просто надо спустить, что накопилось, и сматывать отсюда к своей несчастной тачке. Но штука в том, что когда я в ней, не могу кончить... и, главное, всякий раз знаю, что так будет, а один фиг лезу. А она тем временем заводится, она, которая, ёшь-то, вообще ничего не хотела, еще как заводится, а я все не могу кончить.

УРЫЛ БЫ ЭТУ МАНДУ ЭТУ ДОЛБАНУЮ КОБЫЛУ И НЕ МОГУ ЁШЬ-ТО КОНЧИТЬ.

Я, уж наверно, распанахал ее вонючую щель до крови, до гланд эту грязную сучку пропер, но чем глубже я долблю, тем ей вольготнее, прям-таки пир души у нее настал, у хреновой помоечной, потасканной зловредной хреновой подстилки... все это не в кассу, не в кассу... он маячит передо мной, Лайонси из «Милуолла», маячит передо мной и никак не сгинет. Я Лайонси сейчас пытаюсь отодрать, не ее. За ту махаловку в Родерхитском тоннеле, когда я подшустрил первым и врезал этому амбалу три, ёшь-то, раза, а он стоял как стоял, хоть бы хны, и разглядывал меня точно какого-нибудь зачуханного недомерка.

А потом уже Лайонси мне врезал.

— ДЕЕЕЕЙВ! ДЕЕЕЙВ! — от ее воплей щас окна вылетят, точно. — НЕ УХОДИ, НЕ УХОДИ ОПЯТЬ, У НАС ЕЩЕ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ, ОЙ, ДЕЙВ... ОЙ, ДЕЕЕЙВ! — Она ржет, ровно племенной жеребец, и прет на меня снизу, и льнет всеми стенками дырки, и когда она затихает, я, весь изнутри омертвевший, вынимаю из нее все такой же твердый, как болт, пора делать ноги от чертовой Вши, потому что, если я не сделаю ноги, я за себя не отвечаю.

Одеваюсь, а она лыбится как идиотка и вкручивает мне, что меня никто никогда не привяжет к подолу, и, говорит она, если в молодости я из-за этого ходил самым крутым, то теперь из-за этого же самого сделался бестолковым развесистым овощем, на котором только ленивый язык не оттянет.

— Лады, говорю я ей, — сматывая удочки к машине; одна незадача — нет настроения возиться с дурацким пацаном. Только не теперь, не теперь, когда чертова Вша все испохабила. Я забрасываю его к сестре; ему там будет лучше, с ее малышней поиграет. Правду сказать, я не большой любитель детей.

Возвращаюсь к себе и вытаскиваю «Плейбой» с этой шлюхой Опал Ронсон, девушкой месяца. Развороты я выдираю и прикрепляю магнитиками на холодильнике. Не то чтоб я постоянный покупатель порно, только если вижу, что какая-нибудь модель шире прочих разевает своего котеночка. Клево увидеть звезду во всех укромностях, будто она твоя подружка. Это срывает с них мифологический, ёшь-то, флер, приближает их к твоим конкретным нуждам. В холодильнике припасена свежая дыня, и я уже вырезал в ней три дырки по длине и ширине моего стоячего, две с одного конца и одну с другого — это у Опал будут щелочка, попочка и ротик. Ротик я подвожу губной помадой. Остальные дырочки промазываю кремом «Понз» для рук, и мы стартуем... куда ты, ёшь-то, желаешь, девочка: в глотку, или в жопку, или в кошечку... я впериваюсь в фото Опал на дверце холодильника, она выгнула спину и шепчет мне что-то неразборчивое, не пойму, в кошечку или в жопку, и из глубины ее темных зрачков всплывает этакое подмигивание, что Опал-де, может, и не та птичка, чтоб дать клиенту в первый же раз, я вспоминаю ее в «Любовных соблазнах»... уууух... зато потом в «Параноике», именно в «Параноике»; но затем я думаю: да все по барабану, вдруг девочка в жизни не сношалась с истинным асом, и кабы истинный ас... ааа, щас я тебя, радость, расщеплю надвое... аааа... ХАААААХ!

Голова кружится и кружится, семя высаживается и высаживается в дыню. Пара несуществующих секунд в будуарчике Опал — и я готов. Да благословит тебя господь, девочка моя.

Я чуток кемарю на кушетке, а когда просыпаюсь, врубаю ящик, но глаза, ёшь-то, не фокусируются. Раз десять выжимаю гантели, щупаю бицепсы. Резкость настроилась, но штормит еще вовсю, мускулы покачиваются, ровно бедра незанятых трансов в ночном клубе. Для восстановления сил мне нужен бифштекс. Вскоре я спускаюсь к «Безродно-

му слепцу». Там ни души, я мотыляю в «Скорбящего Мориса». Все тут: Бэл, Ригси, Культяпый, Родж, Джон и так далее. Я принимаю пинту полусветлого горького, прошу повторить. Пойло удобоваримое, я только начинаю оттягиваться, как слышу гам в баре.

— АААЙЙЙЙЙ!

Оборачиваюсь и вижу его. Этого убогого ублюдка, своего черепа. Полюбуйтесь: слез, ёшь-то, с дерева и бузит. Убогий, ё: каким был, таким остался. За нами ж сейчас приглядывают как никогда, а он вот он, пожалста, явился. Бэл, Ригси и Культяпый, эти-то хмыри порадовались, когда я затрепыхался, еще б не порадовались.

— Добрдень, мальчик мой! Угстишь свого старичка, а? А-а? — говорит. Набрался уже как свинья, тварь.

— Я тут собирался с ребятами поболтать, — объясняю ему.

Он вылупляется, словно я жопа какая-нибудь. Затем подбоченивается:

— Ах, поблтать, я че, должен....

— Вы ниче не должны, мистер Т. Сию секундочку, — говорит Бэл и наваливается на стойку. Приносит «черепу» двойной скоч и пинту пива.

— Вот это мужик, — кивает тот на Бэла. — Молодой Барри, как его... Барри Лич, вот это мужик! — Улыбается, уважительно чокается с Бэлом. Затем вдруг вылупляется на меня: — Эй, шо у тэя с лицом!

Я уже только жду, что еще этот старый крендель выкинет.

— Шо у тэяаааа...

Долбаная, налитая пивом шотландская харя, кретинский, сиплый шотландский акцент; не отделаешься от них ни на минуту. Хоть бы он, на самом деле, умолк навеки.

— Отвянь! — грохаю я. Потому что «череп» одной рукой обнял за плечи меня, а другой — Бэла и Ригси. Я, по идее, обязан «черепу» внимать, ровно Иисусу какому-нибудь...

— От он, мой малыш. Жопа он сраная! ЖОПА ОН СРРРРАНАЯ! Но все еще мой малыш, — говорит он. И потом говорит: — Эй, малыш, деньжат-то подкинь? Я скоро получу саи-идную смум... сумму, сын. Гаарили, тут заваруха намчается, и я огродами, огродами, дескать, попомнят мои зслуги и должным обрзом... пнмаешь, о чем я, Дэвид... а, сынуля?

Я вынимаю из кармана пачку десяток. Все что угодно, все что угодно, только б отделаться от хренова старого попрошайки.

— Ты, сынок, хороший. Хар-роший наследник Простинтов! — Озирается, закатывает рукав. — Моя кровь, — сообщает он Ригси, — кровь Простинтов.

— Бьюсь об заклад, она стопроцентная, мистер Т., — говорят Ригси, и Бэл, и Культяпый, и Родж, и Джонни, и прочие, у них всех есть повод оторваться, и у меня тоже, однако мне не по нутру, как смеется Ригси. Хмырь или не хмырь, речь тут о моем старике. Хоть минимум уважения ты должен же проявить?

— Такие дела, сын. Сто процентов Простинта! — говорит старый шут. Затем он, к счастью, оглядывается и видит другую такую же лысину, уткнувшуюся в стойку. — Пкдаю вас с лбовью, рбта. Там, на дргой строне, спрсите у мого лчшего дрга... что ж, не зрвайтсь, мальчики. Не куште дрг дрга! Ндеюсь, ваши дети прспеютвжзни. Вмнадо рзвить характер для ба-альшой гры... для контор повсейблястрне... тих-ха! «Ребята Билли»... мы б показали вам, где раки зимуют... во де сиэли пнаст... тыящему крутые парни... я гврю о «Ребятах Билли» из Бриктинга, о настъящих «Ребятах», а о ком же я тут гврю! Зпомните, друзья, вам сперва надо развить характер! Вам надо развить характер для большой игры!

— Это ведь тоже игра, мистер Т., — говорит Бэл.

Старый крендель вскакивает и приникает к такому же, как он, старому кренделю, чтоб поговорить.

— ХАРАКТЕР ДЛЯ БОЛЬШОЙ ИГРЫ! — вертится он и орет на все помещение.

Меня он уже совсем затрахал. Есть только одно место, куда можно завалиться в таком состоянии. Цепляюсь к Бэлу:

— Я бы прошвырнулся вдоль набережной, слышь. На автобусе до Лондонского

моста, оттуда пехом по Тули-стрит, вдоль Джамайка-роуд, а потом домой на метро от Розерхита. Нас всего шестеро наберется.

Бэл улыбается:

— Я не прочь. Отделаться бы от остальных ублюдков.

Ригси пожимает плечами, пожимают плечами Культяпый и прочие. Они-то присоединятся, но без особого энтузиазма.

А я — с особым. Наклоняю кружку, расслабляю пищевод, разом заглатываю пиво и рыгаю на всю катушку. Пора отчаливать.

Торонто, 1967

Боб любовался младенцем на жениных руках. Мимолетно он вспомнил иную страну, иную жену, иного ребенка... ох, нет. Память умолкла, едва он погладил теплую румяную детскую щечку. Все то было давно, далеко. Было с вулвергемптонским Бобом Уортингтоном. А теперешний Боб Уортингтон обустроил себе новую жизнь в Торонто.

Он провел в роддоме несколько часов, до утра, а затем, вымотанный, но довольный, поехал к себе, в отдаленный пригород. Все дома на его улице были разные на вид, не то что типовые кирпичные халабуды, среди которых он вырос, но странно, район все же производил впечатление некоего однообразия. Он припарковался на узкой асфальтированной дорожке у въезда в гараж.

При виде баскетбольной корзины, укрепленной над воротами гаража на стандартной высоте в десять футов, Боб представил, как его сын станет подрастать, и даже воочию увидел подростка, выпрыгивающего вверх, будто хариус, и забрасывающего мяч в корзину. Мальчик наверстает все то, что Бобу помешали сделать обстоятельства. У него будут все возможности. Завтра нужно опять устраиваться на работу; сам себе не поможешь — никто не поможет. А сейчас он слишком издергался. Укладываясь, Боб молил Бога о крепком сне и о сновидениях, в которых отобразились бы сегодняшние чудесные события. Он надеялся, что бесы нынче не придут.

По большому счету, он только на это и надеялся.

Путевый конь

Сидим себе на стоянке в кузове фургончика. Никто к нам что-то не подваливает, зазря пилили в такую даль. Ну, думаю, если тут и дальше будет так же тускло, подзаправлюсь эксом и за милую душу замотылюсь внутрь, в свободный поиск. Бэл в тачке рядом с какими-то еще кренделями, вылезать оттуда не собирается. Ну, силком я его не поволоку, делать мне, что ли, больше нечего, тем паче что внутри коней как сельдей в бочке.

— На прошлой неделе в тот кабак столько всякого дерьма набилось, — говорит Культяпый.

— Ага, и я их всех от тебя оттаскивал, — говорю. — Не оттащил бы — крантец клиенту. Глава последняя, недописанная, ёшь-то, так или нет?

— Да уж, меня там типа не слабо помяли. Слышь, хотя раз я как пошел пиндюрить их кружками, урр... всем, сукам, досталось, как стояли в кружок, так и отползли по одному.

— Этот жирный хрюндель бармен, — говорит Джонни, — выступал он порядочно.

— Угу, — подхватываю я, — выступал, пока я его не урыл железной табуреткой. Вот это было круто. Как сейчас вижу: лоб у этого сучонка чудесненько так хрясь — и всмятку.

Замечаю, что Культяпый шарит в пакете, пива ищет.

— Эй, Культяпый! А нам пивка, тварюга ты эдакая, — ору ему. Он протягивает банку. Пиво сорта «Мак-Ивенс».

— Моча шотландская, — говорит он и спохватывается: — Извини, друг, из головы вон.

— Ничего, мне по фигу.

— Понимаешь, ты ж не такой, как все эти поганые настоящие шотландцы. Ну вот возьми моего старика, он ирландец по национальности, а старуха полька. Это ведь не значит, что я поляк вонючий, не значит?

Я пожимаю плечами:

— Все мы полукровки недоделанные, друг.

— Ну да, — не отступается Культяпый, — но зато мы все белые, нет разве? Расовая чистота и так далее.

— Да, пожалуй, тут ты в точку попал, друг, — говорю.

— То есть я ж не к тому, что Гитлер делал все правильно, ты не думай. Он же не виноват, что не англичанином родился.

— Да уж, Гитлер был тот еще дрочила, — говорю я ему, — две мировые войны и один мировой кубок, друг. Всё выиграли пурпурно-синие.

Культяпый начинает петь. Жаль, некому заткнуть ему пасть еще до того, как он вспомнит какую-нибудь старую уэстхемпширскую кричалку.

— Пурпурно-синий в высшей лиге нав-сег-да, пурпурно-синий не загнется ни-ког-да...

В фургончик лезет Ригси, сзади топчутся Бэл и этот хрен Роджер.

— Пошли внутрь, обалдуи, — зовет Ригси. — Там полный улет! Чесслово, музыка такая, что мурашки по коже подирают!

— Объяснить тебе, от чего у меня обычно по коже подирает? — спрашиваю.

— От волынщиков, — встревает Культяпый.

— Ну нет. Тут крутятся разные суки, и они явно не из конторы, — объясняю я Ригси.

Бэл говорит:

— Да, ты мильярд раз прав, Торни. Внутри тусуется хмырь со шрамом на физии.

Это известие заставляет Ригси встряхнуться.

— До него легко докопаться, до болвана сучьего. Эти приглаженные фраера, крутые хмыри с полным карманом таблеток, они просто за задницу его выкручивают. Неудивительно, что мы не можем выбить из них даже парацетамол или активированный уголь, когда припрет.

— Да проблема не в хмыре, — выпаливает Ригси. — Дело в том, что всякий раздолбай, являясь сюда, числит себя основным. — Он дает Бэлу таблетку: — На-ка, попробуй.

— Вали отсель, — хрипит Бэл.

Ему все еще не по кайфу. Хер с ним, я глотаю экси, вхожу вместе с Ригси внутрь. Культяпому все уже по барабану, и он хиляет за нами.

Оглядевшись, я фиксирую стадо коней, которые жмутся к стенке. От одной из них глаз не могу оторвать. Меня как шандарахнули, точно в штанах башня, но вдруг я понимаю, что перекрыл свои грошовые возможности и обязан выслушивать чье-то вяканье.

— На что ты, елкин сад, так зыришь, а? — Выкрутилась вперед и вопит мне в морду.

Я вообще на коней не гляжу в упор. То есть, насколько я секу жизнь, глядеть или не глядеть — вопрос воспитания. Культяпый, этот просто запугивает какую-нибудь дорис. Смотрит на нее в упор, они, видимо, считают, что их сейчас снасилуют или что-нибудь там еще. Я его от таких повадок отговаривал. «Ты, ёшь-то, не смотри на коня в упор, — втолковывал я ему. — Коли желаешь играть в гляделки, отправляйся на Олд-Кент-роуд и пучься на какого-нибудь тамошнего милуоллского кренделя. А с птичками обходись уважительно, — твердил я ему. — Представь, что какой-нито сексманьяк или же потрошитель смотрит на твою сестричку, как ты на них смотришь».

Но вот он я, вылупился на девушку. И не оттого, что она такая смазливая, хотя она ж и смазливая, она вообще изумительная. Это оттого, что я принял экстази и смотрю на девушку, у которой вообще нет рук.

— Тебя по телику не показывали? — это все, что я мог выдумать.

— Нет, меня не показывали по телику, и в цирке, блин, тоже.

— Да я и не...

— Ну, скачивай давай, — бортует она меня и отворачивается.

Ее подружка обнимает ее за плечи. Я стою на месте точно ушибленный баклажан. То есть мало кто позарился бы на блядь, у которой есть только рот, этот вопрос не обсуждается, а как насчет девушки, у которой, раздери ее, нет рук?

— Алло, Дейв, ты ж не позволишь какому-то недоделанному коню так тебя бортовать? — лыбится Культяпый своими гнилыми зубами.

Зубами, которые запростак выбить.

— Заткни пасть, дрочун херов, или я сам тебе ее заткну.

Без вариантов, я запал на этого коника; на безрукую, ёшь, красулю, на прочерк в телефонной книжке, я запал. Подружка подваливает ко мне, вдобавок ко всем зырящим, ко всей этой швали, напичканной эксом по горлышко.

— Ты прости, что она такая. Кислоты перебрала.

— А что тогда у нее с руками? — Я не должен был это спрашивать, но подчас вопрос сам вырывается у тебя изнутри. — Ты не дергайся особо, честно скажи, — предлагаю я.

— Теназадрин. Впитываешь?

Культяпый и в этот разговор, жопа, влез:

— Наименее привлекательный, ёш, в мире наркотик: теназадриновые ручки.

— Заткни хлебало! — гавкаю я на раздолбая, и он сечет, что у меня за физиономия, и трусит. Друг или не друг, эта сука откровенно напрашивается на хорошую плюху. Оборачиваюсь к дорис: — Передай своей подружке, я не хотел ее обидеть.

Та мне улыбается:

— Поди сам ей скажи.

Тут я вроде бы тушуюсь, потому что перед девушкой, которая мне по-настоящему нравится, я чувствую некий трепет. Мы щас не о прошмандовках, те-то за десятку готовы, но перед девушкой, которая мне нравится, я, честно, другой. Впрочем, экстази помогает, и я подваливаю с новой стороны.

— Слышь, извини, что я так на тебя вылупился, и вообще.

— Я к этому привыкла, — говорит она.

— Обычно я на людей не вылупляюсь...

— Только на тех, у кого нет рук.

— Проблема не в руках... просто у меня был хороший приход после экса, и я поймал такой... а ты... ты была такая красивая, и я просто вобрал твою милоту... меня, кстати, Дейв зовут.

— Саманта. Не смей называть меня Сэм. Не смей. Меня зовут Саманта, — говорит она, чуть ли не улыбаясь.

«Чуть ли не» — это для меня больше чем надо.

— Саманта, — повторяю я, — ты тоже никогда не называй меня Дэвидом. Я Дейв.

Тут она хихикает, и что-то переворачивается у меня внутри. Эта дорис — белая, ёшь-то, капсулка, напиханная самой большой порцией МДМА, какую я заглатывал за мою траханую жизнь.

Лондон, 1979

Она сидела в безликом фаст-фуде на Оксфорд-стрит над шоколадным коктейлем, потягивая приторную жидкость через соломинку. Хорошо было съездить в город на метро. Квартира, где она на птичьих правах жила, ей обрыдла; там недавно обосновалась шобла молодых шотландцев, которые в основном хлестали сидр и с беспочвенным догматизмом обсуждали сравнительные достоинства рок-групп, от коих тащились. В такую жару лучше б махнуть в Уэст-Энд, но в черепе у нее было пусто и скользко, как на вечеринке опиоманов, куда случайно вперся незваный клиент, с завиральными идеями притом. Ей не хотелось очередного сейшна, очередного бэнда, очередных рож, очередного траха;

очередного механического, безлюбого траха. Она сжала мышцы влагалища и покорно содрогнулась всем телом. В приливе самобичевания переключилась со своих гадких мыслей на мещан, толкущихся в до смешного заполненном кафе.

И как раз в этот миг ощутила на себе его взгляд.

Она понятия не имела, сколько времени он уже на нее смотрел. Сначала она заметила его улыбку, но из принципа не подумала улыбнуться в ответ. Еще один клеиться, блин, собрался. Те, кто жаждал обсосать с ней ее неполноценность, были, как правило, хуже всех. Выискался как-то старый хрен, убеждавший ее, что он англиканский священник. На сей раз ей подобной туфты не надо.

Едва он подошел и сел напротив, ее ошеломило знакомое чувство родства. Братец панк. Рыжие волосы, кожаная куртка, сколотая безопасными булавками в самых невообразимых местах. Выглядел он каким-то дистиллированным: чересчур кондовый, чересчур выделанный. Сплошной пластик.

— Ничего, я приземлюсь тут? — Выговор иностранный, похоже, немецкий.

Саманта обратила внимание на выговор, обратила внимание на одежду. Пока куртка висела у него на плечах, ей и невдомек было, что они с ним похожи больше, чем ей сперва представлялось.

— Меня зовут Андреас. Я бы пожал тебе руку, — засмеялся он, — но как-то не думаю, чтоб ты меня правильно поняла. — Он сбросил куртку, дабы продемонстрировать растущие из плеч плавники — такие же, как у нее. — А может, — он улыбнулся, — вместо этого поцелуемся?

Саманта непроизвольно скрежетнула зубами, но она догадывалась, что эта реакция едва ли пересилит другую: дурнотный, истеричный, расслабляющий приступ тотальной приязни.

— Жопу мою поцелуй, — отрезала она в панковской фирменной манере. Фраза вышла такой же аляповатой, как Андреасов прикид.

— Что ж, печально, — сказал Андреас; он и впрямь казался печальным. — Я смотрю, ты девушка злая, да?

— Чего-чего? — эта настырность ее и угнетала, и заводила.

— Я так и думал. Это нормально. Нормально быть злой. Но когда злость касается всего, это уже извращение, да? Извращение характера. Мне-то уж поверь. Но умные люди говорят: не злись, а взвешивай. Слыхала?

— Угу.

Раньше Саманта уже встречала теназадриновых детей. Такие встречи всегда оборачивались порядочной встряской. Главная тема для общего разговора — их ненормальность — просто гипнотизировала. Притвориться, что ее нет, но именно что притвориться? Грозовой тучей тема нависала над любой ни к чему не обязывающей болтовней. Более того: какая-то часть ее существа презирала собственных товарищей по несчастью. Глядя на них, она сознавала, как сама выглядит, как ее воспринимают остальные, обычные. Как человека с недостатком; с недостатком рук. А коль уж на тебя наклеят ярлык «с недостатком», его пытаются распространить на все сферы личности: на интеллект, на судьбу, перспективы. Хотя вот Андреас ни капельки не казался рохлей, не вызывал омерзения. На вид он был полноценен, несмотря на физические данные. От него исходил один лишь поразительный преизбыток существования; она чувствовала ток основательности, окутывающий его. Она училась маскировать свои страхи смехом, а он, как ей тогда представилось, заставлял жизнь плясать под заказанную им музыку.

— Пойдешь вечером в «Вортекс»?

— Может, и пойду, — выговорили ее губы. Она не любила «Вортекс», терпеть не могла тамошнюю тусовку. Она даже не знала, кто там сегодня играет.

— Играют «999». Группа отвратная, но все они на одну колодку, коли наглотаешься амфа и пива, а?

— А-а, ну да.

— Меня зовут Андреас.

— Ага, — скомканно ответила она, а затем, чтобы слегка опустить его брови, ибо с поднятыми он смотрелся чуть-чуть экзотично: — Сэм. Только не Саманта, договорились? Сэм.

— Саманта лучше. Сэм — имя для мужчины, а не для симпатичной девушки. Никому не позволяй сокращать себя, Саманта. Не позволяй больше себя сокращать.

К ее горлу подкатил комочек ярости. За кого он себя держит? Только она раскрыла рот, он сказал:

— Саманта... ты просто красотка. Увидимся в «Корабле» на Уордор-стрит в восемь вечера. Увидимся?

— Да, наверно, может быть, — сказала Саманта, понимая, что придет в «Корабль».

Она посмотрела ему в глаза. Глаза были сильные и жаркие. Вдруг ей подумалось, что по сравнению с его рыжей шевелюрой они до колик синие.

— Ты чего, в зоопарке подхалтуриваешь или где? На хрена тебе этот фламинговый хохолок на макушке?

Андреас принял загадочный вид. Саманте на миг почудилось, что она лицезреет некую ипостась карающего ангела, но затем физиономия Андреаса стала настолько невыразительной, что, скорее всего, то была иллюзия.

— Да-да... фламинго. Саманта сострила, сострила, да?

— У тебя с юмором проблемы или как, вообще?

— Молода ты слишком, Саманта, слишком молода, — констатировал Андреас.

— Ты что, припух? Нам лет одинаково. Ну, пара недель разница.

— Да и я слишком молод. Впрочем, настоящий-то возраст — внутри.

Она едва не рухнула вновь в средоточие своей злобы, но Андреас уже поднимался.

— Пока. Но сперва я тебя поцелую, ладно?

Саманта застыла. Он наклонился и поцеловал ее в губы. Это был нежный поцелуй. Он на секунду задержал губы, и она нехотя, на пробу ответила. Затем он отстранился.

— В восемь, да?

— Да, — ответила она, и он ушел.

Она осталась одна, и это одиночество ранило. Она знала, что думают вокруг: двое теназадриновых поцеловались. Ладно, решила Саманта, по крайней мере он не разевает рот на мою пенсию по инвалидности.

Она ушла вскоре после него, бесцельно прогулялась по Чаринг-кросс-роуд, срезала угол до Сохо-сквер, позагорала там среди чиновников. Потом поболталась по переулкам Сохо, дважды прошла по Карнаби-стрит, пока не успокоилась и не села в метро до станции «Шепардс-Буш», где делила жилплощадь с компанией юных отбросов, чьи персоны непрестанно менялись.

На кухне болезненно худой, рыжий маловозрастный доходяга с гнойными прыщами по имени Марк жрал бекон, яичницу и бобы прямо со сковородки.

— Вспутем, Саманта? — ухмыльнулся он. — Амфтик лищочо дай, а?

— Нет у меня, — грубо сказала она.

— Мэтти-Спада не бут до вечра. Я ужстра ломаюсь. Ночку, бл, закатили, бл. Звтрку один, как... Хавать хошь? — он кивнул на жарево, на глазах заплывавшее жиром.

— Нет... нет, спасибо, Марк, — Саманта выдавила улыбку.

Прыщи, казалось, высыпают на ее собственных щеках просто потому, что она очутилась в непосредственной близости от Марковой сковородки. Вселившимся шотландцам было всего по шестнадцать, но они были карой божьей: нечистые, шумные и ничего не смыслящие в музыке. Они отличались дружелюбием; к сожалению, чрезмерным: подкрадывались и дышали в спину, как стая игривых щенят. Она отправилась в комнату, которую делила с двумя другими девушками, Джулией и Линдой, включила черно-белый телевизор и то и дело посматривала на часы, чтобы выйти вовремя.

В «Корабль» она опоздала на десять минут. Он уже сидел там, в углу. Она подошла к бару и заказала себе кружку сидра. Потом уселась сбоку от него. Путь до столика показался ей бесконечным, и вроде бы все посетители паба на нее пялились. Странно, что,

после того как они обменялись улыбками и она нервно оглянулась, никто, оказалось, даже не смотрел в их сторону. Они крепко выпили, а у Саманты еще и отыскался косячок, хотя она и соврала шотландцу Марку, что косячка у нее нет.

Вечер в дискотеке, бэнд, усилители живого звука, в такт которым Андреас и Саманта непроизвольно покачивались. Саманта почувствовала ту свободу от каких бы то ни было запретов, которой не ведала до сих пор. Эта свобода была сильнее воздействия алкоголя и наркотиков; к ней причастен был именно Андреас и его расковывающая, заразительная основательность, его воодушевление.

Она понимала, что уйдет с ним. Ей не хотелось с ним расставаться, и она пошла сама, по собственной инициативе.

На шоссе Саманте показалось, что раю конец: дорогу заступили трое пьяных, посвистывающих скинхедов.

— Труппа уродов, мать их! — крикнул один.

— Пущай проходят, — сказал другой, — руки только марать. Ты вспомни, кто ты и кто они.

— А у нее сиськи разлапистые! Дай, красуля, подержаться! — и первый молокосос рыпнулся к Саманте.

— Отваливай! — завизжала та. А потом Андреас заслонил ее, перегораживая ему дорогу.

На харе бритоголового попеременно отразились выжидание, замешательство, а затем, в несколько судьбоносных секунд, осознание вероятных и крупных событий, не зависящих ни от его расчетов, ни от его воли.

— Освободи, ё, дорогу, ты, урод! — прошипел он Андреасу.

— Отойди, — сказала Саманта, — я за себя сама постою!

Андреас, однако, не двигался. Его зрачки вспыхнули. Он мерно скрежетал челюстями. Мнилось, он почти наслаждается всем этим безобразием; он полностью держит себя в руках. Говорить он, похоже, не больно-то и спешил, но все же заговорил — медлительным, официальным тоном:

— Оставь нас в покое, иначе я выкушу твою сраную харю. Понял, нет? Лица у тебя не станет.

Он не отводил взгляда. Глаза юнца с бритым черепом заслезились, потом забегали. Он принялся орать, но, казалось, лишь отчасти сознавал, что, крича, постепенно ретируется.

— Лады, Тони, лады, хер с этим уродским фрицем, давай выбираться, пока мусора не подвалили, — твердил его приятель.

И подобную обидную пургу они, отступая, ныли, но уже в паническом, подчеркнуто подвывающем стиле униженных и оскорбленных.

На Саманту это произвело впечатление. То есть Саманта изо всех сил старалась, чтоб не произвело, но тем сильней оказывалось впечатление, производимое на нее этим немцем.

— Ну, ты чумной.

Андреас склонил голову набок. Постучал псевдопальцем псевдоруки по виску.

— Я не драчун. Далеко достать не могу, — улыбка, — и потому мозг — моя главная арена. В мозгу я выигрываю и проигрываю сражения. Подчас получается, а иногда... не так чтобы очень, знаешь ли. — Он покачал головой и улыбнулся: се ля ви.

— Положим, но ты и впрямь отшил этих выродков, — сказала Саманта. Которая понимала, что бритоголовые — далеко не единственные психи в окрестностях.

Которая понимала, что втюрилась в Андреаса.

Трепливые твари

Мы разговаривали весь вечер, просто, ёшь твою, разговаривали. Я никогда на такую катушку не выкладывался, ни с каким конем, во всяком случае. Сволочизм в том,

что мне ни разу не было не по себе. Как будто не с конем разговариваешь, не с конем в привычном смысле, например. Я рассказывал о себе, о Бэле и мехмастерских; о маме и старом попрыгунчике; о Вше и маленьком; но в основном о конторе, о махаловках, в которых мы побывали, и о тех, в которых собирались побывать, и о том, как я думаю обработать этого Лайонси из «Милуолла». Как я его собираюсь урыть.

При этом я не мог оторвать глаз от ее лица. Я даже вякал иногда, как пидор какой-нибудь: «Ничего, если я потрогаю твою щеку», — просил я ее.

«Ничего», — говорила она.

И у меня не было мочи перестать трогать ее щеку. Мне, в общем, ничего больше не было надо, разве что коснуться ее чуть-чуть ниже. Не то чтоб пощупать или что там другое, а просто побыть с ней рядом. Я мечтал о громадном, что ли, доме для увечных, где мы остались бы вдвоем. То есть хочу сказать, я в нее типа того что влюбился.

Когда музыку вырубили, мне пришлось пригласить ее прошвырнуться. Самое в ней странное было то, что ей было любопытно все — все, что касалось меня. Даже в те минуты, когда я рассказывал ей о разных махаловках и так далее, ей было вроде любопытно.

Я позаимствовал тачку у одного из знакомых мусоров, мы поехали в Борнмут и провели целый день вместе. До того я никогда так себя не чувствовал. Я чувствовал себя кем-то другим. Кем-то иным.

Потом я очутился в кафешке, морду, как учили, держу лопатой, и едва мы вышли, наткнулись на троих хмырей, которые стояли, лупились и хмыкали на Саманту. На мою Саманту.

— Куда вы, бля, смотрите? — спрашиваю. Один из хмырей, его щас раздерет от самоуверенности:

— Никуда.

— Прекрати, Дейв, — говорит Саманта, — они ж ничего не делают.

— Эй, а какие у вас вопросы? — спрашивает вторая сука, явно трепливая. Ну, подобное обхождение я терпеть не намерен.

В такие минуты я всегда вспоминаю старые фильмы с Брюсом Ли. Вся эта кун-фу — хрень собачья, но у Брюса Ли там была одна реплика, которая помогает мне в самых херовых переделках. Он там говорит: «Вы ублюдка кулаком не угробите, зато вы его кулаком проткнете». Так вот эта трепливая тварь — у меня в глазах только кирпичная стена вокруг его рожи. До нее-то я и добирался, ее-то и хотел прошибить.

Потом я осознал, что стою напротив остальных хмырей, а того уже нет в поле зрения, и спрашиваю:

— Кто на новенького?

Те замерли, осматривая эту жопу на полу, о которой не скажешь ничего хорошего. Пара любопытствующих зевак тоже впиндюрили туда свои рыла, и я решил податься обратно в Лонд, тем более что Саманта жила в Ислингтоне, рукой подать, от чего я просто тащусь. Впрочем, неинтересный инцидент у кафе полностью запорол наш вечер.

— Зачем ты это? — спросила она меня в тачке, когда мы уже выезжали на двухрядку.

Нет, она не казалась чересчур сердитой, скорее удивленной. Она такая красивая, что в голове не помещается. Я еле-еле следил за дорогой. Мнилось, пока я гляжу ей в рожу, теряю время.

— Они куражились, не выказывали тебе должного уважения.

— А это для тебя играет роль: не презирают ли меня, не оскорбляют ли?

— Для меня это играет большую роль, чем что-нибудь еще, — говорю ей. — Я никогда ничего подобного не чувствовал.

Она на меня смотрит как бы, по всему судя, задумчиво, но не говорит ни слова. Чересчур я, ёшь-то, развязал язык. Таблетки, таблетки, знаю, однако они работают внутри, я ж контролирую свой язык снаружи.

Мы едем туда, где она живет. Мне немного неловко, потому что на стене висит ее фотка вместе с ее хмырем. Они там моложе. Суть в том, что он такой же, как она, без рук.

— Так это твой приятель? — спрашиваю. Не могу не спросить.

Хохочет мне в лицо.

— Раз у него нет рук, он должен быть моим приятелем?

— Нет, я не хотел сказать, что...

— Это просто мой знакомый немец, — говорит она.

— Чертов фриц. Две мировые войны и один мировой кубок, сучка. Так он что — твой приятель?

— Да нет, нет. Хороший знакомый, вот и все.

У меня щиплет в глотке, я готов обнять говняного фрица. То бишь несчастного хмырька такого, безрукого, толку-то от него сейчас, ёшь-то, а?

И мы говорим еще, и Саманта мне кое-что рассказывает. Кое-что о том, что с ней было. Кое-что, из-за чего, ёшь-то, у меня вся кровь вскипает.

Нью-Йорк, 1982

Брюс Стерджесс добился всего, чего хотел, а именно шикарного офиса в центре Манхэттена. Недоставало избавиться от ряда царапающих, навязчивых воспоминаний. Он подошел к северному окну, откуда открывался очаровательный вид на Сентрал-парк. Великолепные небоскребы Крайслера и Эмпайр-стейт-билдинг высились над головой, с пренебрежением глядя на его солидный этаж, как вышибалы в дорогом казино. Всегда находятся те, кто глядит на тебя сверху вниз, горько улыбнулся он, как бы высоко ты ни забрался. Эти постройки — суперкласс, особенно крайслеровское ар-деко. Он вспомнил, как в «Ночи в городе» Фрэнк Синатра и Джин Келли увешали весь центр театральной бутафорией. Свобода в миниатюре — вот чем был для него Нью-Йорк. Свобода, конечно, оказалась стандартной и предсказуемой, но, увы, не лживой, не лживой. По крайней мере, величие городского ландшафта так и не смогло перевесить образы неправильно скроенных детских тел, что жгли череп изнутри. Его черная полоса. Пришлось набрать лондонский номер Барни Драйсдейла. В подобные минуты сам тембр голоса Барни, его беспечный, грубоватый оптимизм приводили Брюса в чувство.

Барни Драйсдейл, упаковывающийся у себя на квартире в Холленд-парке, меньше всего на свете желал подходить к телефону.

— Еще что? — озабоченно простонал он. Барни собирался отбыть на длительный уик-энд в свой валлийский коттедж и расчистить место для почти безвыездного месячного пребывания там всей семьи.

— Алло...

— Старик! — чуть ли не издевательски воззвал Брюс.

— Брюс! — расхохотался Барни, мгновенно развеселившись при звуке приятельского голоса. — Чертяка! Как ты там с янки ладишь?

Стерджесс выдал пару-тройку расхожих пошлостей. До чего приятно снова услышать Барни. Тон его чуть, но разве что чуть захолодел, когда речь зашла о жене Филиппе и мальчиках. Он не поддерживает с ней отношений. Мальчики хорошо устроены, где-то там на Лонг-Айленде, но Филиппа терпеть не может Америку. Рейды по торговым залам Блумингсдейла и Мейси не смогли смягчить зарождающегося в ее сердце разочарования. Зато Стерджесс обожал Нью-Йорк. Обожал свое инкогнито человека, который пока не познакомился со всеми теми, с кем должен был. Ему нравились ночные клубы. Он вспомнил мальчика, которого поимел прошлой ночью в туалете восхитительно похабного заведения в Ист-Виллидж...

— Ты позвонил в самое неудобное время, старина, — извинился Барни. — Я как раз собираюсь оттянуться на природе до понедельника.

То же самое, расплылся Стерджесс, почесывая промежность и озирая из окна офиса небоскребный горизонт Манхэттена, собираюсь сделать и я.

— Роскошная перспектива, — сказал он.

«Роскошная перспектива», — подумал он. Но в глубине души его что-то смущало.

Чужие уродства и фиксация на мальчиках: контролируй себя. Так недолго и разрушить все, чего таким потом добивался. Полезно было поболтать с Барни. Слава богу, что на свете есть Барни.

Несправедливость

Мы видимся с Самантой чаще и чаще. Главное дело, я ее не трогаю. Хорошо б достичь того уровня, на каком я сравняюсь с ней. Точно меня колышет, что у нее нет рук. Когда мы вместе, мы попросту разговариваем, но штука в том, что меня не устраивает, о чем. Она твердит о своих руках и о хмырях, которые продавали фигню, лишившую ее этих самых рук. Меня все это достало: я просто хочу смотреть на нее.

Проблема в том, что я мало что могу с этим поделать, потому что меня на самом-то деле ничто не волнует, кроме как быть с ней.

— Ты глядишь на меня и хочешь со мной спать. Ты хочешь меня трахнуть, — говорит она. Подобные вещи она высказывает попросту, с бухты-барахты.

— Ну и что, если я тебя трахну? Это законом запрещено, что ли? Нет такого закона, чтоб нельзя было хотеть кого-нибудь, — говорю ей. Тут я слегка струхнул: дело-то ведь у меня дома и она не иначе как лазила в холодильник. Надеюсь, не обнаружила ни дыню, ни крем. Слава яйцам, я успел снять Опал с холодильника.

— Ты не сечешь, что это для меня значит. Уродка, неполноценная баба. У меня отняли нечто важное. Я неполная, и пускай они за это расплатятся. Не горсткой долларов в банке: я хочу справедливости. Я хочу Брюса Стерджесса, мудака, который распространял этот препарат на нашем рынке, который обкорнал нас.

— Ты хочешь, чтоб я помог тебе припугнуть этого кренделя Стерджесса? Лады, я согласен.

— Не понимаешь ни фига! Мне не надо, чтоб ты его урыл. Он тебе не какой-нибудь хмырь, который тащится от футбола или въяривает в пабе за углом. Не надо мне, чтоб его пугали! Мне нужны его руки. Мне нужны его отпиленные предплечья. Мне нужно, чтоб он понял, каково это!

— У тебя же не хватит... ты ведь не всерьез это...

— А что стряслось, конторский? у тебя запал протух? — подкалывает она, и лицо ее меняется, и выворачивается все, точно не она передо мной.

— Нет, я просто...

— Я достану этого поганого ублюдка с твоей помощью или без нее. Мне хочется, чтоб эта сука впитала, каково быть уродом. Он изменил меня во чреве матери. А я хочу его изменить. Ясно? Деньги их траханые мне не нужны. Я хочу забрать у них то, что они забрали у меня, и чтоб они поняли, понадобятся или не понадобятся им после этого их говняные деньги. Я хочу, чтоб они поняли, как это бывает, когда кто-то неизвестный кромсает тебя, чтоб они ощутили, как тебя трансформируют... как отнимают твою ячейку в этом мире. Выродки вроде него все время этим занимаются: отнимают рабочие места, дома, жизни, все из-за их хитрой стратегии, и не чуют разрухи, которую приносят людям, не находят времени почуять. Я хочу, чтоб он это увидел, и еще я хочу, чтоб он это ощутил. Хочу, чтоб он ощутил, как это — быть уродом.

— Ты не уродка! Ты изумительная! Я тебя люблю!

Ее лицо раскрывается, как ни разу до, как будто она чувствует то же, что я.

— Тебе когда-нибудь ногами делали? — спрашивает она.

Пембрукшир, 1982

Всякий раз, когда Барни Драйсдейл терзал и насиловал свой старый «лендровер», понуждая его взбираться по крутой дороге к коттеджу, он ощущал, как на него нисходит

спокойствие. Выходя из машины, он оглядел строение из древнего камня, глотнул свежего воздуха и окинул взглядом простор вокруг. Лишь холмы, источники, пара фермерских хозяйств, стада овец. И ему это было по нутру.

Завтра у него будет компания — из Лондона приедут Бет и Джиллиан. Так было заведено в семье: Барни приезжал первым, «затопить камелек», как он всегда говорил. Обожал осматривать участок в одиночку, отмечая свой вклад в усовершенствование поместья. На самом-то деле усовершенствования были заслугой рабочих, которые превратили беспризорную каменную руину в дом его мечты. Барни озирал участок, распределял фронт работ, грозился, дулся, примеривался к мотыге, но так и не завоевал среди рабочих доверия — даже если привозил немереное количество пива или настаивал, чтоб они закончили сегодня пораньше и отправились в сельский паб. Он считал местных чересчур квелыми и зачуханными. Не соображая, что если их кто и зачухал, так именно он. Когда он заходил в паб, они, один за другим, увиливали домой под разными предлогами. А потом звонили бармену и справлялись, не отвалил ли еще Барни, а если отвалил, возвращались продолжать попойку без него.

В коттедже царила холодная сырость, и Барни решил зажечь уголь в камине. Минут тридцать он тянул волынку, шатался по комнатам, но тут сгустилась ночь. Барни отправился за порцией топлива наружу, в угольный сарай, каковой пребывал в полнейшей темноте, никак не освещаясь светом окон. Он наслаждался прогулкой сквозь тьму, ощущая дуновение ночной свежести на коже.

Едва его осторожные шаги захрустели по гравийной тропинке, Барни почудился шум вроде кашля. В животе его затвердел страх, но звук был слишком далек, и Барни сам посмеялся своей нервозности. Он захватил для очага уголь и поленья.

К своей досаде, Барни обнаружил, что у него нет растопки. Сельский магазин в этот час, судя по всему, был уже на запоре.

— Проблем-то куча, — сказал он.

Он накомкал в камине газет, напихал туда щепок и угольной крошки. Труд был долгий, требовал терпенья, но огонь в итоге занялся весьма и весьма неплохо.

Некоторое время он посидел у очага, затем, не находя себе места, отправился в деревню и опрокинул пару стопок в тамошнем пабе, перелопачивая «Телеграф». К его громадному сожалению, в пивной он не застал никого из знакомых: ни местных рабочих, ни наемных со стороны. Осознав, что в здешних краях уделом ему будет лишь меланхолическое одиночество джентльмена, он направился домой.

Дома Барни опустился в кресло перед камином: телесериал, рюмка портвейна и пара ломтиков стилтонского сыра. От горелки бойлер работал безупречно, дом нагревался; Барни стал задремывать и отправился на боковую.

Тем временем кто-то вошел на первый этаж.

Силуэт двигался в полной темноте с изумительной грацией и оглядкой. С плеча фигуры, где должна была бы находиться рука, свисала большая канистра. Содержимое канистры предназначалось для того, чтобы пропитать ковры и шторы керосином.

Снаружи некто держал в зубах кисть. С неимоверной быстротой и ловкостью, отклоняя голову то вперед, то назад, темная фигура выводила на стене коттеджа:

CYMRU I'R CYMRU
LLOEGR I'R MOCH

Священные коровы

Мы пригоняем грузовичок в Ромфорд, к дому того безмозглого пня, у дверей которого притулился дряхлый «астон-мартин».

— Полста, мужик, и он твой, — говорит этот глупый крендель. — Я ему цену знаю, не сомневайся. Я столько труда в него вложил, еще пара ударов, и он поедет. Меня от него уже мутит просто, иначе черта с два б я его продал.

Заглядываю под капот. Навскидку не так уж плохо. Бэл тоже смотрит и качает головой:

— Не-е-е... это ж рухлядь, мужик. За десятку мы, так и быть, возьмемся отвезти его в металлолом.

— Не свисти. Я кучу бабок за эту машину отдал. А потом еще столько же в ремонт вложил, — говорит пенек.

— Да чтоб привести ее хоть в какой-то порядок, потребуется две сотни минимум. Во-первых, сцепление на выброс, сразу видно. Охота тебе бабки на ветер кидать.

— Как насчет сорока? — уступает он.

— Мы деловые люди, мужик. У нас каждый фунт на учете, — пожимает плечами Бэл.

«Харя» чешет в затылке и соглашается на десятку. Ничего, я эту красулю мигом на колеса поставлю. Цепляем ее к грузовичку и тащим в наши мехмастерские.

Вообще, это заброшенное место нагоняет на меня жуткую тоску. Особенно тяжко находиться здесь в такой вот жаркий летний день, как сегодня. Думаю, потому, что солнце и до крыши не дотягивается, вокруг понатыкано небоскребов. Внутри не бывает дневного света, наяривают пыльные лампы. Когда-нибудь я, клянусь, не выдержу и продырявлю, ёшь-то, крышу, чтоб хоть кусочек неба был виден. От калорифера несет керосином, от разбросанных деталей — машинным маслом, короче, запашок тот еще, наваристый. Кроме того, там воцарился какой-то непоправимый бардак. Железяки вперемешку валяются и на полу, и на громадном столе. Потом высоченная дверь на направляющих, от которых отвалился шкворень. Приходится запирать эту сволочь на висячий замок. По утрам я до белого каления дохожу, ковыряясь ключом в скважине.

А Бэлу здесь нравится. Натащил всяких долбаных инструментов, даже ту бензопилу, которой орудовал прошлой зимой, когда для приработка валил деревья в Эппинг-форест, а потом давал в «Адвертайзере» объявления о льготной торговле крупными партиями дров.

Нет, сегодня в мастерских чересчур жарко.

— Готовый автомобиль ежеминутно сходит с конвейера, а, кореш? — смеется Бэл, шлепая тачку по крылу.

— Да, придурок херов, ежеминутно. Хоссподисусе, ну и парилка. Слушай, мужичок, чегой-то у меня в горле пересохло. Как насчет глотнуть?

— Что ж, годится. Встречаемся у «Скорбящего Мориса». Я с ней сперва чуток поваландаюсь, — говорит он, снова похлопывая машину по капоту, ласково так, точно это задница, или сиськи, или типа того.

Ну, дорвался: автомобильный фанат, мать его. Меня больше привлекает мысль о Самантиных грудях и бедрах. Ох ты. Из-за этой чертовой жары у меня встал, да еще как встал-то. Я часто задумываюсь: имеет ли это какое-то научное объяснение или происходит просто оттого, что летом все кони разгуливают полуголыми? В общем, так или этак, скоро я до нее дорвусь, а покамест не повредит кружечка вкусного холодного пива. А Бэл пускай тут горбатится.

Наше общество перенасыщено полицейскими. Не успел я пробыть в пабе и пяти гребаных минут, не успел сделать и двух траханых глотков, как подваливает этот мусор Несбитт — прямо заходит к «Морису» с таким видом, будто он и есть хозяин сего заведения.

— Как она, Торни?

— Комиссар Несбитт. Какой приятный сюрприз.

— Не вижу ничего приятного в общении с криминальными элементами.

— Золотые слова, Джон. Сам от них как от чумы шарахаюсь. Хотя при твоей-то работе избежать этого нелегко, так что ты молоток, хитрован ты, ценю. Очков-то на этом много не наберешь, верно? Служебные перестановки у вас, должно быть, в порядке вещей. Никогда не пробовал автомобилями торговать?

Хмырь молчит, пыжится, испепеляет меня взглядом, точно я перед ним извиниться

должен. Бармен Билли и его новенькая помощница глумливо хихикают. А я просто салютую сучьему мусору кружкой: твое здоровье!

— Где твой дружок Личи?

— Барри Лич... давненько Бэла не видал, — отвечаю. — То есть на работе-то, конечно, когда вас всего двое в деле, не больно-то разминешься, но вот в целом мы с ним последнее время почти не контачим. По разным компаниям нас развело, улавливаешь мою мысль?

— Ну и в какой компании он теперь тусуется?

— У него самого спроси. Мы эти дни вкалывали не разгибаясь, некогда было про всякие тусовки-фусовки разговаривать.

— На той неделе вы заявитесь на «Милуолл», — говорит он.

— Не понял?

— Ты мне мозги не пудри, Торни. Матч «Милуолл» — «Уэст-Хэм». Национальная футбольная лига под эгидой страховой корпорации «Эндсли», первая группа. На той неделе.

— Извини, шеф, я сейчас не очень-то в курсе расписания матчей. Потерял всякий интерес с тех пор, как Бонзо сделали координатором. На поле ему равных не было, но координатор из него никакой, знаешь ли. Печальные, конечно, дела, но жизнь есть жизнь.

— Рад это слышать, потому что, если в субботу я запримечу на том берегу твою несчастную задницу в любом виде, прикиде и качестве, загребу тебя за подстрекательство к массовым беспорядкам. Даже если тебя застанут в кройдонском пассаже, увешанного мешками игрушек, купленных для голодающих сирот, тебя все равно прищучат. Не суй свой нос в Южный Лондон.

— Только рад буду, мистер Н. Паршивый районишко, мне там никогда не нравилось.

Сроду не жаловал мусоров. Не из-за их службы, а просто по-человечески. Туда ведь не каждый пойдет, сечете, о чем я? Именно те вороватые, трусливые ребятишки, которых вы в школе мутузили, как раз и идут потом в мусора. Думают, надену, блин, форму, и все начнут мне жопу лизать. Впрочем, главная проблема с мусорами не в этом, а в том, что они все вынюхивают, вынюхивают. Вот эта сука Несбитт — коль уж вцепится в кого-нибудь, черта с два отпустит. Вы их лучше натравите на педиков, что трутся у детской площадки и лапают малышей. Больные, и мусора обязаны за ними приглядывать, а не кидать подлянок людям, которые свою лямку тянут как проклятые.

Едва сучий мусор Несбитт выметается из паба, я звоню Бэлу в мастерские:

— «Милуолл» отменяется. Несбитт раскопал. Он сюда приходил, к «Морису», и грозился вовсю.

— Чего это он раньше времени растявкался? Ага, значит, у него личного состава не наберется, чтоб выстроить заслон. Дополнительное сокращение штатов, ну ясно. В «Адвертайзере» об этом все написано. Были б у него люди, молчал бы в тряпочку и попробовал бы повязать нас на месте. Я, что ль, должен тебе рассказывать, что мусора любят крупные заварухи: есть повод нажаловаться политикам, что общественный порядок-де совсем захирел, и нужно побольше денег, чтоб нанять побольше мусоров.

А потом, если мы отменим акцию, милуолльские суки решат, что Восточный Лондон окончательно спекся.

— Правда, есть одно «но», — говорит Бэл. — Через две недели будет Ньюкасл.

Да. Остается время собрать всю контору в кулак. Это лучше, чем «Милуолл»; до Ньюкасла еще доехать надо, ха. И провинциалы могут зашевелиться. Их достали наши чисто лондонские махаловки. Будь доволен, если про акцию с «Милуоллом» хоть занюханный «Стандард» напишет, да и тот навряд ли.

Ньюкасл меня больше устраивал. Лайонси оттуда никуда не денется. Я набрал приличный вес, натренировал удар, словом, подготовился к встрече с этой сукой. В гробу я видал «Милуолл» без амбала Лайонси. Видно было, что вариант с Ньюкаслом задел Бэла за живое — он прискакал в паб как угорелый и потянул меня в отдельную кабинку. Да еще то и дело шугал хмырей, которые туда заглядывали.

— Знаешь, — сказал он, — меня тревожат Ригси и прочие. Этот их экстази, Торни, этот их треп о мире и дружбе.

— Понятно, — говорю я, а сам думаю о Саманте. Вечером мы с ней увидимся. На ее квартире в Ислингтоне. Она ногами такие штучки вытворяет. Зажимает подошвами мой член и просто потягивает, тихонько так, и я выплескиваю целый фонтан, даже не успев сообразить, что со мной, ёшь-то, приключилось.

— Этот их треп меня заколебал, — говорит Бэл, — ну прямо зла у меня не хватает, Дейв.

— Понятно, — говорю.

Саманта. Хосподисусе. Скоро мы ее дело обстряпаем в лучшем виде. Но Бэл, вот гад-то, будто мысли мои, ёшь, читает.

— Слышь, корешок, — начинает Бэл, хмурый как туча, — ты ведь никакому коню не позволишь все обхезать? Нас с тобой, работу, контору и все прочее, а?

— Конечно нет, — говорю. — У нас с Самантой не те отношения. Она силовые методы очень уважает. Прям-таки млеет от них, по-моему.

И точно уважает, я ему не вру.

— Да? — улыбается он, но я ничего больше не говорю, уж только не про Саманту. Все, что требовалось на данный момент, я сказал. Он отводит глаза. — Понимаешь, меня просто сегодня тревожат ключевые люди, именно ключевые. Ну, например, Ригси и Культяпый. Им ведь на самом деле ничего больше не надо. Упадок какой-то, право слово. С этими хмырями чувствуешь себя как в Древнем Риме, бесконечное, бля, эротическое путешествие. Неудивительно, что илфордские совсем зазнались. А кто будет следующий? Психованная жопастая шобла из Базилдона? Восточногэмпширские? Команда Грея?

— Притормози! — хмыкаю я. — Какая, в конце концов, разница, кто зазнался, кто нет? Мы этих подонков все одно сделаем!

Он улыбается, и мы чокаемся кружками. Бэл и я, мы с ним, ёшь-то, ближе, чем кровные братья. Духовные соратники и все такое. Всю жизнь ими были.

Теперь голова должна болеть о Саманте, хотя... я вдруг вспоминаю песню «Эй-биси», одну из моих любимых, про то, что прошлое — священная корова, а ты иди, иди себе вперед.

Вот в чем Бэлов заскок, он слишком усердно молится священной корове прошлого. Кто-то, кажется старуха Мэгги, выразился в том смысле, что все мы должны стремиться к новизне и принимать вызов будущего. А ты не принимаешь вызов — ты в калоше, точно печальные алкоголики с Севера, которые льют и льют в свое пиво слезы по когдатошним фабрикам, по закрытым шахтам.

Не смей делать из прошлого священную корову, ёшь-то!

Есть настоящее — мы с Самантой, Самантины заботы. Не могу я больше сидеть тут и слушать Бэла, надо встряхнуться перед встречей. Нам же ночь вдвоем предстоит.

Дома включаю автоответчик: голос Вши. Я даже не вслушиваюсь в то, что она там бормочет. Паскудство какое, я думал о Саманте, и мне было хорошо, а эта лезет в мою жизнь немытыми штиблетами, будто у нас с ней есть хоть что-то общее.

Мне только Саманта нужна.

Переодеваюсь и мчусь к ней задолго до условленного. Предчувствую, что будет, и снова в отличном настроении, потому что, когда из-за угла прямо на меня выворачивает самосвал, я не вякаю, не лаюсь с шофером, не сую ему в зубы, я просто улыбаюсь и машу рукой. Вечер слишком прекрасен, чтоб кипятиться из-за какого-то сраного раздолбая.

Судя по выражению лица, она готова. Ну да, к чему тратить время.

— Снимай с себя все и ложись на кровать, — сказала она мне.

Что ж, я так и поступил. Стащил джинсы, рубашку и туфли. Снял носки и трусы. Забираясь в постель, почувствовал, как толстый стебель начал топорщиться.

— Мне всегда нравились хуи, — сказала она, выскальзывая из кофточки, как змейка.

Так она двигалась — как змейка. — По-моему, все выступающие части тела очень красивые. У тебя их пять, а у меня только две. Значит, одну ты мне должен отдать, так?

— Да, так... — сказал я, перед глазами поплыло, и голос сделался чертовски хриплым.

Она сняла леггинсы, помогая себе ногами, сперва с одной ноги, потом с другой. Они были похожи на руки, эти ее ноги. Чем больше я наблюдал за ней, тем меньше верил, что такое бывает.

Я впервые вижу ее совершенно голой. Я, конечно, раньше представлял себе этот момент, целыми днями, изо всех сил представлял. Забавно, после этого я всегда чувствовал за собой какую-то вину, что ли. Не в связи с тем, что у нее нет рук, но потому, что представлять голой ту, которую по-настоящему обожаешь, в общем-то мерзко, но я уж такой, какой есть, и не привык справляться с подобными мыслями. И вот она передо мной. Ноги длиннющие и ладно скроенные, идеальные женские ноги, и чудный плоский живот, и восхитительный зад, и большие груди, и лицо. Дьявольское лицо, будто у ангела чертова. Затем я посмотрел туда, где у всех растут руки, и... расстроился.

Расстроился и разозлился, ёшь-то.

— Люблю ебаться, — говорит она. — Мне не пришлось этому учиться. Врожденный талант. Моему первому парню было двадцать восемь, а мне двенадцать. В приюте. Он чуть не свихнулся. Тут все дело в бедрах, а никто так не владеет своими бедрами, как я, и такие, как я. Никто так не владеет губами и языком, как я. Знаешь, многим мужчинам это правда нравится. Да, ясно, считается, что только извращенцы способны сношаться с уродками...

— Нет, не уродка ты. Не называй себя так...

Она мягко улыбается мне:

— Хотя изюминка, очевидно, в том, что имеешь неограниченный доступ. Нет рук, чтоб отталкивать парней. Им нравится думать, что я беззащитна, что из меня не торчат эти грабли, которые их отпихивают, мешают им получить свое. Ты ведь такой же, правда? Вот оно все перед тобой, неограниченный доступ к грудям, к пизде, к заднице. Куда вздумается. Ух, если б у меня еще и ног не было, да? Просто кукла для ебли. Ты мог бы сплести сбрую, запрячь меня в нее и иметь с какой угодно стороны, в какое угодно время. Ты считаешь, я беззащитна, лежу тут исключительно для твоих нужд, чтоб ты совал в меня свой дымящийся хер утром, и днем, и вечером.

Не то она говорит, ёшь-то, не то. Не то она говорит. У меня уже мания какая-то. Наверно, в тот раз нашла в холодильнике дыню... точно, нашла.

— Если ты имеешь в виду дыню...

— Ты это о чем? — спрашивает она.

Значит, не нашла, слава яйцам. Я снова наезжаю на нее:

— Ну для чего ты все это говоришь? А? Я люблю тебя. Я люблю тебя, ёшь-то!

— Иными словами, хочешь сношаться со мной.

— Нет, я люблю тебя, люблю же.

— Ты меня чуть-чуть огорчаешь, мальчик с Майл-энда. Тебе что, никто никогда не говорил, что любви на этом свете не существует? Существуют лишь деньги и сила. Вот это слово я понимаю: сила. Я росла и зубрила, зубрила про эту силу наизусть. Сила, против которой мы восстаем, когда пытаемся стребовать с них долг, стребовать то, что наше по праву: с капиталистов, с правительства, с юстиции, со всей этой ебаной клики правящих миром. Как они, черт, навострились сплачивать ряды и цепляться друг за дружку! Тебе это еще только снится, Дейв. Разве не тем же занимаетесь ты и твоя контора, только в своем, игрушечном масштабе? Сила, чтобы причинять боль. Сила, чтобы присваивать. Сила, чтобы быть таким крутым, что тебя никто никогда не посмеет облапошить. Никто никогда? Но это роковая ошибка, Дейв, потому что кто-нибудь да когда-нибудь обязательно облапошит.

— Может, я раньше так думал, но теперь изменился. Мне лучше знать, что у меня на душе, — говорю я ей. Прикрываю рукой промежность. Эрекции как не бывало, положе-

ние самое идиотское: сидишь в постели голый рядом с голой девчонкой и ни хрена не предпринимаешь.

— Что ж, очень жаль, миленький мой конторский. Потому что, если ты не врешь, ты мне не подходишь. Не нужен мне болван, который разочаровался в силе. Все вы, мужики, такие: на словах орлы, а до дела дойдет — в бега. Всегда такими были. Вот папочка мой тоже в бега ударился.

— Не разочаровался я, ёшь-то! Я на все для тебя готов!

— Хорошо. В таком случае я намерена сосать твой член, пока он не встанет, как в прежние времена, а потом ты сам выберешь, куда меня употребить. Все запреты, как говорится, налагает только твое собственное воображение.

Так она решила, и я ничего не мог с этим поделать. Я любил ее и хотел о ней заботиться. Хотел, чтоб и она меня любила, а не лаялась, ровно озверевшая шлюха. Не по нутру мне девушки, которые так вот лаются. Видно, начиталась всяких пакостей или с психами наобщалась, от них и подцепила эту манеру разговора.

Да, я ничего не мог поделать, и знаете что? По-моему, она с самого начала отлично понимала, что так все и будет, по-моему, отлично, ёшь-то, понимала.

Она накинула халатик. И сразу стала до того красивая, может, потому, что он повис у нее на плечах так, словно бы под ним были руки. Но если бы под ним были руки, она б сейчас тут не рассиживала с таким отребьем, как я.

— Когда ты собираешься пришить Стерджесса? — спросила она.

— Не стану я его пришивать. Не стану, и все.

— Если любишь меня, станешь! Ты ведь только что обещал! — закричала она. Заплакала. Блин, не выношу, когда она плачет.

— Так не годится. Я даже не знаю этого хмыря. Это ж убийство, понимаешь?

Поглядела мне в лицо, села на постель рядом.

— Дай-ка расскажу тебе одну историю, — говорит. И, пока не закончила, всхлипывала.

Сразу после родов Самантин старик отчалил. Не смирился с тем фактом, что у его дитяти нету обеих ручек. Зато старуха, та без затей пошла и тихо повесилась. Так что Саманта росла в холе и неге. Правительство и разнообразные судебные инстанции горой стояли за тех, кто произвел лекарство, ей сперва даже не собирались выплачивать пособие по инвалидности, ни ей, ни другим детям, которые родились безрукими. Вот так вот. Лишь когда журналисты стали копать глубже и подняли хай в газетах, только тогда те расщедрились. Этому хренову Стерджессу, а именно он, сука, все и заварил, пожаловали дворянство, этой старой, ёшь-то, мочалке. Он был главным, но они все его защищали. Он сотворил этакое с моей девочкой, с моей Самантой, а его, на фиг, произвели в рыцари за особые заслуги перед фармацевтикой. Должна же хоть где-то найтись справедливость. Обалдеть можно.

Короче, я пообещал ей, что сделаю это.

Потом мы с Самантой легли и занялись любовью. С ней было чудесно, не то что со Вшой. Я кончил как полагается и порядком от этого притащился. И пока мы с ней были вместе, я видел перед собой только ее лицо, ее прекрасное лицо, а не харю того гребаного миллуоллского пидора.

Оргрив, 1984

Для Саманты Уортингтон слово «террористка» звучало слегка смехотворно. «Международная террористка» — так и просто дико. Саманта Уортингтон, выросшая на окраине Вулвергемптона, была за границей лишь однажды — в Германии. Ну, еще раз ездила в Уэльс. Два путешествия, в каждом из которых их могли прищучить. Две акции, после каждой из которых она чувствовала необычное оживление, сознание выполненного долга и тем большую готовность к следующей.

— Так ничего не выйдет, — говорил Андреас. — Давай заляжем на дно на подольше. Потом всплывем и ударим. А потом заляжем снова.

В каком-то смысле Саманта не просто учитывала вероятность поимки; она душой принимала ее обязательность. Ее историю растащат по газетам, и может, кто-нибудь не только взъярится, но и поймет. Мир поляризуется, а разве не этого и надо добиваться? Ее выставят либо как хладнокровную психопатку, «международную террористку Красную Сэм», либо как глупую, наивную девицу, одураченную более злонамеренными персонажами. Черная Ведьма или Падший Ангел; ложный, но неизбежный выбор. Какую роль ей придется играть? Она снова и снова вчуже примеряла на себя разные ужимки в зависимости от того — какую.

Саманта понимала, что правда куда более сложна. Она оглядывалась на силу, ее подталкивавшую, — отмщение, и на силу, ее направлявшую, — любовь; и сознавала, что не могла поступать по-другому. Она была узницей, но узницей по доброй воле. Андреас излучал такой свет, который намекал, что он станет другим человеком, как только ошибки будут исправлены. То был просто намек, и нутром Саманта опять-таки понимала, что этот намек обманный. Разве не заговаривал он о переходе от частных акций к политике государственного устрашения? Да, то был просто намек, но до тех пор, пока он существовал, Саманта не могла с ним порвать.

Со своей стороны, Андреас уповал на дисциплину. На дисциплину и благоразумие. Разница между ними и озверевшими радикалами или революционерами заключалась в социальном статусе. Они с Самантой для внешнего мира являлись рядовыми гражданами, политически не ориентированными. Саманта лишь однажды нарушила свою легенду.

В Лондоне у нее были друзья, состоящие в Комитете поддержки шахтеров, они-то и уговорили ее отправиться в Оргрив. Картина силовой борьбы осажденных представителей рабочего класса с наемниками машины господавления открыла ей глаза на многое. Она просочилась в первые ряды пикетчиков, налетавших на кордоны полиции, которые защищали штрейкбрехеров. Она была вынуждена действовать.

Сопливый беловоротничковый управленец, отозванный из Лондона под залог увесистого конверта, раздувшегося от сверхурочных, которые отслюниваются государством за безупречную службу, и в голову не мог взять, что безрукая девушка способна так садануть ему по яйцам. Сквозь слезы, хватая воздух ртом, он глядел, как она растворяется в толпе.

Скрытая камера в белом автофургоне также запечатлела действия Саманты и ее ретираду.

Лондон, 1990

Брюс Стерджесс сидел в кресле в своем просторном саду у берега Темзы близ Ричмонда. Был теплый, свежий летний день, и Стерджесс вяло провожал глазами катящиеся воды реки. Прозвучал гудок проходящего парохода, и пассажиры, не все конечно, помахали сидящему с палубы. Очки Стерджесс не надел и потому не разобрал названия парохода, а тем более не опознал пассажиров, но лениво помахал этой выставке улыбок и темных очков, чувствуя себя единым целым с этим кусочком большого мира. Затем, по причине, в которую ни с кем не хотел бы вдаваться, вытащил из кармана клочок бумаги. Корявым почерком там было написано:

МИСТЕР ИКС, ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЖАЛУЙСТА. ДЖОНАТАН.

Дальше — номер телефона и громадный косой крест, символ поцелуя. Маленький романтический пострел. Он думает, и впрямь Брюс Стерджесс, СЭР Брюс Стерджесс, опустится до интрижки с жадным до денег мальчиком по вызову из дешевой конторы? Ведь тут на улице, только руку протяни, найдешь кучу блядунов за десять пенсов с деланной наивностью на физиономии, на каких Брюс западает. Нет, решил Стерджесс, все эти морды сливаются в одну. Требуется тот, которому можно выложить всю душу, а он не

проболтается потом. Он смял в руке полоску бумаги, отдаваясь изумительному наплыву ярости. Когда наплыв схлынул, пришло летучее чувство испуга, и он расправил полоску и положил ее обратно в карман. Брюс Стерджесс не мог заставить себя выбросить эту полоску. Лучше откинуться в кресле и следить за кораблями, лениво движущимися по Темзе.

Стерджесс начал припоминать собственное прошлое — занятие, которому он полюбил предаваться с момента отставки. Воспоминания всегда доставляли ему по меньшей мере удовлетворение. Блеск рыцарской шпаги, что там ни говори, и в наши дни не потускнел. Удобно было рекомендоваться сэром Брюсом — не потому, что тебе предлагали лучший выбор вин, лучшие апартаменты, посты в дирекциях и прочие привилегии, просто «сэр Брюс» звучало для его ушей приятно, эстетически приятно. «Сэр Брюс», — тихо повторял он сам себе. Частенько повторял. Да ладно, по общему мнению, если кто и заслуживал этого титула, так это он. Он упорно карабкался по корпоративной лестнице, прошел путь от дипломированного ученого и экспериментатора до предпринимателя, а затем и до члена правления «Юнайтед фармаколоджи» — концерна по производству лекарств, пищевых продуктов и алкогольных напитков. Само слово «теназадрин», натурально, стало ругательством. Сотрудники могли морщиться как угодно, однако в каждой корпорации случаются проколы, и задачей Брюса Стерджесса тут было деликатно умыть руки. Для оргвыводов существуют нижестоящие и не столь изворотливые, а бок о бок с Брюсом Стерджессом таких работало более чем достаточно. Его хладнокровные действия в данной ситуации лишь повысили его рейтинг расчетливого функционера.

Собственно трагедия для него лично выражалась в фунтах стерлингов: компания теряла и теряла доходы. Стерджесс брезговал просматривать газетные разделы «Общество» или бесчисленные телесюжеты о теназадриновых детях. Конечности и отклонения от нормы редко привлекали его внимание. Был, правда, момент, когда этот настрой изменился — пока он вкалывал в Нью-Йорке. Жизнь в большом городе, где он никого не знал и никто не знал его, постепенно ослабила его самоконтроль, и он вплотную занялся той стороной своей сексуальности, которую со школьной скамьи подавлял. Именно тогда он осознал, что значит отличаться от других, и различил в себе пугающее сочувствие. К счастью, это продолжалось недолго.

Он хорошо помнил, как впервые столкнулся с теназадриновой проблемой въяве. Он с двумя сыновьями собирался играть в крикет на Ричмонд-коммон. Установили калитки, и Стерджесс уже замахнулся битой, как вдруг что-то его отвлекло. Безногий ребенок неподалеку. Мальчик двигался, сидя в коляске, похожей на скейтборд, — отталкивался от земли руками. Он выглядел омерзительно, непристойно. Стерджесс немедля ощутил себя доктором Франкенштейном, мучимым беспощадной совестью.

Он твердил себе: я не производил это лекарство, я просто покупал его у фрицев и перепродавал. Да, ходили слухи — и не просто слухи, имелся отчет, положенный им под сукно, где указывалось, что контрольные испытания были проведены без должной строгости и что токсичность препарата превышала первоначальные прикидки. Как химик по образованию, он обязан был бы вникнуть во все это пристальнее. Но речь-то шла о теназадрине, о чудо-обезболивающем. Раньше обезболивающие никаких существенных побочных эффектов не давали. И потом, не один их концерн изъявлял желание приобрести преимущественную лицензию на распространение продукта в Соединенном Королевстве. Конкуренты времени зря не теряли, и Стерджесс не мог позволить им себя обойти. Он подписал контракт с одним из немцев, странным таким типом, в комнате отдыха аэропорта Хитроу. Фриц все вилял, начал что-то мямлить насчет дополнительных испытаний и всучил Стерджессу копию того самого отчета.

Однако в препарат уже было вложено слишком много, чтобы медлить с выходом на рынок. Слишком много времени, слишком много денег, слишком много клятвенных заверений ключевых лиц концерна, Стерджесса в их числе. Отчет так и не выплыл наружу, он был предан кремации в камине Стерджессова дома в Западном Лондоне.

Все это прошло перед внутренним взором Стерджесса, пока ребенок барахтался в своей коляске, и Брюс впервые скорчился под грузом вины.

— Валяйте без меня, — крякнул он своим оторопевшим мальчикам и поплелся к машине, пытаясь взять себя в руки, глубоко дыша, пока страшное видение не развеялось.

С тех пор он не играл в крикет. И решил, что справился. Типично английский способ борьбы с неприятностями: засовываешь боль и вину в дальний глухой ящик души — так хоронят в гранитной оболочке запаянные капсулы с радиоактивными отходами.

Он вспомнил старину Барни Драйсдейла; Барни, с которым прошел весь этот путь плечом к плечу.

— Мне все жмурики мерещатся, Барни, — пожаловался он тогда своему товарищу.

— Выше голову, парень. Ну, лажанулись мы разок, нашей популярности это не способствует. Что ж, затянем потуже пояса, скоро господа журналисты отыщут себе новый жупел. Столько человеческих жизней спасено благодаря нашим революционным прорывам в фармакологии, и хоть бы кто-нибудь доброе слово сказал. В подобные времена надо держать оборону. Эти проныры газетчики и жалостливые читатели, верно, думают, что прогресс в науке не требует жертв. Так вот, они не правы, требует.

Полезный вышел разговор; после него психологическое состояние Брюса Стерджесса резко улучшилось. Барни был кремень-человек. Он учил Брюса мыслить избирательно, делая упор на собственных достоинствах и оставляя недостатки иностранным партнерам. Да, истый англичанин. Брюсу теперь очень недоставало Барни. Несколько лет назад его друг сгорел заживо на собственной даче в Пембрукшире. Вину возложили на какую-то экстремистскую группировку валлийских националистов. Ублюдки, думал Стерджесс. Кому-то могла, пожалуй, прийти в голову мысль о воздаянии, но только не Брюсу. Просто случайное совпадение, дьявол его раздери.

Как все-таки была фамилия того фрица, дремотно соображал он, глаза на припеке слипались. Эммерих. Гюнтер Эммерих. Подставив лицо солнцу, сэр Брюс погружался в сон. Всех пофамильно помню, подумал он с гордостью.

Засада

Мы собрали примерно сотню конторских, чтобы раскурочить Ньюкасл. Ситуация к тому времени слегка накалилась. После отчета Тейлора и грядущей ликвидации стоячих секторов этот сезон мог оказаться последним, когда получится устроить полноценную бучу по всей площади трибун. Кое-где стадионы уже начали переоборудовать. Самую соль игры испохабят, придурки.

Конкретно по поводу Ньюкасла мы выяснили, что мусоров туда нагонят видимо-невидимо и настоящей махаловки стенка на стенку не выйдет. В пятницу вечером у «Скорбящего Мориса» мы с Бэлом провели жесткий инструктаж: не иметь при себе ничего, что может сойти за оружие. Мусора цеплялись за любую мелочь, лишь бы повязать человека. Вся акция, по замыслу, сводилась исключительно к демонстрации силы, к саморекламе как бы: пусть эти жирдяи тайнсайдцы смекнут, ёшь-то, что с кокни до сих пор шутки плохи. Побросаем в них заточенными монетками, споем несколько песенок и вообще понагадим на улицах, чтоб помнили, в каком сортире живут. Но уж непосредственно на стадионе — ничего; ничего, что позволило бы понабить конторскими все тамошние камеры. Распоряжались только мы с Бэлом, и никто ни разу не встрял — ни илфордцы, ни прочая шваль.

Короче, тридцать два конторских отбывают в Ньюкасл с вокзала Кингс-кросс, чтобы поспеть к одиннадцати, когда откроется кабак, облюбованный нами в Тайнсайде. Второй эшелон, тоже тридцать с чем-то человек, приезжает на девятичасовом и заваливается в другой паб, в двух шагах от первого. Третья группа, в подобающих случаю шарфах, садится в автобус вместе с болельщиками, и автобус должен быть в Ньюкасле около часу. Эти третьи, по идее, сразу разделяются на две кучки и топают в вышеуказанные пабы, каждая в свой. Кучки — приманки для тайнсайдцев, которые тоже хотят пива, волокутся

следом и попадают прямо к нам в лапы. В пятницу днем мы отправили вперед себя двоих дозорных, чтоб поглядывали, все ли вокруг ладно, и встретили нас на вокзале.

Но, как выражался классик, прахом идут надежды мышей и людей, ну или типа того, потому что нашим планам не суждено было сбыться. Люблю наведываться в Ньюкасл, там себя чувствуешь королем. Этакая чертова даль и глушь. Давайте честно признаем, тамошние козлы больше похожи на шотландцев, чем на чистокровных англичан, нечесаные, некультурные. У города такой видок, что мороз по коже. Дома лепятся по мрачному хóлму, мосты какие-то уродские через мутную реку перекинуты. Народец там типично северный, кряжистый, ссальник на пивоварне не дотумкают оборудовать, зато изгородь на колья разбирают шустро и шерудят этими кольями смачно, если до драки доходит. Обычно, прежде чем уроешь такого раздолбая, взмокнешь весь. Я-то, конечно, не мандражирую, урывал ведь их, и не раз, а от мороза по коже выпивка хорошо помогает, но запала у меня нет никакого. Хочу к ней обратно, обратно в остофигевший Лонд. На дискотеку какую-нибудь или даже под рейв, экса наглотаться. Только мы с ней, только мы вдвоем.

Тем временем мы уже чапаем к вокзалу. На Кингс-кросс в поезд сели двое легавых, однако в Дареме сошли. Я догадался, что они радируют в Ньюкасл, и приготовился упасть в объятия местной полиции. Но поезд остановился, а вокзал был практически пуст.

— Не видать мусоров! Где эти херовы полицейские? — взвыл Бэл.

— Что ж здесь такое творится? — поинтересовался Ригси.

Но я уже кое-что услышал. Далекое шарканье подошв, потом крики. Ага, вот и они, заполоняют вестибюль, некоторые — с бейсбольными битами.

— ОНИ СТАКНУЛИСЬ, ЁШЬ-ТО! — заорал я. — ТАЙНСАЙДСКИЕ УБЛЮДКИ И СТОЛИЧНЫЕ МУСОРА! МЫ УГОДИЛИ В ЗАСАДУ!

— НЕ ОТСТУПАТЬ! ЩА ВЛОМИМ ЭТИМ СУКАМ! — подхватил Бэл, и мы начали вламывать.

Мне крепко саданули поперек спины, но я еще трепыхался, я пер в самую их гущу. Стало весело. Я выкинул из головы все на свете. Тяжесть улетучилась, теперь имели значение только удары тел о тела. Я ловил кайф. Так вот ради чего все. А я-то и позабыл, что значит «правильно». Тут я поскользнулся на кафельном полу и упал. На меня наступали сапогами, но я даже не уворачивался, просто корчился от боли, и вился ужом, и лягался. Я умудрился встать, потому что Ригси в одиночку поднял переносной барьер и оттеснил их. Я схватил за шкирку какого-то козла с рекламой кока-колы на майке, держал и бил в лицо, держал и бил. У него из кармана выпал резиновый жгут, и я вдруг понял, что он просто несчастный сопливый героинщик, который угодил в эту заваруху со страшного бодуна.

Внезапно появились мусора, и все, как по команде, драпанули в разные стороны. На улице ко мне подвалил один хмырь с синяком на скуле.

— Ах ты гребаный кокни, — сказал он с тайнсайдским выговором, но посмеиваясь при этом. — Слышь, отличная вышла махаловка, — добавил он.

— Ага, круто было, — согласился я.

— Ладно, мужик, я еще слишком эксанутый, чтоб нюни-то распускать, — улыбнулся он.

— Ну ясно, — кивнул я.

Он выставил большие пальцы вверх и сказал:

— До встречи, мужик.

— Наверняка встретимся, тайнсайдец, — расхохотался я, и каждый из нас пошел своей дорогой.

Я лично направился к пабу, где мы уславливались встретиться. На меня вырулили еще два тайнсайдца, но я даже кулака не смог сжать, настолько выложился.

— Ты, мля, уэст-хэмский? — спросил один из них.

— Аэ отлепиэсь, яа за Шоэтландию боалею, — пробурчал я с фальшивым акцентом.

— Хорошо, парень, извини, — сказал он.

Я и с ними разошелся и наконец попал в кабак. Там уже ждали Ригси и еще кое-кто из наших, так что мы потащились к стадиону и сели на трибуну прямо перед носом у тайнсайдских. Я решил было выдрючиться, просто из чистого интереса, но Ригси заприметил мусора в штатском, который глаз с нас не спускал. Первый тайм мы высидели, но скука была смертная, и, дождавшись перерыва, мы вернулись в паб. Прежде чем выйти оттуда, я отвесил по плюхе парочке придурков бильярдистов, мы побили кружки и перевернули несколько столиков.

На улице мы увидели, что матч закончился, основной состав конторы шагает к вокзалу под полицейским эскортом, а свора тайнсайдцев улюлюкает вслед. Мусора вели себя тихо, среди них теперь были и конные, и на машинах. Рыпаться нам было не с руки, но меня радовало, что я залезаю в поезд и возвращаюсь к Саманте.

Бэла переполняла гордость за контору.

— Эти суки прекрасно поняли, чего мы с вами стоим! — воскликнул он.

Ни илфордские, ни грейсские, ни ист-хэмские ему не возразили. Я попросил у Ригси таблетку экса и сошел где-то в районе Донкастера.

Шеффилдская сталь

Я обнаружил чертова хмыря. Стерджесса. Хмыря, что должен умереть за то зло, которое причинил моей Саманте. Я тебя зацапал, хмырь.

Хмырь тормозит на Пиккадилли-серкус, там в машину заскакивает его молодой крендель, они едут по объезду и поворачивают к Дилли, забирая вправо, чтобы обогнуть Гайд-парк. Я на стреме. Машина останавливается у Серпантина. В темноте обзор минимальный, но я догадываюсь, что творит голубой в салоне, я же не дурак.

Примерно через полчаса машина трогается с места. Они направляются обратно к Пиккадилли-серкус, где молодая подстилка и выныривает. Я в состоянии держать пидора в поле зрения еще милю, не больше. Я делаю неполный круг и нахожу мальчика на том же месте, а Стерджесс смылся. Приваливаю к голубому всем крылом, как к стоянке.

— Тебя подвезти? — спрашиваю.

— Да, пожалуйста, — отвечает с северным выговором, но не с настоящим северным, не так, как звучит речь обыкновенного северного подростка.

— Как насчет позабавиться по дороге, ласточка? — спрашиваю я, пока он залезает в машину. Его повадка вызывает у меня черные мысли. Если думать в этом направлении, потемнеет в голове.

Он опасливо оглядывает меня девичьими глазами с поволокой.

— Двадцать, до Гайд-парка, туда и обратно.

— Лады, — говорю я, включая зажигание.

— Именно до этого места, — просит он.

— Да, хорошо, не волнуйся, — говорю я ему. Врубаю стерео. «Эй-би-си», «Любовный словарь», мой самый обожаемый альбом всех времен и народов. Величайший альбом из всех когда-либо записанных, и не спорьте.

Мы углубляемся в парк, и я подруливаю к той самой точке, где этого раздолбая имел Стерджесс.

— А, вы не в первый раз, — улыбается он. — Смешно, вас не принять за профа, вы слишком молоды. Мне по душе, что вы молоды, — лепечет он.

— Да и мне по душе, приятель, да и мне по душе. Так откуда ты вообще-то родом, а?

— Из Шеффилда, — говорит он.

Трогаю пальцем шрам на подбородке. Я заработал эту рану в Шеффилде два года назад. Бремелл-лейн, победа, цепь с велосипеда. Я, оказывается, поэт, вот за собой не замечал-то. Те хмыри из «Юнайтед» оказались ничего, не промах. А шоблу из «Венсдей» никогда не уважал: паникеры занюханные.

— Ты Сова или Бритва?

— Кто-кто? — шепчет он.

— Футбол, впитываешь? Ты болел за «Венсдей» или за «Юнайтед»?

— У меня к футболу никогда душа не лежала, — говорит он.

— А вот эта группа, «Эй-би-си», они все из Шеффилда. Помнишь того раздолбая в золоченом костюме. Это он поет на стереозаписи «Покажи мне».

Пускаю маленького хренососа к себе в ширинку. Сижу, щурюсь, глядя вниз, ему в затылок, в коротко стриженный голубой затылок. Никакого эффекта.

Он прерывается и на секунду вскидывает глаза.

— Не тревожьтесь, — говорит он, — это со всеми бывает.

— Да я и не тревожусь, сладенький, — улыбаюсь я и вручаю ему двадцатку хотя бы за старания.

Этот хмырь из «Эй-би-си» все тянет свое «Покажи мне». А ты мне, ёшь-то, что покажешь, мандюк?

— Знаешь, — говорит, — а я было подумал, ты мусор.

— Ха-ха-ха... нет, золотой, я не мусор. Мусора для тебя, конечно, неподходящая компания, зато я компания просто кошмарая.

Он глядит как ушибленный. Пробует улыбнуться, но страх сковывает его педерастическую морду еще до того, как я хватаю его за костлявый загривок и размазываю его загодя оплаченную харю по приборной доске. Она сразу кровит, заливает кровью все, ёшь-то, циферблаты. Я херачу его еще раз, и еще, и еще.

— НУ ТЫ, ДОЛБАНЫЙ ПИДАРАС! Я ТЕБЕ ЩА ВСЕ ЗУБЫ ВЫБЬЮ! Я ЩА ТВОЮ СОСАЛКУ РАСЧЕШУ, КАК КОШЕЧКУ У ГЛАДЕНЬКОЙ ДЕВОЧКИ. А ПОТОМ ТЫ МНЕ, ЁШЬ-ТО, КАК ПОЛОЖЕНО ОТСОСЕШЬ!

Я видел его лицо. Хмырь из «Милуолла». Лайонси. Лайонси Лев — его кличка. Скоро он опять нарисуется. Я урываю его педерастическую морду вниз, и он орет, я ее поднимаю, и он ноет:

— Пожалста... я еще жить хочу... я еще жить хочу...

На сей раз я был крут. Я вцепился в его череп и хреначил, и хреначил, и он стал блеять и блевать, его кровь и рвота текли по моим яйцам и бедрам...

ДАВАЙ, ПИЗДА, ПОКАЖИ МНЕ!

...гораздо больше крови, чем когда я вставлял Вше во время месячных... но я теперь в кайфе, и все, что вижу, — лицо Саманты, когда размазываю голубого по доске... как это тебе, девочка, как это тебе, думаю я, но я же, черт, стравливаю в рот этому кровящему уроду, этой твари...

— ОООО́Й, НУ ТЫ ХРЕНОВ, МАЛЕНЬКИЙ ПИДОР!

Потом я задираю ему голову и смотрю, как гной, блевота, сперма выцеживаются из его разодранных щек.

Убить мало. За то, что он со мной сотворил, убить его мало.

— Сейчас разучим с тобой песенку, — говорю я ему, включая стереосистему. — Договорились? Голос у тебя не оперный, бряклая ты йоркширская запеканка, но коль ты не потрудишься, оторву тебе яйца и заставлю проглотить, ясно?

Кивает, хренов ранний пидорок.

— Я всю жизнь пускаю пузыри... ПОЙ, СУКА!

Он что-то мямлит измочаленным ртом.

— Пузыри на небосклон-н-н... они летают высоко, а рай все так же далеко, и, как мой сон, плывут легко... ПОЙ! судьба всегда в бегах, я всюду по-ис-кал, и я всю жизнь пускаю пузыри, пузыри на небосс...

ЮНАЙТЕД!

Я и вправду выкрикнул «Юнайтед!», вмазывая кулаком в его несчастную физиономию. Потом открыл дверцу и вышвырнул его обратно в парк.

— Уфигачивай, ты, малолетний недорезанный ублюдок! — закричал я в спину ему, лежащему, будто отмучившемуся.

Отъехал и вернулся на то же место. Будто я сбил его, честное слово. Он же в этом деле никто, подвернулся просто.

— Эй, пидарас, расскажи своему дряхлому дружочку, что он будет следующим!

У Саманты нет рук, нет мамы-папы, нет дома родного, и все из-за какого-то старого педераста. Ну лады, я это дело поправлю, или я не Дейв Торнтон.

Я вернулся к себе и услышал сообщение на своем хреновом автоответчике. Это оказалась моя мамаша, которая мне никогда не звонит. Голос у нее был и впрямь вздрюченный: «Навести меня немедля, сынок. Случилось нечто ужасное. Позвони сразу же».

Матушка моя; никому не кидала подлянок, ни разу в жизни, и что отхватила взамен? Да ничего, вот и все дела. С другой стороны — пидор, который уродовал детей во чреве, такой, ёшь-то, расклад. Когда я смекаю, что может стрястись с моей мамой, я думаю про старого кренделя, про пьяного раздолбая. Коли он обидел маму, коль он хоть пальцем тронул мою старую мать...

Лондон, 1991

Три года. Прошло три года, и вот он наконец приезжает. По телефону они, понятно, говорили, но теперь ей предстояло увидеть Андреаса, увидеть наяву. В последний раз они были вдвоем во время уик-энда, их единственного уик-энда за пять лет знакомства. Тот уик-энд случился после Берлина, где они вместе расчленили ребенка Эммерихов. Что-то в ней тогда щелкнуло, он в очередной раз съязвил, и центры, сдерживающие ее жестокость, отказали. Она бы все что угодно сделала ради него. Она и сделала. Детская кровь, терпкое вино их черного причастия.

Самое забавное, что сперва она хотела оставить ребенка себе. А что, живет в Берлине молодая пара, родители теназадриновые, малыш полноценный. Жаркими летними днями она гуляла бы в Тиргартене вместе с другими мамашами. Но он собирался принести ребенка в жертву, на алтарь ее преданности их общей цели.

Когда она убила мальчика, вместе с ним умерла и какая-то часть ее самой. Рассматривая его маленький, искореженный, безрукий трупик, она осознала, что и ее жизнь достойно завершена. Интересно, начиналась ли эта самая жизнь вообще? Она попыталась припомнить моменты, когда была по-настоящему счастлива; нет, какое там счастье, разве лишь смехотворно малюсенькие островки покоя среди океана пытки. Надежды на счастье не было, была лишь возможность или невозможность окончательной расплаты. Андреас твердил: ты должна переступить через себя, через свое эго. Солдаты перемен не могут быть счастливы.

Лучшую часть тех двух лет, что они провели вместе, Саманта находилась в некоем ступоре, практически в коме. Выйдя из этого транса, она обнаружила, что больше не любит Андреаса. Хуже того, она обнаружила, что вообще никого не способна полюбить. Теперь она ждала Андреаса после трех лет разлуки, и единственным, кто занимал ее мысли, был Брюс Стерджесс.

Наконец Стерджесс нашелся. Он принадлежит ей. Андреас, холодно рассчитала она, ей теперь чужой. Ей нужен только Стерджесс. Последний из оставшихся.

С тем, другим, в валлийском коттедже, прошло как по маслу. Он был беззащитен. Они вели его от веранды деревенского бара. Перед тем как залезть в окно его дома, она думала, внутри ей будет страшно. Нет, ни капли. После германской истории — ни капли.

Андреас стоял на пороге. Она бесстрастно отметила, что его волосы поредели, но на щеках сохранялся юношеский румянец. На носу у него были очки в стальной оправе.

— Саманта, — он поцеловал ее в щеку. Она закаменела.

— Привет, — сказала она.

— Чего грустим? — улыбнулся он.

Она окинула его взглядом.

— Я не грущу, — сказала она, — просто устала. — И, без горечи: — Знаешь, ты навредил мне больше, чем все теназадринщики, вместе взятые. Но я тебя в этом не обвиняю. Так и должно было быть. Таково мое отношение к жизни, мой характер. Кто-то умеет отмахиваться от боли, я — нет. Мне нужен Стерджесс. После него я хоть как-то примирюсь с собой.

— Примирение невозможно до тех пор, пока экономическая система, основанная на эксплуатации...

— Нет, — она махнула ему, чтоб он замолчал. — Я не возьму на себя такую ответственность, Андреас. По отношению к системе я ничего не чувствую и не могу ее ненавидеть. Людей ненавидеть могу; но поднять свою ненависть на такой уровень абстракции, чтоб она касалась системы в целом, — нет.

— Именно поэтому ты и продолжаешь прислуживать этой самой системе.

— Не будем спорить. Я знаю, зачем ты приехал. Держись от Стерджесса подальше. Он мой.

— Боюсь, велик риск того...

— Пусть мой выстрел будет первым.

— Как угодно, — Андреас возвел глаза к небу. — Но сегодня я пришел, чтобы поговорить о любви. Утром все спланируем, а сейчас займемся любовью, да?

— Никакой любви нет, Андреас, проваливай.

— Печально, — улыбнулся он. — Но ничего! Тогда вместо любви напьемся пива. Может, в клуб сходим, да? Я пока слабо ориентируюсь во всяких кислотных местах, совсем не разбираюсь в техно... Я, конечно, пробовал экстази, но только дома, с Марлен, чтоб как следует налюбиться... или вылюбиться...

Услышав женское имя, она вздрогнула: неужели вправду? Да, вправду, он показал ей фотографию женщины и двоих детей, одного лет трех и одного грудного. От их лиц веяло идиллическим спокойствием. Саманта уставилась на фото, Саманта прочла любовь и отцовскую гордость в глазах Андреаса. Любопытно, что за рожу скривил ее родной папочка, увидев ее в первый раз.

— Никакого примирения с собой до полного уничтожения системы, ага? — сухо рассмеялась она. Это был хриплый высокомерный смешок, и Андреасу от него, похоже, стало не по себе. Она презрительно улыбнулась. Она впервые видела его растерянным, и ей было приятно, что причина этой растерянности — она. — Какие же у них хрупкие ручки... — продолжала она, опьяненная сознанием своей власти над ним.

Он выхватил у нее фотографию. И прорычал:

— Я где сейчас, там или здесь? Я что, наслаждаюсь миром и спокойствием? Нет. Здесь Стерджесс, и я здесь, Саманта. Кусок меня всегда здесь, всегда там, где он. Видишь, и я не умею отмахиваться от боли.

Хочешь размяться?

Первая, кто нарисовалась, когда я приехал к мамаше, была Вша.

— Чего она тут забыла? — спрашиваю.

— Закрой рот, Дэвид! Она, слава те господи, мать твоего ребенка, — говорит старушка.

— Что случилось? Где Гэл?

— Его забрали в больницу, — говорит Вша, с сигаретой в руке, пропуская, ёшь-то, копоть через ноздри. — Менингит. Он выздоровеет, Дейв, врач сказал, правда, мама?

Фигова Вша, называет мою старуху мамой, точно породнилась с ней.

— Нда, мы уж передергались, но он выздоровеет.

— Чуть с ума не сошли, — говорит Вша.

Приступаю к этой долбаной корове:

— Куда его повезли?

— В восьмую градскую...

— Если с ним что-нибудь случится, ты будешь виновата! — режу я, хватаю со столика ее сумочку и перерываю потроха. — Вот у тебя что! Твое хреново курево в его несчастных легких каждый день по полной! — Сминаю пачку сигарет. — Еще увижу, что ты куришь рядом с моим сыном, ты у меня так же скукожишься! Вали отседова! Нечего тебе тут ловить! И не прикапывайся больше ко мне, поняла?

Я уже, ёшь-то, в дверях, мамаша вопит, чтоб я вернулся, однако хренушки. Мчусь в больницу, вся душа переворачивается. Траханая Вша уложила его на койку как раз тогда, когда у меня образовались неотложные дела. Я приезжаю, пацан спит. Похож на ангелочка. Мне говорят, он выздоровеет. Мне надо ехать. У меня встреча.

Когда я прибываю, ёшь-то, на место, я уже на приличном взводе. Я за ними следил, видел, как они входят и выходят, но теперь мне надо впервые войти туда самому.

Меня от этого подташнивает. По дороге ко мне уже прикопался какой-то пидор, возвел очи горе и вякнул нечто о свидании в сортире. Я подробно объяснил, куда ему идти. У меня особый интерес, сидит в баре. Его просто вычислить: он тут самый старый. Присаживаюсь рядом с ним.

— Двойной бренди, — заказывает он бармену.

— У вас, должен заметить, весьма необычный выговор, — подкидываю я ему.

Он оборачивается и глядит на меня взглядом типичного пидора: губы раскатанные, гнутые, глаза мертвые, бабские. Меня попросту передергивает, когда он так вот оглядывает меня с головы до ног, словно я, ёшь-то, кусок говядины.

— Давай обо мне не будем. Давай о тебе. Выпьешь?

— Да, само собой. Виски, пожалуйста.

— Наверно, я должен поинтересоваться, часто ли ты сюда захаживаешь и тому подобными условностями, — улыбается он.

Чертов старый помоечный крендель.

— Я первый раз, — говорю. — По правде-то, мне давно сюда хотелось... то есть извиняюсь, конечно, что я с вами так напрямик, но я подумал, что раз вы, ну, что ли, в летах, вы меня лучше поймете. У меня жена и ребенок, и я не желал бы, чтоб они узнали, что я сюда пришел... что я хожу в такие места... Я хочу сказать...

Он взмахивает иссохшей, наманикюренной рукой, чтобы я умолк:

— По-моему, с нами произошло то, что наши друзья экономисты называют случайным совпадением интересов.

— По-вашему, что?

— По-моему, нам обоим надо слегка размяться, но тайно, блюдя благоразумие.

Ага... благоразумие. Этого я и ждал. Слегка размяться, да. Этого я и хотел бы.

— Давай уйдем из этого притона, — предлагает он. — У меня тут голова начинает раскалываться.

Я б объяснил ему, что надо прекратить педриться на старости лет, и с головой будет все в порядке, но придержал язык, и мы ушли. Саманта ждет в мастерских, я дал ей ключи.

На миг я подумал, что этой швали, этим занюханным панталонам не место на истэндском гаражном дворе, но окунуть уже загодя прокаженного пижона в дерьмо — отличное развлечение. Ладно, сейчас увидим, как он запоет.

Мы сели в мою тачку, и, пока молча ехали, я разглядывал в зеркальце его морщинистое, черепашье лицо; он напомнил мне подлую Нервную Черепаху из комиксов; я размышлял о том, как Саманта мною крутит, и я дергаюсь, как безвольный, ёшь-то, пентюх, но плевать, потому что, если любишь, как я ее люблю, все сделаешь, всякую мутоту сделаешь, и это будет правильно, ёшь-то, и пусть потом разбираются в раю, пусть там отцеживают злые и больные сердца...

Мехмастерские

Я настроил стерео на «Эй-би-си», и только что поехала «Моя душа», песня, которая ввергает меня в тоску, когда я примеряю ее к обстоятельствам личной жизни. Я чуть не зарыдал, как девица, как раздолбанное школьное пианино, потому что педик спросил:

— Все как надо?

Мы припарковались к дверям. Я заглушил мотор.

— Да... то есть... ты ведь уже крутишься в этом деле, друг. Мне попросту неловко как-то. Ну, потому, что мы с тобой собираемся заняться этим самым, но это ж не значит, что мы разлюбили своих близких, верно же...

Гнилая груша похлопывает меня по плечу.

— Не волнуйся. Ты слишком нервничаешь. Ну же, — говорит он, выходя из машины, — мы зашли уже слишком далеко, чтобы останавливаться.

Он прав, это точно. Выхожу и направляюсь к двери.

Высвобождаю замок, распахиваю. И прикрываю дверь снова, когда зигзагами провожаю его к гаражу.

Саманта включает свет, я обхватываю морщинистую шею Нервной Черепахи сгибом локтя и хреначу этому чудищу кулаком по зубам. Поцелуй из Глазго, как старик это называет. Притискиваю его к полу и бью изо всех сил по яйцам.

Саманта тут как тут, она словно вытанцовывает ритуальные па, и ее плавники колотятся, как в игровом автомате, и она похожа на ребенка, и она говорит:

— Ты поймал его, Дейв. Ты поймал этого ублюдка. Он наш! — Она бьет задыхающуюся падаль носком туфли в живот. — Стерджесс! Ты обвиняешься в медицинских преступлениях! И ты еще, бля, попробуй не признать себя виновным! — кричит она, нависая над ним.

— Кто вы такие... Я вам заплачу... Я дам вам, сколько вы хотите, — стонет поруганный монстр.

Она смотрит на него как на сумасшедшего.

— ДЕЕЕЕЕНЬГИ, — орет она, — НЕ НУЖНЫ МНЕ ТВОИ ЕБАНЫЕ ДЕНЬГИ... на что б я дела твои ебаные деньги! Я тебя хочу! Ты для меня важнее, чем все денежки в мире! И хоть бы кто тебе, паскуда, такое признание в жизни сделал!

Я вешаю на цепь замок, потом обхожу вокруг и припираю дверь офиса. Саманта все еще измывается над пидором, который просит пощады, словно большая девочка.

Она мне кивает, и я хватаю пидора за шкирку и распяливаю его на слесарном столе. Из его слабой глотки капают кровь и сопли, и он плачет, словно младенец, даже не умеет принять воздаяние по-мужски. Чего, собственно, и ждать-то от провинциального сутенера.

Я распластываю его на широком столе ничком. Я вижу, как в его глазах всплывает некое непонятное обещание, точно этот подонок и впрямь вообразил, что я дам его жопе шанс... словно мы добивались именно его жопы. Я приматываю его запястья к ножкам стола электропроводом, а Саманта на столешнице, уже на его ногах, придерживает их, пока я не прикручу.

Я налаживаю бензопилу, и тут этот Стерджесс начинает орать, но я слышу и другое, например стук в ворота. Чертовы мусора, похоже, у них полные обоймы.

Саманта кричит:

— Держи их на расстоянии, держи их, бля, на расстоянии, — она пробует пристроить пилу на упор между собой и Стерджессом, который вертится, как угорь, выкручиваясь из моих завязок.

Замок и цепь удержат ворота ненадолго. Я даже не знаю, что б сделать, и вдруг вижу громадное алюминиевое ушко, толстенное, но без засова. Я сую туда запястье, сую запястье туда, где должен быть засов. Какой-то мусор гавкает в мегафон, но я не понимаю, что он говорит, потому что у меня в голове на всю катушку играет «Отрави стрелу». Коль уж она разбила мою жизнь, как ей сказать: давай, мол, отвяжись...

А Саманта до него добралась, я слышу, как гундосит пила, и уровень боли в моей руке повышается до непотребного; эта рука после того, что с ней произошло, уже не вырубит Лайонси из «Милуолла», да это никого и не колышет, и я кричу Саманте поверх шума:

— Доберись до придурка, Сэм! Давай, девочка! Доберись до него!

Зуд пилы меняется, когда та входит в мясо этого педика, как раз под плечом, и кровь хлещет и пятнает пол гаража. Какой же срач мы оставим в наследство бедному старине Бэлу, он-то нас не похвалит, веселей думать о Бэле, потому что пила вгрызается в мясо Стерджесса и уже допилилась до кости. Саманта раскачивается на бедрах с пилой в плавниках, отпиливает, направляя полотно ногами, части, которые служили придурку верой и правдой... боже, у нее такая физиономия, словно я ей вставляю, и вдруг я слышу другой, шрапнельный крик, на этот раз кричу я, это моя рука, и я вырубаюсь, однако перед тем ловлю Самантин взгляд, когда я на нее рушусь, а она выкрикивает что-то, чего я уже не слышу, но впитываю, о чем это, у нее на изломе губ написано о чем. Она вся обмазана его кровью, которая изливается отовсюду, отовсюду, но она улыбается, точно маленькая пацанка, вокшающаяся в грязи, но она говорит мне: люблю тебя... и я еще повторяю это и плыву в темноту, и это лучшее в жизни чувство... судьба всегда в бегах... но я ее поймал, потому как я люблю ее и помог ей... я всюду по-исс-кал... Мусора могут творить что им заблагорассудится, все уже кончено, однако мне-то по хрену... Я всю жизнь пускаю пузыри,

пузыри

на

небоскл

От переводчика

Иногда мне казалось, что текст, над которым я работаю, — грубая агитка, иногда — что высокая проза с обилием лейтмотивов, обертонов и ювелирно выстроенным сюжетом. Но и в те и в другие моменты перехватывало горло: а ну как передо мной точный, на ближайшие пятнадцать лет, прогноз судьбы того поколения российских 13—16-летних, что сейчас читают журнал «ОМ», ночи напролет тащатся под рейв в экс-дансингах и мне лично представляются прилетевшими с другой, абсолютно не гуманоидной планеты? Надеюсь, не прогноз — тем паче что сам препарат экстази в повести, по-видимому, символизирует светлый, не экстремистский, антисиловой вариант пути.

Во всяком случае, говорить они будут явно не так, как Дейв Торнтон; у них пока вообще нет специфической речевой манеры, отличавшей, к примеру, наших хиппи (если не считать манерой тупой, дебильный, неизобретательный мат). Разве что словечко «конь» («девушка»; очевидно, от английского cunt или французского con) в переводе — сознательная мета их лексикона.

Зато у писателя Ирвина Уэлша особая повествовательная манера есть. Если помните, в одном из эпизодов фильма «Трейнспоттинг», поставленного по его роману и изначально адресованного английскому зрителю, речь героев сопровождается английскими же (!) субтитрами. Носители языка говорят, что читать Уэлша немо, «только глазами», невозможно; приходится произносить текст хотя бы про себя и по звучанию догадываться, о чем это.

Воспроизвести подобную структуру по-русски — задача заведомо безнадежная; противится традиция, и литературная, и попросту графическая. (Впрочем, попытка такого «слухового» начертания, не знаю уж, насколько удачная, предпринята в главке «Индзастройка», где контрастно имитируются шотландский, ирландский и вест-индский акценты. И еще: к финалу данной повести монолог героя-повествователя становится куда более внятен даже и «зрительно», чему русский текст пробует соответствовать.)

Однако и чрезмерно облегчать читателю жизнь — нечестно по отношению к автору. Он же не Джефри Арчер какой-нибудь. Поэтому переводчику пришлось пойти на два рискованных мероприятия.

Первое — вроде бы невозможная, шокирующая русский эстетический слух концентрация сквернословия. Меня извиняет лишь то, что в оригинале обсценных словечек (и зача-

стую в прямом значении) куда больше; все, что сумел, я смягчил; дальнейшее, на мой взгляд, отдавало бы жеманством и насилием над художественной сутью текста.

Второе — отказ от постраничных примечаний, которые в ряде случаев, казалось бы, прямо-таки напрашиваются. Но в английском издании повести примечания нет ни одного, а рядовой лондонец или бостонец разбирается в делах британских футбольных головорезов или в том, что изменилось на стадионах национальной лиги с публикацией отчета Тейлора, уверяю, не лучше, чем рядовой москвич или челябинец. Впечатление чужой, ЧУЖДОЙ планеты — ровно то же самое. И это очень важное, ключевое для восприятия прозы Уэлша впечатление.

Хотя пара комментариев, пожалуй, все же необходима. В главке «Вошья привычка» Дейв так недоволен появлением в пабе своего отца потому, что тот — закоренелый шотландский националист, состоящий под присмотром полиции; «Ребята Билли», которых старик с пьяным пафосом ставит собравшимся в пример,— название ныне покойного шотландского ордена оранжистов; печальную известность этот орден приобрел благодаря своей деятельности в Ирландии. Вообще, если вы заметили, тема национализма и даже фашизма возникает в повести на разных уровнях, в разных регистрах и с тревожной регулярностью. К этой же теме — и последнее разъяснение: надпись на стене горящего дома в главке «Пембрукшир» означает «Уэльс для валлийцев. Да здравствует агнец».

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ

Между экстази и экстазом

В высшей точке кислотного трипа — той самой, в которой находится Кэлум в подземном переходе, — часто кажется, что весь мир пронизан странными нитями, как бы паутиной, связывающей все и всех. И от точки, где находишься ты, отходят многочисленные лучики, по любому из которых ты можешь отправиться в свое прошлое или будущее.

Точно такие же нити отходят от любого литературного произведения, и, путешествуя по ним, можно обнаружить много интересного. Два опубликованных выше текста Ирвина Уэлша не являются исключением, и потому я предлагаю, избрав их в качестве начального пункта, отправиться в путешествие — вряд ли можно сказать «в трип» — по нескольким направлениям: литературному, биографическому, наркотическому и кое-каким другим, для которых мне — словно Кэлуму —трудно подобрать слова.

С литературной точки зрения Уэлш достаточно прост. Его произведения обычно написаны от первого лица, с обильным использованием сленга, жаргона и диалектизмов — характерный пример того, что русские формалисты называли словом «сказ». Это влечет за собой сложности и для переводчика, и для читателя, но должно — по мысли поклонников — гарантировать аутентичность и подлинность высказывания. Сказовая манера у Уэлша дополнена нехитрой монтажной техникой, позволяющей ему избегать простого линейного повествования (особенно это заметно в «Аисте марабу из кошмаров»). Впрочем, в 90-е годы и то и другое давно уже не в новинку. Вероятно, наиболее близким Уэлшу классиком XX века будет Луи Фердинанд Селин с его жаргонизмами, натурализмом и экспрессией, сочетающимися с мизантропией и презрением к человечеству. Достоинством выбранного стиля служит то, что он позволяет избежать нравоучения: Уэлш, так же как и Селин, может позволить себе не оценивать своих героев, отказавшись от роли непогрешимого автора.

Более интересным является вопрос о том, как соотносятся «Трейнспоттинг» или «Экстази» с литературным процессом 80—90-х. Нетрудно видеть, что Уэлш игнорирует почти все модные (некогда модные?) приемы современной прозы: у него не найти ни игры с условностью персонажей и рассказываемой ими истории, ни обильно рассыпанных по тексту незакавыченных цитат (если не считать ссылок на современную музыку), ни других примет так называемого постмодернизма, к сожалению давно уже взятого на вооружение создателями коммерческих бестселлеров. Даже появление в повести «Непокоренные» двух рассказчиков из разных социальных слоев (каждый со своим собственным языком) не приводит к возникновению параллельных реальностей — хотя каждый и гонит свое, но в результате читатель получает полную и непротиворечивую картину происходящего.

© С. Кузнецов, 1998

Все это не спасает Уэлша от того, чтобы критика называла его «постмодернистским Роалдом Далом», однако сам он решительно разрывает с традициями нарочитой интертекстуальности и интеллектуальной усложненности: «Для того чтобы делать то, что я делаю, мне не требуются отсылки к другим книгам — я подпитываюсь своей собственной культурой. Я стараюсь использовать современную культуру: такую, как видео/музыку/«эсид хаус», различные разновидности наркотической культуры, различные переживания — все то, что происходит вокруг. Вероятно, поэтому мои книги рассчитаны скорее на эмоциональное, а не на интеллектуальное восприятие. Если я захочу философии, то я обращусь к философам, а не к романистам. Мои книги — это воплощение принципа «эсид хауса»: постоянное развлечение. Не панковское «банг! банг! банг!», а постоянный джангл, сделанный из наших чувств»[1].

Разумеется, приведенная выше фраза не значит, что Уэлш, как герой известного анекдота, «не читатель, а писатель», — он не оспаривает того, что Чарльз Буковски или Уильям Берроуз родственны ему. Речь идет только о том, что при создании своих произведений он отказывается ориентироваться на тексты, а ориентируется на жизнь. Конечно, в высказываниях Уэлша при желании нетрудно увидеть постмодернистский же вызов традиции литературоцентризма и ориентацию на современную аудиовизуальную культуру — и это неудивительно, если учесть, что Уэлш не только писатель, но и участник музыкальной группы «Primal Scream» (одну из композиций которой можно слышать на диске с саундтреком к «Трейнспоттингу»). Впрочем, легко заметить, что за его словами стоит типично модернистская уверенность в том, что эмоцию возможно передать литературными средствами. Самое удивительное, что в своих лучших произведениях Уэлшу это действительно удается.

Вероятно, главное отличие Уэлша от неких обобщенных «постмодернистов» (никогда, вероятно, не существовавших в чистом виде) заключено в том, что он верит в существование объективной реальности и не испытывает особых проблем с тем, чтобы ее описать. Это тем интереснее, что внимание, которое проза 70—80-х уделяла различным «вероятностным мирам», часто связывают с богатым психоделическим опытом 60-х. Тем не менее Уэлш, перепробовавший, похоже, все доступные ему наркотики, остается приверженцем здравого смысла: никаких демонов не существует, реальность реальна, люди живут, а потом умирают. Может, в этом проявилось его здоровое социальное происхождение, а может — меняющийся воздух эпохи: сегодня об этом трудно судить определенно.

Верный сформулированному выше принципу — ориентироваться на собственный опыт, а не на прочитанные книги, — Уэлш в изобилии рассыпает по своим произведениям отсылки к событиям своей жизни. «Трейнспоттинг» рассказывает о круге его эдинбургских знакомых, а знакомый русскому читателю рассказ «Еврохлам»[2] — о том, как он слезал с иглы, переселившись в Амстердам. Разумеется, было бы неверно считать все произведения Уэлша автобиографическими или основанными на «реальных фактах», но культурные пристрастия автора в них явственно просматриваются. Это и футбол, которому уделено достаточно места в повести «Судьба всегда в бегах» (не случайно участники «Primal Scream» даже написали для европейского чемпионата гимн шотландской сборной — который, впрочем, получился таким матерным, что футбольная федерация предложила исполнять его без слов), и наркотики, и панк-культура. Так, в небольшой главке «Лондон, 1979» нарисована панорама панковского Лондона, где сам Уэлш в молодости провел достаточно времени и даже принимал участие в каких-то позабытых панк-группах. Так же как и Дуглас Коупленд — еще один идеолог поколения девяностых, — Уэлш много старше своих читателей (в этом году ему исполнится сорок). И подобная ситуация вполне закономерна: несмотря на все разговоры о «разрыве поколений», культовые фигуры всегда оказываются на полпоколения старше[3], обеспечивая тем самым пусть и непрямую, но связь генераций.

Позже мы еще вернемся к панковским корням Уэлша, а теперь обратимся к небольшому рассказу «Вечеринка что надо», который может послужить прекрасным послесловием к «Трейнспоттингу». Нетрудно видеть, что основное событие рассказа — единственное, что происходит в «настоящем мире» и отличает эту вечеринку от множества других, — это смерть джанки Бобби, старого друга Кэлума. Скрытым сюжетом рассказа как раз и служит вымирание старых героинщиков — от передозняка, как Бобби, и от СПИДа, как Иен: они же «ничего не знали про вирус, думали тогда, что он только через трах передается, вроде того, понял? Вроде это только лондонских педрил касается, а вовсе не наших торчков».

---

[1] Scotland Reads Irvine Welsh in Psychic Defense. Interview with Irvine Welsh by Maria Jerskey. Oculus Magazine, 1995, September, http://www.oculus.com/welsh.html.

[2] Вероятно, первый текст Уэлша, напечатанный на русском языке (в журнале «Птюч»). Уже потом последовали переводы фрагментов всех трех частей «Экстази» в «ОМе», «Птюче» и других изданиях.

[3] Вот и самый модный русский прозаик последних лет — Виктор Пелевин — несколько старше основной массы своих читателей.

Имейно эпидемия СПИДа послужила в свое время толчком к написанию «Трейнспоттинга»: живущий в Амстердаме Уэлш, приезжая в Шотландию, каждый раз узнавал, что умерло еще несколько его друзей. Тогда он и решил написать книгу, чтобы продлить их жизнь хотя бы на бумаге и сохранить память о временах безработицы, дешевого пакистанского героина и одного шприца на всех[1]. Впрочем, сам он уже перестал употреблять опиаты, перейдя на другие наркотики, — и это подводит нас к третей ветви паутинки: наркотической.

Велик соблазн назвать наркотики основной темой Уэлша. Даже те, кто никогда не читал его книг, знают, что «Трейнспоттинг» — это про героин, и по названиям догадываются, про что «Эсид хаус» и «Экстази». Критики говорят, что в троице «секс—драгз—рок-н-ролл» Уэлш перемещает секс на последнее место, выдвигая наркотики на первое, а журнал «Rebel Inc.», впервые напечатавший «Трейнспоттинг», берет у Уэлша Э-нтервью, во время которого интервьюер и интервьюируемый как раз это самое «Э» и употребляют. Если добавить, что во время рекламного тура, посвященного второму роману Уэлша — «Аист марабу из кошмаров», — на почве наркотиков произошло несколько столкновений с полицией, то образ очередного Уильяма Берроуза или Теренса Маккены окончательно выкристаллизуется.

Разумеется, все не так просто. Уэлш пишет не про наркотики, а про тот социальный и культурный слой, к которому сам принадлежит и для которого употребление психоактивных веществ стало нормой. Он отводит обвинения в своеобразном вуайеризме («он живописует страдания и радости других людей, чтобы позабавить своих читателей»), заявляя, что для людей его круга и его культуры все описанное — скорее будни, и если представители академической критики и среднего класса испытывают такой болезненный интерес к описываемому в его книгах, они должны винить лишь себя: он-де пишет, что видит. Конечно, наркотики являются важной частью жизни его героев, но в большинстве случаев этим она не исчерпывается. Более того — для Уэлша само понятие «наркотик» оказывается под вопросом.

Дело в том, что антинаркотическая пропаганда создала образ обобщенного Наркотика и обобщенного же Наркомана. Между тем любой соприкасавшийся с этим миром и соответствующей субкультурой может заметить, что различные вещества и притягивают, и формируют различных по темпераменту и образу жизни людей. Опиаты (крэк, героин, опиум), стимуляторы (кокаин, амфетамины), галлюциногены (кислота — ЛСД, псилоцибиновые грибы, калипсол) и каннабиаты (марихуана — трава, гашиш) различаются не только по способности вызывать привыкание и требовать повышения дозы (что потенциально опасно для жизни и кошелька), но и по характеру прихода и отходняка. Разумеется, эта тема далеко выходит за рамки настоящей статьи (и, по большому счету, вообще не имеет отношения к литературе), но без ее учета невозможен разговор ни об Уэлше, ни о «химическом поколении» в целом.

Не случайно «Вечеринка что надо» просто наполнена суждениями о пользователях различных наркотиков: «на кислоте сидят только психи», «те, кто принимают кислоту, кончают дурдомом», «все джанки зануды, пока не уколются, а как уколются, так тоскливей людей на свете не найдешь» и так далее. Даже по этому короткому рассказу видно, что не существует единой «наркотической культуры», а есть множество субкультур. «Трейнспоттинг» в основном посвящен субкультуре джанки — людей, сидящих на героине и других опиатах. Именно джанки в наибольшей степени соответствуют образу наркомана, культивируемому масс-медиа: ломки, серая кожа, разрыв социальных связей, обочина жизни, ранняя смерть.

Если джанки — главный герой первого уэлшевского романа, то главный его вопрос: почему люди употребляют героин? Один за другим автор перебирает варианты ответа: в защитных целях (так, во фразе Игги Попа «Америка ширяется, чтобы защитить свою психику», герой предлагает заменить «Америку» на «Шотландию»), или потому, что героин дает чувство свободы и помогает забыть о тоске обычной жизни, или просто из тяги к саморазрушению. Однако Уэлш склоняется к простому и бесперспективному ответу: «Потому что это чертовски приятно».

Между тем последствия употребления героина показаны в книге (да и в приведенном рассказе) со всей возможной жестокостью. Но Уэлш выступает против героина даже не потому, что он в конечном итоге означает смерть: в нем, с точки зрения Уэлша, сегодня просто отпала нужда. «Я не вижу никакого смысла в употреблении опиатов, — говорит он в упомянутом выше Э-нтервью, — то, для чего разумные люди употребляли опиаты... так теперь, если ты хочешь этого долбаного внутреннего мира, — ты больше получишь с помощью экстази. И если ты хочешь забыть, какое дерьмо мир вокруг тебя, — ты можешь получить это благодаря эк-

---

[1] Напомню также, что СПИД во многом определил культурные приоритеты последнего десятилетия: именно благодаря ему были востребованы маргинальные работы специалистов по «культурным исследованиям», которые изучали сексуальность в ее социальном бытовании. Именно эпидемия СПИДа привела к изменению положения гомосексуалистов на Западе и к успеху таких книг, как «Трейнспоттинг».

стази. Тот, кто принимает экстази, получает куда больше, чем употребляющий опиаты»[1]. Чуть позже от Уэлша достается и траве: «Все эти улыбчивые хиппи тоже действуют мне на нервы. Есть что-то противное в гребаном старом хипаре, с косяком в зубах и дурацкой улыбкой, словно он во все давно въехал» .

Поколенческая заостренность филиппики Уэлша не случайна: каннабиаты и кислота были наркотиками хиппи; героин и амфетамины — наркотиками панка; экстази (МДМА), сочетающий в себе действие стимуляторов и галлюциногенов, — коронный наркотик рейв-культуры. Марихуана и ЛСД позволяли заглянуть в свой внутренний мир, обрести гармонию и испытать сильнейшие мистические переживания. Амфетамины давали выход скрытой агрессии, а героин доводил до предела принцип «чем хуже, тем лучше». По сравнению почти со всем перечисленным (за исключением разве что марихуаны) экстази – сравнительно мягкий наркотик: он возбуждает, но не так сильно и резко, как кокаин; он дает чувство единения и наполняет тебя любовью, но при этом не угрожает «дурным трипом», как кислота. Экстази — наркотик социальный, и не случайно он используется в дискотеках, на рейвах и в постели[2].

Сравнительная безопасность экстази позволяет принимать его по выходным, а не отдавать ему всю свою жизнь, как того требовал героин и даже кислота 60-х. Именно эта особенность сделала возможным вхождение экстази в мир рабочих, которые, в отличие от детей богатого среднего класса, вынуждены зарабатывать себе на жизнь пять дней в неделю. Водопроводчик Ллойд, герой «Непокоренных», так говорит о себе: «Когда я съедаю таблетку, я такой, каким хочу быть. Таблетка ничего не добавляет, она, наоборот, освобождает голову от всякого говна. Под таблеткой я как раз настоящий. А сейчас я высосанная развалина, побочный продукт поганого мира, построенного для себя кучкой ублюдков за наш счет. Но у меня есть свои моменты, в отличие от этих ублюдков. С пятницы по воскресенье»[3] . В отличие от панков и хиппи, «химическое поколение» не стремится переделать мир — его представители хотят только выгородить в нем для себя небольшой — с пятницы по воскресенье — загончик. Это, вероятно, роднит их с героями предыдущей генерации — «поколением Икс»[4].

Завершая обзор различных наркотиков, особо отметим, что произносимое Уэлшем не является откровением для людей, живущих в той субкультуре, к которой он себя относит, — среди поклонников экстази говорить об этом так же естественно, как лет двадцать назад на полудиссидентских московских кухнях объяснять забредшим туда иностранцам об «объединяющем действии водки» и «алкоголизме как протесте против советской действительности».

А мы вместе с Уэлшем как раз добрались до алкоголя и других легальных наркотиков — таких, как табак или кофе. Узаконенность дискредитирует их: алкоголь используется Системой для отупления масс (вспомните, с каким отвращением изображен пьяный в «Вечеринке что надо»), а кофе Уэлш и вовсе называет «корпоративным наркотиком».

«Государство лишает тебя лучших наркотиков, а взамен подсовывает всякое дерьмо, — говорит он в том же интервью. — Алкоголь — дурной наркотик. Он разделяет людей. Он возводит охрененные барьеры между людьми. Я видел множество людей, которых навсегда вырубил алкоголь. Эти, наверху, об этом прекрасно знают — но алкоголь по-прежнему легален, а экстази вне закона».

В своей атаке на алкоголь Уэлш идет даже дальше, утверждая, что быть джанки безопаснее, чем алкоголиком: чтобы соскочить с иглы, достаточно сменить круг общения, а вот «завязать» гораздо труднее: выпивка поджидает тебя на рекламных страницах любого журнала и на каждой респектабельной вечеринке.

И наконец, последний ход, который делает Уэлш в своей апологии экстази, — он атакует само понятие «наркотик»: «Я думаю, что наркотик[5] — это сама суть нашего бытия. Мы все наркотики, гребаные химические организмы, мы глотаем эти гребаные химикаты, и они воздействуют на наше сознание и поведение все время: еда, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, вся та дрянь, которую продают и продвигают на рынок для нас».

Одному из тех веществ, которые продают и продвигают, — лекарству теназадрин — и посвящена повесть «Судьба всегда в бегах», входящая в книгу «Экстази. Три повести о

---

[1] *Kevin Williamson*. The Ecstasy Interview — Irvine Welsh. Rebel Inc. Magazine. 1993 Issue 4 (http://www.electricfrog.co.uk/rebelinc/e-interv.htm).

[2] Автор обращает внимание своих читателей, что он только описывает различие в действиях наркотиков разных поколений. Вопрос о сравнительной безвредности того или иного вещества, мерах безопасности и легальности хранения и употребления в настоящей статье не рассматривается. Интересующимся следует обратиться к специальной медицинской или юридической литературе.

[3] *Ирвин Уэлш*. Экстази. «Птюч», 1996, №12, стр. 104. В этом номере опубликованы особо удачные фрагменты последней повести сборника, дающие о ней почти полное представление (перевод И. Третьякова). Цитируемый фрагмент соответствует 29-й главке «Непокоренных».

[4] Подробнее о смене четырех поколений молодежной субкультуры (хиппи, панки, иксеры, рейверы) можно прочесть в предыдущем номере «ИЛ» (*Литературный гид* «Поколение Икс»).

[5] Напомню, что по-английски слово «наркотик» — drug — означает также «лекарство» и в широком смысле может быть понято как «любое химическое вещество, принимаемое человеком».

химической любви». В двух других повестях химия представлена в виде вынесенного в заглавие вещества, и обе они так или иначе посвящены изменениям, вызванным в жизни героев приемом экстази. Так, первая повесть — «Лоррейн отправляется в Ливингстон» — представляет собой социальную сатиру в стиле Терри Саутерна (кстати, высоко оценившего Уэлша), главная героиня которой, автор «дамских романов» Ребекка, меняется под влиянием медсестры-рейверши Лоррейн, впервые приведшей Ребекку в клуб и давшей ей экстази. Теперь героиню уже не страшат измены мужа, а в свой новый роман она смело вводит элементы жесткого порно. Эта повесть наиболее традиционна для Уэлша: большое количество действующих лиц, раздробленный сюжет, молодежная субкультура, черный юмор и даже шотландский акцент одного из героев, некрофила-телезнаменитости. Еще большую роль маленькие таблетки с зайчиками и птичками играют в жизни восемнадцатилетнего рабочего Ллойда и недавно порвавшей с мужем двадцатишестилетней Хизер — героев третьей повести, «Непокоренные». Именно под воздействием экстази зарождается их любовь — химическая любовь 90-х годов. Симптоматичен, однако, финал повести, в котором герои решают на время отказаться от употребления наркотиков — нет, не потому, что боятся за свое здоровье или чувствуют, что «подсели», — а просто для того, чтобы проверить свое чувство. Таким образом, в 1996 году Уэлш, по-прежнему положительно оценивая экстази, склонен с большей осторожностью относиться к его регулярному применению. Возможно, с 1993 года, когда он дал интервью «Rebel Inc.», его взгляды несколько изменились.

Традиция книг, так или иначе связанных с наркотиками, является достаточно древней, и нет нужды еще раз перечислять джентльменский набор имен от де Куинси до Кастанеды. Интересней другая, хотя и тесно связанная с первой традиция, к которой Уэлш также принадлежит. И здесь мы снова вернемся к панку.

Панк-культура по-прежнему остается для Уэлша актуальной. Не только герои «Трейнспоттинга» слушают Лу Рида и Игги Попа, но и книге «Экстази», рассказывающей о совсем другой эпохе и других людях, предпослан эпиграф из Иггипопова «I Need More»: «Они говорят — смерть убивает вас, но не смерть убивает вас. Скука и безразличие убивают вас». Название последней из трех повестей тоже отсылает к одной из песен Игги — «The Undefeated». После выхода на экраны «Трейнспоттинга» Уэлш взял интервью у кумира своей юности, в котором сказал «Это фильм Игги, мэн. Фильм Игги и книга Игги»[1]. В другом интервью он признался, что писал повесть «Судьба всегда в бегах» под музыку панк-группы «Clash». Одним словом, культурные корни Уэлша надо искать в молодежном движении, в 70-е годы взорвавшем музыкальный мир.

Сейчас нас интересуют не наркотики, которые они принимали, и даже не музыка, которую они играли, а своеобразная идеология[2], стоящая за всем этим. Как известно, главным идеологом панка был Малькольм Макларен, не только разработавший панковскую моду и основавший «Секс пистолс», но и давший теоретическое обоснование панк-культуре. Среди моментов, характерных для панка (установка на неудачу, а не на успех; программная агрессивность и аутсайдерство; использование наркотиков и так далее), есть один, получивший особо интересное развитие в рейв-культуре. Любимая идея Макларена — чтобы делать музыку, не надо уметь играть на музыкальных инструментах. В 70-е это означало, что «каждый, кто способен удержать в руках гитару, может создать панк-группу», в 90-е — «каждый, у кого есть две вертушки, может быть ди-джеем». Настоящий панк-концерт, так же как рейв, делает каждого зрителя участником и создателем происходящего. В этом смысле и панк-музыка 70-х, и «техно» 90-х — максимально демократичная культура, «культура типа сделай-сам», по выражению Макларена[3]. Таким образом, если иксеры условно могут быть соотнесены с хиппи-шестидесятниками, то «химическое поколение» наследует панку — в тотальной наркотизации, демократичности культуры и высокой энергетичности.

Сам Уэлш неоднократно подчеркивал свою близость идеям «культуры для всех»: «В идеале через несколько лет все романы будут публиковаться в компьютере, и у вас будет интерактивный выбор, при желании вы сможете приделать свой собственный конец. Культура принадлежит всем. Если моя книга опубликована, она уже не моя»[4]. Так и подмывает

---

[1] *Irvine Welsh*. Interview with Iggy Pop. «Dazed and Confused», 1996, March. Русский перевод — «ОМ», 1996, октябрь—ноябрь, стр. 150—152.

[2] «Идеология», конечно, плохое слово, когда его применяют к таким анархическим движениям, как панк. Будем употреблять его (так же, как упомянутое ниже «теоретическое обоснование») условно, с некой иронической интонацией. Как написали бы в советских газетах, «с позволения сказать, «идеология» панка».

[3] Не случайно Макларен называет себя «крестным отцом всех ди-джеев».

[4] Интервью с Дженифер Берман. Опубликовано в Интернете по адресу http://www.echonyc.com/~BOMB/welshint.html. Пользуюсь сноской, чтобы отметить, что последняя фраза Уэлша почти повторяет программные тезисы постмодернистов, как бы он сам к ним ни относился. Разумеется, это заставляет еще раз осознать условность любых терминологических разделений в таком деле, как культура.

объявить Уэлша писателем-панком (по принципу «каждый, кто может удержать в руках ручку, может быть писателем!»), но, несмотря на всю его гордость по поводу того, что он «не учился на писателя, а просто приобрел привычку делать маленькие заметки и как-то раз, когда пересекал Штаты на автобусе, так заскучал, что исписал целую тетрадь»[1], Уэлш не первый и не последний самоучка в истории мировой культуры.

Гораздо важнее другое. В той цепи, о которой мы говорим, Макларен не является последним звеном — ниточка-паутинка тянется от него за Ла-Манш, в Париж 1968 года, к лозунгам «Под асфальтом — трава!» и «Воображение — к власти!». Не всем известно, что майские волнения были в большой степени вдохновлены членами Ситуационистского интернационала, возглавляемого автором знаменитой книги «Общество спектакля» Ги Дебором. Ситуационисты выдвинули концепцию современного общества как общества тотальной дезинформации, где «спектакль», отводящий людям роль зрителей, подменяет реальность[2]. В этом смысле революция 68-го или панк-движение были попытками взорвать «общество спектакля», превратив зрителей в действующих лиц.

Для этого использовался, в частности, прием «искажения» — «detournement», — когда уже существующий культурный объект подвергался игровому переосмыслению. Самым простым примером «искажения» можно считать граффити, написанные поверх рекламных плакатов, коллажи, использующие переосмысленную продукцию массовой культуры, и так далее. К этому же смысловому ряду относится популярная несколько лет назад среди психоделической молодежи Москвы практика смотрения по телевизору «Магазина на диване» — желательно под кислотой или травой. (Понятно, что в измененном состоянии сознания на телеэкране можно увидеть что угодно — кроме того, что хотел бы показать тебе рекламодатель.) Характерно, что это занятие часто сравнивали с тем самым «трейнспоттингом» — наблюдением за номерами проходящих поездов, — который и дал название роману Уэлша. Заметим, что микширование различных музыкальных записей, а тем более музыки и речей политиков, — тоже пример «искажения». Впоследствии практика «искажения» была освоена постмодернизмом (и подана как одно из его завоеваний), утратив при этом большую часть своей революционной энергии.

Еще раз отметим, что, несмотря на выдвигавшиеся ситуационистами социальные лозунги, главным полем битвы должно было стать сознание. Разрушению следовало подвергнуть в первую очередь не социальные институты, а социальные и культурные концепции. Одной из них была цепочка «Работай, чтобы больше потреблять, потребляй, чтобы лучше работать». В ответ Ги Дебор написал на стене революционной Сорбонны свое знаменитое «Никогда не работайте!». Ведь, согласно идеологам 68-го, на смену «экономике потребления» должна была прийти «экономика траты» — точно так же, как на смену «репрессированному желанию» должно было прийти «десублимированное желание». В разработке идей «экономики траты» ситуационисты напрямую наследовали леттристам пятидесятых, выступавшим, в свою очередь, наследниками сюрреализма и дада.

Так паутинка протянулась из 90-х к началу века — и не составляет труда тянуть ее дальше: к Ницше, Лотреамону и де Саду. Однако остановимся. Было бы неверно считать рейв-культуру и Уэлша прямыми наследниками ситуационизма или дада — по дороге от революционных лозунгов до субботних рейвов слишком многое потерялось. Весь этот исторический экскурс показывает, что не желающий искать в романах философию Уэлш все-таки тесно связан с континентальной философской и политической традицией. Через панк, Макларена, ситуационизм и леттризм мы выходим на Жоржа Батая, идеи которого позволяют лучше понять ужасающий финал «Судьбы всегда в бегах». (Я, разумеется, отдаю себе отчет, что Уэлш вряд ли знаком с этими идеями, но куда важнее то генетическое — хотя и непрямое — наследование, пути которого я только что описал.)

Жорж Батай был одной из ключевых фигур той части европейской культуры первой половины XX века, о которой мы здесь говорим[3]. Разрабатываемые им концепции «траты» и «преступления» легли в основу многих леттристских и ситуационистских построений — не случайно названием журнала леттристов служило слово, именующее одно из основных понятий батаевской политэкономии: «Потлач»[4].

«Трата» и «преступление» выступают для Батая путями к осознанию смерти — единственного, что отличает человека от животного. Бессмысленная трата жертвоприношения, козлиная песнь трагедии, маленькая смерть оргазма — все это словно репетиции той смерти, которая ждет нас в конце. Все образы сливаются в один — член вонзается в багровую

---

[1] Интервью с Дженифер Берман.

[2] Отзвуки этой концепции нетрудно видеть в идеях Жана Бодрийара о симулякре.

[3] Подробнее об идеях Батая можно прочесть в статье Нормана Брауна «Дионис в 1990 году» («ИЛ», 1995, № 1). Кстати, Норман Браун был одним из любимых философов Джима Моррисона.

[4] Важное понятие в построениях Батая, означающее индейский праздник, во время которого в соревновании честолюбий все свое имущество подвергается уничтожению. Символ экономики траты.

вагину, словно нож в распускающуюся рану, словно гвоздь в ладонь, словно рог быка в глазницу тореадора. Что происходит на арене корриды: жертвоприношение или спектакль? Что творится в спальне — религиозное действо или оргия?

Для Батая между ними нет разницы, потому что в основе религии и искусства лежит одно: отказ от разумного принципа накопления и экономии, формирующего запреты и требующего нарушать их во время праздников или представлений.

После преступления остаются улики и — чаще всего — разлагающийся труп. После траты — отбросы и отходы, хлам и мусор. И то и другое — подтверждение тому, что не все может быть утилизировано разумом, и вместе с тем зримое напоминание о нашей грядущей судьбе. Преступая закон, нарушая волю Бога и людей, пренебрегая принятыми правилами, человек готовит себя к переходу последней грани, нарушению главной границы — между собственной жизнью и смертью. Точно так же, разрушая созданное годами, растрачивая время, имущество или деньги, спуская за час заработанное за год, человек репетирует последнюю трату, невосполнимую трату собственной жизни в неизбежном акте умирания. И подготовка к нему превращается в один бесконечный, сладостный и ужасающий праздник, подобный вакханалиям Диониса, кислотным трипам или экстазийным рейвам.

В самом деле — многочасовой танец рейва, как ничто другое, близок к тем праздникам траты, о которых говорил Батай. Да и название главного рейверского наркотика рифмуется (а по-английски просто совпадает) с одним из ключевых понятий философии Батая — экстазом, описываемым им как абсолютный внутренний опыт, не имеющий оправдания ни в чем, кроме себя самого[1]. Культура 90-х дает как никогда многочисленные примеры связи секса, насилия, траты и экстаза. Группа «The KLF», сжегшая на костре миллион фунтов стерлингов. Рок-сатанист Мэрилин Мэнсон, объединивший в своем псевдониме имя главной американской секс-дивы и главного американского убийцы. Нью-йоркские «Genitortures», протыкающие и уродующие свои гениталии. Роб Вердергаал с его «Арт порно», устраивающий показательные садомазохисткие представления. В этом же ряду стоит и кровавый финал повести «Судьба всегда в бегах».

Жестокость и натуралистичность описываемого не должна заслонить от читателя того, что книга Уэлша — romance, любовный роман. А что эта история кровава и безжалостна — так кто сказал, что любовь должна быть пасторальной? Смерть всегда рядом с любовью, а Дейв впервые испытывает любовь (то, что это любовь к «уродке», — одновременно и в эстетике панка, и в эстетике 90-х, известных своей любовью к монстрам). Отправляясь навстречу своей судьбе, он понимает, что Саманта использует его, но ему уже все равно, потому что его любовь оказывается единственным оправданием и основанием для всей его жизни: «потому что если любишь, как я ее люблю, все сделаешь, всякую мутоту сделаешь, и это будет правильно».

То, что происходит в мехмастерской, — почти образцовая иллюстрация к построениям Батая. Жертву привязывают к жертвеннику за руки и за ноги (очевидно, в форме креста), после чего мучительно убивают. В брызгах крови Саманта испытывает оргазм, и ее крики сливаются с криками Стерджесса и шумом пилы. Глядя ей в глаза и словно пытаясь увидеть в них отблески охватывающего ее восторга, Дейв теряет сознание — в то время как его собственное запястье ломается пополам под звуки играющей в мозгу песни. Жертвоприношение, оргазм, боль, музыка — все сливается воедино. Судьба всегда в бегах — но Дейв наконец обрел тот экстаз, который не положишь под язык и не зажмешь зубами.

■

[1] Вероятно, помня об этом, название «Ecstasy» следовало бы переводить как «Экстаз» или, чтобы сохранить каламбур, «Экстазы». Не случайно две части «Непокоренных» называются «Безумная любовь к экстази» и «Безумный экстаз любви».

ТОМАС МАНН

АВГУСТ ФОН ПЛАТЕН

Перевод с немецкого и вступление ИГОРЯ ЭБАНОИДЗЕ

Неведомый классик

В хронологическом отношении граф Август Платен фон Халлермюнде — почти что двойник Пушкина: недолгая жизнь потомка ганноверских дворян, которым король баварский даровал владения в Ансбахе — северном (франконском) краю своих земель, — началась в 1796-м, а оборвалась в 1835 году. Однако по тому, что значили их имена для большинства современников, трудно найти фигуры более несопоставимые.

Хотя именно на место, равнозначное пушкинскому, претендовал Платен, именно к нему стремился он так пылко и обреченно — обреченно не только потому, что место это в немецкой поэзии было уже раз и навсегда занято Гёте, но, и в первую очередь, в силу характера — а отнюдь не силы — его таланта. Талант этот не находил достаточного отклика в тогдашней Германии, ему как будто не хватало временно́й и национальной привязанности; можно сказать, что он был укоренен в некоем анахроничном пространстве — пространстве «поэтическом в самом, — по выражению Томаса Манна, — безнадежном смысле этого слова». Платен хотел быть первым поэтом, не будучи *национальным* гением, не понимая, что символическое значение личности поэта важнее для нации, чем его поэтическое мастерство. Должно быть, именно это имел в виду Гёте, когда говорил в связи с Платеном: «Публика ценит не столько мастерство и одаренность писателя, сколько свойства его личности».

Этот прекрасный, удивительный лирик, открывший многие новые возможности немецкой поэтической речи, не мог найти лишь свое прочное место, свою, как говорят теперь, нишу в современной ему немецкой культуре — он все время претендовал на нечто абсолютно большее — на то, чем являются, но на что не претендуют. За это современники не раз пытались отказать Платену вообще во всяком месте во владениях поэзии. Если Пушкин — это, по выражению А. Григорьева, «наше все», то Платена неоднократно пытались изобразить полным ничтожеством. «Из ничего готовый ты возник», как писал немецкий драматург и романист, друг Гейне Карл Лебрехт Иммерман в эпиграмме на Платена. А Гейне в своих «Путевых картинах» попросту заявлял, что «Платен не поэт».

Кстати, не в последнюю очередь благодаря Гейне почти вовсе отсутствуют русские переводы Платена. Едва ли не большинство их сделано для русского издания гейневских «Луккских вод» (из третьей части «Путевых картин»), последние главы которых являют собой откровенно злобный памфлет на Платена и цитируют в соответствующей интерпретации далеко не лучшие его строки. Это произведение слыло в советской германистике образцом гейневской сатиры, хотя образцовым этот изобилующий проктолого-анатомическими сравнениями и уничижительным употреблением неопределенного артикля перед упоминанием имени Платена («ein Platen») текст можно рассматривать лишь в качестве пасквиля. Однако слишком высок был авторитет Гейне для нашей литературной идеологии, чтобы ставить под сомнение допустимость и уж тем более справедливость его слов о «бедняге вроде Платена». Под знаком противостояния прогрессивного Гейне и реакционного Платена произносили абсурдные для литературоведения фразы, вроде того, что у певца польского восстания Платена в его «Польских песнях» «слишком много заботы о мастерстве стиха и слишком мало гражданской воодушевленности».

Большинство выпадов Гейне в «Луккских водах» носит откровенно личный характер; там же, где Гейне, теоретизируя о сущности творчества, возвращается к припеву «граф Платен не поэт», он словно бы представляет Платена пушкинским Сальери, подменяющим вдохновение «алгеброй» метрики и с «тяжким трудом в поте лица» зарабатывающим «свою крошечную долю славы». Тем не менее именно Платен умер в моцартовско-пушкинском возрасте, и насмешки Гейне по поводу платеновского «жалкого нытья о близкой смерти» теряют тут всякую уместность. Платен сжигал себя и свои не знавшие иного исхода бесплодные страсти в очистительном огне творчества; творчество было его «пожаром», а жизнь, напротив, лишь «блед-

© И. Эбаноидзе. Перевод, вступление, 1998

ным заревом», и, прекрасно зная об этом, каждым своим художественным усилием он лишь приближал свою смерть. Поэтому и от моцартовского начала в Платене столь же мало, как и от легендарной алгебраичной бесталанности Сальери; он слишком сомневался в себе, слишком мучился чувством неполноценности, чтобы творить с жизненной непосредственностью гения. Двадцатилетним он записывает в дневнике: «Мрачные часы, когда я совершенно отчаиваюсь в себе. Я боюсь, что не обладаю ни даром понимания, ни духом, ни талантом, ни чем-либо еще из того, что может как-то поднять над зауряднейшими людьми».

Стать значительнее в собственных глазах благодаря человеческим отношениям или какому-либо участию в общественной жизни для Платена оказалось невозможным, и в конце концов осознание этого привело его к полному разуверению в своей ценности вне творчества. Этим, а вовсе не, как полагал Гейне, «бесталанностью» объясняется и мучительный накал платеновского творчества, и его безудержное лихорадочное утверждение своей художнической значимости. Сомнение в своей собственно человеческой ценности, ценности за пределами творчества типично для многих художников, однако в случае Платена оно обретает крайнюю, отчаянную степень, когда творчество становится оправданием *всего* существования, когда жизнь поэта была бы не просто бледной, малокровной, недостаточно интенсивной и последовательной, но ничтожной до невыносимости, не предавайся она неутомимо этому самооправданию. Творчество, которое несет всю ответственность за жизнь, которое творит ее саму в ее же собственных глазах — и сжигает эту жизнь до срока, — такое творчество нуждается в формальной оснащенности, как воин — в доспехах. Однако формальное это оснащение — не рухлядь театрального реквизита, не пыльные парики и картонные мечи, но нечто настолько эстетически благородное, что могло бы и само по себе стяжать земное бессмертие, даже если бы под ним не скрывалось порой завораживающе загадочное, порой ошеломляюще бездонное содержание платеновских интуиций.

Впрочем, тут я забегаю вперед Томаса Манна, статья которого о Платене, включенная автором в избранный том своих эссе, впервые публикуется здесь на русском.

Доклад о Платене, прочитанный Манном в 1930 году на родине поэта, в Ансбахе, на торжественном заседании Платеновского общества, вовсе не является речью по случаю, сочиненной для юбилейного собрания. Поэзия и личность Платена занимали Томаса Манна всю его жизнь. Еще в конце прошлого столетия, когда завершалась работа над «Будденброками», он собирался поставить эпиграфом к этому роману последнюю строфу стихотворения «Как прежде в трепет повергал меня...»:

So ward ich ruhiger und kalt zuletzt,	Я успокоился, стал холодней,
Und gerne möcht ich jetzt	И мне теперь милей
Die Welt, wie außer ihr, von ferne schaun:	Взирать на мир со стороны, снаружи.
Erlitten hat das bange Herz	Душой испытаны сполна
Begier und Furcht und Graun,	И страсть, и страх, и стужи,
Erlitten hat es seinen Teil von Schmerz,	И чаша боли выпита до дна,
Und in das Leben setzt es kein Vertraun;	И зов надежд мне голову не кружит.
Ihm werde die gewaltige Natur	Могучая природа, я узнал, —
Zum Mittel nur,	Лишь материал;
Aus eigner Kraft sich eine Welt zu baun.	Чтоб выстроить мой мир, он мне послужит.

А в 1950 году Манн упоминает в своем дневнике о намерении вернуться к эссе о Платене и «расширить его».

Возвращаясь к достойной сожаления судьбе стихов Платена в России, замечу, что виной тому, конечно же, не только Гейне; дело в объективных трудностях, которые отпугивают переводчиков. В результате русские переводы Платена можно буквально пересчитать по пальцам.

Между тем в своем отечестве, с которым Платен был в столь непростых отношениях, он — бесспорный, признанный классик. Неоднократно издавалось полное собрание его сочинений, в которых поэтический дар Платена запечатлелся в богатейшем разнообразии жанров: философская, любовная, гражданская лирика, политическая сатира, эпическое повествование — и форм: сонет, античная ода, персидские газель и рубаи, эпиграмма, комедия и т.д.

Справедливости ради надо отметить, что Платен был достаточно популярен среди русских поэтов «серебряного века». Немалую увлеченность его творчеством выказывала Марина Цветаева. Однако до основательной переводческой работы ни тогда, ни впоследствии дело не дошло.

Разумеется, цитируемые Манном фрагменты не могут восполнить этот пробел. Но, быть может, само манновское эссе, как своего рода рекомендация от признанного в России собрата по языку и перу, поможет Платену зазвучать на русском столь же чеканно, пластично и гордо, как звучит он в стихии родного языка.

Поэт Платен слывет мастером строгости воплощения, холодной соразмерности, классицистского формализма. Действительно, он боролся с разрушением формы, обличал свою эпоху за то, что она предалась романтической размытости и тому, что он считал дурным — отказу от канонов, — противопоставлял сотворенное по сложившимся правилам искусства: священную форму как истинное и непреходящее. «Я клянусь», — говорит он в своей бессмертной «Утренней элегии»:

Ich schwöre den schönen Schwur, getreu stets zu sein
Dem hohen Gesetz, und will, in Andacht vertieft,
Voll Priestergefühl verwalten
Dein groß Prophetenamt.

Я чудною клятвой клянусь, что верность храню
Предвечным законам, и вот с трепетом я,
Как в древности жрец, принимаю
От Бога пророческий сан.

(Перев. Г. Ратгауза)

Да и как смог бы он обойтись без этого пафоса, который поддерживал Платена в страданиях и унижениях его недолгой, одновременно возвышенной и жалостной, если не сказать жалкой, жизни?

Ein Trost nur bleibt mir, daß ich jeder Bürde
Vielleicht ein Gleichgewicht vermag zu halten
Durch meiner Seele ganze Kraft und Würde.

Одно мне остается в утешенье:
Что я достойно и с душевной силой
Умел встречать невзгоды и лишенья.

(Перев. И. Эбаноидзе)

Выражением этих силы и достоинства, благодаря которым его душа торжествовала над жизненными бедами и обидами, являлась форма, и в одном из сонетов он высказал это в совершенно законченном виде неповторимо рафинированным речитативом, собственно и составляющим стиль этого жанра, которым он владел как никто другой:

Wem Kraft und Fülle tief im Busen keimen,
Die Form beherrscht er mit gerechtem Stolze,
Bewegt sich leicht, wenn auch in schweren Reimen.
Er schneidet sich des Liedes flücht'ge Bolze
Gewandt und sicher, ohne je zu leimen,
Und was er fertigt, ist aus ganzem Holze.

Чья грудь избыток сил и чувств таит —
Владеет формой тот, гордясь по праву.
По волнам трудных рифм легко скользит.
Выпиливает песне он оправу —
Умело, ровно, с клеем не ловчит,
Что сделал он, то сделано на славу![1]

(Перев. Е. Соколовой)

И все же лишь по незнанию этого поэта можно определять его дар как рационально формальный и риторический и коснеть в убеждении, будто ему не хватает легкости, окрыленности, песенной магии, музыкальности, того тиховейного дыхания и неуловимого флера, той интонации волшебной проникновенности, которую немец прежде всего почитает лирической. Это верно, что стихотворный сказ чем дальше, тем больше означал для него возвышенно и культово сказанное.

Однако и простодушное и мелодическое, даже и таинственное и редкостно вдохновенное встречаем мы у Платена; я мог бы показать это, если бы позволяло время. Лишь *одно* стихотворение из этой текучей или, если угодно, романтической сферы я намеревался напомнить вам целиком — стихотворение, которое всем вам известно, которое многие из вас наверняка знают наизусть, как и я знаю его наизусть с ранних лет, и залог славы которого в бесконечном богатстве ассоциаций, коими оно откликается в душе. Оно написано Платеном в двадцать девять лет, когда уже за плечами были кадетский корпус и пажеский институт, неудавшаяся карьера военного, годы учебы в Вюрцбурге и Эрлангене и первое итальянское путешествие, плодом которого явились венецианские сонеты; написано за десять лет до кончины Платена и говорит о нем так много, так всецело высказывает нам его, что мы вправе идентифицировать поэта с этим стихотворением — с ним и с его заглавием. Звучит оно так:

Wer die Schönheit angeschaut mit Augen,
Ist dem Tode schon anheimgegeben,
Wird für keinen Dienst der Erde taugen,
Und doch wird er vor dem Tode beben,
Wer die Schönheit angeschaut mit Augen!
Ewig währt für ihn der Schmerz der Liebe,

Кто взглянул на красоту однажды,
Предан смерти тайно и всецело;
Будет изнывать от вечной жажды,
Но страшиться смертного удела —
Кто взглянул на красоту однажды.
Боль любви в нем вечно будет длиться,

[1] Чья грудь избыток сил... — заключительные строки сонета, посвященного Гёте. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

Denn ein Tor nur kann auf Erden hoffen,
Zu genügen einem solchen Triebe:
Wen der Pfeil des Schönen je getroffen,
Ewig wahrt für ihn der Schmerz der Liebe!
Ach, er möchte wie ein Quell versiechen,
Jedem Hauch der Luft ein Gift entsaugen
Und den Tod aus jeder Blume riechen:
Wer die Schönheit angeschaut mit Augen,
Ach, er möchte wie ein Quell versiechen!

Ибо лишь глупца надежда манит,
Что желанье это утолится.
Тот, кто красоты стрелою ранен —
Боль любви в нем будет вечно длиться.
Как родник — по капле иссякает,
Пьет отраву в дуновенье каждом,
Смерть из каждого цветка вдыхает:
Кто взглянул на красоту однажды —
Как родник — по капле иссякает.

(Перев. И. Эбаноидзе)

«Боль любви в нем вечно будет длиться»! О том, кто выразил себя в этих словах, Гёте отозвался, что «ему недостает любви»[1]. Великий муж заблуждался. Конечно, он был вправе взирать на Платена — как, в сущности, и на любого другого — свысока, с отеческим одобрением или укором, ибо для творчества монументального размаха отпрыску ансбахских аристократов недоставало благословения мощной и стойкой витальности; а его самовоспламеняющие уведомления о поэтических свершениях, на которые он пылко воображал себя способным, неизбежно должны были спровоцировать Гёте на упрек в пустом бахвальстве. Однако как раз то, что великий счастливец счел необходимым оспорить у Платена — любовь, именно она-то и была в нем: та самая любовь, которая пропитывает это стихотворение и наполняет все его меланхолично-восторженное, вновь и вновь воодушевленно стремящееся к высшему полету творчество; бесконечная и ненасытная любовь, которая впадает в смерть, которая сама и есть смерть, поскольку на земле ей не сыскать утоления, и которую он, давно и неисцелимо раненный, называет «стрелою красоты».

Нам знакомо иронично зловещее и дразнящее сочетание понятий любви и смерти в том виде, в каком его поэтически использовал романтизм, и в том числе Гейне — в своих романтизированных песенках и романсах. Здесь, в стихотворении Платена, эти идеи поставлены друг с другом в зависимость, уводящую нас далеко за пределы внешне и сентиментально романтического в тот душевный мир, исходную формулу, праформулу которого образуют именно эти таинственные строки: «Кто взглянул на красоту однажды, смерти предан тайно и всецело», — в мир, где жизненный императив, законы жизни, разума и морали ничего не значат, в мир опьяненно безнадежного либертинизма, который одновременно является миром величественнейшей формы и сурово-смертельной строгости и учит своих адептов, что принцип красоты и формы ведет свое происхождение вовсе не из жизненной сферы, что его отношение к этой сфере может быть лишь меланхолично и непреклонно критичным, а именно — отношением духа к жизни. Любовь и смерть — неразрывная связка романтической иронии — еще вовсе не составляют формулу мира, о котором я говорю. Красота и смерть и то, что стрела красоты есть стрела смерти и муки вечного томления, — лишь так обретает эта формула свой завершенный облик. Смерть, красота, любовь, вечность суть языковые символы этого одновременно платонического и одурманивающе музыкального душевного волшебства, исполненного чар и соблазна, о котором хочет нашептать наше стихотворение, этот завораживающий ритурнель; и те, кто на земле носят знак рыцарского служения этому чуду, рыцари красоты, суть рыцари смерти.

«*Тристан*» — так озаглавил Платен то стихотворение. И ведь как неожиданно! Должно быть, в минуту почти сомнамбулической завороженности, пристально следящей за нитью далеких взаимосвязей, выводила его рука это заглавие. «Многозначным и почти пророческим» назвал его сегодняшний критик Эрнст Бертрам в венецианской главе сво-

---

[1] Полный контекст этого высказывания Гёте приводит Эккерман: «Нельзя не признать за ним и многих блистательных качеств, но ему недостает любви. Он не любит ни своих читателей, ни собратьев-поэтов, ни, наконец, самого себя, отчего к нему наилучшим образом применимы слова апостола: «Если бы я говорил человеческими и ангельскими языками, а любви бы не имел, то я был бы как медь звенящая и как кимвал бряцающий». Как раз на этих днях я читал стихи Платена и не мог не порадоваться его щедрому таланту. Но, как я уже говорил, ему недостает любви, и потому он никогда не будет воздействовать на читающую публику так, как это ему подобает» (21 декабря 1825). Кстати, это не единственная характеристика Платена, которую мы встречаем у Гёте. Однако во всех случаях, отдавая дань «одаренности», «изобретательности, уму и продуктивности» Платена, веймарский классик говорит о нем как о несостоявшейся, не умеющей изживать мешающие ей свойства личности.

ей легенды о Ницше, где есть еще немало прекрасно сказанного о подобных взаимосвязях и сопряженных с Венецией неслучайных сходствах и совпадениях. И разве я преувеличиваю, говоря о бесконечном эмоциональном богатстве соотношений этого стихотворения?[1] И подразумевая, что с ним и его заглавием мы вправе идентифицировать его автора?

Платен — Тристан: в этом образе сумрачного рыцарского служения любви, которая обречена на смерть и смертью рождена, следует видеть и чтить его со всей серьезностью. Однако мы хотели бы воздать должное и земной сестре красоты, истине, которая, будучи дщерью жизни, знает толк и в комической стороне вещей и умеет повернуть ее так, чтобы наши любовь и почитание не только не пострадали от этого, но и по-человечески усилились и обрели жизненную полноту. В рыцарственности Платена есть не только тристановская печаль, не только в этом смысле является он печальным рыцарем. Он является им также и в гротескном, трогательно комичном значении, а именно — Дон Кихотом, рыцарем печального образа.

Платен — Дон Кихот! Неприкаянная душа, охваченная и влекомая возвышенным сумасбродством, никому не нужным, неуместным, несносным благородством и воинственным пылом, которые в каждое мгновение оказываются посрамлены, поколочены и безжалостно высмеяны, душа, до последнего вздоха клятвенно повторяющая, что Дульсинея Тобосская — прекраснейшая дама на свете, хотя на деле оная Дульсинея — всего лишь крестьянская девка, а точнее, какой-нибудь глупенький студентик по фамилии Шмидтляйн или Герман: так мы тоже можем взглянуть на него, этого поэта в безнадежно возвышенном значении слова, не переставая при этом его любить и почитать так же, как мы любим и чтим гротескного героя Сервантеса, хотя автор вынуждает нас смеяться над ним.

«Граф Платен, — писал Феликс Мендельсон после того, как виделся с ним в Неаполе, — это маленький, сморщенный тридцатипятилетний старик в золотых очках; он привел меня в ужас. Греки выглядели по-другому! Он страшно поносит немцев, забывая, однако, что делает это на немецком». Этот одинокий, неустойчивый, рассорившийся с родиной, гордо и горько обиженный седой человечек провозгласил:

Anstimmen darf ich ungewohnte Töne,
Da nie dem Halben ich mein Herz ergeben:
Der Kunst gelobt ich ganz ein ganzes Leben,
Und wenn ich sterbe, sterb ich für das Schöne.

Мне свыше дан был голос, чистый, дивный.
Чтоб всею жизнью — никогда вполсилы —
Петь гимн искусству: жизни не хватило.
Пусть смерть придет, — за красоту погибну.

(*Перев. Е.Соколовой*)

Что же еще можно назвать донкихотством, как не это: быть для того рожденным и к тому призванным, чтобы умереть «за красоту»? Ибо что есть красота? Чем является для нас сегодняшних это понятие из алебастра, это одновременно сладостное и педантично сухое понятие соразмерности, канонической правильности и золотого сечения, и чем оно было уже к тому времени — времени зарождающегося реализма и зари новых социальных веяний? Что такое эта красота — колено юноши, на котором почил Пиндар[2]? Да, именно так полагал Платен, именно это имелось им в виду и захватывало его всецело. Его идея красоты была классицистско-пластического, эротико-платонического происхождения, продуктом абсолютной эстетики, в священнослужители которой он чувствовал себя рукоположенным судьбою; была обнаженным идолом совершенства с гречески-ориентальным разрезом глаз, и перед этим идолом он в самоуничижении и бесконечной муке томления преклонял колени. Ибо его собственная жалкая, ипохондрическая и хворая телесность сгорала от стыда перед этим небесным обликом, и единственное, что ему оставалось делать, это с упорным и упоенным художественным усердием формировать свою душу по образу и подобию своего божества, чтобы стать достойным его.

---

[1] Действительно, «почти пророческие» взаимосвязи этого стихотворения уводят в первую очередь в мир написанной спустя почти полвека драмы Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда», кажущейся развернутым музыкальным комментарием к платеновскому «Тристану». Не в последнюю очередь подразумевает Томас Манн и внутреннее родство этого стихотворения с собственной новеллой «Смерть в Венеции».

[2] Согласно легенде, древнегреческий поэт Пиндар умер на коленях у своего возлюбленного — юноши по имени Теоксен — на представлении в театре в Аргосе.

Du hattest mich zu dir emporgehoben,
In deinen Augen schwamm ein lichter Funken,
Der Farben schuf, den Pinsel dreinzutunken,
Den reine Dichterhände Gott geloben.

Ты сам мне приоткрыл ворота рая.
В твоих глазах мерцали искры истин.
Ты создал краски, чтоб писали кисти,
Тебя рукой поэта прославляя.

(*Перев. Е. Соколовой*)

Так оно и было: всю свою жизнь он с поистине донкихотским фанатично-жертвенным пылом делал все возможное, чтобы снискать расположение своего божества; с неимоверным терпением и самоотдачей выбивал он на золотых литаврах языка сложнейше-великолепное; почти не встречая благодарности, вершил он чудеса одухотворенного языкового совершенства, и все единственно для того лишь, чтобы удостоиться почить на колене юного Теоксена.

Наша эпоха, мои уважаемые слушатели, живет, так сказать, при двойном освещении натуралистического скепсиса и заново зарождающегося идеализма: беспощадного познания и по-новому окрашенного благоговения — пропитанного знанием и потому более углубленного в сравнении с тем, что было свойственно прежним, не ведающим психоаналитических построений временам. Просто счастье, что решительный прогресс, которого добилась за последнее время наука о человеке, позволяет нам уже с само собой разумеющейся откровенностью говорить о многом из того, на что поверхностное благоговение прежней эпохи считало необходимым закрывать глаза. Так, долгое время история литературы по неведенью своему и из устаревшего ныне скромничанья довольно-таки по-глупому крутилась вокруг да около главного обстоятельства существования Платена — имевшего для него решающее значение факта его исключительно гомоэротических склонностей. Современники, которых не могло не восхищать, пусть даже не слишком трогая, высокопоэтичное выражение этих склонностей, хотя и не понимали их в современном смысле, однако все же не делали вид, что их не существует, и менее всех — Гейне, который в своем мстительном пасквиле против того, кто нанес обиду самому для него драгоценному — его христианству (так сказано в «Луккских водах»), эксплуатировал эту тему несколько механически, придавая ей оттенок типического аристократического порока. Самому Платену был ведом и одновременно как будто бы и неведом этот его глубочайший импульс: он истолковывает его как священную порабощенность прекрасным, как чистый знак своей творческой избранности, творческую посвященность в высшее начало также и в любви; и это полузнание себя, это непонимание того, что его любовь — вовсе никакая не высшая, а обычная, как любая другая, только лишь, по крайней мере, в ту эпоху, с более редкими возможностями осуществления, — это заблуждение вызывало в нем несправедливое возмущение и неисцелимую горечь из-за презрения и издевательств, с которыми всякий раз сталкивалась его пылкая самоотверженность, — горечь, очевиднейшим образом повлиявшую на его разрыв с Германией и всем немецким и приведшую его к добровольному изгнанию и смерти в полном одиночестве:

Wo Haß und Undank edle Liebe lohnen,
Wie bin ich satt von meinem Vaterlande!

В награду за любовь — хула и злоба.
Я сыт по горло родиной любимой!

(*Перев. Е. Соколовой*)

Такова ясная формула его обращенной к родине любви-ненависти, так сильно напоминающая ницшевский аффект амбивалентности в отношении к немцам. Но она, эта ненависть, не мешала ему мысленно посвящать Германии поэтическую славу, о которой он с возвышенным пылом постоянно мечтал:

Geschieht's, daß je den innern Schatz ich mehre,
So bleibt der Fund, wenn längst dahin der Finder,
Ein sichres Eigentum der deutschen Ehre.

Тот клад, что я коплю души стараньем.
Останется, когда б он ни был найден,
Немецкой славы верным достояньем.

(*Перев. И. Эбаноидзе*)

Я говорил о незнании или полузнании Платеном самого себя. Однако он не был неискренним, — он был откровенен в творчестве в меру своего знания, и все намеки в памфлете Гейне на платеновское притворство и игру в прятки бьют мимо цели. Притворяться? Таиться? Слишком мощным для этого было в Платене эстетическое подтверждение его страстей — каждой его страсти, — и ничто не характеризует его презрение к трусливой невинности и его принципиальную гордую волю к психологической наготе лучше, чем этот его возглас:

Stumpfsinnige, was wähnt ihr rein zu sein?
Ich hörte,
Daß keine Schuld so sehr, als solch ein Sinn
entweihe;
Ich fühlte, daß die Schuld, die uns aus Eden bannte,
Schwungfedern uns zum Flug nach höhern
Himmeln leihe.
Noch bin ich nicht so bleich, daß ich der Schminke
brauchte,
Es kenne mich die Welt, auf daß sie mir verzeihe!

Глупей всех тот, кто полагает, что безгрешен.
Вредней для разума, я знаю, мысли нету.
Грех навсегда для нас закрыл ворота рая,
Но дал нам крылья, чтобы ввысь стремиться,
к свету.
Не так уж бледен я, чтоб прибегать
к румянам.
Узнает мир меня! Прошу простить за это.

(*Перев. Е. Соколовой*)

Единственная маскировка заключалась здесь в выборе традиционных форм лирики, в которых он изливал себя и которые сами обогащали некоей традицией особый характер его чувственности, — персидская газель, сонет эпохи Возрождения, пиндаровская ода знали культ юношеской красоты и придали ему литературную легитимность. И поскольку он перенял — и не только перенял, но и с невиданным художественным блеском отчеканил заново — эти художественные формы, то и эмоциональное содержание воспринималось как заимствованное, архаизированно условное, внеличностное, и за счет этого становилось способным бесстрашно показаться на глаза миру. Так что я убежден, что выбор поэтических жанров, в которых он блистал, был насквозь обусловлен тем средоточьем всех его восторгов и страданий; однако не только из осторожности, не из трусости, как полагал Гейне, прибегал Платен к этим традиционным одеяниям лирика, но прежде всего потому, что формально строгий и пластичный по своему облику характер этих жанров находился в глубоком художественно-психологическом родстве с его собственным эросом. «Характер и степень сексуальности человека, — как говорит Ницше, — простираются до высочайших вершин его духовности».

Иногда он, правда, романтизировал свое чувство таким образом, который именно в его случае никак нельзя одобрить. Так, к примеру, он воспевал:

Doch diese Liebe möcht' ich nie besiegen,
Und weh dem Tag, an dem sie frostig endet!
Sie ward aus jenen Räumen uns gesendet,
Wo selig Engel sich an Engel schmiegen.

С любовью этой не хочу сражаться.
Остынет, — видно, день из самых черных!
Ее нам ниспослали с высей горних,
Где счастлив ангел к ангелу прижаться.

(*Перев. Е. Соколовой*)

И Гейне добавляет к этому, что тут уж, как ни крути, вспоминаются только те ангелы, которые пришли к Лоту, и то зрелище, которое предстало им у порога его дома. Что ж, ему вспоминалось это. Нам вспоминается скорее заумность иных фраз, которые ламанчец вычитал в старинных рыцарских романах и которые в буквальном смысле загнали беднягу в железный панцирь: «Глубокомыслие той бессмыслицы, которой я отдаю все мои помыслы, так отдается на ходе моих мыслей, что стенания мои о Вашей красоте наполняются противоречивым смыслом». Так и есть, до основания потрясенные глубокомысленно-бессмысленные помыслы Платена, этого Дон Кихота любви, одураченного ею куда более потешным образом, чем ей это обычно под силу, рождали полносмысленный стон о красоте дворовой девки, точнее, о только-только созревшей привлекательности заурядного юноши — стон, который, не будем забывать, достигает порой высочайших и недоступнейших снеговых вершин творческого начала духа:

Ich bin wie Leib dem Geist, wie Geist dem Leibe .
dir!
Ich bin wie Weib dem Mann, wie Mann dem Weibe
dir!
Wen darfst du lieben sonst, da von der Lippe weg
Mit ew'gen Küssen ich den Tod vertreibe dir?

Я для тебя как плоть и как душа твоя!
Я для тебя как муж и как жена твоя!
И даже смерть саму мой вечный поцелуй
Прогонит с губ твоих! Кому ж — любовь
твоя?

(*Перев. И. Эбаноидзе*)

Что за одухотворенный возглас невыразимой любви! Нужно прочесть некоторые фрагменты его переписки, чтобы прочувствовать жалостно-мучительный комизм ситуаций, в которые ставило Платена это донкихотство. Однако его духовная высота была для него самого слишком очевидна, чтобы не уметь всякий раз обретать равновесие между безоговорочной покорностью воплощенной красоте и унижениями, которые приходилось от нее претерпевать. Ему было знакомо внутреннее превосходство любя-

щего самоотречения над предметом любви — та ирония платонизма, что Бог присутствует в любящем, а не в возлюбленном.

Dies macht verklärt dein Auge, das meine sieht,
Wie deines Leibs Gliedmaßen Unsterblichkeit
Ausdrücken.

Тем просветлен твой взор, что вижу я,
Как в красоте твоих форм заключено
Бессмертье.

(*Перев. И. Эбаноидзе*)

Бессмертие! Он знал, с какой непомерной щедростью одаряет тех заурядных смертных, на которых покоился его возвышенно-ослепленный взор и на чьих самых что ни на есть обыкновенных губах оставлял печать вечности его мысленный поцелуй. Однако фактический и донкихотский комизм заключался в неизбежной неблагодарности, с которой он сталкивался; и сколь бы благозвучно ни давал он понять тем молодым людям, что судьба проявляет к ним особую благосклонность, ибо и смерть будет не столь горька тому, кого при жизни превознесли бессмертным песнопением, — все же среди них не нашлось ни одного, кто отнесся бы к этой чести иначе, чем Санчо Панса; и тот, к примеру, о ком мир однажды смог узнать, что поэт «предпочитал его всем другим», был наверняка чисто по-бюргерски рад, что его имя оставалось при этом вне игры.

Я говорю «вне игры» потому, что, при всем вышесказанном, игра наличествует здесь в той же степени и том же смысле, что и донкихотское возвышенное благородство. И это страстно-возвышенное заигравшееся донкихотство тянется через всю жизнь и все творчество Платена, определяет его отношение к миру и к самому себе. К примеру, его отношение к славе, к поэтической славе, о которой он пекся как ни о чем другом и которой он заранее беспрестанно кичился, целиком обусловлено этим. Оно покоится на некой возвышенной устарелости чувства жизни и понятий, на патетически-анахроничных представлениях о лавровом венке и увенчании им на Капитолийском холме. Значительную роль при этом играет антично-состязательный, агональный мотив: провозгласил же Платен в поистине хвастливой эпитафии, которую он заблаговременно сочинил самому себе, что в оде он «вторую заслужил награду», — как если бы кому-нибудь пришло в голову назначить награду за лучшую оду. И разве не было чрезмерно назойливым в своем великодушии донкихотством то, что он навязывал немецкому языку — пусть даже зачастую с потрясающим успехом — такие мучившие, хотя и возвышавшие его формы, как рефрен в газелях или иератический церемониал оды, который требовал от языка неестественных ударений, вроде правдá, милóсть, и благочестивая глупость следования которому именно в том и состоит, что сегодня ни одному человеку в голову не придет заняться проверкой метрической безупречности платеновских од.

Некая осанистая стать, подобная метрическому закону, правит его представлениями о поэтическом даре, об исполняемой с благородной легкостью роли поэта на земле — роли, в какой он себя не без кокетства представляет в своих стихах. Это есть образ поэта и рапсода, каким он значится в книге идеала:

Einmal will ich, daß versprech ich,
ohne Liebgekose leben,
Wann die Blumen hier im Garten
nach den Tafeln Mose leben.

Покажи цветок, живущий
по скрижалям Моисея, —
Лишь тогда отрину ласки, стану
слеп к земной красе я.

(Перев. И. Эбаноидзе)

Эта разудалая поза мало соответствует его сурово меланхолической участи, и кажется, что только лишь ради красивой традиционности Платен, гарцуя, принимал эту позу со всем набором ее причиндалов, вроде винных паров, вольной воли, сибаритства, чуждости добродетелям, высмеивания «моралистов», легко переносимой «недоброй славы» и благородно вскипающей чувственности:

Kredenzt mir Wein, auf daß berauscht wie Hafis
Ich phantasiere wild von deiner Schönheit.

Вина налейте мне! Пьянея, как Хафиз,
Мечтаньям диким о тебе предамся!

(Перев. И. Эбаноидзе)

И тем не менее все это есть лишь изящно и небрежно наброшенное одеяние подлинной и глубокой страсти, честного и глубокого презрения к мещанской скупости в проявлениях жизненности, поэтически стилизованный под нравственную разболтанность радикальный эстетизм, для которого имелось слишком много оснований в природе Платена и без которого он не мог обойтись.

Прекрасное — предмет его безоговорочного поклонения — это ведь самое что ни на есть антиполезное, а также и антиморальное, поскольку нравственное есть не что иное, как полезное для жизни. Имморализм поэта, с которым он играет, является в действительности радикальным антиморализмом, теснейшим союзом с прекрасным — даже против интересов самой природы. Отсюда и его чрезмерное требование, чтобы само «добро» склонилось пред алтарем красоты, и отсюда его презрение к трусливому рабу, который, «прекрасную узревши форму, не возлюбил ее с восторгом бесконечным». Смертельный либертинизм его эроса заключает и объявляет союз со всем, что в щедрости своей стоит уже вне всякой полезности, — против всего малодушно-обыкновенного и довольствующегося жизнью вполсилы; он объединяется таким образом с духовным началом, и в результате выходит, что его эстетизм, по мере возвышения над чувственным началом, становится все более мужественной природы. Прекрасное — ведь это же самое что ни на есть подобающее человеку, в противоположность всякой душевной темени, всякому рабскому убожеству и униженности тиранией; оно становится для Платена источником некоего гуманизма, который, словно бы в обход природы, ставит его в исполненную энтузиазма политическую позицию по отношению к проблеме человека. Было, конечно же, чистейшей демагогией, когда Гейне пытался стилизовать образ своего противника под юнкерство и поповщину лишь оттого, что тот был графом. Ни следа этого мы не наблюдаем в его духовной, художнической, политической позиции, и в этом смысле он — союзник Гейне и, как и тот, свободный ум. Таковым был он и в своем — во всем прочем исполненном восхищения — отношении к Гёте, променявшему энтузиазм на мудрость: «Не это мне дано!»

Nicht kann ich harmlos mich in die Pflanzenwelt
Entspinnen, anschau'n kantigen Bergkristall
Sorgfältig, Freund! Zu tief ergreift mich
Menschlichen Wechselgeschicks Entfaltung.

Нет, не забудусь я в царстве растительном,
Кристаллов горных не созерцатель я.
О нет, мой друг! Куда сильнее
Грозное время волнует душу!

(*Перев. Г. Ратгауза*)

Он был поэтом такой политической остроты, о какой Гейне мог только мечтать. Он прославлял свободу, чтил ее мучеников, как никто другой страдал от современных ему условий Германии; он обличал деспота, который правой рукой осеняет себя крестным знамением, в то время как левой — распинает на кресте народы[1], и объяснял, что тирания и чернь тесно связаны между собой, свобода же возвышает облагороженный народ над чернью.

Wir haben Jahre zugebracht,
Im eignen Gram uns zu versenken;
Nun hat sich erst der Wunsch entfacht,
Mit klarem Geiste das zu denken,
Was dunkel nur die Zeit gedacht.

За годом мы влачили год
Под игом скорби и невзгоды.
Но воля новая растет:
Познать наш век, осмыслить годы
И в самом смутном — дать отчет.

(*Перев. Г. Ратгауза*)

Надеялся ли он, что такая социализация, политизирующее обращение прекрасного в то, что облегчает и делает достойной человеческую жизнь, возвысит его над самим собою? Тщетно! Пловцу не вырваться из коварных объятий пучины; она затянет его на дно. Бунтарский и воинственный пыл той эпохи, облагораживавший иных, был обречен в нем на то, чтобы постоянно вырождаться в личное, можно даже сказать, физиологическое озлобление, опускаться до человеконенавистничества, в чем и сам он с полнейшей ясностью видел приметы смерти.

Sein Zeitalter und er scheiden sich feindlich ab,
Ihm mißfällt, was erfreut Tausende, während er
Scharfsichtige, finstre Blicke
In die Seele der Toren wirft.

Век его и он сам — люто враждуют днесь:
Он гнушается тем, что восхищает всех.
Мрачным, праведным взором
Он уловки глупцов казнит.

(*Перев. Г. Ратгауза*)

Можно ли с более жуткой — и при этом все же исполненной благородства — непосредственной точностью описать, что значит носить в своем сердце смерть? Кажется, что именно в Платена метят поразительно проницательные слова Гёте из «Зимней поездки на Гарц»: «Ах, кто исцелит мучения того, кому бальзам стал ядом, кто из полноты любви

[1] Имеется в виду эпиграмма Платена на русского царя Николая I.

пьет ненависть к людям? Сперва презираемый другими, ныне же — сам презирающий все вокруг, незаметно подтачивает он собственную основу в ненасытном своем себялюбии». Это подтачивание собственной основы, это ненасытное себялюбие в точности суть случай Платена. Отсюда происходят и его лихорадочное самохвальство, его язвительное и леденящее остроумие, его ожесточенное отрицание всякой поэтической продукции, кроме собственной, злосчастная его тяга к полемике, которая мешала ему и заглушала в нем великие мечты. Уже к тридцати годам у Платена проявились серьезные признаки перевозбужденности и истощения. Еще через девять лет дальнейшего перенапряжения и постоянного подавления эмоций он умирает в Сиракузах от болезни неявно тифозного происхождения, бывшей не чем иным, как личиной смерти, которой он с самого начала, с полным сознанием того, был предан.

Платен — Тристан. Платен — Дон Кихот. В эту памятную дату, на этой родной ему земле мы склоняемся перед его жизнью, исполненной благородства и полной невзгод, чистый след которой, уж в этом можно быть уверенным, останется с нами до тех пор, пока живы наш язык и наша культура.

Ein jedes Band, das noch so leise
Die Geister aneinander reiht,
Wirkt fort auf seine stille Weise
Durch unberechenbare Zeit.

Любая книга, чьи страницы
Оставят в душах тайный след,
Всего вернее сохранится
В непредсказуемости лет.

(*Перев. Е. Соколовой*)

ОЛДОС ХАКСЛИ

ПИСАТЕЛИ И ЧИТАТЕЛИ

От переводчика

Олдос Хаксли как эссеист у нас в стране практически неизвестен. Между тем эссеистика с оттенком публицистики была едва ли не излюбленным полем деятельности этого страстного критика и «учителя жизни», автора знаменитых антиутопий и одного из самых проницательных и эрудированных людей своей эпохи. Конечно, писал он в первую очередь для современников. Однако хорошее эссе, особенно посвященное такой «вечной» теме, как взаимоотношения писателей и читателей, не устаревает.

Эссе «Писатели и читатели» впервые вышло в свет между двумя мировыми войнами (оно включено в сборник «Олива», опубликованный в 1936 году). Многое ли изменилось с той поры в отношениях двух категорий людей, о которых идет речь? Валовой объем выпускаемой печатной продукции намного вырос, но она и тогда была практически необозримой. Что же касается ее качества, тут, по-видимому, не изменилось ровным счетом ничего. Кроме того, дело не в количестве слов, которое прочитывает среднестатистический гражданин в год или в минуту, а в том, *что именно* он читает. И если задуматься об этом, станет ясно, что надежды собрать того Шалтая-Болтая, о котором говорит Хаксли в конце своего эссе, с течением времени остается все меньше.

Благодаря всеобщему начальному образованию читающая публика Европы и Америки теперь включает в себя практически все взрослое население. Спрос породил столь же высокое предложение: восемь миллионов тонн бумаги ежегодно испещряется типографским шрифтом; газетное производство во многих странах вышло в ведущие отрасли промышленности; только на английском, французском и немецком языках каждый год публикуется по сорок тысяч новых книг.

Огромная активность писателей, огромная и ненасытная пассивность читателей. Что происходит, когда они встречаются? Насколько велик и каков именно отклик читателей на то, что им предлагается? Какова степень, каковы пределы влияния, оказываемого писателями на их аудиторию? Каковы законы его возрастания и убывания? Трудные вопросы; и чем больше о них думаешь, тем труднее они кажутся. Но поскольку они имеют к нам прямое отношение (ибо все мы читатели, ежегодно потребляющие в среднем по миллиону слов), нам стоит хотя бы попытаться найти ответы.

Отношения между научными писателями и их читателями регулируются правилами, определенными заранее. Поскольку дело касается нас, проблемы научной литературы не существует, так что я больше не буду затрагивать эту тему. В целях моего исследования можно разделить ненаучную литературу на три основных класса. К первому из них мы отнесем всю ту огромную массу литературы, которая даже не предназначена для того, чтобы оказывать на читателя положительное влияние, — всю ту вязкую, бессмысленную, отупляющую печатную продукцию, которая существует лишь ради того, чтобы заполнить паузы, убить время и парализовать мысль, чтобы омертвить и рассеять чувство. Почти для всех нас страсть к чтению стала чем-то вроде пристрастия к сигаретам. Большую часть времени мы читаем не ради того, чтобы чему-нибудь научиться, не ради того, чтобы расшевелить душу или подогреть фантазию, а просто потому, что чтение — одна из наших дурных привычек и мы страдаем, если у нас есть свободное время и нет печатной продукции, чтобы заполнить вакуум. Лишенные своих газет или романа, запойные читатели набрасываются на кулинарные книги, на инструкции по употреблению готовых лекарств, на правила хранения сухих завтраков, изложенные на обратной стороне коробок. На все подряд. О литературе этого рода — литературе, существующей только потому, что вторая натура любителей чтения не выносит пустоты, — довольно будет сказать, что ее очень много и что она с успехом выполняет свою функцию.

Ко второму классу я отношу два главных

© В. Бабков. Перевод, 1998

вида пропагандистской литературы — ту, что стремится изменить религиозные и этические взгляды и личное поведение своих читателей, и ту, что направлена на изменение их социальных, политических и экономических взглядов и поведения.

Для удобства и потому, что она нуждается в имени, мы назовем литературу третьего класса *художественной литературой*. Она пишется не ради прямых пропагандистских целей, однако может существенно влиять на мысли, чувства и поступки читателей.

Начнем с пропагандистов.

Сколько же их на белом свете! Тысячи людей по всему миру только и занимаются тем, что обвиняют, учат, наставляют, уговаривают и улещивают своих собратьев. С каким результатом? Ответить на это довольно трудно. Большинство пропагандистов трудятся во мраке, пускают свои стрелы вслепую. Они пишут, не зная ни того, насколько им удастся повлиять на своих читателей, ни того, какие средства наиболее пригодны для этой цели, ни того, на какой срок хватит их влияния. Наука пропаганды до сих пор не изобретена.

Этот факт кажется тем более странным, если принять во внимание родство этой неоткрытой дисциплины с наукой рекламы. С течением лет изготовители рекламы стали настоящими специалистами в деле продажи публике разнообразных товаров. Они точно знают, каковы возможности и ограничения разных видов пропаганды, — знают, чего можно добиться, например, простым повторением одной и той же фразы; апелляцией к таким распространенным человеческим свойствам, как снобизм и тяга к социальной адаптации; игрой на животных инстинктах вроде алчности, похоти и особенно страха во всех его формах, от страха перед болезнью и смертью до страха показаться своим собратьям глупым, безобразным или физически отталкивающим.

И если коммерческие пропагандисты владеют своей профессией так хорошо, то почему же этические и политические пропагандисты в целом владеют своей так плохо? Причина в том, что задачи, которые стоят перед изготовителями рекламы, принципиально отличаются от задач, с которыми сталкиваются моралисты и, в большинстве случаев, политики. Как правило, реклама занимается вещами, имеющими очень малое практическое значение. Например, я хочу купить мыло, но мне абсолютно безразлично, куплю ли я мыло, произведенное X, или мыло, произведенное Y. И потому я могу позволить себе сделать выбор на основании таких ничего не значащих деталей, как сексуальная привлекательность девушки, столь соблазнительно улыбающейся с плакатов X, или каламбуры и смешные рисунки на плакатах Y. Конечно, во многих случаях предлагаемый товар мне вовсе ни к чему. Но поскольку у меня есть немного лишних денег и странная тяга обзаводиться ненужными вещами, я легко поддаюсь на уговоры любого, кто советует мне купить какую-нибудь безделушку или предмет роскоши. В таких случаях коммерческая пропаганда — это приглашение покориться естественному или благоприобретенному желанию. Она никогда не призывает читателя воспротивиться соблазну — она всегда уговаривает его подчиниться. Не слишком трудно убедить людей сделать то, чего им и так хочется.

Когда читателя призывают купить предмет роскоши или выбрать между двумя разновидностями одного и того же необходимого для жизни товара, на кон не ставится ничего серьезного. Тут реклама имеет дело со второстепенными и десятистепенными ценностями. Однако иногда призывы коммерческих пропагандистов касаются вещей, которые кажутся читателю очень важными. Страдающему от какого-либо недуга или физической неполноценности предлагаются чудодейственные таблетки фармацевта M или лосьон косметолога N. Разумеется, он их сразу же покупает. Здесь рекламисту надо лишь убедительно заявить о своем товаре; настоятельная нужда читателя делает все остальное.

У этических и политических пропагандистов задача совсем другая. Моралист должен убедить людей превозмочь свой эгоизм и свои личные пристрастия либо по причинам божественного порядка, либо ради их собственного высшего «я», либо в интересах общества. Этические учения могут основываться на разных философиях, но практические советы во всех случаях одинаковы и по сути своей малоприятны, в то время как советы коммерческих пропагандистов, напротив, весьма приятны. В бочке меда, предлагаемой коммерческими пропагандистами, только одна ложка дегтя — они просят у вас денег. Некоторые политические пропагандисты являются также и моралистами: они призывают читателей подавить свои желания и ограничить эгоистические позывы, трудиться и страдать во имя некоей цели, которая принесет счастье в будущем. Другие не требуют от своих читателей персональных усилий — достаточно лишь верности партии, чья победа спасет мир автоматически, так сказать, естественным путем. Первые должны убедить людей сделать что-либо в целом неприятное. Вторые должны убедить их в правильности политики, которая хоть и не приносит явных неудобств, но, по-видимому, не сулит и быстрого вознаграждения. Как первым, так и вторым приходится конкурировать с другими пропагандистами. Искусство политической пропаганды достигло гораздо меньших высот, чем искусство пропаганды коммерческой, — и это неудивительно.

Печальный опыт научил моралистов тому, что одна лишь реклама добродетели не способна сделать людей добродетельными. В течение двух последних тысячелетий во всех цивилизованных странах мира было произведено на свет огромное количество нравоучительной литера-

туры. Тем не менее моральный уровень населения остается весьма низким. Правда, если бы этической пропаганды вовсе не было, он мог бы оказаться еще ниже. Этого нам знать не дано. Но я подозреваю, что если бы мы могли измерить эффективность этической пропаганды в ее литературной ипостаси, мы обнаружили бы, что она редко превышает один процент. Для отдельных личностей и в особо благоприятных условиях печатная пропаганда может оказаться более эффективной, чем обычно. Но в общем и целом люди ведут себя хорошо не потому, что много читали о хорошем поведении и о социальной или метафизической пользе, которую оно способно принести, а потому, что в детские годы их более или менее упорно, более или менее систематически обучали тому, как надо себя вести. Моральные пропагандисты не считают печатное слово ни единственным, ни даже основным средством убеждения.

В отличие от производителей рекламы, политические и общественные пропагандисты трудятся во тьме и плохо представляют себе характер влияния, которое они могут оказать на своих читателей. Однако сами пропагандисты редко признают этот факт. Подобно всем нам, они любят подчеркивать важность своей работы. Более того, в среде историков и политологов возникла тенденция соглашаться с ними. И это неудивительно. Будучи тоже профессиональными писателями, историки и политологи склонны преувеличивать значение литературы. В большинстве исследований новейшей истории важное место занимает анализ различных политических и экономических теорий; при этом подразумевается или открыто утверждается, что пропаганда этих теорий в писаниях их авторов более или менее заметно повлияла на исторический процесс. Говоря иными, более звучными словами, литераторов наделяют даром «построить своими вздохами Ниневию, а своим веселием — сам Вавилон». Давайте обратимся к фактам — подтверждают они эти гордые притязания или опровергают их?

Рассмотрим деятельность пропагандистов в периодической печати. Богачи и политические деятели твердо убеждены, что, контролируя прессу, они смогут контролировать общественное мнение — контролировать его даже в тех странах, где демократические принципы проводятся в жизнь без грубых нарушений. Они скупают газеты — отчасти для того, чтобы делать деньги (ибо газетное производство является очень выгодной отраслью индустрии), но главным образом в уверенности, что им удастся подтолкнуть свой электорат к нужным поступкам. Однако новейшая история свидетельствует, что их ожидания оправдываются не чаще, чем в половине случаев. Например, успехи английской Либеральной партии на выборах до войны[1] и Лейбористской партии после были достигнуты вопреки усилиям прессы, которая была и остается в основном консервативной. Простой арифметический подсчет показывает, что должны существовать миллионы англичан, регулярно читающих консервативные газеты и регулярно голосующих против тори. То же самое верно и для Франции — ясно, что многие из тамошних читателей консервативной прессы голосуют на выборах за социалистов и даже за коммунистов. Мы приходим к двум выводам: во-первых, люди выбирают свою ежедневную газету не за ее политическое направление, а только за ее способность развлечь их и помочь им убить время; во-вторых, печатная пропаганда имеет меньшее значение, чем привычки и предрассудки, классовые взгляды и профессиональные интересы ее читателей.

Не стоит забывать и о том, что успех пропаганды сильно зависит от внешних условий. Иногда они действуют ей наперекор, иногда в не меньшей степени ей помогают. Например, во время выборов, вернувших к власти первое коалиционное правительство во главе с Ллойд-Джорджем, а также на выборах 1931 года обстоятельства были на руку большинству пропагандистов — и усилия последних принесли богатые плоды. В этой связи полезно рассмотреть пропаганду союзников во время мировой войны. Вплоть до лета 1918 года пропаганда, направленная на подрыв морального духа немецких войск, была почти совершенно неэффективной. Потом же, когда голод и поражения немцев в ряде битв подготовили нужную почву, эта пропаганда возымела успех. Но листовки организации лорда Нортклиффа[1], оказавшиеся такими действенными в июле и августе, не приносили ровно никакой пользы во время победоносного наступления немцев на Сен-Кантен в марте того же года.

Пропаганда великих мастеров слова так же подвержена власти обстоятельств, как и пропаганда худших из журналистов. Выпады Рескина[2] против механизации и фабричной системы повлияли только на тех, чье экономическое положение было сродни его собственному; на тех же, кто получал от механизации и фабричной системы какой бы то ни было доход, они не повлияли вовсе. С начала двенадцатого столетия до времен Тридентского собора[3] обличения церковных и монастырских злоупотреблений лились почти непрерывным потоком.

Но, несмотря на красноречие таких великих писателей и церковных деятелей, как, скажем, св.

---

[1] Имеется в виду первая мировая. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

[1] Альфред Чарльз Нортклифф (1865—1922) — английский журналист и издатель, во время первой мировой войны отвечавший за британскую пропаганду во вражеских странах.

[2] Джон Рескин (1819—1900) — английский писатель и теоретик искусства, романтически протестовавший против буржуазной действительности.

[3] Тридентский (Триентский) собор (1545—1563) был проведен Ватиканом в связи с ростом влияния протестантства и сыграл большую роль в реформации Римской католической церкви.

Бернар и св. Бонавентура [1], ничего не было сделано. Для возникновения Контрреформации понадобились условия, созданные Реформацией. Влияние Вольтера на современников было огромным. Лукиан был одарен не меньше Вольтера и писал о религии с той же уничтожающей иронией. И однако, насколько мы можем судить, его писания не возымели абсолютно никакого действия. Сирийцы во втором веке повально обращались в христианство и другие восточные религии; лукиановская ирония не достигала их ушей, глухих ко всему, кроме теологии и оккультизма. А во Франции первой половины восемнадцатого века возникло особое сочетание исторических условий, предрасположившее образованную публику к определенному религиозному и политическому скептицизму, и люди приветствовали вольтеровские нападки на существующий порядок вещей. Складывается впечатление, что политическая и религиозная пропаганда действует лишь на тех, кто уже частично или полностью убежден в ее правоте.

Рассмотрим более современный пример. После войны в ряду самых популярных бестселлеров числились два хорошо написанных, убедительных пропагандистских сочинения — я имею в виду «На Западном фронте без перемен» Ремарка и «Краткий очерк истории» Г. Дж. Уэллса. Многие миллионы жителей Европы и Америки прочли вынесенный немцем приговор войне и призыв англичанина к межнациональной дружбе. С какими же результатами? На это и впрямь трудно ответить. Мы можем сказать лишь одно: националистические чувства никогда еще не были так распалены, как сегодня, а расходы на вооружение никогда не поднимались до такого высокого уровня. Сознательные усилия пропагандистов были вновь побеждены обстоятельствами. Влияние Ремарка и Уэллса — безусловно, весьма значительное в пору появления их книг — сошло на нет вместе с послевоенным отвращением к бойням и закончилось одновременно с эпохой послевоенного процветания. Созрело новое поколение, не имеющее прямого военного опыта, и тогда же наступила «великая депрессия». В отчаянной попытке сохранить местное благополучие правительства подняли цены, установили квоты, ввели субсидии на экспорт. Повсюду начал брать верх экономический национализм. В то же время отчаяние и чувство, что их обманули, что они стали жертвами колоссальной несправедливости, заставило миллионы людей искать утешения и суррогатного торжества в религии национализма. Почему, можем поинтересоваться мы по ходу дела, эти несчастные жертвы войны обратились за утешением к национализму, а не к христианству? Причину следует искать не в эффективности националистической пропаганды, а в исторической ситуации в целом. Престиж науки недостаточно высок для того, чтобы побудить людей применять научные методы в решении социальных и личных проблем; однако он достаточно высок для того, чтобы заставить их отвергнуть принципы трансцендентальных религий. Для большой части населения наука сделала христианские догмы интеллектуально неприемлемыми. Поэтому современные суеверия волей-неволей приняли позитивистскую форму. Желание поклоняться осталось, но поскольку современный человек способен верить лишь в наблюдаемые объекты, это желание находит себе богов, которых можно видеть и слышать или, по крайней мере, чье существование может быть легко доказано на основе непосредственного опыта. Нации и диктаторы всегда на виду. Именно эти племенные божества и становятся объектами поклонения современного человека. Одним из самых странных и неожиданных следствий научного прогресса стал всеобщий переход от монотеизма к языческому благоговению перед местными идолами. Истоки этого процесса хорошо различимы в трудах немецких философов начала девятнадцатого века. Возьмите одного из «моравских братьев»[1], наделите его недюжинным умом и прямым опытом иноземного вторжения и тирании захватчиков; в результате получится глубоко религиозный человек, не способный найти интеллектуальное удовлетворение в традиционном христианстве времен своего детства, но готовый со всем пылом преклониться перед собственной нацией. Одним словом, вы получите Фихте. В его «Обращениях к немецкому народу» в большой степени предвосхищена религия нацизма. Но в то время как нацисты изобрели свой, особый жаргон, Фихте — и это существенно — еще пользуется обычным лексиконом пиетиста[2]. Он описывает патриотические переживания теми же словами, какими «моравские братья» описывали религиозные. В Фихте, как и в нескольких его менее знаменитых современниках, мы наблюдаем переходный тип между двумя четко оформленными видами — возрожденцем-христианином и возрожденцем-националистом. После введения всеобщего образования множество людей прошли тот же путь, что и Фихте: неудовлетворенность пиетизмом родителей заставила их искать для своей тяги к поклонению другой объект. Наполеоновское вторжение помогло развиться фихтевской религии национализма; поражение и неполноценная победа в мировой

---

[1] Бернар Клервоский (ок. 1090—1153) — французский церковный деятель и духовный писатель-мистик, вдохновитель и организатор 2-го крестового похода в 1147 г.; Джованни Фиданца Бонавентура (1221—1274) — итальянский богослов, монах-францисканец, впоследствии генерал ордена, папский легат и кардинал. Один из пяти великих учителей церкви.

[1] Моравские (чешские) братья — религиозная секта, основанная в Чехии последователями реформаторов Яна Гуса (1371—1415) и Петра Хельчицкого (ок.1390 — ок. 1460).

[2] Пиетист — последователь пиетизма, мистического течения в протестантизме конца XVII — XVIII в.

войне сделали то же для немцев и итальянцев нашего собственного поколения. Короче говоря, исторические условия последних лет сыграли на руку национализму и набросили тень недоверия на интернационализм, будь он религиозным или политическим, основанным на христианской теологии или на рационалистическом видении мира. Разумеется, одновременно с этим правительства разных стран намеренно разжигали националистическую лихорадку, преследуя свои политические цели. К этим причинам можно добавить еще и естественную склонность людей к периодическим изменениям интеллектуальной и эмоциональной моды. Сама популярность какого-либо автора в определенный период времени есть причина того, что он становится непопулярным позже. Обращения, вызванные проповедями Уэллса и Ремарка, оказались в основном поверхностными и недолговечными. Удивляться тут нечему.

Но давайте ради интереса предположим, что эти обращения оказались по большей части глубокими и, несмотря на изменившиеся обстоятельства, устойчивыми. Разве это хоть сколько-нибудь заметно повлияло бы на современную ситуацию при условии, что те, кто правит миром, остались необращенными? Можно было бы заявить, что по-настоящему важна не та книга, которая обращает в свою веру десяток миллионов случайных читателей, а та, которая обращает очень немногих, обладающих во время ее распространения реальной властью. Маркс и Сорель[1] оказали влияние на современный мир не столько потому, что написали бестселлеры (Сорель, например, был малочитаемым автором), сколько потому, что среди их читателей были, соответственно, Ленин и Муссолини. Менее наглядным образом, но весьма основательно повлияли на течение истории в девятнадцатом веке писания Иеремии Бентама[2]. Они не получили большого распространения, однако среди их читателей были Чедвик, Грот, Ромилли, Броум[3] — администраторы, педагоги, реформаторы, которые сделали все, чтобы претворить идеи Бентама в жизнь. Возможно, что будущий правитель какой-нибудь великой страны окажется страстным поклонником Уэллса. Тогда его «Краткий очерк» станет не только фактом минувшей истории, но и орудием творения истории грядущей. Пока же, несмотря на его широкую известность, он не оказал на ход исторического процесса заметного влияния.

---

[1] Жорж Сорель (1847—1922) — французский философ-эклектик, теоретик анархо-синдикализма.

[2] Иеремия Бентам (1748—1832) — английский философ, социолог, юрист. Родоначальник философии утилитаризма.

[3] Сэр Эдвин Чедвик (1800—1890) — врач; Джордж Грот (1794—1871) — историк; сэр Сэмюэл Ромилли (1757—1818) — юрист; Генри Питер Броум (1778—1868) — политик, лорд-канцлер; все эти люди сыграли важную роль в общественной и государственной жизни Британии.

Как я говорил прежде, общественная и политическая пропаганда действует лишь на тех, кто благодаря обстоятельствам уже отчасти или целиком убедился в ее правоте. Другими словами, она эффективна только тогда, когда является рационализацией желаний, чувств, суеверий или интересов тех, для кого она предназначена. Богословскую или политическую теорию можно определить как интеллектуальное средство, позволяющее людям в здравом уме и твердой памяти делать то, на что иначе они отважились бы только в пылу страсти. Обстоятельства — внутренние, внешние или чисто психологические — порождают в душах чувство неудовлетворенности, или жажду перемен, или неодолимую тягу к чему-то новому. Эти эмоциональные состояния могут находить случайный выход в бурных, но ненаправленных действиях. Но вот появляется автор богословской или политической теории, в рамках которой эти смутные чувства могут быть обоснованы. Энергии, связанной с доминирующими в народе страстями, придается направление, и в то же время она усиливается и начинает вырабатываться без перебоев. Рационализация превращает отдельные выбросы в целеустремленную и непрерывную деятельность. Механизм успешной пропаганды может быть вкратце описан следующим образом: люди принимают на веру богословскую или политическую теорию, потому что она оправдывает и объясняет желания и эмоции, порожденные в их душах обстоятельствами. Конечно, с научной точки зрения эта теория может быть совершенно абсурдной, но покуда люди в нее верят, это не имеет ни малейшего значения. Однажды поверив в теорию, люди следуют ее рецептам даже в периоды эмоционального равновесия. Более того — теория часто заставляет их спокойно совершать поступки, которые они едва ли совершили бы раньше даже в состоянии возбуждения.

Наша природа не выносит морального и интеллектуального вакуума. Возможно, нашими душами правят страсть и эгоистические интересы, но мы ни за что не признаемся в этом даже самим себе. Мы чувствуем себя несчастными, если нашим продиктованным страстями поступкам нельзя придать облик разумных действий, если наш эгоизм не удается объяснить и приукрасить, набросив на него флер идеализма. Отдельные потери требуют не только возмещения, но и формулирования универсально значимых причин, согласно которым это возмещение необходимо. Отдельные страстные желания жаждут быть узаконенными в терминах рациональной философии или общепринятой морали. В нас вновь и вновь образуется моральный и интеллектуальный вакуум, засасывающий в себя любые писания объяснительного или оправдательного характера, какие только подвернутся под руку. Чистая или грязная, затхлая или сладковатая — любая вода сгодится насосу, работающему вхолостую. Точно так же любое философское сочинение, хорошее, плохое или нейт-

ральное, способно обратить в свою веру людей, которыми правят страсти и эгоизм и которые постоянно испытывают нужду в моральных и интеллектуальных оправданиях. Отсюда необычайный успех книг, которые кажутся почти никчемными уже следующему поколению; отсюда временное торжество и влияние явно второсортных и бесталанных писателей. Давайте рассмотрим конкретный пример. Устройство французского общества восемнадцатого века было таким безнадежно отсталым, в нем было столько анахронизмов, что множество отдельных французов, не способных смириться с этим порядком вещей, испытывали настоящие страдания. Тоска и жажда перемен были очень сильными; столь же сильной была и потребность в философии, которая рационализировала бы эту жажду и узаконила эту тоску в терминах чистого разума и абсолютной справедливости. Страстно желая быть наполненным, моральный и интеллектуальный вакуум всасывал в себя все подряд. Среди такого рода пищи оказалось и сочинение Гельвеция «О духе». Это чрезвычайно плохая, полная нелепостей книга. Но некоторые ее утверждения, хоть и явно ложные (например, о всеобщем интеллектуальном равенстве и вытекающей из него возможности сделать из любого ребенка Ньютона или Рафаэля), хорошо отвечали имевшейся в то время тяге к политическим, религиозным и экономическим реформам. На несколько лет книга приобрела такое значение и влияние, какое нельзя оправдать ее литературными и художественными достоинствами. Ее успех объясняется не талантом автора, а нуждами его читателей.

Были писатели, чье влияние объясняется не их даром и не нуждами их читателей, а простонапросто модой. Сочинения большинства гуманистов четырнадцатого и пятнадцатого веков кажутся нам невыносимо скучными. И мы не одиноки в этом суждении, ибо не прошло и ста лет, как их труды были почти совершенно забыты. Однако современникам они казались интересными и убедительными. Если человек мог более или менее сносно подражать стилю Цицерона или Саллюстия, это казалось двум поколениям читателей эпохи Ренессанса достаточным для того, чтобы видеть в его трудах глубокий смысл. Джан Галеаццо Висконти из Милана говаривал, что целая тысяча флорентийских кавалеристов не способна причинить ему столько вреда, сколько единственное письмо на латыни, вышедшее из-под пера советника Флоренции гуманиста Колуччо Салутати. Древнюю литературу открыли заново, и это было событием большой важности. Легко понять, почему в пятнадцатом веке придавалось такое значение всему латинскому, почему ученые вроде Валлы и Поджо[1] приобрели такую огромную власть над умами. Но почему столетием позже хулиган Пьетро Аретино[1] стал почитаться публикой наряду с первыми гуманистами и превратился в фигуру, окутанную почти волшебным ореолом, — этого мы объяснить не в состоянии. Аретино писал довольно бойко, некоторые из его трудов и сейчас способны вызвать интерес. Но почему он пользовался таким гигантским влиянием и почему все европейские короли и принцы считали нужным платить ему мзду — это остается для нас тайной, и мы можем сказать только, что по какой-то причине он вошел в моду.

В каждую историческую эпоху отдельные сочинения признаются некоторыми или всеми членами общества предположительно верными. Таким образом их наделяют неоспоримым авторитетом. Показать, что его идеи подтверждаются признанными авторитетами, всегда входит в задачу пропагандиста. Если же пропагандист не может заставить существующие авторитеты служить своим целям, ему приходится опровергать их. Дьявол начинает атаку цитатами из Священного Писания; когда же эти цитаты его подводят, он становится на точку зрения «высшей критики» и доказывает, что Писание не более авторитетно, чем «Записки Пиквикского клуба». В каждый конкретный период имеются некие влиятельные литературные вехи, и пропаганда этого периода вынуждена принимать их во внимание. Правильная ориентация по отношению к признанным авторитетам — одно из условий, от которых зависит успех пропаганды.

Итак, мы видим, что эффективность пропагандистского произведения определяется условиями того времени, когда оно написано. Эти условия бывают двух типов — внешние и внутренние, психологические. Внешние условия могут меняться катастрофически, как во время войны, или постепенно, с изменением средств производства и ростом или падением уровня благосостояния народа. Конечно, изменению внешних условий сопутствуют изменения внутренних. Но внутренние условия способны меняться и сами по себе, до известной степени независимо от внешних условий и согласно своим автономным законам. История движется волнообразно, и эти волны в какой-то мере отражают свойство человеческих натур постепенно отвращаться от привычных стереотипов мышления и заменять их новыми. (Этот процесс чрезвычайно усложняется тем, что в современных неоднородных обществах сосуществует множество групп с различными стереотипами мышления и чувства. Сейчас нам нет нужды вдаваться в эти сложности.) Автономная природа психологических колебаний подтверждается историческими фактами. Так, пылкая приверженность сверхактивным религиоз-

[1] Лоренцо Валла (1405 или 1407—1457) — итальянский гуманист, приверженец философии и этики Эпикура. Джан Франческо Поджо Браччолини (1380—1459) — ученый-гуманист, один из «первооткрывателей» забытой латинской классики.

[1] Пьетро Аретино (1492—1556) — итальянский писатель, автор политических памфлетов, сатирических комедий и проч.

ным или политическим течениям обычно уступала место относительному равнодушию и любви ко всему мирскому, хотя на это требовалось разное время — от нескольких месяцев до двадцати пяти лет.

«Все активные религии, —пишет профессор Крейн Бринтон в заключительном абзаце своей недавно опубликованной «Десятилетней революции», — становятся неактивными примерно спустя поколение. Мудрому, опытному и последовательно малоактивному институту, известному под именем Римской католической церкви, всегда угрожали всплески активных религий. До Лютера эти всплески неизменно подавлялись, загонялись в рамки законов и постановлений... Со времен Реформации вне Римской церкви имели место сильные всплески религиозной активности. Пыл фанатиков первой из этих волн, кальвинистов, давно успел угаснуть... Представители второй волны, якобинцы, в пору Третьей республики пошли на компромисс с плотью... Третье бурно начавшееся движение, марксизм, похоже, вступило в застойную фазу, по крайней мере в России». Полезно проиллюстрировать колебания в ходе истории несколькими конкретными примерами. Движению францисканцев понадобилось двадцать лет, чтобы утратить первоначальный пыл. Свою первую обитель Франциск основал в 1209 году, а булла Папы Григория IX, которая вопреки заветам святого позволила руководителям ордена владеть и управлять собственностью, была выпущена в 1230-м. Французская революция пришла к термидорианскому перевороту всего через пять лет, Савонарола правил Флоренцией восемь лет, хотя отрицательная реакция общества на его движение религиозных и моральных реформ проявилась несколько раньше. Великое Кентуккийское Возрождение продолжалось с 1797-го по 1805-й, а Уэльское Возрождение 1904-го[1] приказало долго жить всего два года спустя.

Наверное, можно утверждать, что нехватка интенсивности движения компенсируется его продолжительностью. Так, для отхода от светского религиозного скептицизма, царившего в Англии в начале восемнадцатого века, образованным англичанам понадобилось целое поколение. Аддисон[2] жаловался, что в его время исчезла даже видимость христианства; Лейбниц отмечал, что в Англии чахнет даже «естественная религия». И эти мнения подтверждаются фактами. Литература неверия была столь же популярна, как художественная. Например, «Беседы» Вулстона[3], посвященные развенчанию чудес, разошлись в количестве тридцати тысяч экземпляров. Но перемены уже близились. В письме Гиббону, отправленном в связи с выходом в свет первого тома его истории и датированном 1776 годом, Юм подытоживает свои впечатления от современной английской мысли следующими словами: «Среди многих других печальных симптомов преобладание суеверия в Англии говорит об упадке философии и деградации вкуса». Четырнадцать лет спустя, в 1790-м, Берк[1] заметил, что «ни один человек, родившийся за последние сорок лет, не прочел ни слова из сочинений Коллинза, Толанда, Тиндаля[2] и прочих так называемых свободных мыслителей. Атеизм не только противоречит рассудку; против него восстают даже наши инстинкты».

Сорок лет — вот, пожалуй, самая точная оценка. Чарльз Уэсли был обращен в 1736-м, а Джон[3] — в 1738-м. К 1750 году движение, явившееся одновременно результатом и причиной этих обращений, зашло достаточно далеко для того, чтобы подкосить популярность деистской литературы. После нескольких небольших флуктуаций, к середине девятнадцатого века, образованное общество вновь пришло к скептицизму и отвернулось от него лишь в конце столетия. Однако из-за выпадов рационализма середины века новая вера уже не могла быть чисто христианской и трансцендентальной; она проявилась в различных псевдорелигиозных формах, самой важной из которых был национализм. Редьярд Киплинг в начале двадцатого века сыграл ту же роль, что в свое время кардинал Ньюмен[4] и Уэсли.

Пропагандисты всегда делают одну и ту же ошибку, полагая, что психологический процесс, наблюдаемый ими в обществе, будет вечно идти в одном направлении. Итак, мы видим, что в эпоху скептицизма пропагандисты торжественно заявляют, что с предрассудками покончено и разум наконец победил. В пору отката к религии христианские проповедники и националисты с тем же пылом и убежденностью провозглашают, что скептицизм повержен навсегда. Не стоит и говорить, что ошибаются и те и другие. История движется волнообразно, потому что (помимо других причин) спустя ка-

---

[1] Великое Кентуккийское Возрождение, Уэльское Возрождение — эпизоды из истории англо-американского движения за обновление протестантской церкви, начавшегося еще в XVI в. (т.н. ревивализма).

[2] Джозеф Аддисон (1672 —1719) — английский писатель, заложивший основы нравоописательного эссе и реалистического романа XVIII в.

[3] Томас Вулстон (1670 —1733) — английский религиозный писатель, стоявший за аллегорическое толкование Священных текстов.

[1] Эдмунд Берк (1729 —1797) — английский публицист и философ, один из лидеров вигов.

[2] Уильям Коллинз (1721—1759) — английский поэт-предромантик, сочинитель од в неоклассическом стиле. Джон Толанд (1670—1722) — английский философ-материалист и атеист. Уильям Тиндаль (ок.1492 —1536) — английский религиозный реформатор, переводчик Библии, обвинявшийся в ереси.

[3] Чарльз Уэсли (1707—1788) и Джон Уэсли (1703—1791) — британские священники, зачинатели методистского движения в англиканской церкви. Здесь идет речь об их первом опыте непосредственного религиозного переживания.

[4] Джон Генри Ньюмен (1801—1890) — английский теолог, педагог, публицист и церковный деятель. В 1845 г. перешел из англиканства в католичество, с 1879 г. кардинал.

кое-то время разумным людям начинает надоедать главенствующая мода на мысли и чувства. Пропаганда придает духовным движениям силу и форму, но породить сами эти движения она не в состоянии. Пропагандист — это человек, который направляет в определенное русло уже существующий поток. В краю, где нет воды, он будет рыть напрасно.

В демократической стране у всякого пропагандиста есть соперники, также претендующие на внимание общества. В тоталитарных государствах писатели не обладают свободой слова, а их читатели — свободой выбора. Там есть лишь один пропагандист — само государство.

То, что всесильные правители, нередко прибегающие к террору, являются одновременно и самыми активными пропагандистами в истории, на первый взгляд кажется парадоксом. Но со штыками можно делать что угодно — только сидеть на них нельзя. Даже отъявленный тиран нуждается в поддержке своих подданных, иначе его сбросят с престола. В первую очередь пропаганда диктатора направлена на то, чтобы узаконить его власть в общественном мнении. Правительствам с большим стажем нет нужды доказывать свою законность. Благодаря долгой привычке людям кажется «естественным», что они живут при абсолютной или конституционной монархии, что ими правит президент республики, или главный архиепископ, или несколько избранных родов — тут варианты бывают самыми разнообразными. Однако новые правители должны доказать, что они не узурпировали свой титул и не просто отняли власть у своих предшественников, а имеют на нее некое высшее право. Как и любое другое преступление, узурпация стремится оправдать себя в рамках уже принятой системы ценностей — именно той самой, которая и заклеймила ее как преступление. Например, в Италии в четырнадцатом и пятнадцатом веках были два признанных держателя политической власти — Империя и Церковь. Поэтому люди, путем насилия и обмана захватившие власть в каком-либо городе, спешили объявить себя законными церковными наместниками или наследственными имперскими воеводами. Для успешного установления тирании им нужны были титулы и видимость общепризнанной власти. Со времен Французской революции право на власть перешло к Народу и Нации. Когда современным деспотам требуется узаконить захват власти, они пользуются лексиконом национализма и той гуманистической демократии, которую сами же подавили. С помощью своей пропаганды они доказывают, что их режим направлен на благо народа или, если экономическая ситуация явно противоречит этому утверждению, что он идет во благо мистической целостности, отличной от составляющих ее индивидуумов и превосходящей их, то бишь Нации. Но абсолютному диктатору мало общественного признания законности его правительства; он требует от своих подданных, чтобы они думали и чувствовали одинаково, и ради этой цели пускает в ход все пропагандистские ухищрения. В среде первобытных народов имеет место полная психологическая однородность. Но для такой однородности необходимо следующее: во-первых, популяция должна быть небольшой, во-вторых, она должна существовать в изоляции благодаря либо географическим причинам, либо исключительности местной религии, и в-третьих, ее система производства должна быть более или менее неспециализированной. Европейские диктаторы могут хотеть, чтобы их народ был однородным, как меланезийское племя, и добиваться от своих подданных покорности австралийских аборигенов. Но рано или поздно обстоятельства скажут свое слово. Пятьдесят миллионов людей разных профессий не могут жить вместе, не проявляя своих естественных различий. Вдобавок, ни один диктатор не может полностью изолировать себя от контактов с внешним миром, как бы ему этого ни хотелось. Отсюда следует, что в конце концов его ждет неизбежное поражение. Однако он уверен по крайней мере в неполном, временном успехе. Диктаторская пропаганда требует покорности и значительных жертв — в частности, финансового характера, — но за это стремится убедить человека в том, что как представитель избранного народа, расы или класса он лучше всех прочих людей, населяющих земной шар; она заглушает его чувство собственной неполноценности суррогатным величием коллектива, дает человеку основания для высокой самооценки и обеспечивает его врагами, которых он может винить за свои недостатки, давая выход своей скрытой жестокости и любви к издевательствам над себе подобными. Коммерческая пропаганда приветствуется, ибо она призывает людей удовлетворять низменные желания и помогает им отвлечься от физических страданий и неудобств. Диктаторская пропаганда, по духу всегда националистическая или революционная, приветствуется, ибо она дает волю человеческой гордыне, тщеславию и другим эгоистическим свойствам, а также помогает людям преодолеть ощущение личной неполноценности. Диктаторская пропаганда возводит отвратительную реальность страсти и суеверия в ранг идеала. Диктаторы — это жрецы национализма, а национализм заявляет, что все уже ясно и для достижения счастливого будущего надо попросту гнуть свою линию. Все люди ищут оправданий таким свойствам характера, как зависть, злоба, алчность или жестокость; с помощью революционной или националистической пропаганды диктаторы снабжают их этими оправданиями. Отсюда следует, что диктаторской пропаганде обеспечен известный временный успех. Но как я уже говорил, рано или поздно невозможность превратить огромное сообщество образованных людей в подобие психологически однородного первобытного племени начнет сказываться на положении дел. Кроме того, у всякого человека есть природ-

ная склонность к рационализации и добропорядочности (не будь ее, люди не стремились бы узаконить свои предрассудки и страсти). Доктрина, ставящая во главу угла самые низкие стороны существующей реальности, не может продержаться долго. И наконец, в современном мире просто не работает политика, основанная на племенной морали. Беда в том, что в процессе проверки этого факта диктаторы могут разрушить мир до основания.

Диктаторскую пропаганду можно разделить на два класса: негативную и позитивную. Позитивная пропаганда состоит из того, что написано, негативная — из того, что не написано. Для любой диктаторской пропаганды умолчание по крайней мере столь же важно, как и речь, suppressio veri играет не меньшую роль, чем suggestio falsi[1]. Действительно, негативная пропаганда, то бишь умолчание, пожалуй, еще более эффективное орудие убеждения и подавления самостоятельной мысли, нежели речь. Умолчание создает среду, в которой написанные или произнесенные слова оказывают наибольшее действие.

Избыток позитивной пропаганды вызывает у тех, кому она адресована, скуку и отвращение. Эксперты по рекламе прекрасно знают, что давление на покупателя можно повышать лишь до известного предела, иначе отдача быстро снизится или вообще станет отрицательной. В этом отношении политическая пропаганда не отличается от коммерческой. Так, большинство наблюдателей сходятся на том, что во время Данцигских выборов[2] нацистские пропагандисты вредили сами себе, ибо «протестовали слишком активно». Однако Данциг был свободным городом; оппозиции было позволено говорить, и для позитивной пропаганды не имелось почвы, созданной предварительным периодом умолчания и подавления. Каковы же результаты избыточной позитивной пропаганды в тоталитарном государстве? На этот счет у нас нет надежных данных. Тем не менее в этой связи представляется характерным падение тиражей немецких газет после прихода к власти нацизма. «Протестуя слишком активно» и все в одной и той же манере, пропагандисты только вызвали у своих читателей отвращение. Suppressio veri имеет одно огромное преимущество перед suggestio falsi: чтобы ничего не говорить, не надо быть очень красноречивым. Позитивная пропаганда может надоесть людям; но там, где негативная пропаганда настолько эффективна, что альтернативы написанному и сказанному не существует, сохранить оригинальность суждений способны лишь самые независимые натуры.

Возможно, пропагандисты будущего будут столько же писателями, сколько химиками и физиологами. Пилюля, содержащая три четверти грамма хлорала и три четверти миллиграмма скополамина, приводит проглотившего ее человека в состояние абсолютной психологической податливости, такое же, как при глубоком гипнозе. Любое утверждение, воспринятое пациентом в этом искусственно вызванном трансе, проникает в самые глубины подсознательного и может породить стабильные изменения в образе мыслей и поведении. Во Франции, где этот метод исследовали в течение ряда лет, было обнаружено, что два-три курса внушений с использованием хлорала и скополамина могут изменить даже привычки жертв алкоголизма и неукротимых сексуальных пристрастий. Особенность этого средства состоит в том, что наступающая после сеанса амнезия имеет обратную силу: пациент не помнит даже о том, что происходило за несколько часов до приема наркотика. Поймайте человека врасплох и скормите ему такую пилюлю; он придет в сознание с полным набором убеждений, которые вы внушили ему во время транса, и не будет иметь ни малейшего понятия о том, каким образом совершилось его обращение. Пропаганда, сочетающая фармакологию с литературой, была бы безотказной и эффективной на сто процентов. Тут есть от чего расстроиться.

До сих пор я говорил о влиянии писателей, которые стремятся убедить своих читателей встать на определенную политическую или социальную точку зрения. Теперь нам следует рассмотреть методы воздействия на читателей как на отдельные личности. Влияние писателей в сфере индивидуальной мысли, чувства и поведения, пожалуй, еще более важно, чем их влияние в области политики. Но определить это влияние и количественно оценить его эффективность — чрезвычайно сложная задача. «Искусство, — сказал кто-то, — есть отпущение грехов». В лучших образцах искусства мы воспринимаем людей, вещи и ситуации яснее, чем в жизни, как будто они в некотором смысле реальнее самой реальности. Но это более ясное восприятие является в то же время менее личным и эгоистическим. Писатели, которые дают своим читателям возможность видеть таким более интенсивным, но внеличным образом, оказывают на них влияние хоть и трудно определимое, но, безусловно, глубокое и благотворное.

Произведения художественной литературы имеют и другой, более простой эффект: с помощью внушения они меняют характеры тех, кто их читает. Французский философ Жюль Голтье сказал, что одним из важных свойств человеческой натуры является «способность человека мыслить себя иным, чем он есть». Он называет эту способность «боваризмом» по имени героини флоберовского романа мадам Бовари. До известной степени все люди живут под чужими именами, маскируются под кого-то другого, сознательно или бессознательно

---

[1] Suppressio veri — утаивание правды, suggestio falsi — провозглашение лжи (*лат.*).

[2] На выборах 1933 и 1935 гг. в польском городе Данциге (Гданьске) нацисты получили большинство мест в законодательном собрании.

заимствуют чужой характер. Их «персона», если воспользоваться термином Юнга, возникает в большой мере благодаря подражанию. Иногда подражают живым личностям, иногда выдуманным или историческим фигурам; иногда добродетельным и полезным членам общества, а иногда преступникам и искателям приключений. Это может быть, по знаменитому слову Фомы Кемпийского[1], подражание Христу, а может быть подражание героиням романов Майкла Арлена[2]; кто-то подражает Юлию Цезарю, а кто-то Будде; кто-то Муссолини, а кто-то Вертеру; одни Ставрогину, другие святой Терезе из Лизье[3], а третьи убийцам из грошовых детективов. Люди боваризируются, уподобляясь самым разнообразным персонажам, реальным или выдуманным. Иногда подражатель выбирает образец, похожий на него самого, но бывает, что расхождение между тем и другим очень велико. Угол между реальностью и избранной человеком персоной — де Голтье называет его «боварийским углом» — может быть тупым или острым. В крайних случаях этот угол может составлять сто восемьдесят градусов. Другими словами, истинный и заимствованный характеры могут иметь абсолютно противоположные свойства. Мне кажется, что для большинства из нас боварийский угол находится в пределах от сорока пяти до девяноста градусов.

Наставники всегда старались использовать боварийские тенденции своих учеников, а исторические и литературные образцы для подражания с незапамятных времен играли важную роль в этическом образовании. Однако и такие наставники, подобно всем пропагандистам, не способны предвидеть, как моральная пропаганда повлияет на их учеников. Иногда отклик оказывается положительным, иногда — отрицательным. Мы еще слишком мало знаем, чтобы определить, каким он будет в каждом конкретном случае. Влияние книг, безусловно, очень велико; но никто, тем паче сами писатели, не может сказать, на кого они повлияют, каким образом и надолго ли. Крайней формой боваризма является паранойя. Тут человек играет роль так самозабвенно, что начинает полностью отождествлять себя со своим героем. Влияние книг на параноиков, должно быть, весьма значительно. Люди, страдающие манией преследования, часто воображают себя жертвами некоего дьявольского тайного общества, отождествляемого с какой-нибудь реальной организацией вроде масонов или иезуитов, о которой пациент прочел в исторических или чисто художественных сочинениях. При мании величия книги явно придают безумию пациента определенное направление. Мегаломаньяки считают себя божественными персонажами или лицами королевской крови, а не то и потомками великих деятелей истории, известных им только по книгам. Тут довольно материала для интересного медико-литературного исследования.

Кстати, стоит заметить, что и сами авторы часто имеют легкую склонность к паранойе. Книги становятся популярными, поскольку суррогатным образом удовлетворяют общие желания. Однако во многих случаях они пишутся с целью удовлетворить тайные желания самого автора — иными словами, реализовать его боварийские мечты. Обратитесь к библиотечному каталогу, и вы обнаружите, что о карьере Наполеона написано больше книг, чем на любую другую тему. Это бросает странный и довольно-таки страшный отблеск на ментальность современных европейских писателей и читателей. Как нам удастся избавиться от войн, если люди получают острейшее боварийское наслаждение от истории самого знаменитого в мире милитариста?

Общественная психология претерпевает волнообразные изменения, поэтому иногда наиболее популярные литературные образцы теряют свою популярность уже спустя поколение. Какой англичанин или француз начала восемнадцатого века захотел бы подражать тем монстрам чести, которыми полны романы и пьесы конца шестнадцатого и начала семнадцатого столетия? И какой представитель той же эпохи мог бы отождествить себя с сентиментальными персонажами, обретшими такую популярность примерно после 1760 года? В большинстве случаев читатели выбирают для себя роли, играть которые легче всего. Ясно, что играть, например, роль святого чрезвычайно трудно. По этой причине Новый Завет, который в Европе читали более широко и на протяжении большего периода, чем любую другую книгу, породил относительно мало хороших имитаторов своего главного действующего лица. Люди всегда предпочитали играть роли, позволяющие им утолить свои аппетиты или свою жажду власти. Как и во времена Паоло и Франчески, любимые герои остаются похожими на Ланцелота — это великие воины и великие любовники.

> Quando leggemmo il disiato riso
> esser baciato da cotanto amante,
> questi, che mai da me non fia diviso,
> la bocca mi bacio tutto tremante.
> Galeotto fu il libro e chi lo scrisse;
> quel giorno piu non vi leggemmo avante[1].

---

[1] Фома Кемпийский (1379/80—1471) — теолог, чей труд «Подражание Христу» считается одним из самых влиятельных в христианской литературе.

[2] Майкл Арлен (наст. имя Тигран Куюмджян; 1895—1956) — английский писатель, автор модных сентиментальных романов из жизни высшего общества.

[3] Святая Тереза из Лизье (1873—1897) — монахиня-кармелитка, обязанная своей известностью посмертно изданным письмам («История одной души», 1898).

[1] Чуть мы прочли о том, как он лобзаньем
Прильнул к улыбке дорогого рта,
Тот, с кем навек я скована терзаньем,
Поцеловал, дрожа, мои уста.
И книга стала нашим Галеотом!
Никто из нас не дочитал листа
(Данте, «Ад», V, перев. М. Лозинского).

Данте дает нам великолепный пример того, как работает эротический боваризм.

Некоторые художественные персонажи сохраняют свою притягательность в течение более долгих периодов, успешно сопротивляясь значительным флуктуациям читательских склонностей и образа мыслей. Например, стендалевский Жюльен Сорель до сих пор жив во Франции, и я с интересом узнал от приятеля-коммуниста, что этот представитель ярого индивидуализма недавно приобрел огромную популярность в России. Жизненность Гамлета через три с лишним столетия остается такой высокой, что нацисты сочли необходимым препятствовать постановке великой трагедии из опасений, что она побудит юных немцев забыть о «героической» роли, которую им теперь положено играть.

Случается, что писатели, не оказавшие влияния на образ мыслей и чувств своих современников, начинают оказывать такое влияние после своей смерти, когда благодаря изменившимся обстоятельствам их идеи становятся более приемлемыми. Так, необычный сексуальный мистицизм Уильяма Блейка взял свое лишь в двадцатом веке. Блейк умер в 1827-м; но в некотором смысле он является современником Д. Г. Лоуренса. Наряду с Лоуренсом он оказал значительное влияние на многих людей в послевоенной Англии и за ее пределами. Однако весьма сомнительно, что характер этого влияния порадовал бы самих Блейка и Лоуренса. Есть опасение, что в большинстве случаев мистические доктрины Блейка и Лоуренса использовались их читателями только как оправдание тяги к максимальной свободе половых отношений при минимальной степени ответственности. Мне известно, что Лоуренс страстно негодовал против такого использования своих сочинений; и более чем вероятно, что Блейк разделил бы его чувства. Ирония писательской судьбы отчасти заключается в том, что автор никогда не может сказать с уверенностью, какое именно влияние он окажет на своих читателей. Как мы видели, книги Лоуренса служили оправданием половой распущенности. По этой причине нацисты, придя к власти, сначала осудили их как обычную Schmutzliteratur[1]. Теперь же они, кажется, изменили свое отношение к Лоуренсу, и его труды одобряются как оправдание насилия, антирационализма, идолопоклонства и расовой теории. Бесспорно, Лоуренс хотел побудить своих читателей обратиться от интеллектуализма и сознательного эмоционализма к Темным Божествам инстинкта и физиологии. Но можно утверждать, что он никак не хотел сделать из них нацистов. Книги заставляют читателей надевать личины, не совпадающие с их истинным лицом; но эти личины могут быть очень далеки от идеала их создателя.

Даже пропагандисты порой достигают совсем не тех результатов, каких надеялись добиться с помощью своих писаний. К примеру, постоянными нападками на какую-либо организацию авторы надеются убедить ее сторонников или ее жертв в необходимости реформ. Но на практике они иногда добиваются прямо противоположного эффекта, ибо их критика служит чем-то вроде вакцины, предотвращающей реформы. Сочинения мистера Шоу имеют революционную направленность, однако он стал любимцем наиболее смышленых представителей буржуазии: они читают его сатиру и обличения, немножко смеются над собой, решают, что дело и впрямь хуже некуда; затем, чувствуя, что они уже уплатили дань, которой требует от капитализма социальная справедливость, закрывают книгу и продолжают вести себя так же, как всегда. Труды революционных писателей могут служить профилактикой революции. Вместо того чтобы породить активную жажду перемен, они порождают цинизм, то есть приятие вещей такими, какие они есть, вкупе с насмешливым сознанием того, что хуже быть не может, —сознанием, освобождающим человека от необходимости предпринимать какие бы то ни было личные усилия ради изменения невыносимой ситуации. Цинизм способен действовать не только на тех, кому выгодно дурное положение дел, но и на тех, кто является его жертвой. В течение целых веков до Реформации циничное приятие зол, которые несла с собой коррупция церкви, было обычным как для тех, кто платил, так и для тех, кто заказывал музыку, — как для образованного светского общества, так и для церковных руководителей. Коррупция признавалась неизбежной, как плохая погода — такая погода, над которой можно и подшутить. Боккаччо, Чосер, Поджо и их менее знаменитые современники обвиняли, но в то же время и смеялись. Ватиканские начальники Поджо (он был папским секретарем) смеялись вместе с ними. Несколько позже друзья Эразма из церковных и светских правящих кругов смеялись не менее добродушно, читая его сатирические выпады против священников и царственных особ. Ибо труды Эразма были в ту пору настоящими бестселлерами. Парижское издание его «Диалогов» разошлось в двадцати четырех тысячах экземпляров за несколько недель — в это трудно поверить, если вспомнить, что книга была написана на латыни. Его «Похвала Глупости» выдержала сотню изданий в промежуток от 1512 до 1676 года, причем большее их количество приходится на начало этого периода.

После революционных деяний Лютера, когда все почувствовали, что движение сторонников реформ представляет серьезную угрозу для существующего порядка вещей, официальное отношение к трудам Эразма стало меняться. В 1528 году «Диалоги» были запрещены как подрывная литература. Прежде его обличительные и сатирические сочинения лишь поощряли доб-

[1] Порнографическая литература (*нем.*).

родушное приятие сложившейся ситуации и служили профилактикой революции; теперь же, благодаря изменившимся условиям, они превратились в опасную революционную пропаганду. В попытках добиться поставленной цели Эразма постигла двойная неудача. Он пытался склонить власти предержащие к реформам, но сумел лишь заставить их цинично посмеяться над собой. Потом явился Лютер, и сочинения, которые по замыслу их автора должны были служить пропагандой разумных реформ внутри Церкви, автоматически превратились в пропаганду революции, которую он не одобрял. А когда Церковь все же реформировала себя, это произошло отнюдь не по-эразмовски. Но, к счастью для него, этой реформации он уже не застал. За три года до того, как возникло Общество Иисуса[1], старый гуманист покинул наш мир — и сделал это как раз вовремя.

Однако давайте вернемся к художественной литературе. Как мы видели, читатели часто заимствуют характеры из книг, чтобы, подобно мадам Бовари, использовать их в реальной жизни. Но они также делают и обратное: перенося себя из суровой реальности в литературу, живут вымышленной жизнью на страницах любимых произведений. Одна из главных задач всей популярной литературы, театра, а теперь и кино состоит в том, чтобы дать людям средство утоления, пусть суррогатного и воображаемого, их неудовлетворенных желаний, то есть служить психологическим заменителем стимуляторов и наркотиков. Способность такой литературы вызывать у своих ярых поклонников нечто вроде наркотического ступора, помогающего им мириться с самой жестокой действительностью, весьма велика. В реальной жизни на каждые шестьдесят тысяч англичан приходится один пэр, а на каждые триста тысяч — один человек с годовым доходом более ста тысяч фунтов в год. Насколько мне известно, перепись вымышленных персонажей никогда не проводилась; однако я думаю, что каждый сотый из них, если не каждый пятидесятый, оказался бы или лордом, или миллионером, или и тем и другим одновременно. У такого изобилия аристократов и плутократов в нашей литературе есть две причины. Первая состоит в том, что богатые и власть имущие обладают большей свободой, чем бедные, и потому имеют возможность устраивать собственные трагедии, а не только переживать беды, сваливающиеся на них извне. Без личного выбора не может быть драмы, а нищему, как гласит известная поговорка, выбирать не приходится. В этом мире только люди с высоким доходом могут позволить себе привередничать. «Души богатых и благородных, — пишет один из обитателей батлеровской страны Едгин[2], — способны бросить вызов всякой материальной препоне, в то время как души бедных отягощены материей, которая прилипает к ним накрепко, подобно патоке на крылышках мухи... Вот в чем секрет уважения, оказываемого богатым теми, кто бедней их». А также и уважения, которое питают к ним писатели. Богатые, талантливые и облеченные властью свободнее, чем обыкновенные люди, и потому именно они становятся героями художественных произведений. Другую причину того, что литература изобилует титулами и состояниями, следует искать в том самом факте, что в реальной жизни подобных вещей так мало. Бедность и низкое социальное положение авторов и читателей заставляют их искать воображаемой компенсации: И они находят ее в величавом, позлащенном мире литературы. Причем бедность и бессилие в социальном смысле являются не единственными источниками их огорчений; как правило, они ведут скучную жизнь, им не хватает накала или романтики в половых отношениях; они состоят в браке и недовольны этим, либо холосты и опять же недовольны этим; слишком стары или слишком молоды; словом, они это они, а не кто-то еще. Отсюда все эти Дон Жуаны и хрупкие прелестницы, эти невинные юные кошечки, соблазнительно жестокие супермены и роскошные любительницы приключений. Отсюда Голливуд и бродвейские ревю. Когда я в последний раз был в Маргите, там только что открыли гигантский новый кинотеатр. В его названии содержится целая социальная программа, целая теория искусства: его назвали «Страной грез». В наше время кино стало гораздо более эффективным опиумом для народа, чем религия.

До сих пор я описывал лишь основные аспекты влияния, которое художественная литература оказывает на своих читателей. Но она действует на них и менее заметным, более тонким образом:

И кто ж тогда поддерживал мой дух?..
Он, тот старик с чистейшею душой,
Что видел край земли, и гору Тмол,
И гавань Смирны, хоть и был слепой...

Элиот в «Бесплодной земле» пользуется той же метафорой:

— Ласточка ласточка
LA PRINCE D'AQUITAINE A LA TOUR ABOLIE
Обломками сими подпер я руины мои
Будет вам зрелище! Иеронимо вновь безумен.
DATTA, DAYADHVAM, DAMYATA.
HANTIH SHANTIH SHANTIH[1].

---

[1] Общество Иисуса — иезуиты. Орден был основан в 1539 г. Эразм Роттердамский умер в 1536-м.

[2] Едгин (анаграмма слова «нигде») — вымышленная страна из дилогии английского писателя Сэмюэла Батлера (1835—1902).

[1] Перевод С. Степанова. Вторая строчка: «Аквитанский принц у разрушенной башни» (*франц.*), четвертая — «Давай сострадай, властвуй собой» (*санскр.*), пятая — заключительные слова «Упанишад».

Слова имеют свойство поддерживать, укреплять, давать силы. И они же являются формами, в которые мы отливаем свою собственную мысль, уничтожая этим их более благородный и прекрасный облик, — они же служат каналами и протоками, куда мы направляем поток нашего бытия, и он стремится, исполненный смысла, к некоему постижимому концу. Слова — наша опора, они придают нашему жизненному опыту форму и направление и в то же время сами обогащают нас опытом иного рода — чистым, глубоким, не замутненным бессвязностью. Слова, выражающие желание, порою действуют сильнее, чем близость самого предмета обожания. Ненависть, которую мы испытываем при виде своих врагов, часто бывает слабее ненависти, которую пробуждают в нас печатные обвинения и проклятия. В словах люди находят новую вселенную мысли и чувства, и она чище, понятней, чем мир повседневности. Вербальная вселенная придает реальности форму и вместе с тем способна заменить ее, стать высшей реальностью. И именно контакт с этой высшей реальностью, полной смысла и красоты, является опорой нашего разума, предохраняет его от надвигающегося краха.

В прошлом сознание культурного европейца формировалось и укреплялось Библией и греко-латинской классикой. Философия жизни кристаллизовалась во фразах из Евангелий и «Од» Горация, «Илиады» и псалмов. Иов и Сафо, Ювенал и Екклесиаст придавали изящество отчаянию людей и их любви, их негодованию и их цинизму. Опыт учил их мудрости, текущей по словесным каналам, проложенным Эсхилом и Соломоном, и само существование этих каналов помогало извлекать мудрость из опыта. Сегодня почти все мы похожи на Шекспира как минимум в одном: мы плохо знаем латынь и еще хуже греческий. Даже Библия быстро превращается если не в вовсе закрытую, то, по крайней мере, в очень редко открываемую книгу. Фразы из Официального варианта[1] уже не поддерживают, не формируют и не направляют наше сознание. Св. Павел и Псалмопевец отправились вслед за Вергилием и Горацием. Какие авторы заняли их место? Чьи слова поддерживают современных людей? Ответ таков: общепризнанных литературных авторитетов больше не существует. Почва, на которой стояли все западные культуры, ушла из-под наших ног.

Вакуум, возникший благодаря фактическому исчезновению из современного сознания литературных образцов интернациональной значимости, которые доминировали над умами людей прошлого, теперь заполняется местными литературами. «Майн кампф», новое евангелие, может поспорить по своей популярности с Библией — за десять лет разошлись два миллиона экземпляров. Маркс и Ленин стали для русских тем же, чем для образованных европейцев тринадцатого века был Аристотель (выпущено двадцатисемитомное собрание сочинений Ленина и уже продано четыре миллиона комплектов). В Италии Mussolini ha sempre ragione[1] — ни один ортодоксальный последователь Моисея или евангелистов не поднимался до столь категоричного заявления.

Народы Запада больше не пользуются совместно сокровищницей древней литературы и мудрости. Все, что у них осталось общего, — это наука и информация. Но наука есть знание, а не мудрость; она имеет дело с количественными, а не с качественными характеристиками мира, тогда как именно последние влияют на нас непосредственно. Покуда мы еще радуемся и страдаем, ее речи кажутся нам по большей части неуместными, не относящимися к делу. Вдобавок эти речи слагаются без помощи искусства, а потому не обладают волшебной силой и не могут укреплять и формировать сознание читателя. То же самое справедливо и для другого элемента международного достояния, а именно информации. Распространители информации часто пытаются придать своим сочинениям волшебную убедительность шедевров искусства, но как редко им это удается! Наши руины не подпереть обломками ежедневных газет. Информация в ее литературном виде имеет своим предметом события, которые представляются читателям по-человечески важными. К несчастью, несмотря на внешний блеск, журналистика трактует эти по существу интересные темы абсолютно неинтересным, поверхностным образом. Больше того, она занята фиксированием истории изо дня в день; она не может позволить себе задержаться на каком-либо отдельном эпизоде. То же происходит и с читателем. Даже если бы ежедневная газета была написана хорошо, сама ее ежедневность уже исключала бы возможность запоминания хотя бы нескольких фраз с ее страниц. Сделанная из дешевой бумаги и типографской краски, газета не переживает дня своей публикации; к заходу солнца она оказывается в урне или мусорной корзине. И в памяти читателя ее содержание хранится едва ли дольше. Ни от кого, ежедневно прочитывающего — вдобавок ко всему остальному — две-три газеты, нельзя ожидать, что он запомнит даже малую часть прочитанного. Вчерашние новости вытесняются из памяти сегодняшними. Мы запоминаем лишь то, что прочли несколько раз и с пристальным вниманием. Именно так, благодаря своему авторитету и мистическому престижу, читались Библия и греко-латинская классика. Но совсем не так читаем мы «Дейли мейл» или «Пети паризьен».

Современные научные методы служат орудием для новых изобретений; технический прогресс постоянно наращивает темпы. Но с техническим прогрессом прямо связаны соци-

[1] Перевод Библии 1611 года, одобренный королем Яковом.

[1] Муссолини всегда прав (*итал.*).

альные изменения. Ускорение первого означает ускорение последних. Фактический багаж, с которым имеет дело информационная литература, очень быстро растет в объеме и, как это ни тревожно, обретает все большую значимость. В то же время совершенствование средств распространения информации приводит к росту потребности в ней. Мы склонны придавать все большее значение новостям и тому свойству сиюсекундности, которое наделяет даже некоторые предметы искусства, даже некоторые научные гипотезы и философские спекуляции дешевой притягательностью политического убийства или результатов скачек. Привыкшие поглощать информацию, мы развиваем в себе способность читать очень много и очень быстро. Наверняка есть немало людей, которые после окончания колледжа или университета ни разу не читали что бы то ни было вдумчиво или больше чем один раз. У них нет слов, которыми они могли бы подпереть свои руины. Да им это и не нужно. Достаточно раздробленное и достаточно возбужденное сознание способно держаться одним только неистовством своего бега. Из руин оно превращается в песчаный вихрь.

В известном смысле наша страсть к информации действует во вред собственной цели, которая состоит в увеличении знания о мире и о других человеческих существах. В нашем распоряжении такое гигантское количество фактов, какое и не снилось нашим предкам. Однако наше знание других людей, пожалуй, менее глубоко и совершенно. В 1500 году образованный француз или немец знал очень мало о перипетиях политической жизни в Англии и совсем ничего о повседневных событиях, которые так богато отражает нынешняя пресса, о буднях английских преступников, аристократов, спортсменов, актрис. Но он, пожалуй что, лучше понимал глубокие интеллектуальные и эмоциональные процессы, протекающие в сознании англичан, чем понимает теперь даже самый информированный его потомок. Это знание было результатом самоанализа. Познавая себя, он познавал их. Умы, сформированные одними и теми же религиозными и светскими литературными произведениями, способны были понять друг друга так, как никогда не поймут друг друга люди, владеющие сообща лишь наукой и информацией. Развенчав Библию и заменив изучение мертвых языков более полезными на первый взгляд предметами, торжествующая наука завершила процесс духовного разъединения, начатый ею в ту пору, когда она подорвала веру в трансцендентальные религии и подготовила почву для позитивистских суеверий — национализма и преклонения перед диктаторами. Будущее покажет, найдет ли она способ вновь собрать этого разбитого вдребезги Шалтая-Болтая.

Перевод с английского В. БАБКОВА

■

ПЕТР ВАЙЛЬ

ВСЁ — В САДУ

Токио — Кобо Абэ, Киото — Мисима

ПОПЫТКА ИКЕБАНЫ

В икебане — искусстве составления букета — три линии: Небо, Земля и Человек. Все остальное — фантазия на эти темы. Впрочем, все остальное вообще — тоже: Сан Марко, уха, «Москва — Петушки», танго... А икебана — всемирный букет с японским оттенком: штрихи, отголоски, мимолетности. Впечатления.

◆Символ Японии — Фудзияму — я так и не видел, хоть забирался даже в горы. Думаю, это правильно, правда, меня не спросили; просто не показали: Фудзияма вечно в облаках. Ладно я — Акутагава жалуется: «Даже в ясные дни, когда солнце освещает море и побережье, Фудзи все равно скрыта облаками...» Образ ускользает, что и задумано. Вообще идея недоговоренности — господствующая. В классическом искусстве Запада художник знает примерно столько, сколько умеет изобразить. В современном — часто знает меньше, чем умеет. У японского художника в запасе так много, что возникает комплекс неполноценности: сталкиваешься с чем-то превосходящим — интеллектуально, чувственно, духовно. Для Запада было откровением, что японец оставляет нетронутыми три четверти холста. Вот и Фудзияма не просматривается, а подразумевается. И не лучше же она, чем Казбек или Монблан. О Фудзияме, как и обо всей Японии, можно — и нужно — не знать, а догадываться.

◆В самолете «Japan Air Lines» стюардесс больше, чем на других линиях. Потом понимаешь, что это как в футболе: если команда лучше играет, кажется, что игроков у нее больше. Японки лучше играют, беспрерывно появляясь с подушками, журналами, чайниками. Но и с перебором: развалился на свободных местах — разбудили, чтоб сказать: мол, все в порядке, можно спать, будить не будут. Русскому, даже из Америки, ближе сервис ненавязчивый: не нравится — пошел...

◆Японский язык на слух — даже не шепелявый, а сюсюкающий. Нет чувства отклонения от нормы, как в польском. Скорее иная норма, очень знакомая, но посторонняя. Детская речь. При этом ясно, что это они — взрослые. И в чем смысл жизни лучше нас догадываются, и красоту жизни куда лучше понимают.

◆Ощущение превосходства над желтой расой — которое все же из каких-то глубин слабо сигналит — основано только на их малом росте. Больше крыть ну совершенно нечем. И этот козырь исчезающий: в первый приезд я при своих средних 176 см заметно возвышался над уличной толпой; через десять лет — не так. Нация резко выросла, что подтверждает статистика. Открытость миру, начавшаяся всего столетие назад, побуждает быть равным в компании — в том числе и физически. Между прочим, что совсем уж приятно, женские ноги наглядно выпрямляются.

◆Мир потрясает быстрота и непринужденность, с которыми японцы умеют заимствовать чужое: архитектуру, одежду, технологию, этикет. В такой легкости не усмотреть ли гордыню? Все равно «свое» неколебимо — так почему не принять чужое, не попользоваться?

◆Доставшийся им от Китая веер сделали складным. Сдвинули мировой круг до очертаний Фудзиямы, а там и вовсе до линии горизонта. Сворачивание пространства — эйнштейновская задача. Ему со своей хохмой нечего было ехать в Японию. Миниатюризация — как потом с доставшимся им от Америки транзистором. Покрутили в руках радиоприемник — и спрятали в кулак.

◆Книжная подготовка дает себя знать: шовинизм усматриваешь сразу. В самолете черный чай разносят в стальной лоханке, зеленый — в изящной керамике. Дискриминация, однако из подобострастия пьешь чужой зеленый. Он, правда, тут и вкуснее. Конечно, жалкий конформизм, но среди японцев так легко стать конформистом. Они создают поле, в которое вовлекаешься охотно и без принуждения. Я от беспардонности перехожу улицу по ситуации, а не по светофору не только в распоясанной Америке, но и в Германии, например. А тут послушно стоял на пустых перекрестках, дожидаясь зеленого света. Никто не осудит — кор-

© П. Вайль, 1998

ректность безупречная, — но есть ощущение, что окружающие умрут, если двинешься на красный свет. Даже не от стыда или страха за тебя, а просто перед лицом не имеющего названия ужаса.

◆Китайцы в здешнем аэропорту — как русская группа в нью-йоркском: вроде бы такие же, но держатся вместе, одеты добротно и одинаково, говорят вполголоса, паспорта вынимают разом, все вдруг.

◆Странно в экзотической стране ощущать себя самого экзотикой. Крупногабаритность и борода привлекают здесь не меньше внимания, чем черная кожа на Тамбовщине. Школьники, которых по учебной программе толпами водят в монастыри и храмы, хотят вместе сняться, просят автографы, тянут руки: «Хансаку! Хансаку!» (handshake) — для них своя экзотика рукопожатий. Издалека машут: «Сана Коса! Сана Коса!» (Санта Клаус). Все же приятнее, чем Карл Маркс, с которым беспрерывно сравнивают на родине.

◆За все время видел три-четыре бороды. Мелкие, редкие, вроде старого бритвенного помазка: вроде бы носитель бороды напоминает остальным о долге гигиены. Характерный двойной слой — буквальный и символический: парикмахерский буддизм.

◆Искал маску по себе. В театре Но есть маска удовлетворенности и жизнерадостности — *отафуку*, посмотрел: цвет бледный, выражение постное. В основе такого дикого, на наш взгляд, парадокса — правило: эмоции твое личное дело, не выноси на обозрение. Больше подошла маска кукольного театра Бунраку — *тярикуби*: рожа круглая, нос картошкой, со всеми в ладах, рот полуоткрыт от любопытства и готовности все попробовать.

◆Отношение к еде как к красоте. Красоте рукотворной. Не только в подаче, в подготовке тоже. Самая, наверное, дорогая говядина в мире — «мраморное» мясо из Кобе. Корове подносят пиво, делают ей массаж. А ведь методика когда-то и России была ведома. Как Петр Петрович Петух уговаривает Чичикова отведать теленка: «Два года воспитывал... ухаживал, как за сыном!»

◆Отрадный сердцу рыбный разгул. На каждом углу — суши: сырая рыба с катышком вареного риса. Теплое русское название. Поговорки: «У стен есть суши», «Не видать, как своих сушей», «Жопа с сушами», «Получишь ты от ... суши». Рождается интернациональная близость.

◆Кажется, все-таки ситуация безнадежна. Есть суши, завернутые в листья хурмы: листья не едят, но рыба и рис прихватывают тонкий особый аромат. Бывают и листья бамбука, гингко, персика: аромат различается. Не дорасти!

◆В забегаловках полно поварих, но в сушибарах — только мужчины. У женщин температура тела чуть выше, что на суши сказывается. Как насчет разогретых к концу недели котлет — очень ведь вкусно.

◆Цивилизация — мужская, культура — мужская, но великие образцы прозы создали тысячу лет назад женщины: романная проза Мурасаки Сикибу — «Сказание о Гэндзи», эссеистическая проза Сэй Сёнагон — «Записки у изголовья». В те времена мужчины писали по-японски только стихи, а прозу — на китайском языке, который был чем-то вроде латыни в средневековье. Японки и подсуетились.

◆«Записки у изголовья», «Записки от скуки» — поразительные по современности звучания. Как современны Монтень или Розанов. Жанр именуется *дзуйхицу* — «вслед за кистью». Как пойдет рука, как поведет. «Вслед за пером» — сказали бы мы. Прихотливо, свободно, легко. Господи, вот как надо. Мне ведь еще проще, еще прихотливей, у меня «Макинтош» — вслед за мышью.

◆Акутагава с восторгом пишет о том, как молодой Гюго случайно оказался владельцем большого количества бумаги и чернил — и на следующий день взялся за первый большой роман. Чисто японский побудительный мотив: от конкретного — к абстрактному, от единичного — к множественному, от материального — к трансцендентному. Так — получив в подарок стопу бумаги — начала свои записки Сэй Сёнагон. Но в случае Гюго импульс все-таки сомнительный.

◆В английском отделе книжного магазина «Марудзен» — трехтомная «История японской литературы». Том первый — «Первая тысяча лет».

◆«Мы не способны написать ничего, что не было бы известно всем». В словах Акутагавы нет привкуса горечи и отчаянной отваги, который ощущался бы, произнеси это западный интеллектуал. Поиск формы — не усталость мысли, а ее наилучшее употребление. Преклонение японцев перед формой поражает, но тут нельзя давать себя в обиду. Тот же Акутагава вспоминает: «...Я как-то полюбил женщину, но стоило мне увидеть, как некрасиво пишет она иероглифы, и любовь моментально улетучилась». А я как-то шел с девушкой к ней домой, и уже у самой двери она сказала: «Пинжак на тебе весь мокрый». Я попрощался и ушел. Молодой был, еще моложе, чем Акутагава, когда он написал такое. Жалею до сих пор.

◆Торжество формы совсем уж эфемерной — упаковка. Заворачивание любой покупки в магазине — священнодействие. Артистизм на уровне Дюшана или Христо, которых они предвосхитили на века. Идея упаковки — ничто не может быть вне контекста. Упаковка культуры.

◆Маска, оболочка, поверхность, которую нам вольно считать поверхностностью, — но из этого состоит жизнь. В конечном счете из «здрасте-извините», а в разведку, может, никогда пойти не придется. Да и неохота.

◆Человек должен ощущать себя в системе координат. Поговорка: «Торчащий гвоздь следует забить». Народная идея конформизма. Исключение из группы — как потерянность в мире. В упакованной культуре ориентироваться легко.

◆Апрель — цветение вишни-сакуры. Сплошь бледно-розовые лепестки над головой и под ногами — ощущение не то райское, не то зимнее. Каждый японец знает, куда и когда надо пойти, чтобы в самое благоприятное время дня под самым выгодным углом смотреть на сакуру и под ней фотографироваться. Вообще все народы особенно любят цветение плодовых деревьев — должно быть, подспудно нравится, что они растут не только для поглядения, но для варений и компотов. Правда, сакура, хоть и вишня, ягод не дает — опять японцы выходят красивее.

◆Ноябрь — бешеное цветение хризантем: цветов избыточных, словно компенсирующих пышностью осеннее увядание. Впрочем, до увядания еще далеко — стоит «золотая осень», которая здесь скорее красная, и на эту роскошь специально в известные места выезжают миллионы по всей стране. Идет *каннадзуки* — десятая луна. Так уж повезло, что я был в Японии в самые красивые месяцы — в апреле и ноябре.

◆Упаковочная культура побуждает потреблять ее в концентрированном виде. Это как с утренней зарядкой: день напролет стекаешь с кресла всеми частями тела, а утром четверть часа дрыгаешь ногами. Так и красотой можно любоваться в определенных для этого местах и в строго отведенное время. Так жилое здание может быть уродливым, а крохотный садик за кухонным окном — прекрасным. Гомеопатические дозы красоты.

◆В целом наша презумпция: когда много — это хорошо, плохо — это когда мало. В Японии понимаешь, насколько нелеп такой подход. «Вообще, все маленькое трогает своей прелестью», — говорит Сэй Сёнагон. «Никто не жалеет мгновений», — сказано в «Записках от скуки». Вот они-то и жалеют. Умеют жалеть.

◆Японцы фотографируют(ся) не только за границей. Снимают друг друга на фоне железобетонных конструкций, глухих заборов, пивных автоматов. В самолете мужчина приник с аппаратом к иллюминатору. Сосед оторвался от книги, встревоженный вспышками: что снимают — птицу, русский истребитель, знакомого? Страсть к фотографированию была, разумеется, заложена в японце задолго до изобретения Дагерра — душевный импрессионизм, стремление к фиксации мига. В основе их эстетики — красота быстротечности. Любовь к самому мимолетному из цветений — сакуры. Доблесть умереть молодым. Краткость трехстишия-хокку. Стремительный полет камикадзе. Беглый мазок кисти. Внезапное застывание актера Кабуки. Фотография. Попытки остановить мгновение.

ВОДА И ПЕСОК

Вопреки тому, что происходит и где разворачивается действие книги Кобо Абэ «Женщина в песках», этот роман — о городе. О большом городе. О Токио — коль скоро столица сделалась символом урбанизации страны. Хотя, когда несешься в скоростном поезде по трассе Токио — Осака, не покидает ощущение одного очень длинного города, только названия меняются. Так почти и есть: считается, что в Токио-Нагое-Киото-Осаке живут сорок процентов страны. Редко-редко мелькает зеленый просвет — холм, чайная плантация, лес, и тогда все становится знакомо, и с насыпи машут пацаны, как не скажу где. Но это секунда — и опять длинный некрасивый город. Главный герой, он же основной фон у Кобо Абэ.

В других его знаменитых романах — «Сожженная карта», «Чужое лицо», «Человек-ящик» — главенство фона очевидно: там персонажи мечутся по городским улицам и прячутся в домах. Доведенная до абсурда идея дома — картонный ящик, который постоянно носит на себе человек, олицетворяющий таким экзотическим способом принцип анонимности горожанина. Причина объясняется: «Стоило ему хоть ненадолго выйти из дома, как его охватывало беспокойство: вдруг жилье исчезнет — для него стало невыносимо покидать дом». Впрочем, Абэ не так уж и нафантазировал в «Человеке-ящике»: картонная коробка — излюбленный бродяжий ночлег в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Париже или том же Токио, где в парке Уэно под ивами раскинулся небольшой ящичный городок.

Герои этих книг Абэ — из категории без вести пропавших. Все так или иначе пропадают, убегают и прячутся, ища убежища в месте своего обитания, что всегда разумнее и логичнее. То, что в толпе спрятаться легче, — уголовные азы. Абэ с афористической точностью схватывает метафизику большого города: «Толчея возникает не потому, что скапливаются люди, а люди скапливаются потому, что возникает толчея». В городе образуются ядра конденсации, которыми может служить все что угодно: универсальный магазин, ресторанный квартал, офисное здание,

парковый оазис, — и вокруг них происходит завихрение машин и пешеходов. Японская турбулентность — особая, самые быстрые в мире горожане — японцы: в Токио и Осаке средняя уличная скорость пешехода — 1,56 м/сек, на десять процентов быстрее парижан. Этой новейшей статистики Абэ не знал, иначе непременно привел бы где-нибудь. В его книгах явственны интересы и навыки естественника (по образованию — врач, хотя никогда не работал по специальности): энтомология, химия, метеорология, гидродинамика, биология, медицина, множество строк уделено технологическим процессам.

Беспрерывное движение песка — «как это похоже на жизнь людей, изо дня в день цепляющихся друг за друга». Аллегория «Женщины в песках» не только не скрывается, но и подчеркивается, даже назойливо: людское сообщество подчиняется законам гидродинамики. Снова и снова Абэ напоминает: песчинка — одна восьмая миллиметра; и мы понимаем, что здесь подразумевается: человек — частица несколько большего размера.

Научно-техническими подробностями обставлена метаморфоза героя «Чужого лица». Он и сам первоклассный ученый — этот наиболее последовательный из эскаписто Кобо Абэ. Его защитная оболочка ближе всего прилегает к человеческому существу. Он укрывается не в доме, даже не в таком доме, который носят, не снимая, на себе, даже не в одежде, которая выполняет роль микрожилища. Он прячется в виртуозно изготовленную маску, поскольку лицо изначальное утрачено из-за страшных ожогов. И тут выясняется, что форма управляет содержанием. Другое лицо творит иной разум и иную душу.

Лицо живет самостоятельной жизнью — это знает любой вдумчивый кинозритель, пораженный самоценности лиц Греты Гарбо или Фернанделя, которые существуют вне зависимости от сюжета и даже персонажа.

«Лицо — тропинка между людьми», — на все лады повторяет свою любимую мысль Кобо Абэ. Лицо как средство коммуникации — несомненно, но это лишь одна, и не самая удивительная, его функция. Виды коммуникаций множатся, и те из них, что даны природой, отступают. В современном обществе куда более удобным инструментом становится одежда, или марка автомобиля, или адрес. Кто кому глядит в глаза? Вот и у Абэ герой подбирает к маске пиджак, кольцо. Новое лицо диктует новый антураж: тяжесть коммуникации переносится на наряд и аксессуары.

Уж скорее лицо — это защитный слой: для удобства — чтобы чужие не лезли в глубины; от страха — чтобы в глубины не заглядывать самому. (Кстати, в этом, можно думать, смысл косметики.) Лицо как произведение искусства. Лицо как упаковка.

Такую книгу мог написать только японец.

Это не обобщенное замечание: Кобо Абэ — с похвалой или с осуждением — всегда считали самым «западным» из японских писателей. В самом деле, в его прозе отчетливо сказывается внимательное прочтение Кафки и Беккета, заметно влияние экзистенциалистов. «Ряды фонарей, точно застывшие, немигающие, искусственные глаза, сзывают на праздник, который никогда не наступит... окна — бледные прямоугольники света, выстроившиеся в ряд, как проклятья, — там давным-давно забыли и думать о празднике...» — такое уже было, уже читано. Как и банальные сравнения: дома — словно «пеналы, в которых разложены абсолютно одинаковые жизни». На тезис западничества Абэ работают и вкусы его персонажей: на стенах их квартир висят репродукции Пикассо, в их домах звучит музыка Баха, Моцарта, Бетховена, Шопена, Бартока.

Однако такой признак — общий для подавляющего большинства японских писателей XX века. Это в средневековье европейцев называли «южные варвары», а с конца XIX столетия идет сосуществование двух культур, и Акутагава признается: «Японцы — мастера подражать. Я не собираюсь отрицать, что и мои произведения — подражания произведениям рыжеволосых... Мы в чем-то понимаем рыжеволосых лучше, чем они нас. (Возможно, в этом есть для нас что-то позорное.) Они не обращают на нас ни малейшего внимания... Свет идет с Запада больше, чем с Востока». Во всяком случае, традиционная новогодняя музыка в Японии — Девятая Бетховена, а поминая выдающихся любовников прошлого, Акутагава называет не принца Гэндзи, а Ромео, Тристана, Вертера.

Традиционалист Кавабата может брюзжать по поводу траты времени на изучение западной литературы и утраты вследствие того самобытности, но и у него западная культура предстает органичной составляющей жизни: старый мастер листает альбомы Клее, Матисса, Шагала в поисках новых идей для расцветки кимоно; особенно картины Клее «тронули стариковское сердце». На диво продвинутый старик, представим себе сердце Глазунова. Даже декларативный националист Мисима для автобиографического сочинения берет эпиграф из Достоевского, пишет об увлечении св. Себастьяном, Жанной д'Арк, Клеопатрой, вспоминает впечатления от «Острова сокровищ», «Камо грядеши», сказок Андерсена и Оскара Уайльда. Русскому читателю, да и писателю, остается озадаченно задуматься: прославленный японский изоляционизм рядом не стоит с махровой отечественной самодостаточностью, не сказать — самодовольством. В культурном патриотизме России нет равных, может, оттого и телевизоры хуже? Как сказано у Розанова: «Хо-

роши делают чемоданы англичане, а у нас хороши народные пословицы».

Западническая ориентация Кобо Абэ сказывается выразительнее всего в постоянных формальных поисках, характерных для литератур с заведомым приматом содержания. Понятно, что японцу, для которого форма чайной чашки столь же важна, как и качество чая, нет никакого резона запускать ход чайной церемонии в обратном порядке — или придумывать иной фокус для обновления ощущений: вполне достаточно взять другую чашку. «Мудрый человек удивительных историй не рассказывает», — говорит Кэнко-хоси. Вот и у Абэ формальные приемы только мешают. Его сила — в простой истории, приближенной к первоосновам. Хорошо рассказанная, такая история воспринимается притчей.

С притчи он начинал в «Женщине в песках», где уводил город из города, чтобы описать его с особой яркостью. Затем, в последующих романах, Абэ в город вернулся, словно втянутый центростремительной силой, передавая городскую энергию разнообразно и мощно, на все лады перепевая мотив «Сожженной карты»: «Город — замкнутая бесконечность».

«Женщина в песках» так и осталась лучшей книгой Кобо Абэ, но его увлеченность большим городом объяснима. Токио — это событие. Вернее — целый ряд событий, совершающихся одновременно в разных ядрах конденсации, разбросанных по огромной столице.

Когда-то центром урбанизации была Асакуса — тут возникли первый бар, первый кинотеатр, первая фотостудия, первый небоскреб (двенадцать этажей). Сейчас в Асакусу едешь за старой Японией — здесь комплекс храмов, низкие дома, монахи на улице, магазин с притираниями из сушеного соловьиного помета.

Современность бьется в Харадзюку — живом молодежном районе, самом, наверное, американизированном в Токио. Это давняя традиция — здесь стояли американцы после 45-го, и Харадзюку тогда получил прозвище Вашингтон-хайтс. Екает сердце: в настоящем, нью-йоркском Вашингтон-хайтс я прожил восемнадцать лет. Однако у нас там нет разгульного магазина «Кондомания», где товар целенаправленный, но с фантазией: например, Penis Pasta — макароны в виде понятно чего. Как всегда, японцы пошли дальше всех.

Акихабара — три десятка кварталов торговли электроникой. В небольшом тесном магазине я насчитал девяносто видов телевизоров, семьдесят — мобильных телефонов. Японцы чаще других меняют бытовую технику и машины, вывозя на свалки сотни тысяч исправных приборов. Новый автомобиль покупается в среднем каждые пять-семь лет. Я видал, куда деваются подержанные — во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск. Весело смотреть на входящие в порт российские суда — будь то сухогрузы или траулеры, они увешаны пестрыми японскими машинами, принайтованными к мачтам, стрелам, кран-балкам, и похожи на ежиков из книжек.

Центр из центров — Гиндза, где делают покупки, встречаясь, как в ГУМе у фонтана, у бронзового льва возле универмага «Мицукоси», под огромной рекламой *омпана* — круглой булки с джемом из красной фасоли: в любимом лакомстве Гиндзы — сочетание западных и японских вкусов. Здесь и просто бродят глазея — существует глагол «гиндзовать».

Есть и такое, чего нет нигде: крупнейший в мире рыбный рынок Цукидзи, куда надо приехать в пять утра, чтобы застать аукционы. По пути в метро попадаются загулявшие мужчины в приличных костюмах при галстуках, они аккуратно блюют в урны, отставляя портфели. В этом деле тут понимают: по-японски «похмелье» буквально означает «хмель второго дня». Совсем по-нашему, не то что бессодержательное английское hangover, «последствие». К пьянству отношение легкое — в силу натуральности явления этическая оценка изымается. Как по-дзэнски говорилось на танцплощадках моей юности: что естественно, то не безобразно. Но в нашей словесности не найти такого благодушия, как в «Записках от скуки»: «Что ни говори, а пьяница — человек интересный и безгрешный. Когда в комнате, где он спит утром, утомленный попойкой, появляется хозяин, он теряется и с заспанным лицом, с жидким узлом волос на макушке, не успев ничего надеть на себя, бросается наутек, схватив одежду в охапку и волоча ее за собой. Сзади его фигура с задранным подолом, его тощие волосатые ноги — забавны и удивительно вяжутся со всей обстановкой».

Люди с удочками в рассветном метро едут дальше, в Иокогаму, а ты выходишь в Цукидзи и спешишь на аукционы. В фанерных загончиках стоят на ступеньках покупатели, как хор на пионерском слете. Аукционщик-хормейстер выкрикивает, со ступенек пронзительно голосят, откликаясь. Вокруг на асфальтированной площадке — сотни выложенных на продажу с молотка серебристых, как фюзеляжи, тунцовых тел. Километры прилавков с осьминогами, лососями, раковинами затейливых конфигураций. Мужики в резиновых сапогах обтесывают топорами меч-рыбу, то и дело выхватывая из нагрудных карманов брезентовых курток миниатюрные телефоны.

Токийцы снуют с рекордной скоростью в 1,56 м/сек, но каждая песчинка, много превосходящая одну восьмую миллиметра,

имеет свою конкретную цель — или думает, что имеет. Чтобы освободиться от причинно-следственной связи, Кобо Абэ и переместил героя не просто из города, но — в песчаную яму, из которой нет пути назад. В одиночество. Заглавие «Женщина в песках» обманчиво: женщина, по Абэ, лишь одно из событий в жизни мужчины, и даже не самое важное. В книге об этом немного, правда очень выразительно: «Твои неподатливые, сплетенные из тугих мускулов ляжки... чувство стыда, когда я пальцем, смоченным слюной, выбирал песок, напоминавший спекшуюся резину...» Хорошо помню по первом прочтении «Женщины в песках» резкое ощущение — тоже стыда, но и изумления от отчаянной смелости таких интимных описаний. Отношения полов — лишь вид коммуникации, не более того. И уж конечно, менее важное занятие, чем непрерывное выбирание песка из-под себя и своего дома — практическое упражнение на тему о Сизифе, только с совсем иной, чем в западном сознании, оценкой. Существование на самообеспечение — тоже жизнь.

Герой обнаруживает воду в своей яме, в чем можно усмотреть просвет и цель, но Абэ неоднократно напоминает, что вода — «прозрачный минерал». Иными словами, вода — тот же песок, разницы нет. То же хаотическое движение, каким ему представляется людская жизнь. Суть ее и пафос — в ином, что внезапно, как в озарении, понимает герой: «Жить во что бы то ни стало — даже если его жизнь будет в точности похожа на жизнь всех остальных, как дешевое печенье, выпеченное в одной и той же форме!»

Это пафос чеховского «Дяди Вани», беккетовских «Счастливых дней» (где тоже всё в песке). То, что кажется романтическому сознанию поражением и позором, есть гимн жизни как таковой. Ценность — не смысл жизни, а просто жизнь.

ПОПЫТКА ИКЕБАНЫ (продолжение)

◆Токио — один из самых внешне непривлекательных городов на Земле. Чикаго рядом с ним — чудо гармонии, Версаль. Снова перебор: Япония дальше всех ушла по пути машинной цивилизации, не исключено, что дальше, чем нужно. Самый центр, знаменитая Гиндза, еще сохраняет привитое миру Америкой человеческое лицо. Но все вокруг — урбанистическое нагромождение холодного серо-стального цвета. И дальше, на протяжении центрального Хонсю — от Токио до Осаки — будто рабочие окраины Харькова, внезапно выросшие вверх и вширь. Тогда осознаешь, как им наплевать на внешний вид, как они озабочены интерьером.

◆На диво удобное токийское метро — органично: это квинтэссенция японской живописи, освоившей суперпрогресс. Вагоны каждой линии окрашены в свой цвет, которым линия обозначена на схемах. Главенство рисунка над колористикой здесь выражено буквально: линия — это линия метро, цвет — служебен. В полихромной графике метрополитена иерархия сохраняется: *укиё*-э третьего тысячелетия.

◆Смущает алфавит, хорошо хоть цифры наши, арабские. Но не везде. Над кассой театра Кабуки обозначены цены: дорогие билеты — цифрами, дешевые — только иероглифами. Знающие люди учат, что японцы не врут, в их языке нет даже слова «ложь», так что, может, это все та же недоговоренность. Или мягкий юмор по отношению к иностранцам. В метро таблицы: сколько минут до той или иной станции, все пояснения по-английски, минуты — нормальными цифрами, но вот названия станций — по-японски.

◆Язык все сам знает и все выразит, даже косвенно. Как бы ни восхваляли японцы чувство долга, «долг» по-ихнему — «гири».

◆Нет у них «л», это пожалуйста: я быстро привык к замене «л» на «р» в произношении своей фамилии. Но вот ход канонизированного сознания: портье в гостинице смотрит в упор на мой паспорт и переписывает: Vair.

◆На фоне чуждых лиц родным выглядит каждый человек европейской внешности. Лицо как визитная карточка: ясно, что тебе с ним по пути — не на промышленный же гигант он направляется, а, как и ты, в музей, в храм, в ресторан. У императорского дворца в Токио случайному поляку из Кейптауна чуть на шею не бросился. В музее с легкостью говоришь: «Совсем как наш Ван Гог». В недрах чужого этноса идет процесс расового самосознания.

◆Огромные пустоты вокруг императорского дворца. Дворца фактически не видно, как и Фудзиямы, — только ворота, стены, деревья, незаполненные куски пространства. Вокруг комплекса несутся против часовой стрелки джоггеры — в другую сторону бежать не принято, будь как все хоть в глазах императора. Все взято в кольцо гигантских зданий: в радиусе тридцати километров от дворца живут тридцать миллионов человек.

◆Парковых оазисов в центре Токио немного, всего два метра зелени на душу токийца. В редких садах у воды — беседки с дырками и прорезями: чтобы любовался сосредоточенно, а не блуждал бессмысленно взглядом. Цени.

◆Нужники в садах и парках элегантны, как чайные домики: у них и позаимствована сортирная архитектура.

◆С японским сортиром удалось справиться легко: пол-России ходит только в такие. Вся разница, что садишься орлом лицом в стену: шанс

медитации. Трогательно, что на стенке английская инструкция, хотя здесь-то как раз нужда научит. Но и уборные западного типа снабжены инструкциями с картинками и надписями, уже по-японски. Видно, предполагается, что в такое место может забрести человек из хоккайдской глубинки — на съезд рисоводов.

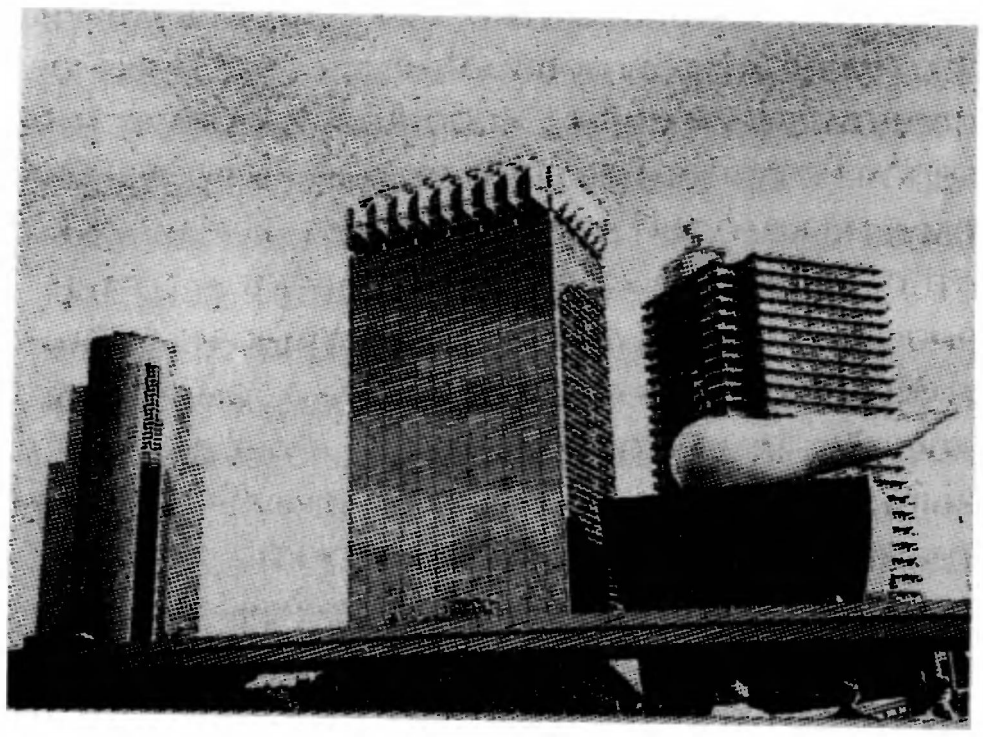
◆«Японские уборные устроены так, чтобы в них можно было отдыхать душой... В полумраке, слабо озаренном светом, отраженным от бумажных рам, предаешься мечтаниям или любуешься через окно видом сада... Я думаю, поэты старого и нового времени именно здесь почерпнули бесчисленное множество своих тем» (Танидзаки Дзюнъитиро, «Похвала тени»). Восхитимся поэтичностью, оставим на совести переводчика глагол «почерпнули». Отметим единственный в русской словесности пример — поэму Тимура Кибирова «Сортиры», исполненную (наполненную!), правда, совсем иного пафоса.

◆В такси на сиденьях — белые кружевные чехлы, как на подушках. Может, компенсируют отсутствие кроватей.

◆В японском доме прайвеси нет — по комнатам гуляет ветер, перегородки до потолка не доходят. На наш вкус, неуютно. Но организация пространства восхищает. Сворачиваешь тюфяк *футон*, прячешь в стенной шкаф — и спальня становится гостиной. Раздвигаешь скользящую стенку *фусума* — и две комнаты превращаются в залу. Та же операция с внешней стенкой *сёдзи* — и готова терраса с выходом во двор. Легкость перестановок — как в кукольном домике.

◆В изгибах храмовых кровель, перекрытий ворот, дворцовых башен — неожиданное, но явное греко-римское изящество. Триумфальные арки синтоистских храмов — *тории*: те же античные строгие и мощные колонны. Бронзовый самурай Сайго у входа в токийский парк Уэно — большая не по туловищу голова с лицом Цицерона. Вообще сходство с римлянами: стоицизм, харакири (то же вскрытие вен), славные победы долга над чувством.

◆У токийского храма Ясукуни — мемориал павших в разных войнах. По парковым дорожкам гуляют толпы белых голубей, они тут живут в трехэтажном домике. Здесь же молодые люди куют по древней технологии мечи. Туповатая, да и страшноватая, символика. В музее можно взглянуть на русско-японскую войну с другой стороны. Генерал Ноги принимает сдачу крепости у генерала Стесселя. Во всех видах — адмирал Того, цусимский триумфатор. Зарисовки с полей сражений, окровавленные мундиры, личные вещи геройски погибшего капитана Мисимы. Другого, за 65 лет до.



Токийские небоскребы в большинстве своем просты и унылы, но в последнее время появляются здания затейливой архитектуры

◆Цусима для России по сей день — синоним разгрома. Двадцать четыре корабля проделали из Балтики вокруг мыса Доброй Надежды самый долгий в военной истории переход, чтобы пойти на дно в Цусимском проливе 27 мая 1905 года. Последствия — огромны. Наметилось новое — теперь всем известное — существование другой Азии. И начался подъем Японии — военный, экономический, моральный: важнейший фактор геополитики XX века. Катастрофа в японской войне обозначила судьбоносную роль России для всего столетия: прибавить Октябрьскую революцию, решающее участие во второй мировой, развал коммунизма... Так выясняется, что Россия, не будучи ни самой богатой, ни самой большой, ни самой сильной, ни самой умелой — более, чем кто-либо из самых-самых, — сформировала облик нынешнего мира.

◆По телевизору — урок русского языка: «Меня зовут Лена. А как вас зовут? — Меня зовут Андрей». Певец, прыгая с микрофоном, поет: «Яблоки на снегу, яблоки на снегу, ты им еще поможешь, я тебе не могу». Понизу идут титры. Зрители, надо думать, уважительно туманятся: как близки, в сущности, эти русские с их чисто японскими символами. В традиционном стихотворении присутствует *ки* — элемент, вызывающий ассоциации с временем года и определенным настроением. Допустим, какая-нибудь умолкнувшая цикада призвана означать возлюбленного, скрывшегося в июльских сумерках. Откуда ж им знать, что «яблоки на снегу» — набор слов, возникший в сумеречном сознании российской масскультуры.

◆Близость России ощущается: много воевали, а чем кровавее прошлое, тем живее интерес в настоящем. Не все еще ясно с Южными Курилами. В апреле — сезонный спектакль «Вишневый сад»: цветет сакура.

◆В центре Гиндзы — театр Кабуки: единственное, кажется, стилизованное под старину

здание среди небоскребов. Все не так: женщин играют мужчины, но в мужских ролях ходят на высоких каблуках и в чем-то вроде юбок. Беседа идет как джазовый джем-сешен: садятся в ряд на авансцене и по очереди выдают монологи. Ударение музыкальное, высотой тона, так что аналогия с джазом полная. Альт-саксофон визгливо надрывается: выдают замуж за нелюбимого. С пьесой сюрприз: вместо ожидаемых молодцов с самурайскими мечами — мещанская драма. Купец умер, дело гибнет, вдова любит бедного. Видно, ихний Островский. Проникаешь в проблематику до сопереживания, пока не замечаешь, что у героини (которая все-таки мужчина) зачернены зубы. Цвет зубов должен подчеркивать белизну лица. Опять эстетический перебор: как же естественность и простота, как же *саби* и *ваби*?

◆Предел условности — кукольный театр Бунраку. Феллини включает в кадр оператора с камерой — и мы ахаем от авторской смелости. А тут четыреста лет всё уходят подальше от правдоподобия. Одну некрупную куклу ведут три человека: первый заведует головой и правой рукой, второй — левой, третий — ногами. И не прячутся, а толпятся вокруг, хорошо хоть не всегда куклу заслоняют.

◆Кабуки — искусство суперлативов. Невыносимо благородный герой, омерзительно подлый злодей, невообразимая красавица. Но сюжет держится на нюансах. Персонаж так озабочен, что входит в комнату прямо в уличной обуви. Зал бурно реагирует на этот знак, а я лишь смутно догадываюсь. Что бы надо было у нас: положить в задумчивости сапоги на подушку?

◆В антракте все — в том числе и в дорогих ложах, где полтораста долларов билет, — едят из ящичков *бенто*. Они продаются повсюду: в коробке размером в книжку помещается разнообразный обед, приложены соусы и приправы, палочки, конечно. Маленький японский съедобный домик.

◆Зрители в театре Кабуки, как и туристы, с наушниками — только у них перевод с японского на японский современный. Кимоно на молодых я не заметил, если это не *майко* — будущая гейша. В театре много компромиссных пожилых пар: он в строгом европейском костюме, она — в парадном, старинной красоты, кимоно. Тот же компромисс в ресторанах: есть места для соблюдающих традиции, есть — на выбор. Низкие столы, подушки, но под столом выем, куда можно спустить ноги. Четыре пятых молодежи сидят, как я.

◆Дивная повсеместная эклектика. Костюм с кимоно. Сандвич с вареньем из фасоли. У знакомого профессора дома в кабинете весь стол в компьютерах, а спальня — тюфяк на циновке. Ультрафиолетовые стерилизаторы для ковшиков у монастырского священного источника. Заходишь в забегаловку: в бульоне пшеничная лапша *удон* или гречишная лапша *соба*. Знакомым голосом звучит радио, но сразу не разобрать: стоит шум — лапшой положено хлюпать, так вкуснее, все и хлюпают. Заказываешь лоханку, втягивая удон с такой силой, что концы хлещут по глазам, и поет Эдит Пиаф.

ОГОНЬ И ЗОЛОТО

С тех пор как в 1950 году монастырский послушник сжег Кинкакудзи (Золотой Храм), как он был отстроен заново в 55-м, как Юкио Мисима написал об этом роман в 56-м, в Киото появилась главная, вне конкуренции, достопримечательность. Из центра туда идет 12-й автобус, а потом проходишь аллеями к большому пруду, видишь сияние — и понимаешь то, что умозрительно не вынести, пожалуй, ни из фотографий, ни из мисимовских описаний. Наиболее точное из сказанного в романе о Золотом Храме — не портрет, а концепт: «Кинкакудзи самим фактом своего существования восстанавливал порядок и приводил все в норму... Храм действовал подобно фильтру, превращающему грязный поток в родниковую воду. Кинкакудзи не отвергал жизнерадостной болтовни людской толпы, он просто втягивал ее меж точеных своих колонн и выпускал наружу уже нечто умиротворенное и ясное».

Ближайшие аналоги из виденного прежде — храм Посейдона в Суньоне под Афинами, Джвари над Мцхетой, Покров на Нерли. Храм гармонизирует пейзаж. Конечно, это делает человек, не только воздвигая храм, но и называя его. Счастливо данное имя — Золотой Храм — резко усилило ощущение драмы в 50-м. Должен был появиться Мисима и пройти время, чтобы стало ясно, что послушник — предшественник Христо, что поджог — конечно преступление, но и экологический акт, призванный сплавить храм в слиток, упаковать красоту. Не дать красоте банализироваться, раствориться в потоке жалкой будничной жизни.

Акция удалась: храм обрел трагическую судьбу, словно убитый поэт, — и с этим уже ничего не поделать. Хотя в Киото есть монастыри святее, сады очаровательней, храмы изящней — Кинкакудзи обеспечена легендарная слава.

Правда, храм и сам по себе очень хорош. На вкус пуриста, может быть, излишне «китайский», что в Японии значит: яркий, броский, пышный. На то и Золотой. И главное — все в контексте. Храм стоит на берегу Зеркального пруда, усеянного островками в кривых соснах и каменных фонарях. Поспела хурма, над утками и кувшинками свисают деревья, сплошь покрытые золотыми плода-

ми: рот раскрывается непроизвольно — так не бывает. Золотые, оранжевые, красные, черные, белые карпы бросаются, как поросята, на крошеный хлеб, выпрыгивают и хрюкают. В центре пруд, согласно названию, зеркален — и в нем ничего, кроме точной копии Золотого Храма. Идеальные пропорции, прорисованные очертания, рама из продуманного пейзажа.

Кажется, угадываешь: не то чтобы Кинкакудзи был прекраснее всех, но в нем — претензия на совершенство.

Мисима в «Золотом Храме» не жалеет описательных слов, помещая своего героя, послушника Мидзогути, и его священную жертву — храм — в контекст старой столицы. В романе — обильная топография Киото: храм Нандзэндзи, с крыши которого Мидзогути увидел женщину с обнаженной грудью; парк Камэяма, где едва не произошло грехопадение юноши; квартал Китасинти, где оно все-таки произошло, заведение «Водопад» отсутствует — увеселения перекочевали за речку Камо, в квартал Гион; полицейский участок Нисидзин, возле которого герой искушал судьбу, смутно надеясь, что она удержит его от вожделенного преступления; мост Тогэцу под горой Арасияма, где послушник наблюдал чужую заманчивую жизнь.

Все это цело и живо, все доступно для погружения. К подножию Арасиямы ходит такой же, как во времена «Золотого Храма», поезд, сохранен его старый вид, вроде довоенного трамвая. На реке — катание пестрых лодок, белые цапли по колено в воде. У моста Тогэцу рикши в высоких носках *таби* на плотной, теперь уже пластиковой подошве. Кругом еда и гулянье. Уличные лакомства: *конняку* — желе на палочке, *окономияку* — японская пицца, *такояки* — тестяной шарик с куском осьминога внутри, печенная на углях сладкая картошка несъедобного фиолетового цвета. Сезонные сласти из фасоли — в виде хризантемы, осеннего цветка. Из подъезжающих к ресторанам машин выходят мужчины в хороших костюмах и ученицы гейш — майко — в пестрых кимоно.

В Киото очень многое на месте. В старых кварталах попадаются подвешенные над лавками шары из колючих веток криптомерии — знак выделки и продажи сакэ. Здесь еще много домов *матинами* — из узких планок темно-коричневого дерева. Перестроен — почти в токийском безликом и безрадостном стиле — центр, но хранят старину окраины, по которым разбросаны монастыри, с храмами и садами, с остановившимся временем. Здесь Киото почти такой же, как в дни тысячелетней давности, когда на всей планете только Константинополь и Кордова были размером с японскую столицу. В монастыре Дайтокудзи крупная надпись по-японски и по-английски: «Мое будущее — здесь и сейчас». Под ней — дзэнский сад из одной только гальки, волнисто причесанной, как насыпь у правительственной трассы. Беспокоясь о будущем, здесь и сейчас публика покупает освященные вековыми традициями амулеты широкого ассортимента: найти суженого, сохранить мир в семье, сдать экзамены, больше всего — избежать автокатастрофы.

Золотой Храм — главная достопримечательность Киото

Цел и жив сгоревший Золотой Храм, помещенный Мисимой в центр живой красоты Киото. И тогда понимаешь, на что поднимал руку Мидзогути. Как задумано — ужасаешься. Задумано, разумеется, писателем — Мисимой. Вот так он описывает двойное харакири офицера и его жены в новелле «Патриотизм». О половом акте перед самоубийством там сказано мощно: «Поручик задыхался, как полковой знаменосец на марше...» Вообще эта вещь — сильнейшая, вызывающая ужас, но не гуманистический — перед разрушением молодых жизней ради идеологии, а почтительный — перед непостижимым и, может быть, высшим.

Боец и самурай, внук губернатора утраченного Южного Сахалина, Мисима сам сыграл главную роль в фильме по новелле «Патриотизм». А что ему было делать? За четыре месяца до собственного харакири, в июле 70-го он сказал в интервью: «Исконно японский характер зачах под влиянием модернизации на западный манер. От Запада мы заразились болезнями души. Поэтому мое обращение к положительному герою является, по существу, симптомом процесса японизa-

ции». Положительный герой был — он сам, других в обозримом окружении не наблюдалось. Еще двадцатисемилетним Мисима сформулировал: «Создать прекрасное произведение — значит, самому стать прекрасным, ибо между художником и его творением не существует нравственного барьера». Отсюда — неизбежное следствие: создать произведение из самого себя.

Анонимный автор XII века повествует о живописце, который радовался, глядя на свой горящий дом, где гибли жена и дети, — потому что он наконец-то понял, как надо рисовать пламя.

Все удручающе логично в писательской судьбе Юкио Мисимы. Рассказывая, как послушник уничтожил храм, он спроецировал собственное самоуничтожение. И в конечном жизненном итоге, взрезав при стечении публики живот, добился того же блистательного успеха: какому бы критическому пересмотру ни подверглись его книги, Мисиме обеспечена легендарная слава.

В его текстах и поступках ощущается стилистика театра Кабуки: яркость красок, буйная чувственность, контрастность образов. Дыхание смерти.

Все логично и последовательно: он хотел красиво жить и красиво умереть. В первой прославившей его вещи — автобиографической «Исповеди маски» — Мисима писал: «Обычная жизнь — от одного этого словосочетания меня бросило в дрожь». Тема беспокоила его, и в пьесе «Надгробие Комати» мудрый ответ на вопрос о смысле жизни — «Да просто в том, чтобы жить» — дает уродливая старуха, но не автор. Пафос «Женщины в песках» — о б ы ч н о й жизни не бывает — Мисиме был неведом, он так и умер в заблуждении.

Другую свою важнейшую иллюзию последних лет жизни — что писатель может обойтись без слов — Мисима попытался доказать в программном эссе «Солнце и сталь». В нем нет ничего от свободной прелести жанра дзуйхицу, его легкости («Записки мотылька», «Дневник летучей паутинки» — никакой металлургии) — это статья или, скорее, трактат о том, что «язык тела», по меньшей мере, не уступает «языку слов». Тело Мисимы действительно добилось многого, почти невозможного: хилый от природы, он сумел сделаться атлетом и мастером классических видов борьбы — всех этих «-до»: айкидо, дзюдо, кэндо (фехтование на мечах) и пр. Взявшись за лепку собственного образа, он изваял и возомнил, в итоге потерпев чувствительное поражение, не сказать — провал.

Мисима поклонялся силе, но он писатель — писатель большого, выдающегося таланта, а таланту всегда интереснее слабость. И в манифесте силы «Солнце и сталь» ярче всего написано о слабости: «Детство я провел у окна, жадно вглядываясь в даль и надеясь, что ветер принесет оттуда тучи События». Замечательно точный образ человечества, проводящего у окна не только детство, но и всю жизнь.

Мачо Мисима заявляет: «Слова «совесть интеллигента», «интеллектуальное мужество» для меня — пустой звук». И тут же, пышно пиша о своем стиле, о его благородстве и суровости, вдруг по-интеллигентски признается, резко идя на попятную: «Впрочем, я не хочу сказать, что моя проза обладает подобным качеством...» Вот это — именно «интеллектуальное мужество» художника, который, как все — как любой, когда-либо бравшийся за перо, — не контролирует слово.

Телу приказать можно, слову — не удается.

Уже на третьей странице «Солнца и стали» Мисима прокламирует свое «нынешнее предубеждение против всех и всяческих слов». И далее — семьдесят пять страниц: многословных, занудных, с длиннотами, перепевами, повторами.

Мисима загнал себя в узкую щель между двумя невозможностями. Одна — общественная жизнь: «Есть ли более страстная ипостась бытия, чем чувство принадлежности кому-то или чему-то?» Назначив себя в лидеры национального возрождения, он поневоле должен был прибегать к доступным массе плакатным словам: «Рожденные усилием воли, эти слова требовали отказа от своего «я»; они с самого начала не имели ни малейшей связи с обыденной психологией. Несмотря на расплывчатость заключенного в них смысла, слова-лозунги источали поистине неземное сияние».

Нам ли не знать этой коллизии: все хорошие слова и красивые фразы заняты лозунгами. «Ум», «честь», «совесть», «наша эпоха», «слава», «народ», «мир», «труд», «май»... Для частной жизни остается мычание и молчание.

Обратим внимание на оговорку: «Несмотря на расплывчатость заключенного в них смысла...» Для японца — конкретного, точного, вещественного — это приговор.

Другая невозможность, перед которой оказался Мисима, — совершенно противоположная, антиконформистская, романтическая. Огромная амбиция, писательская гордыня побуждала к личному творческому подвигу: «Я должен был изобрести хитроумную процедуру, которая позволила бы фиксировать тень каждого мига жизни». Это уж сверхъяпонскость — запечатлеть даже не миг, но тень его! Мисима в своих художественных намерениях нацелился забраться дальше всех, дальше Басё. Неудивительно, что ему это не удалось.

Итог: попытка замены «языка слов» «языком тела». Попытка жалкая, заведомо обреченная на провал — и семидесяти пяти страниц не надо.

Слова доказываются либо словами, либо молчанием. Но молчание — только молчанием. Оттого «Солнце и сталь» — тускло и слабо.

Апология молчания. Японская живопись эту проблему решила. Литература — по определению — нет. В словесности не найти аналога пустотам на холсте. Не белые же страницы... В обыденной жизни молчание — это высказывание. В письменной литературе паузу не выдержишь, к стене не отвернешься, обета не дашь.

Подтекст, недоговоренность, умолчание — это испытанные приемы, призванные напомнить о том, что молчание — золото. Вид на Золотой Храм с холма у малого пруда, когда на фоне красных кленов и зеленых сосен виден лишь верх крыши с золотым фениксом на коньке, — так же прекрасен, как каноническая фронтальная панорама. «Стоило мне вспомнить один штрих, как весь облик Кинкакудзи вставал перед моим взором». В словах послушника Мидзогути — важный принцип японской эстетики: репрезентативность фрагмента, «один во всем, и всё в одном».

Если быть последовательным, фрагмент следует уменьшать — до самой малости, до нуля, до пепла. «Возможно, Прекрасное, дабы защитить себя, должно прятаться?..» Они и спрятали — сжегший храм маньяк Мидзогути и убивший себя нарцисс Мисима. Сохранение красоты любой ценой — вплоть до уничтожения.

ПОПЫТКА ИКЕБАНЫ (окончание)

◆Гомогенность страны, на 99,5 процента состоящей из японцев. Все меж собой родственники. Кавабата родился в районе Акутагава. Два главных города, совершенно разных — флагман западничества и оплот традиций — друг в друга перетекают: ТОКИОТОТОКИОТОТОКИОТОТОКИОТО...

◆В центре Киото традиционная гостиница — *рёкан*. Вся мебель в комнате — столик высотой в ладонь и две подушки. Постели перед сном вынимают из шкафа и стелют на пол. Вечером наливаешься зеленым чаем в ожидании *сатори* — просветления. Читать на полу както глупо. Писать открытки лежа трудно. Телевизора нет — рёкан. И мечтаешь бездельно о рёканах будущей России — для интуристов: с тюфяком на печи, с кадкой квашеной капусты в сенях, на ужин водка, на завтрак тоже. Все веселее. А тут самоусовершенствуешься, рассматривая рисунок потолочных досок — витиеватый узор вроде иероглифов. Все, естественно, некрашеное — принцип *саби*: простота. Проще некуда.

◆Под головой *макура* — подушка, набитая гречневой крупой: говорят, полезно. Дней десять поспав на полу и поев бог знает чего палочками, глядишь с вожделением: отварить бы прямо в наволочке и — с маслицем ложкой из-за голенища. Они из гречки делают лапшу, а селедку вялят — и все заливают бульоном. Считается лакомство. Такое непонимание основ; я ел.

◆Снятие обуви при входе в дом тотчас выбивает иностранца из колеи. Он становится покорным и запуганным: даже американцы в рёкане говорят тихо, встают к завтраку по команде, лезут в общую ванну, где уже кто-то лежит, в сортире садятся на корточки. И сразу, надев в прихожей туфли и выйдя на улицу, — снова хозяева планеты. Вроде вся сила человека — в ботинках. А если б надо было снимать штаны?

◆В прихожих квартир — два обязательных предмета. Один — рожок для обуви: ясно. Второй — фонарик: готовность к землетрясению. Как в России историю определяет география, так в Японии — климат. Жизнь начеку. Цунами с нами.

◆Вдоль реки Камо на берегу парочки — через строго равные промежутки. Причем скамеек нет, сидят на траве: это у них, видно, такой шагомер встроенный, чутье на гармонию.

◆Должно быть, длинные слова, составленные из многих букв (псевдоиероглифов!), представляются японцам крайне неуклюжими. Естественно желание их укоротить: на туристской карте Киото с английскими надписями значится — zoo logical garden. И уродства поменьше, и в Японии слово «логический» вполне применимо к понятию сада: философский сад животных, сад, где звери размещены в логическом порядке.

◆Станции метро в Киото: Сидзё, Годзё, Кудзё, Дзюдзё. Клички домашних животных. Или маленькие монстрики из мультфильмов, дети Годзиллы.

◆Замок Нидзё в Киото. Знакомый по иным историям страх перед покушениями. На тот случай, если кто захочет подкрасться, — «соловьиные полы»: специальное устройство, издающее громкий скрип. Но скрип — мелодичный, почти пение. Даже такая пакость продумана красиво — наши понаставили бы ведер.

◆В ресторанчике киотоского монастыря Рёандзи с восхитительным видом, рассчитанным на точку зрения сидящего на полу, подают одно только блюдо из соевого творога тофу. Название антисемитское: юдо-фу. Внести бы в патри-

отическое меню — и монастырь тут кстати, и аскеза.

◆Очарование чайной церемонии — в эстетизации обыденного. Можно вообразить водочную церемонию, на которую валом валили бы туристы в России. Поэзия суровой простоты: граненый стакан, плавленый сырок, мятый огурец. Минимализм декора: сломанные ящики, забор, канава. Благоговейный ритуал деления пол-литра на троих: эмпирическое преодоление теоретически невозможного.

◆Опять содержательность формы. Чашка равна чаю. Порядок угощения важнее угощения. Не наешься и не напьешься. Вкусно, но мало — или мало, но вкусно? Всё не так для человека из мест, «где любит всё оказаться в широком размере, всё что ни есть: и горы и леса и степи, и лица и губы и ноги» (Гоголь).

◆Чайная церемония в Киото. В храме Нандзэндзи подошли с предложением две дамы в кимоно и тут же, у храмовых стен, устроили лучшую церемонию из всех — потому что персональную, потому что органично вписанную в пейзаж и потому что неожиданную. Идея спонтанности как явления обязательного и даже в известной степени ожидаемого. Закономерность случайностей в жизни — очень жесткое, если вдуматься, правило. На случайность можно и нужно рассчитывать.

◆Знание о предстоящем переживании: чем оно полнее — тем глубже переживание. Японец едет за сотни километров любоваться полнолунием не потому, что над его домом луна не светит. Но, зная столько, выслушав столько, проехав столько, получишь наслаждение несравненно большее. А случайности возникнут сами собой, что тоже предусмотрено. Заранее известно, что внезапно вспорхнет ночная птица, заденет по лицу ветка, упадет под ноги лист. В планировании случайностей и есть разница в восприятии: мы тоже едем за тридевять земель смотреть Парфенон или Ниагару, но на сюрпризы разве что робко надеемся.

◆Идея камикадзе в кулинарии, торжество вероятности — поедание рыбы фугу. Она содержит что-то ядовитое, проявляющееся при неправильной разделке. До двухсот человек в год умирают, что не останавливает других: случай разберется. Я заказал фугу в самом откровенном варианте — сырой, и мне показалось, что официант взглянул с уважением. Хотя вряд ли: это я себя поуважал — и достаточно.

◆На вокзале в первой столице страны Наре — от Киото полчаса — почему-то статуя Ники Самофракийской. Должно быть, дико для японцев: отчего не возместить женщине голову и руки? У знаменитого изваяния Будды при землетрясении отвалилась голова — без колебаний приделали новую. Большинство храмов — постройки XIX века, и ничего: дело в месте, духе, святости, традиции, а не в возрасте стройматериала. Средневековые хроники зафиксировали, что императорский дворец в Киото сгорал четырнадцать раз за сто двадцать два года. Обычный на Западе вопрос «Когда построено?» тут имеет ответ, но не смысл. Синтоистские храмы вообще положено время от времени обновлять. Японцы верят, что время властно над предметами, но не над их сущностью. Будь у них Венера Милосская, они б ее превратили в тысячерукую Каннон.

◆Официально зарегистрированное «национальное сокровище номер один» — будда Мироку-Босатцу в киотоском храме Корюдзи. Полная непринужденность: нога на ногу, сам стройный, но лицо круглое, холеное, лукавое, блуждающая улыбка, пальцы колечком: «Какой дэвушка!» Деревянная скульптура японского Средневековья куда живее, чем современные ей западные образцы. Скорее близость к европейской античности — не зря Греция так потрясла Мисиму. Совершенно нет статики: все в движении, все в застывшем миге.

◆Искусство каллиграфии. Тоже состязание со временем. Писание кисточкой древнее, чем писание пером, и ближе к клинописи, рунам, бороздкам стиля на вощеной дощечке. Все это — перпендикуляр к плоскости: протыкание пространства временем, прорезание вечных дыр в бренном материале. Наше перо — скользит, а не пронизывает.

◆На монастырских прудах — на вечном приколе лодки, полузатопленные, проросшие высокой травой. Дворянская усадьба. Бунин — главный, если не единственный японец нашей словесности.

◆Дзэн и православие. И там и там — отказ от рационального постижения реальности, пассивное ожидание чуда. Но социальные результаты — противоположные. Возможно, ответ в том, что у японца противовесом дзэнскому хаосу служила и служит эстетизация природы — в ней он пытливо высматривает космический незыблемый порядок. Отсюда чувство формы, тяга к форме — притом что дзэнское учение постулирует стремление к ее отсутствию. Русский же человек ощущение формы не находил нигде, так и оставаясь в чистом бесформенном духе — и в неоформленном бытии.

◆Дзэнский сад — главное, что выносишь из Японии. Страна интерьера здесь достигает пика. Как боец айкидо сосредоточивается на одной-единственной точке в низу своего живота, чтобы потом творить богатырские чудеса, так страна собирает духовные силы на мельчайшем клочке земли, усыпанном галькой и камнями. В этом алькове посторонним делать нечего. Сад камней — будуар страны.

◆С одной стороны, японцы будто предвиде-

ли экологический кризис, заранее создавая в миниатюре национальные парки и заповедники. С другой — нет большей отчужденности от природы: холодный расчет, головной подход — искусственно соорудить то, в чем потом следует раствориться, впав в наитие сатори. Рациональный подход к метафизике. Сад предназначается не для увеселения, а для медитации — чтобы распасться на молекулы в продуманной реакции, заранее подготовив реагенты, взвесив порошки и вымыв пробирки. Дзэнский сад — не часть природы, а нечто параллельное, соперничающее, самоценное.

◆Что-то есть большевистское в японском саду: «разрушим до основанья, а затем». Сначала все повыдирать с корнем, что надо — обрезать, что надо — засушить, размеры исказить, масштабы нарушить — и создавать красоту, город-сад.

◆Эти сады вызывают такое благоговение, подозрительное самому, что естественно задать себе вопрос: не дурачат ли? Нет ли обмана, хитрого талантливого шарлатанства? Есть. Ну и что?

◆Из «Записок от скуки»: «Однажды утром, когда шел изумительный снег, мне нужно было сообщить кое-что одному человеку, и я отправил ему письмо, в котором, однако, ничего не написал о снегопаде. «Можно ли понять, — написал он мне в ответ, — чего хочет человек, который до такой степени лишен вкуса, что ни словом не обмолвился, как ему понравился этот снег? Сердце ваше еще и еще раз достойно сожаления». Какого же сожаления достойно мое сердце? Ведь я не только могу не заметить снег, но меня никто и никогда за это не упрекнет.

◆Деревья, трава, мох — плоть; камни и песок — костяк. Возникает тело дзэнского сада. Оттого сады одних камней, без зелени, и кажутся мертвыми. Сплошной анализ — снятие живых слоев, слишком дотошное докапывание до сути. Разница между картиной и чертежом, пьесой и гаммой, эссе и статьей. Кладбища природы.

◆Карликовое дерево *бонсай* — принципиально незавершаемое искусство. Живет так долго, что не имеет смысла подсчитывать: знай ухаживай — все равно тебя переживет. Бонсай — сведенный до одного практически вечного дерева сад. Завершение миниатюризации. Финиш японской матрешки.

◆Легкость перемещения во времени. Храм Тэнрюдзи в Киото с садом вокруг пруда, из которого торчком высовываются замшелые камни. Склон холма в красных кленах. Серый в яблоках карп. Кричит кукушка. Басё жив.

◆Расхожая теоретическая символика японских садов представляется мелкой и суетливой. Что с того, что белая галька должна обозначать океан, если парные конусы напоминают не гористые острова, а женские груди? Если камень, названный центром Земли, — явный фаллос? Вот символика практическая — мужской сад камней, женский сад мхов — прямолинейна и несомненна. А называть сад «Спящий тигр» или «Благословенная гора» — как давать имена симфониям или абстрактным картинам, как искать смысл в мелодиях Северянина или разноцветных запятых Миро. Все равно дело в размещении масс и объемов — зрительных, звуковых, словесных. И подобно незакрашенным плоскостям на холсте, пустые пространства сада значат столько же, сколько камни, растения и мхи. Недоговоренность, недопоказанность, намек. Над Фудзиямой облачное небо.

◆Сады и поезда — формула современной Японии, многозначная оппозиция. Неподвижность и стремительность. Традиции и новации. Канон и изменчивость. Эзотерика и популярность. Самобытность и космополитизм. Лаконичность и избыточность. Минимализм и усложненность. Поезда синкансэн упаковывают пятьсот километров от Токио до Киото в три часа. Но гипотетическая разгадка Японии не в поездах, возможных и где-то еще, а в том, что позволяет появляться этим поездам, — в садах. Антитеза садов создает противовес, нужный для душевного здоровья. Может, отсюда терпимость эстетского народа к безобразным экстерьерам своих городов — ведь для прекрасного есть сады, хоть бы на подоконнике. Сад — тот центр, вокруг которого концентрическими кругами может размещаться что угодно. Именно что угодно — потому что дзэнский сад уже содержит в себе всё. Он — самодостаточная вселенная: оттого так легко и раскрепощаются силы для любого остального. Оттого так переимчивы и предприимчивы японцы, что тылы у них обеспечены и есть куда отступать — в сад. Всё в саду.

◆Странная страна — Страна восходящего солнца. Страна подходящего солнца... Страна превосходящего солнца?

■

В. РОГОВ

О ПЕРЕВОДЕ ЗАГЛАВИЙ

Памяти моего дорогого учителя
Ивана Александровича Кашкина

В течение девяти лет я состоял внештатным рецензентом Литературной консультации СП СССР. Однажды мне поручили дать отзыв о переводе пьесы Уильяма Сомерсета Моэма «The Constant Wife». Перевод и вообще оказался совершенно ужасающим, вспомнил же я его сейчас потому, что настоящую статью удобно будет начать рассказом о том, ка́к там было переведено *заглавие* пьесы. А вот как: «Постоянная жена». Иными словами, получилось, будто в Англии бывают жены и постоянные, и временные — на манер Чио-Чио-сан, что ли... А между тем содержание пьесы подсказывает, что прилагательное в заглавии следовало бы передавать по-русски не по первому словарному значению, но написать: «Верная жена».

Впрочем, и перевод заглавий, равно как вообще перевод художественной (и не только художественной) прозы, не может ограничиться механической подстановкой на место данного чужеязычного слова соответствующего русского, необходим и здесь (да простится этот высокопарный эпитет) творческий подход.

В предлагаемой вниманию читателя статье будут главным образом приводиться примеры переводов с английского на русский и с русского на английский. Автор оставляет за собой право называть по имени лишь тех переводчиков, которые, по его мнению, справились с поставленной перед ними задачей успешно, а то и попросту блестяще. Автор также попытается свести число примеров к минимуму и ограничиться только основными *типами* переводческих решений, как удачных, так и неудачных, и дать первичную классификацию трудностей, возникающих при переводе заглавий.

1

Переводить то или иное заглавие, не прочитав самой вещи или хотя бы не имея понятия об ее содержании, — хороший способ наделать множество очень грубых ошибок. А такое случается нередко: при переводе текстов литературоведческого характера, при упоминании заглавий в каком-либо чужеязычном художественном произведении. Приведем несколько примеров.

Когда Гослитиздат выпустил в 1960 г. роман Джорджа Дю Морье «Трильби», в послесловии упоминался и его роман «Марсианин». Можно с гарантией утверждать, что автору послесловия этот роман был неизвестен, ибо в противном случае за́главие «The Martian» было бы переведено как «Марсианка».

И. А. Кашкин упоминает совсем уж анекдотический случай, когда заглавие едва ли не самой знаменитой песни Роберта Бернса «Auld Lang Syne» (Old Long Since), то есть «Давно прошедшие времена», перевели как «Долговязый старикан Сайн»[1].

А вот что автор этих строк видел сам — к счастью, только в рукописи. Редактируя перевод одной публицистической книги, он наткнулся на перечень разного рода детских сказок («Белоснежка и семь гномов» и т. п.), в котором прочел одно заглавие, совершенно ему не известное и не имеющее никакого соответствия в оригинале. Только после очень длительного умственного напряжения удалось понять, что так переведено заглавие «Little Red Riding Hood», то есть «Красная Шапочка»! И как же оно́ было переведено? «Рыжий пострелёнок в седле»!!! Как это произошло? Вот тошнотворно буквальный перевод этого заглавия: «Маленький красный капюшон для верховой езды». И переводчик принялся «творчески воссоздавать» текст: «hood» — речение американского сленга, значащее «хулиган», «громила» (видимо, усеченное «hoodlum»); «little» — «маленький», отсюда «пострелёнок»; «red» —

[1] Заглавие этой песни С. Я. Маршак передал как «Застольная» — «уход в сторону», причем «цитатность», «крылатость» оборота оказалась утраченной.

© В.В. Рогов, 1998

и «красный», и «рыжий», применительно к постреленку больше подходит второе; «riding» — «едущий (скачущий) верхом» — отсюда «в седле»!

(Бедной Красной Шапочке вообще не везет. Мне достоверно известно, что больше двадцати лет назад у нас вышла для детей, изучающих английский язык, книга, где Красная Шапочка названа Red Cap! Между тем Red Cap в США — общераспространенное название вокзальных носильщиков, по преимуществу негров, они и в самом деле носят красные фуражки цилиндрической формы. Хуже того, «red cap» может быть осмыслено как... «красный презерватив»! С. Флорин только опасался, как бы кто-нибудь не перевел «Красная Шапочка» словосочетанием «Red Cap», но это, увы, произошло.)

Если случай с «Марсианином» еще можно как-то (не очень убедительно) оправдать случайным и нетипичным для данного филолога притуплением внимания, то казусы с песней Бернса и «Красной Шапочкой» непростительны для кого бы то ни было, взявшегося переводить с английского, если он, конечно, не специализируется на переводах статей о железобетоне или кариесе зубов. Были единственно в результате невежества искажены самые элементарные понятия, которые каждый переводчик обязан *знать*. «Или *знать, что ты этого не знаешь*, и, сделав выводы, потянуться за справочником», — как справедливо писал в сборнике «Мастерство перевода» Ю. Абызов.

Но порой не меньше отличаются и наши англоязычные собратья! Покойная Наталья Константиновна Тренева рассказывала, что однажды заглавие «Любовь Яровая» перевели как «Harvest Love» — «Любовь во время сбора урожая»! Не менее пострадал и Александр Николаевич Островский. В одном английском справочном издании при перечислении его пьес упоминается «A Well-Paid Job» («Хорошо оплачиваемая работа»). Но ведь «Доходное место» доходно не потому, что там платят хорошее жалованье, а потому, что занимающему это место предоставляются большие возможности брать взятки. И — едва ли не рекорд: в другом справочном издании заглавие «Гроза» переведено как «Fear», т.е. «Страх»! Конечно, хочется громоздить инвективную Оссу на инвективный же Пелион, но достаточно, пожалуй, будет коротко заметить, что пьесу «Страх» и вправду написал Александр Николаевич, да только не Островский, а Афиногенов...

Эти примеры, конечно, анекдотичны, но не менее чудовищные случаи неверно переданных заглавий, когда само произведение переводчику неизвестно, встречаются сплошь и рядом, причем зачастую остаются незамеченными.

2

А. М. Арго приводил доводы в пользу замены некоторых традиционных переводов заглавий новыми, более верными. Некоторые его аргументы спорны, но с большинством нельзя не согласиться, например, когда он говорит, что «Une vie» Мопассана следует переводить не «Жизнь» (слишком большое обобщение), а «Одна жизнь», или для лучшего русского звучания «История одной жизни», ибо в оригинале — неопределенный артикль. Слышал я и предположение, что «Bel ami» того же Мопассана лучше бы перевести не «Милый друг», как принято, а «Душка», что гораздо низкопробнее и, следовательно, лучше выражает суть Жоржа Дюруа. Напрашивается и другая мысль: а не лучше ли шедевр Доде перевести не «Тартарен из Тараскона», а «Тартарен Тарасконский» — по аналогии с прославленными полководцами (Александр Македонский, Готфрид Бульонский, Евгений Савойский) и прославленными рыцарями (Амадис Галльский), прежде же всего — с Дон Кихотом Ламанчским?

В своих сверхблистательных переводах Николай Михайлович Любимов сохранил и Милого друга и Тартарена из Тараскона, но перевод заглавия первого романа из эпопеи Пруста предложил новый: «По направлению к Свану», вместо предыдущего варианта — «В сторону Свана».

И тут вступает в силу один почти непреодолимый закон восприятия: тот перевод нравится больше, который *привычен*, который прочитал *первым* — конечно, если он не удручающе безграмотен.

И до чего же трудно бывает преодолеть пресловутую традицию! Сколько заглавий, привычных для нашего читателя, прочно укорени-

лось в его сознании, хотя они и переведены совершенно неправильно! Взять хотя бы лучший роман Теккерея «Vanity Fair». Перевод «Ярмарка тщеславия» неверен и в смысловом, и в стилистическом отношении. У существительного «vanity» два значения: «суета» и «тщеславие», но какие персонажи этого романа отличаются особым тщеславием? А вот *суету* их помыслов Теккерей как раз и разоблачает, *суета* окружающей действительности — один из лейтмотивов его творчества. (Именно *суете* посвящено его замечательное стихотворение «Vanitas vanitatum», которое автор этих строк имел удовольствие перевести на русский язык.) А до чего же верно передал первый русский переводчик «романа без героя» Иринарх Введенский его заглавие — «Базар житейской суеты»! Налицо и еще один верно переданный смысловой и стилистический оттенок: «ярмарка» по-русски

нечто яркое, праздничное, веселое, при этом слове в сознании возникают качели, карусели и прочие нехитрые, но радующие аттракционы, «фламандской школы пестрый сор», брейгелевские кермессы[1], наши Кустодиев и Сапунов, «базар» же ассоциируется с беспорядком, давкой, грубостью, шумом, криком... Вспомним слова Восмибратова: «Вы будете кричать, я буду кричать, будет базар, а толку не выйдет!» («Лес», действие третье, явление X). Но, увы, — традиция...

Да полно, традиция ли? Теперь, хвала Аполлону, почти все считают, что традиция — всегда нечто *хорошее*, плохое же следует называть иначе. Может быть, это не традиция, а *штамп*? Или, говоря мягче, образец «косности мышления»? (Этот термин психологии не содержит в себе ничего обидного.) Ну что бы в «Художественной литературе» при выпуске Собрания сочинений Теккерея нарушить эту «традицию» и положить начало новой, хорошей? Читатель не привык? Ничего, привыкнет, тем более что лет через тридцать-сорок все предыдущие издания романа станут библиографической редкостью!

Но ведь есть у нас немало прецедентов разрушения дурных «традиций». Еще в прошлом веке комедия Лопе де Вега «El perro del hortelano» появилась на русской сцене в прозаическом переводе — можно себе представить, сколько там осталось от оригинала! — и шла в этом переводе чуть ли не до начала тридцатых годов нашего столетия. И озаглавлен перевод был совершенно буквалистично — «Собака садовника», что по-русски ничего не значит. И ведь не побоялся М. Л. Лозинский нарушить эту «традицию», к которой, казалось бы, за несколько десятилетий все «привыкли», и передал заглавие так, как только и можно его передать: «Собака на сене».

Здесь приведен лишь один пример «традиционного» перевода заглавия. Но можно выразить уверенность, что любой читатель сам их умножит, вспомнив переводы почти с любого языка.

3

Заглавие «Vanity Fair» заимствовано из «Пути пилигрима» Джона Баньяна, где пресловутый «Базар» — место действия одного из главных эпизодов книги.

Это подводит нас к еще одному аспекту проблемы. Очень многие произведения озаглавлены *цитатами* из других произведений, точными или видоизмененными, но легко узнаваемыми читателем оригинала (если читатель достаточно культурен). Но, к сожалению, переводчик не всегда распознает в заглавии цитату.

Едва ли не тридцать лет назад у нас был издан перевод романа Агаты Кристи, озаглавленный «Вилла «Белый конь». Перевод вообще-то скверный, но в данном случае нас интересует заглавие. В оригинале оно звучит так: «The Pale Horse», то есть цитата из Апокалипсиса «... и се конь блед и сидящий на нем, имя ему смерть...» Поэтому и перевод следовало озаглавить именно так: «Конь блед», тем более что цитата соотнесена с сюжетом романа. Конечно, заглавие могло быть изменено и умышленно, ибо кто-то убоялся религиозности, — но перевод был переиздан с прежним заглавием уже в послеперестроечные времена!

Ну ладно, этот промах допущен в переводе, который даже профессиональным с трудом назовешь, но вот перед нами прекрасное стихотворение, прекрасно переведенное прекрасным поэтом и переводчиком. Без боязни впасть в преувеличение, можно сказать, что перевод выполнен на уровне оригинала. Перевод текста, но не заглавия, ибо заглавие «Out, out — » было осмыслено как спортивный термин и переведено «Аут, аут...». В подлиннике же — цитата из «Макбета» (акт V, сц. 1): оборванная фраза «Out, out, brief candle!» (архибуквалистический перевод: «Погасай, погасай, быстро сгорающая свеча!»). То, что это именно из «Макбета», комментируется во многих изданиях на родине автора, в том числе и в прижизненных очевидно, с его санкции. (Это не на тему, но по меньшей мере *двенадцать* английских заглавий являются цитатами из соответствующего *десятистрочного* монолога Макбета, включая и вышеприведенное.)

А вот любопытный пример того, как цитата в заглавии осталась незамеченной не переводчиком, а самим автором. Как известно, Л. Н. Толстой бурно, злобно и несправедливо нападал на Шекспира вообще и на «Короля Лира» в частности. Аполлон покарал его за это: последнее художественное произведение, к написанию которого Толстой приступил почти накануне ухода из Ясной Поляны (сохранилось несколько вариантов начала), озаглавлено «Нет в мире виноватых», а это — цитата из... «Короля Лира» (акт IV, сц. 3) в переводе А. В. Дружинина! Но бессознательно ли процитировал Толстой Шекспира или сознательно (второе представляется совершенно невероятным, ибо тогда он рубил бы сук, на котором сидит), при переводе этого фрагмента на английский язык абсолютно необходимо в точности воспроизве-

[1] Кермесса — в некоторых европейских странах процессии и представления, приуроченные к церковным праздникам.

сти соответствующие слова Шекспира «None does offend, none, I say, none», а то и ограничиться первыми тремя словами: на английском их и так узнают, те же, что не узнают, не станут читать неоконченную вещь.

А что делать, если (1) цитата в заглавии читателям перевода малоизвестна, (2) цитируемое произведение им известно, однако соответствующее место переведено в нем так, что утратило всякую «цитатность», «крылатость», или же (3) цитируемое произведение им вообще неизвестно, ибо еще не переведено? Кто из неспециалистов знает, что рождественская повесть Диккенса «The Cricket on the Hearth» озаглавлена цитатой из стихотворения Мильтона «Il Penseroso»? (К вопросу о «традициях»: до чего же отрадно, что в переводе М. И. Клягиной-Кондратьевой она озаглавлена не «Сверчок на печи», а «Сверчок за очагом» — русизм уничтожен!) Кто из неспециалистов знает, что заглавие романа Хемингуэя «Прощай, оружие!» («A Farewell to Arms», буквальный перевод «Прощание с оружием») полностью повторяет заглавие знаменитого стихотворения, принадлежащего английскому драматургу и поэту Джорджу Пилу (1558? — 1597)? А представим себе, что на английский язык переводится роман Ю. Давыдова «Глухая пора листопада», озаглавленный цитатой из Пастернака, чьи стихи, как правило, переводятся на английский без размера и рифмы? Кто, даже при точном воспроизведении цитаты в английском переводе, поймет, что перед ним стихотворная строка? (Русским читателям, даже не помнящим это стихотворение, о том, что перед ними стихи, подскажет трехстопный амфибрахий.) Видимо, придется в подобных случаях довольствоваться комментированием заглавия, допустим в предисловии.

И разумеется, имело бы смысл прокомментировать в предисловии такое сверхпрославленное заглавие, как «Война и мир», ибо далеко не всякий русский поймет, что налицо видоизмененная цитата из «Бориса Годунова», а именно слова Пимена, обращенные к Григорию Отрепьеву:

> Описывай, не мудрствуя лукаво,
> Все то, чему свидетель в жизни будешь:
> Войну и мир, управу государей,
> Угодников святые чудеса,
> Пророчества и знаменья небесны...

Что же говорить о читателях переводов «Бориса Годунова», жителях тех стран, где гениальное творение Пушкина знают прежде всего по опере Мусоргского? (Да и у нас, пожалуй, тоже...)

4

Иногда бывает, что точный перевод заглавия оказывается совершенно неверным, ибо вызывает у читателя совсем иные ассоциации, чем оригинал, при буквальной точности снабжает читателя совершенно неточной смысловой информацией. Тогда следует смело *менять* заглавие в переводе, особенно если в подлиннике оно не очень-то сращено с темой и сюжетом произведения. Два примера. Последний по времени перевод пьесы Юджина О'Нила «All God's Chillun Got Wings» озаглавлен «Крылья даны всем детям человеческим». Это и неточно, и неверно. Неточно — потому что в оригинале не «человеческим», а «Божьим». Чем вызвана эта замена? Боязнью излишней религиозности? Тогда уж, чего доброго, и Данте можно превратить в Бальзака... Но главное — в другом. В оригинале совсем другая информация. Заглавие данной пьесы — строка знаменитого негритянского спиричуэла «Heaven» («Небо»), известного буквально каждому жителю США, да и всех англоязычных стран. (Известен он, между прочим, и у нас: во время гастролей в СССР его часто пел Поль Робсон и, если не ошибаюсь, этот спиричуэл записан у нас на пластинку.) Но даже если кто-нибудь из них эту песню никогда не слышал, то, прочти он на афише самой первой постановки «chillun» вместо «children» и «got» вместо «have», он бы сразу понял то основное, о чем в первую очередь «сигнализировал» О'Нил: то, что пьеса посвящена *негритянской тематике*. И когда А. Я. Таиров поставил эту пьесу в Камерном театре, то принятый им перевод Н. М. Крымовой носил заглавие, куда более верно выражающее *суть* пьесы: «Негр». И этой традиции (в хорошем смысле слова), пожалуй, стоило следовать!

Неладно обстоит дело и с переводом заглавий некоторых пьес Шекспира. Ограничимся одним примером: «Twelfth Night, or What You Will». Какая ночь? При чем тут ночь? Почему двенадцатая? А по-английски «двенадцатая ночь» — это Крещенский вечер, окончание святочных праздников, к которому и была приурочена премьера комедии. (Правда, и у Шекспира заглавие не имеет никакого отношения к сюжету.) Одно время пробовали передавать заглавие как «Крещенский вечер» — увы, не привилось! Да и этот вариант мало что даст русскому читателю и зрителю: скорее всего, припомнится, как «раз в крещенский вечерок девушки гадали...» Но об ассоциациях, «уводящих в сторону», речь впереди.

Теперь — образец верной передачи смысла, вернее, настроения, при отступлении от буквы: этот случай комментировали и раньше.

Фильм «Летят журавли», снятый М. К. Калатозовым по сценарию В. С. Розова, во французском прокате был озаглавлен «Les cigognes passent» («Аисты пролетают мимо») — почему не последовали за оригиналом и не написали точно «Les grues volent» («Журавли летят»)? Во-первых, потому что на «стиляжно-блатном» французском жаргоне последних десятилетий grue (журавль) значит «проститутка». А если вдуматься, разница между аистом и журавлем не очень-то велика, вот заменить журавлей воробьями или даже гусями было бы, разумеется, недопустимо. Вдобавок, если они именно летят, притом довольно высоко, — попробуйте-ка определить, аисты это или журавли, если вы не орнитолог и не сельский житель. А видящие их полет Борис и Вероника — именно горожане! И даже если французский зритель каким-то чудом разглядит, что по экрану пролетают не аисты, то, скорее всего, подумает, будто в России водятся какие-то особенные аисты... Во-вторых, глагол passer — «двигаться (проходить, проезжать, проползать, пролетать, проплывать) мимо» тоже выбран по самой уважительной причине: у французского глагола voler (лететь) существует омоним, означающий «красть, воровать», так что буквально переведенное заглавие могло быть понято как «Б...и воруют» и, вероятно привлекло бы в кинотеатры любителей разухабистых фарсов, обманутые ожидания которых вызвали бы реакцию, для создателей этого всемирно знаменитого фильма совершенно нежелательную... Так было ли у тех, кому ведать надлежало, право менять заглавие в переводе? Не только право, но прямая обязанность.

А вот еще пример удачно измененного заглавия при переводе с русского на английский язык. Первый том «Тихого Дона» в свое время вышел под заглавием «And Quiet Flows the Don» («И, тихий, течет Дон»), и переводчик поступил совершенно правильно. Почему? Потому что одно из значений английского существительного don — «преподаватель, член совета колледжа в Оксфорде или Кембридже», и читатель может подумать, будто Шолохов писал именно о таком преподавателе или же об испанском дворянине, тем более что по-английски все значащие слова в заглавиях даются с прописной буквы. Включение же в перевод глагола сразу дает понять, о чем речь! Последующий том был озаглавлен «The Don Flows in the Sea» («Дон впадает в море») — и читатель не может подумать, будто это переиздание уже известной ему книги, ибо то, что перед ним ее продолжение, доводится до его сведения весьма четко.

А что делать с другой рекой — с «Сотью» Леонида Леонова? Писать «The Sot»? Но ведь sot — «горький пьяница, забулдыга». «The River Sot» («Река Соть»)? Получается «Речной забулдыга», «Забулдыга с реки». Конечно, можно себе представить речку Забулдыгу, скажем, в каком-нибудь «шутейном рассказе» Вячеслава Шишкова, но ведь на роман Леонова это никак не «работает». Видимо, здесь лучше во избежание нежелательного эффекта кардинально изменить название реки. Впрочем, перевод имен собственных, относящихся как к ономастике, так и к топонимике, — особая проблема, заслуживающая отдельной работы.

Но бывает и так, что заглавие менять нельзя и незачем, и, однако, точный его перевод вызовет у читателя неизбежные ассоциации, порожденные бытом его страны. Уверен, что любому англоязычному читателю, прочитавшему заглавие поэмы Блока «The Twelve», автоматически станет ясно, что имеются в виду двенадцать человек, — но столь же автоматически он решит, будто речь пойдет... о двенадцати присяжных заседателях в суде. Слова «двенадцать человек» в любой англоязычной стране вызывают мгновенную ассоциацию с присяжными, английское определение состава присяжных так и гласит: «twelve men, good and true». Правда, читатель английского перевода от этих ассоциаций очень быстро избавится, стоит ему только дойти до начала второй главки, так что тут беда невелика...

5

Вероятно, такая же ассоциация возникнет у англоязычного читателя от заглавия «Двенадцать стульев», и он так же быстро от нее избавится, прочитав диалог умирающей мадам Петуховой и Воробьянинова... И не во избежание ли этой ассоциации первый английский перевод романа (к слову сказать, прескверный: все мало-мальски трудное для перевода там попросту вымарано) был озаглавлен «Diamonds to Sit On» («Бриллианты, чтобы на них сидеть»)? Вышло смешнее, чем в подлиннике, но гораздо глупее. Пользуясь оборотом Ильфа и Петрова, можно сказать, что заглавие переведено под знаком голого увеселенчества и беззубого смехачества и суть книги никоим образом не выражает, даже искажает.

С переводом заглавий на английский язык Ильфу и Петрову вообще не повезло: «Золотой теленок» получил заглавие «The Little Golden Calf», что попросту абсурдно. По-русски — очень глубокий смысл: в библеизме «золотой телец» — существительное «высокого штиля» — заменено снижающим, бытовым «теленком», что выражает презрение авторов к

наживе, к корысти... Беда в том, что по-английски «высокого» синонима существительного «теленок» нет: там и «теленок», и «телец» — все тот же «calf». А «Маленький золотой телец» ничего не говорит или же говорит совсем другое, чем по-русски...

На этом беды Ильфа и Петрова не кончились. Для унификации с «Маленьким золотым тельцом» «Одноэтажную Америку» назвали «Маленькая золотая Америка» — «Little Golden America». Искажение до того глупое, вопиющее, что, пожалуй, можно его и не комментировать...

Бывает и так, что в переводе получается «то, да не то»: заглавие комедии Оливера Голдсмита «The Good-natur'd Man» (буквально: «Добродушный человек») передали как «Добрячок» — явный пережим! А почему бы, в соответствии с поэтикой сентиментализма, не написать просто «Добродушный»? (Вспомним повесть Карамзина «Чувствительный и холодный».) И по смыслу, и по стилю ближе, и соотнесенность с эпохой и литературным направлением достигнута, причем безо всякой архаизации...

Попадаются, и чаще, нежели хотелось бы, случаи, когда в переводе — совсем «не то». Роман Ирвинга Стоуна, посвященный Микеланджело, по-русски озаглавлен «Муки и радости», в оригинале же «The Agony and the Ecstasy», «Агония и экстаз». Но ведь муки и радости способен испытать кто угодно, как говорится, любая тетя Мотя, агония же и экстаз характерны именно для личности и творчества «создателя Ватикана»! Могут возразить, что в точном варианте перевода оба существительных — нерусского происхождения... Да помилуйте, они давным-давно стали русскими, как варваризмы их воспринял бы разве только адмирал Шишков!

А «попасть в десятку» при переводе заглавия иногда бывает ох как трудно! Перед нами роман Томаса Харди «Jude the Obscure». Джуд... какой? С уверенностью можно сказать, что А. В. Кривцова, переводчица романа, перебрала многое множество вариантов, прежде чем найти самый верный: «Джуд Незаметный». Но для этого, разумеется, следовало пропитаться идеей романа, его атмосферой, его интонацией. Любопытно отметить, что в Англо-русском словаре В. К. Мюллера и С. К. Боянуса в числе значений прилагательного «obscure» «незаметного» нет, а в Англо-русском словаре В. К. Мюллера есть. Мы не занимались специальными изысканиями, но не появилось ли в словарях данное значение английского прилагательного благодаря изобретательности А. В. Кривцовой?

Порой изменение заглавия в переводе совершенно не мотивировано — можно было бы перевести и точно! — и абсолютно не соответствует идее и сюжету произведения. Так, «Живой труп» на английский язык принято было переводить (а может быть, эта «традиция» сохранилась и поныне) как «Redemption» («Искупление»). И не соответствует оригиналу, и чересчур общо, расплывчато, до убожества невыразительно по сравнению с бьющим наотмашь оксюмороном Толстого!

А над другим Толстым — Алексеем Николаевичем — учинили прямо-таки кулачную расправу, причем дважды.

Изданный во время войны в Англии перевод «Хождения по мукам» снабдили таким заглавием: «The Road to Calvary», то есть «Дорога на Голгофу»! А ведь автор имел в виду заглавие поэтичнейшего древнерусского апокрифа «Хождение Пресвятыя Богородицы по мукам», и даже если трилогия была переведена безукоризненно, подобное заглавие начисто извращает замысел автора!

Однако худшее еще впереди. Около тридцати лет назад автор этих строк зашел в московский книжный магазин «Дружба», находившийся тогда на улице Горького. На корешке одного издания, выставленного в венгерской секции, прочитал: «Golgotha». Не зная ни слова по-венгерски, все-таки попросил показать книгу. Так и есть! Несмотря на непривычную транскрипцию, нельзя не узнать знакомые имена: Катя, Даша, Рощин, Телегин...

Что и говорить, адекватно перевести это заглавие невероятно трудно, тем более что помянутый шедевр древнерусской словесности зарубежному читателю неизвестен. И, выполняя новый перевод для издательства «Прогресс», А. В. и Т. М. Литвиновы блистательно решили поставленную перед ними головоломную задачу. Ход рассуждений, по всей вероятности, был приблизительно таков. Источник заглавия англоязычному читателю, за исключением горстки ученых-русистов, которые могут прочитать трилогию и в подлиннике, неведом. «Разжевывать» его внехудожественными средствами нехорошо — что-нибудь «разжевывать» всегда нехорошо. Следовательно, придется *найти некий эквивалент*. Условия: в переводе должен быть передан *смысл* заглавия («суровое испытание») и его *стиль* (некий средневековый, архаический оттенок). И наверное, далеко не сразу было отыскано существительное, отвечающее обоим требованиям: «The Ordeal». Значит оно, во-первых, именно «суровое испытание», а во-вторых, так назывался средневековый институт «суда Божьего»: испытание водой («Легенда об Уленшпигеле»), каленым железом («Борьба за престол»), посредством

поединка («Айвенго») и т. п. Так что оба требования были выполнены, и как выполнены! Это — подлинный триумф.

Крайне редко бывает, что неточный перевод заглавия лучше выражает самую сокровенную суть произведения, нежели заглавие, данное автором. Возьмем самый знаменитый роман Виктора Гюго «Les misérables». Прилагательное «misérable» имеет много значений: «бедный, бедственный, несчастный; худой, дрянной, плохой, жалкий; бедный человек, бедняк» и даже «бездельник, подлец, негодяй» — ведь и по-русски прилагательное «несчастный» порою обретает ругательный, оскорбительный оттенок.

Первый переводчик пошел по линии наименьшего сопротивления и написал «Несчастные». Ну и что? Мало ли кто и по какой причине не бывает или считает себя несчастным? «Шалопаи, которые не находят денег под вексель, тоже называют себя несчастными. Каплун, которого давит лишний жир, тоже несчастлив». (А. П. Чехов. «Враги».) Горше того, один из переводов был озаглавлен «Жалкие люди»!

К сожалению, мне не удалось установить, какой переводчик первым, употребив причастие, ни в одном словаре против слова «misérable» не стоящее, нашел потрясающе верный перевод заглавия: «Отверженные». И в самом деле, *все* персонажи романа, за исключением Толомьеса с друзьями да г-на Баматабуа, по той или иной причине *отвержены* обществом. Не будем говорить о Вальжане и других каторжниках, о Фантине и Козетте, о Мабефе и Эпонине, о Гавроше и неузнанных им братьях — это самоочевидно. Но отвержен и епископ Мириель, ибо и сам отвергает современное ему общество, существующий социальный строй. Не приемлют его и отвержены им и депутат Конвента Ж., и Анжольрас со своими товарищами-революционерами. Отвержен и полковник Понмерси, бонапартист, в эпоху Реставрации. Отвержены и супруги Тенардье, и весь «Петушиный час», потому что они уголовники. Мало того. Отвержен и беспощадный блюститель закона Жавер, выходец из самых низов общества: его переходящее в манию служебное рвение — попытка преодолеть социальную неполноценность. Наконец, отвержен и престарелый г-н Жильнорман, ибо, пережив свою эпоху, он оказался всем и всему чужд. Что и говорить, заглавие «Отверженные» безупречно и, пожалуй, исчерпывающе выражает квинтэссенцию романа — и, как знать, быть может, и сам Гюго, ознакомившись с таким великолепным решением, поздравил бы переводчика, а то и заменил бы заглавие оригинала!

Но конечно, подобные находки появляются раз в несколько десятилетий, и возводить их в правило нельзя.

6

Особая трудность предстает перед переводчиком, когда он сталкивается с *полисемией* заглавия.

Вернемся к «Двенадцати» Блока. Что стоит за этим числительным? И двенадцать красногвардейцев, и их уподобление двенадцати апостолам («Впереди — Исус Христос»), и — косвенно — двенадцать главок поэмы.

Но это возникает в переводе само собой и никаких усилий от переводчика не требует. Но как быть, допустим, с «Мертвыми душами»? Ведь имеются в виду не только ревизские души, скупаемые Чичиковым, но и мертвые души всех сатирических персонажей поэмы. (То, что у положительных персонажей второго тома оказались души еще более мертвые, — трагедия Гоголя.) И англоязычный читатель усмотрит в заглавии только второе из этих значений — пока Чичиков не приедет к Манилову! А там придется объяснять, что такое ревизские души...

В 1946 г. Майкл Редгрейв (тогда еще не сэр Майкл) говорил автору этих строк:

—Я с наслаждением поставил бы инсценировку «Мертвых душ», только боюсь, что публика, судя по заглавию, решит, будто ей предлагают нечто мрачное, в духе Достоевского, и на спектакль не пойдет!

Быть может, имело бы смысл вспомнить полное заглавие поэмы — «Похождения Чичикова, или Мертвые души» — и в переводе ограничиться его первой половиной?

Примерно так поступил Бернард Гилберт Гэрни, озаглавив свой перевод «Chichikov's Journeys, or Home Life in Old Russia» («Путешествия Чичикова, или Старорусский быт», буквально — «домашняя жизнь в старой России»). Это решение гораздо удачнее информирует о содержании поэмы, но не о ее жанре; пожалуй, лучше было бы поставить «adventures» (приключения), что намекало бы на известное родство поэмы с плутовским романом. И конечно, термин «поэма» ни в коем случае не нужно передавать как «poem», ибо по-английски это значит не только «поэма» в нашем понимании, но прежде всего *стихотворение*, хотя бы в восемь или даже в шесть строк. Верным решением было бы «An Epic», то есть «эпопея»: так по-английски называют создания Гомера, Вергилия, Фирдоуси, Тулсидаса и т. п. Что и говорить, неудачен оборот «в старой России»: Гоголь описывал Россию, ему современную.

Пожалуй, самое трудное для перевода заг-

лавие — «Дело Артамоновых», ибо в нем *три* значения: 1) «фабрика Артамоновых», 2) «цель, смысл жизни Артамоновых» и 3) «суд над Артамоновыми», причем на поверхности — только первое значение, а второе и третье открываются, только если хорошенько подумать.

Что же, так и ограничиться при переводе первым значением? Или, как в случае с «Отверженными», поискать что-нибудь не буквальное, но более верно и глубоко выражающее суть, тему произведения?

Такая попытка была предпринята и, как нам представляется, обернулась удачей. В 1928 г. роман, переведенный В. С. Гэтти, был выпущен лондонским издательством «Кэссел» под заглавием «Decadence» («Вырождение»). На первый взгляд, это все равно что, скажем, заглавие «Madame Bovary» передать как «Неверная жена». Однако в данном случае переводчик радикально изменил заглавие, *опираясь на самого* автора: в своем прославленном мемуарном очерке «Лев Толстой» Горький вспоминает, как во время одной из встреч «рассказал ему историю трех поколений знакомой мне купеческой семьи, где закон вырождения действовал особенно безжалостно...», после чего Толстой стал горячо убеждать Горького «кратко написать большой роман». Как видим, еще до начала работы над романом сам Горький четко и лаконично сформулировал его основную тему! Так что решение переводчика, при всей его смелости, базируется на глубоком знании творчества Горького, на использовании его подлинных слов, сказанных по тому же поводу, и не может не быть признанным хотя бы правомочным.

Известное возражение вызывает лишь существительное decadence, ибо оно означает также и «декаданс» как направление в европейском и русском искусстве и литературе последней четверти XIX — начале XX в. — как у нас, так и по-английски; правда, в англоязычных странах его чаще всего в данном значении произносят с французским прононсом. Пожалуй, уместнее было бы написать «Decay», а еще лучше — «Degeneration».

Очень часто английские заглавия бывают аллитерированы, это отмечал еще К. И. Чуковский. Передать это — задача для переводчика увлекательная и осуществимая если не всегда, то гораздо чаще, нежели может показаться на первый взгляд. Вот как это комментировал Иван Александрович Кашкин на примере знаменитого эссе Оскара Уайльда, озаглавленного «Pen, Pencil and Poison»:

«...оно (заглавие. — *В. Р.*) скреплено традиционной для английских заглавий аллитерацией: все три слова начинаются со звука «п». И <...> в ритмическом отношении заглавие спаяно нарастанием числа слогов в словах: один+два+три (считая и союз).

Теперь представим себе возможные переводы этого заглавия переводчиками разного толка и метода.

Перечислитель-эмпирик, безразличный к форме, перевел бы «точно»: «Перо, карандаш и яд». В этом плоскостном варианте целостное единство содержания и формы английского заглавия было бы нарушено, и яркость его поблекла бы.

Дословщик-формалист, безразличный к содержанию, пренебрег бы им, сыграл бы на той же аллитерации и перевел бы чем-нибудь вроде: «Перо, пепел и пуговица». При этом не только единство, но и смысл был бы утрачен.

Выдумщик-импрессионист усмотрел бы в простых словах заглавия словообраз и сделал из него что-нибудь вроде «Карандашноперая отрава», что не грезилось и самому Уайльду.

Всеядный эклектик внес бы свое «уточнение»: «Яд — значит нечто экзотическое, почему бы не сказать точно и звучно: «Кисть, кураре и карандаш».

К сожалению, не только заглавие Уайльда, но и целые собрания переводов шли по одному из этих путей.

Тогда как здравомыслящие переводчики нашего времени, жертвуя особенностью, характерной только для английского языка, — аллитерацией заглавия, но сохраняя смысл и ритмический рисунок и видя в этом заглавии не только единство, но и его выражение в частностях, скажем, нарастание смыслового значения, перевели бы просто и ясно: «Кисть, перо и отрава».

Необходимо отметить, что сам И. А. Кашкин далеко не всегда, к его чести будь сказано, ограничивался такой «простотой и ясностью» и, например, переводя «The Devil's Dictionary» Амброза Бирса, не уподобился «перечислителю-эмпирику, безразличному к форме» и не перевел заглавие как «Словарь Дьявола», но сохранил аллитерацию и написал «Словарь Сатаны».

Высказывание И. А. Кашкина об эссе Уайльда я прочитал в 1956 г. в только что выпущенном сборнике «Вопросы художественного перевода», и, признаться, оно меня раззадорило: захотелось перевести это заглавие с воспроизведением его аллитерации. Я перечитал эссе Уайльда и увидел, что заглавие это — цитата из Суинберна. Заглянул в книгу Суинберна о Блейке, откуда она взята, и, к моему крайнему изумлению, обнаружил, что Уайльд процитировал Суинберна неточно: у того написано «pen, palette and poison»... Ага, два слова «по-

дарены» оригиналом: «Перо, палитра и...» и что? Долго пришлось мне ломать голову, пока «в очах моей души» внезапно не возникли страшные глаза Вассы Железновой, воплощенной величайшей актрисой из виденных мною, Верой Николаевной Пашенной, и я мысленно не услышал, казалось бы, спокойные, но донельзя зловещие слова, обращенные Вассой к мужу: «Прими порошок! Прими добровольно». Ну, вот и готово: «Перо, палитра и порошок»! Я поделился своей находкой с И. А. Кашкиным, и он сказал, что это, во всяком случае, очень «горячо».

После этого я стал обращать особое внимание на аллитерации в заглавиях (и не только в заглавиях) и упражняться в переводе их на русский. Например, один из моих любимейших детективных романов «Дом на полдороге» («The Halfway House») Эллери Куина разбит на пять частей, озаглавленных: The Tragedy, The Trial, The Trail, The Trap, The Truth, то есть «Трагедия» (в данном случае — убийство), «Судебный процесс», «След» (по которому охотник идет за зверем), «Западня», «Истина». Прикидываю: «Суд» и «След»? Больше на «с» ничего не подвертывается... Зато бросается в глаза созвучие «процесса» с «правдой», если ею заменить «истину». А трагедия заключается в убийстве — но что такое убийство? Преступление! Три слова найдены! После этого «преследование» и «провокация» пришли в голову сами собой, благо в данном контексте они вполне уместны.

Без малого тридцать лет назад, переводя гениальные стихотворения в прозе Эдгара По «Shadow» и «Silence», я передал их заглавия по-русски не «Тень» и «Молчание» (или, если угодно, «Безмолвие»), но «Тень» и «Тишина» — лишь бы они, как в подлиннике, начинались с одной и той же буквы!

Разумеется, звукопись (в частности, заглавий) в переводе не всегда удастся воспроизвести — но русский язык до того богат, до того полифоничен и полихромен, что, право, стоит попытаться!

***

Какие могут последовать выводы? Для перевода заглавий, как для художественного перевода вообще, никаких непререкаемых рецептов быть не может, поиски «философского камня» никогда и ни к чему не приводили. И здесь также важны прежде всего *диалектический* подход к оригиналу, постижение его мысли и формы, «чувство соразмерности и сообразности», культура переводчика и, разумеется, его одаренность.

■

И. БЕРНШТЕЙН

АНГЛИЙСКИЕ ИМЕНА В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ

Имя — иметь; Name — nehmen, nahm: *этимологические соответствия.*

It is such an imprecise art[1].

Из письма

Для передачи на русском языке иностранных личных имен[2] существуют три основных способа: транскрипция, то есть более или менее сходное изображение звуковой формы имени; транслитерация, то есть воспроизведение кириллицей буквенной структуры имени; и собственно перевод, предполагающий передачу имени наличными лексическими средствами. Начнем настоящий обзор с перевода.

Перевод имен понимается двояко. Во-первых, многие распространенные английские имена имеют параллели в русском: Иван — Джон, Катерина — Кэтрин, Михаил — Майкл и пр. Эти пары образовались исторически, благодаря близости культур, наличию общих религиозных текстов, давнему соприкосновению литератур (с китайскими именами у нас таких пар пока нет). И сперва, когда начали переводить на русский английские тексты — несколько позже, чем немецкие или французские, — для передачи имен пользовались именно такими русскими эквивалентами — ср. «Николай Никльби».

Помимо этого есть еще и собственно перевод, по смыслу. Естественнее всего ему поддаются *значимые* имена типа индейских Leather Stocking — Кожаный Чулок, Running Deer — Бегущий Олень и т. д. При переводе передается их значение, в то время как Раннинг Дир, Ледер Стокинг были бы бессмысленным набором звуков. Дают возможность для прямого перевода и смысловые имена другого рода, например широко распространенные «цветочные» и «назидательные» имена, обычно женские: Rose, Heather, Peony, Honeysuckle, Charity, Faith, Prudence. Однако возможность эта, как правило, оказывается нереализуемой. Иногда мешает грамматический род: Пион, Вереск; Милосердие, Благоразумие. Или эти же слова просто не воспринимаются русским ухом как имена, если текст жизнеописательный и более или менее современный. Например, Радость (Joy). Однако даже если нет грамматических или стилистических препятствий, как в случаях Вера/Faith, Роза/Rose, все равно члены пар обычно оказываются далеко не адекватны. Имена Роза и Вера рисуют их носительниц совсем не такими, как Rose и Faith.

Имя очень многое сообщает о человеке, в частности, оно служит знаком принадлежности к тому или иному этническому и социальному множеству. Скажем, по-русски Луша (транскрипция имени Lucia) — это, кроме прочего, «деревенское» имя. Сейчас такое различие постепенно вымывается из обихода — вспомним, однако, известное стихотворение Блока «Над озером» (1907), где герой «нежную и тонкую» деву мысленно нарекает Текла, а увидев в ней грубую мещанку, кричит ей: «Фекла! Фекла!» Или этнический пример: постоянно поминаемое отчество некоего современного политика — Вольфович, — которое выделяет его из одной общности и помещает в другую.

Для вящей наглядности можно еще вспомнить трех братьев из одной латиноамериканской страны, которых звали Владимир, Ильич и Ленин. И нетрудно себе представить, что это могут быть за люди.

Понимаю, что сказанное здесь — конечно упрощение: в нынешнюю эпоху всемирных коммуникаций имена приобретают интернациональный характер. Но не одни только современные книги мы переводим. А языковые реальности нельзя не брать в расчет. Переводя английские книги «про англичан», мы хотим, чтобы имена показывали персонажей англичанами.

Переводчику, имеющему дело со значимыми именами, приходится поэтому иной раз идти на ухищрения — с той или иной долей успеха, — но и возможности открываются довольно разнообразные.

Простой случай: девочку в современном рассказе (Т. Корагессана Бойла) зовут Jasmin Honeysuckle Rose. Но «Жимолость» («Honey-

---

[1] Это такое неточное искусство (*англ.*).

[2] В данном обзоре родовые имена (фамилии) не выделяются и отдельному рассмотрению не подлежат. Обычно фамилии — это поздние образования, прозрачно сформированные из личных имен или прозвищ: Петров, Кузнецов, Седых, Херсонский, Smith, Smithson, Wellington и пр. А в литературных текстах фамилии нередко выполняют роль имен персонажей: Чичиков, Dombey, и к ним относится все, о чем говорится ниже.

© И. М. Бернштейн, 1998

suckle») не воспринимается в русском тексте как имя, если текст — не притча, не сказка и не фантазия. Переводчик удачно поменял один из цветков, и вышло вполне англоподобно и смешно: Жасмина Фиалка Роза.

Или из моего собственного опыта. В одной книге Дж. Гарднера фигурировал благородный человек по имени mister Knight. При транскрипции теряется смысл, даже для понимающих по-английски имя «Найт» значит скорее «ночь». Мистер Рыцарь, со специфическими звуками Ы, Ц, РЬ очень уж не похоже на английское имя. По совету коллеги, которому от души признательна, назвала его — мистер Ланселот, тем самым сохранив и англообразный облик, и благородный смысл.

Обычно же для передачи по-русски английских смысловых имен переводчики выбирают смысловую основу и оформляют ее на «английский лад» с помощью разного рода англоподобных формантов: учитель Роззги, доктора Фершалл и О'Коновалл, мистеры Купли (торговец), Капли (аптекарь), миссис Гнилль. Или более сложное решение: респектабельная фирма «Кошкью, Вошкью, Мошкью, Печкью, Лавочкью и К°» в доме № 10 по Сучкью-стрит» (из Э. По).

Особый случай — библейские имена. Библейские имена перешли в русский из переводов книг Ветхого и Нового заветов, в которых они, будучи переведенными с греческого, сохраняют характерные греческие черты: Фома, Авраам, Иаков, Юдифь и ряд других (ср. в латинском изводе: Томас, Абрахам, Якоб, Юдит и др., — или в позднейшей англизированной форме: Джейкоб, Джудит). На греческий лад, по строгой традиции, именуются в русских текстах библейские персонажи: Авраам, Иаков, Иезавель, Юдифь. В том же виде они, естественно, появляются во всех библейских цитатах и аллюзиях — тут проблема может быть только в том, чтобы различить такие цитаты и аллюзии в литературном тексте, тем более что англоязычные книги традиционно изобилуют библейскими ссылками и намеками.

С другой стороны, библейские имена широкоупотребительны в англоязычных странах, их носят реальные люди, а современный перевод стремится, по возможности, передать их английское звучание средствами транскрипции. Переводчик вынужден решать, что в данном тексте важнее: перекличка с Библией или реальное жизнеописание, — и делать выбор.

Так, например, фраза, открывающая роман Мелвилла «Моби Дик», содержит библейское имя: Call me Ishmael. Есть возможность его транскрибировать: Ишмаэл, но можно воспользоваться и старой цитатной формой: Измаил. И если проанализировать стилистику и интонацию начальных глав романа, почувствовать их возвышенный строй, отчетливую связь с библейскими мотивами и персонажами, понимаешь, что здесь Измаил — тот самый, библейский, который «между людьми, как дикий осел», и что квакеров — судовладельцев и капитанов правильнее назвать по-библейски: Ахав, Фалек, Вилдад, а не Эйхаб, Пилег, Билдэд.

Помимо собственно библейских персонажей, библейские имена в греческой форме традиционно имеют в русских переводах святые и церковные деятели высших степеней.

С другой стороны, старинную библейскую (или латинизированную европейскую — для более поздних времен) форму имеют в русском тексте по традиции имена европейских монархов: королева Елизавета, а не Элизабет, Иоанн Безземельный, а не Джон; король Георг, а не Джордж, Иаков, а не Джеймс и т.д. Кстати, если нынешний принц Уэльский Чарльз унаследует престол своей матери, он по-русски будет зваться король Карл.

В применении библейской формы имен есть свои пограничные области неопределенности. Так, по чьему-то произволу, в современных русских справочных изданиях архиепископ Кентерберийский — канонизированный святой Thomas a Becket зовется Томас Беккет, а не Фома. В то же время знаменитый английский ученый и философ известен у нас как *Иеремия* Бентам. Недавно в одной московской газете писателя Лоренса Стерна назвали *Лаврентием.* Хотел ли автор статьи подчеркнуть, что создатель «Тристрама Шенди» был священником, не знаю, но выглядело это достаточно странно. А уж когда в юмористическом рассказе П. Г. Вудхауса персонаж, действующий рядом с Джорджем, Эгбертом и Эванджелиной, оказывается Игнатием, это вызывает недоумение. Правда, имя Ignatius трудно поддается транскрипции, но это уже другой разговор.

Практическая транскрипция — особая тема. Имя — неотъемлемая принадлежность личности. При переходе из языка в язык его значение, хоть и не сразу, но перестает сознаваться (ср. Виктор — победитель), а материя, звучание сохраняются. И при упоминании имени в другом языке они, по возможности, воспроизводятся. Так стремимся делать сегодня мы. Так делали в античные времена. Именно благодаря древней транскрипции собственных имен 150 лет тому назад была произведена первая расшифровка древнеегипетского письма по Розеттскому камню, на котором на трех языках были выбиты одни и те же имена.

Конечно, такая транскрипция очень условна, это не научная фонетическая, а так называемая практическая транскрипция.

В русском и английском языках, например, аналогичные гласные и согласные не только звучат очень по-разному, но ряду английских звуков в русском языке вообще нет соответствий — и наоборот. Английское произношение вариативно, есть свои нормы в разных англоязычных странах и в разных местных диалектах в границах одной страны. А в кириллице нет, например, средств даже для приблизительной передачи таких звуков, как [æ], [ʌ], [θ], [ð] и др. Отдельное замечание по поводу дифтонга [ou]: в русском такого дифтонга нет, русская речь в заимствованных словах разлагает его на два слога, а при общей тенденции к сдвигу ударения на конец еще и делает из неслогового *У* — *У* слоговое ударное типа Сно-упс (ср. довольно распространенное произношение Ма-у́гли). Так что открытое английское *О*, не поддержанное графически (OW), хотя и произносится как дифтонг, может быть, целесообразнее транскрибировать по-русски как *О*.

Словом, точного воспроизведения звуков английского имени практическая транскрипция не предлагает, и всякие попытки добиться *полного* сходства ни к чему хорошему не приводят.

Бывает, что результаты транскрипции оказываются по каким-то причинам неприемлемы. Например, у меня в одном переводе был персонаж по фамилии Troop, хотя и отрицательный, но не настолько, чтобы называться Трупом. Сделать его Тропом мешали личные обстоятельства: у меня есть добрый знакомый с такой фамилией. Так что пришлось допустить вольность и назвать его Троупом.

Еще примеры. Мы пишем по-русски Хьюм и Вустер (Home, Worcester) в соответствии со звучанием этих имен. Но, скажем, транскрипционное изображение женского имени Lucia или географического названия [Nova] Scotia, которые выглядели бы примерно как *Луша* и *Скоша*, для русского текста не годятся. Форма *Луша* уже использована как уменьшительное от *Лукерья* и имеет пока еще социальную «деревенскую» окраску. (Сочетание, например, “принцесса Луша” воспринимается как парадоксальное или юмористическое.) А в слове *Скоша* при всем желании не услышишь латинского названия Шотландии.

В таких случаях, когда транскрипция не дает желаемых результатов, переводчик пользуется методом транслитерации, то есть воспроизведения написания имени. Английским латинским буквам тут соответствуют аналогичные русские буквы. При этом определенные устойчивые группы букв рассматриваются как элементы графики: ph — это ф, igh — ай и т. д. по так называемым правилам чтения.

С помощью транслитерации в хаотическое дело передачи английских имен удается внести некоторые дополнительные элементы порядка. Так, становится возможным решить проблему редуцированной безударной гласной: не Дикк*И*нс, как предлагали у нас одно время приверженцы транскрипционной монополии, а Дикк*Е*нс — как пишется, а не как слышится. Или окончание на *-c*, его не имеет смысла писать то в виде *з*, то в виде *с*, это одно и то же окончание, оно изображается одной буквой: S, а что по-английски она иногда озвончается, в данном случае значения не имеет. Из соображений графических выработалось правило не писать в одном слове два удвоения. Например, Plackett — либо Плаккет, либо Плакетт. Успешно разрешается трудность, связанная с буквой R, которая по-английски то произносится, то не произносится (оставляя, впрочем, вместо себя след в виде удлинения предыдущей гласной, либо легкого призвука) — в зависимости от говора, индивидуального выговора и от положения в слове и фразе: Ross, Mark, Peter, Peter and Mark. Тут правило простое: там, где пишется R по-английски, пишем и по-русски. Это правило не требует и не терпит никаких исключений, и при неукоснительном его соблюдении не будут появляться такие монструозные образования, как Уолднет, Нодерн, потому что должно быть Уорлднет, Нордерн. Эти названия связаны со словами World, North (ср. Норд).

Но есть и еще один фактор, который влияет, и не может не влиять, на передачу иноязычных имен на русском языке. Вот, например, Hamlet, Prince of Denmark — Гамлет, принц Датский. По нашим теперешним понятиям ему скорее следовало бы быть Хамлетом (или даже Хэмлетом), так как русское орфоэпическое *Г* — звук взрывной, а не фрикативный. Но и без фонетических рассуждений ясно, что он — Гамлет и должен оставаться Гамлетом, ибо именно в таком виде он давно и прочно вошел в русскую культуру и всем знаком.

Сегодняшние переводы делаются не на пустом месте, за ними стоит двухсотлетняя традиция. Ее приходится исподволь, понемножку преодолевать, но не считаться с нею нельзя, это было бы поступком антикультурным. С детства зная, что Онегин читал Адама Смита, поди попробуй назвать его Эдамом.

Или, скажем, Сеймур (Seymour) Гласс, герой Сэлинджера. В большинстве русских перево-

дов он именуется Симор, по современному звучанию этого имени. Но тогда уж надо бы и Джейн Сеймур, жену короля Генриха VIII, вместе со всеми ее родичами, ведшими свою фамилию от норманнского замка Сен-Мор, переделать в Симор. И всех остальных исторических деятелей, носивших имя Сеймур. И даже некое ископаемое чудовище *сеймурию*, названное по местности, где оно было найдено, и саму ту местность. А иначе выходит, что Глассы нарекли своего первенца не старым английским именем, связывающим нынешние поколения с прежними, а ничего никому не говорящей кличкой.

В целом же на основании этого далеко не исчерпывающего обзора приходится сделать вывод, что в деле воспроизведения по-русски английских имен сегодня действительно все зыбко и неупорядоченно. Одновременно действуют несколько разных традиций. Американский президент Линкольн — Авраам, а Франклин — почему-то Бенджамин. Так повелось. В языке, в культуре, как в живом организме, идет одновременно много разных процессов на разных уровнях, работают разные связи. Выбирая то или иное решение, переводчик руководствуется одновременно многими соображениями — не только верностью звучания или написания, давними обычаями и связями, но и благозвучием, и случайными ассоциациями, подчас своими личными, прихотью художника.

Словом, даже имея в своем распоряжении набор правил и резонов, переводчик в конечном счете действует, подчиняясь интуиции, поступает, по русскому выражению, как бог на душу положит. И может быть, при обращении с чувствительным организмом языка это не самый тупой способ. Надо только, чтобы душа была трудящаяся, включенная в культуру и ощущающая нюансы.

НЕПОХОЖИЙ НА НЕПОХОЖИХ

Экспрессионизм по праву считается вершиной изобразительного искусства Германии XX века. Недаром к его творческому наследию обращались и «шестидесятники», названные «неоэкспрессионистами», например Георг Базелиц, Маркус Люперц, Йорг Иммендорф, и «восьмидесятники» — Райнер Феттинг, Альберт Элен, Саломе, именовавшие себя «новыми дикими». Каждое подобное обращение оказывалось на удивление плодотворным, вызывало оживленный интерес критиков, коллекционеров, музеев, публики...

Классика немецкого экспрессионизма продолжает пользоваться ажиотажным спросом на художественном рынке. В Германии цены на нее растут из года в год. Так, картина Эриха Хеккеля «Красные крыши» (1909) была недавно продана за полтора миллиона марок. Счет монографиям, альбомам, календарям, посвященным творчеству экспрессионистов, идет на сотни. Изучено, казалось бы, все — от особенностей художественной манеры до биографических подробностей. И тем не менее к концу последнего десятилетия XX века не удалось выяснить то, что оставалось неясным в его первой и второй декаде: что же, собственно, такое — *экспрессионизм*?

На первый взгляд, визуальная стихия имеет в экспрессионизме самодовлеющее значение. С другой стороны, экспрессионизм стремится к тотальной идейности. Он насквозь пронизан духом отрицания, конфронтации, эстетического, нравственного, социального протеста и даже крайнего политического радикализма. Что объединяет столь непохожих по душевному складу людей и столь разных по творческой манере художников, как, скажем, Паула Модерсон-Беккер и Эгон Шиле или Отто Дикс и Август Макке?

Главный парадокс экспрессионизма состоит в том, что принадлежность именно к этому течению целого ряда его признанных классиков остается небесспорной. Одним из самых «типичных» и одновременно «нетипичных» экспрессионистов является, пожалуй, Август Макке.

В отличие от художников группы «Мост» или «Синего всадника», которые приходили к искусству нелегкими, порой драматическими путями, бросая другие профессии и пережив определенный перелом в судьбе, Август Макке (род. 1887) еще в гимназии решил стать художником и стал им, несмотря на возражения отца, человека не слишком обеспеченного и обремененного большой семьей (у Августа было шестеро сестер), а потому желавшего для сына более надежного занятия. Не помешало и отсутствие средств для получения художественного образования. На помощь пришел знакомый меценат, кёльнский фабрикант.

Не закончив гимназии, Макке поступил в 1904 году в подготовительный класс дюссельдорфской художественной академии, однако долго там не задержался и предпочел перейти в училище прикладного искусства, где меньше докучали сухими академическими штудиями, где царила свободная творческая атмосфера. В конце концов Макке вообще оставил учебные классы, сделав выбор в пользу художественного самообразования.

Август Макке совершил несколько путешествий во Францию и Италию. Импрессионисты и фовисты — Гоген и Сезанн, Сёра и Матисс — произвели на него сильнейшее впечатление. Отныне сумрачная и, как ее называет сам Макке, "головная живопись" в духе швейцарского символиста Альфреда Бёклина, которой некогда увлекался юный Август, становится для него просто невозможной. Теперь его особенно привлекает к себе Эдуар Мане, у него Макке заимствует некоторые мотивы. Вернувшись в Германию, он несколько месяцев проработал в ателье немецкого постимпрессиониста Ловиса Коринта, чтобы лучше понять принципы этой живописи.

Поездки в Париж и жизнь в Берлине вряд

© О. Хлебникова, 1998

ли были бы возможны без чьей-либо финансовой поддержки. Августу Макке опять посчастливилось — он нашел нового мецената, берлинского фабриканта и любителя искусств Бернхарда Кёлера, дядюшку его будущей жены Элизабет Герхард.

Впервые Август увидел Элизабет шестнадцатилетним юношей. Девушка сразу же поразила его своей красотой, естественностью, гармоничностью. Это была первая и единственная любовь Августа. Еще одна история со счастливым концом в жизни Макке. Они поженились в октябре 1909 года и поселились на вилле недалеко от Мюнхена, в живописных Баварских Альпах. Одна за другой родились две дочери. Семейная жизнь складывалась благополучно, Августу Макке хорошо работалось.

Близость Мюнхена помогает общительному Макке сойтись с художниками, объединившимися позднее в «Синем всаднике», особенно с Францем Марком и Паулем Клее. Макке с интересом следил за их творческими поисками, участвовал в их проектах (например, в альманахе), по возможности помогал им, ведя переговоры с галеристами, меценатами, устроителями выставок, однако он не во всем разделяет эстетические взгляды «Синего всадника», которые кажутся ему порой излишне претенциозными или, повторяя его выражение, «излишне головными». С Францем Марком у Макке завязались самые сердечные дружеские отношения. С июня по ноябрь 1910 года они проработали вместе под Мюнхеном в деревушке Зиндельсдорф, где жил Марк. Этот период активного взаимовлияния оказался для обоих художников чрезвычайно важным и плодотворным. Марк и Макке едут вместе в Париж, где знакомятся с цвето-световыми экспериментами Робера Делоне, для которых Гийом Аполлинер придумал название «орфизм».

«Орфические» приемы гармонизации цвета дают Макке сильный творческий импульс. Обладая несомненной художественной индивидуальностью, Макке легко заимствует все новое, продуктивное — например, некоторые стилистические элементы итальянского футуризма. Пожалуй, это и есть основные черты его характера — он открыт, восприимчив, отзывчив.

Летом 1912 года в Кёльне состоялась легендарная вторая выставка объединения художников-авангардистов «Зондербунд». Хорст Рихтер, известный специалист по истории современного искусства, называет ее одним из важнейших событий в художественной жизни всего XX века, без которого не смогла бы существовать сегодня, например, такая крупнейшая международная выставка современного искусства, как Documenta.

Если раньше еще непривычный термин «экспрессионизм» был едва ли не впервые произнесен упомянутым выше Ловисом Коринтом применительно только к французским фовистам, то теперь Зондербунд объявлял «смотр» всего «новейшего движения в живописи, именуемого экспрессионизмом». На выставке было собрано 634 экспоната — живопись, скульптура, графика, — представлявшие все то молодое, свежее, интересное, что вышло после импрессионистов на авансцену художественной жизни не только Европы, но и других континентов.

Август Макке был одним из самых активных организаторов этой выставки, членом ее жюри. Через год он собрал в Бонне еще одну выставку, которая называлась «Рейнские экспрессионисты». Здесь примечательно как то, что Макке энергично содействует введению в оборот нового эстетического понятия, так и то, что сам он понимал экспрессионизм довольно широко. Макс Эрнст, впоследствии один из первых сюрреалистов, а тогда еще «рейнский экспрессионист», писал: «Нашей первой заповедью была непредвзятость. Мы не имели определенной доктрины, не признавали дисциплины или каких-либо обязанностей. Нас связывала жажда жизни, поэзии и свободы...» И еще: «Выставка показывает, что внутри большого течения экспрессионизма действует множество сил, между которыми нет никакого внешнего сходства, есть лишь общий «силовой вектор», а именно стремление к тому, чтобы дать душе выразить себя единственно через форму. Цель — абсолютная живопись».

Похоже, Август Макке вполне согласился бы с утверждением, что его целью является «абсолютная живопись». Он как бы намеренно выбирает для своих картин такие сюжеты, которые не отвлекали бы зрителя прежде всего от живописи: кёльнский зоосад, пронизанные солнцем бульвары и парки, прогуливающиеся дамы или пары. В его сценках из городской жизни, полных покоя и радости, нет дисгармонии между урбанистической цивилизацией и природой, нет социальных контрастов, уродств, темных человеческих страстей. Яркие, открытые краски лишены агрессивности. Как это отличается от того, что мы привыкли понимать под экспрессионизмом.

Последний год перед началом первой мировой войны был очень активным в жизни Макке. Он полон творческих планов и в апреле 1914 года с друзьями отправляется в трехнедельное тунисское путешествие. Он ждет от африканского солнца и экзотических красок новых впечатлений, художественных открытий и не обманывается в своих ожиданиях. Поездка получилась чрезвычайно плодотворной. Макке вернулся с множеством собственноручно снятых фотографий, привез тридцать восемь акварелей, сто десять рисунков и множество набросков. Особенно хороши акварели, выполненные в оригинальной технике, которая учитывает специфику горячего южного воздуха, мгновенно высушивающего водяные краски. Одной из таких моментальных зарисовок стала знаменитая «Улица».

В письме своему другу и покровителю Кёлеру, финансировавшему столь удачное путешествие, счастливый Макке «жаловался», что «подготовлено так много и теперь нужно все это обработать».

В течение нескольких месяцев были написаны тридцать шесть картин. Цветовая палитра Макке стала еще смелее, ярче, чище. Картина «Дама в парке» относится к этому периоду.

Началась война. 8 августа 1914 года двадцатисемилетний художник Август Макке, обожавший Францию, был призван в армию. Он погиб в одном из первых боев. Это произошло под Шампанью ранним утром 26 сентября.

Франц Марк, которому суждено было пасть под Верденом спустя два года, написал о своем друге: «Изо всех нас именно он дал цвету самое светлое и чистое звучание, столь же светлое и чистое, каким было все его существо».

О. ХЛЕБНИКОВА

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

ЛЕС МЕРРЕЙ (LESLIE ALLEN MURRAY; род. в 1938 г.) — австралийский поэт. Автор поэтических сборников «The Weatherbound Cathedral» (1969), «Lunch and Counter Lunch» (1974), «Ethnic Radio» (1977), «The Vernacular Republic» (1978), «The People's Otherworld» (1988), «The Daylight Moon» (1987), «Subhuman Redneck Poems» (1996). Названия книг плохо поддаются переводу, и мы оставляем их в английском оригинале — во избежание ошибок.
Предлагаемая подборка взята из сборника «СОБАКА ЛИСА ПОЛЕ» («DOG FOX FIELD»), Manchester, Carcanet Press, Ltd.,1991.

АНДЖЕЙ СТАСЮК (ANDRZEJ STASIUK; род. в 1960 г.) — польский поэт и прозаик. Лауреат премии Фонда культуры. Автор поэтического сборника «Стихи любовные и нет» («Wiersze miłosne i nie», 1994), сборников рассказов «Стены Хеврона» («Mury Hebronu», 1992), «Через реку» («Przez rzekę», 1995), «Дукля» («Dukla», 1997), романа «Белый ворон» («Biały kruk», 1995).
Публикуемые рассказы взяты из сборника «Галицийские рассказы» («Opowieści galicyjskie», Kraków, издательство «Znak», 1996).

ЗИГФРИД ЛЕНЦ (SIEGFRIED LENZ; род. в 1926 г.) — немецкий писатель-романист, новеллист и драматург. Автор романов «Коршуны в небе» («Es waren Habichte in der Luft», 1951), «Урок немецкого» («Deutschstunde», 1968; рус. перев. в «ИЛ», 1971, № 5—7), «Живой пример» («Das Vorbild», 1973; рус.перев. 1977), «Хлеба и зрелищ» («Brot und Spiele», 1959; рус. перев. 1975), «Краеведческий музей» («Heimatmuseum», 1978, рус. перев. 1982), сборников рассказов «Запах мирабели» («Der Geist der Mirabelle», 1975, рус. перев. Библиотека «ИЛ», 1985), «Эйнштейн пересекает Эльбу близ Гамбурга» («Einstein überquert die Elbe bei Hamburg», 1975; рус. перев. 1982), «Сербиянка» («Das serbische Mädchen», 1987; рассказы из этого сборника напечатаны в «ИЛ», 1989, № 6). Творчество Зигфрида Ленца отмечено несколькими литературными премиями.
Рассказ «Людмила» взят из одноименного сборника, вышедшего в 1996 году («Ludmilla». Hamburg, Hoffmann und Campe).

СОЛ БЕЛЛОУ (SAUL BELLOW; род. в 1915 г.) — американский писатель, лауреат Нобелевской премии (1976). Автор романов «Приключения Оги Марча» («The Adventures of Augie March», 1953; Национальная книжная премия), «Герцог» («Herzog», 1964; Национальная книжная премия, рус.перев. в «ИЛ», 1990, № 11, 12), «Планета мистера Саммлера» («Mr. Sammler's Planet», 1969; Национальная книжная премия), «Дар Гумбольдта» («Humboldt's Gift», 1975; Пулицеровская премия), «Декабрь декана» («The Dean's December», 1982); повестей «Лови момент» («Seize the Day», 1956; рус.перев. 1990), «Кража» («Theft», 1988). Повести «Родственники» («Cousins», 1984) и «В связи с Белларозой» («The Bellarosa Connection», 1989) напечатаны в Библиотеке «ИЛ» (1991). В «ИЛ» (1997, № 5) напечатаны также рассказы из сборника «Воспоминания Мосби и другие рассказы» («Mosby's Memoirs and Other Stories»).
Роман «Между небом и землей» был издан в США в 1944 году («Dangling Man». New York, Penguin Books).

МИЛОРАД ПАВИЧ (МИЛОРАД ПАВИЋ; род. в 1929 г.) — сербский писатель, литературовед, доктор филологических наук, профессор университетов в Белграде и Нови-Саде. Автор поэтических сборников и сборников рассказов «Железный занавес» («Гвоздена завеса», 1973), «Кони святого Марка» («Коњи светога Марка», 1976), «Русская борзая» («Руски хрт», 1979), «Новые белградские рассказы» («Нове београдске приче», 1981) и др. На русском языке печатались рассказы М. Павича в сборнике «Набросок сценария со счастливым концом» (М., 1984), романы «Пейзаж, нарисованный чаем» (журнал «Согласие», 1991, № 6, 7), «Хазарский словарь» («ИЛ», 1991, № 3), «Последняя любовь в Константинополе» («ИЛ», 1997, № 7), пьеса «Вечность и еще один день» («ИЛ», 1995, № 7), новелла «Шляпа из рыбьей чешуи» («ИЛ», 1997, № 1).
Рассказ «Корсет» («Стезник») взят из сербского журнала «Књижевност», 1997, № 1.

ЯСМИНА МИХАЙЛОВИЧ (JASMINA MIHAILOVIČ) — сербский литератор и критик. Окончила филологический факультет Белградского университета; директор Совета по распространению сербской литературы за рубежом при организации «Всемирное сербское сообщество» («World Serbian Union») с центром в Женеве. Автор книги «Притчи о душе и теле» (1992) и нескольких биографических и критических работ о творчестве Милорада Павича.
Рассказ «Три стола» («Три сто́ла») получен редакцией в рукописи.

КОРМИЛЬЦЕВ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ (род. в 1959 г.) — поэт, переводчик с английского и итальянского. В его переводах публиковалась

«малая проза» Дж. Р. Р. Толкиена: «Кузнец из Большого Вуттона», «Фермер Джайлс из Хэма», «Явление Туора в Гондолин», «Турин и дети Хурина», а также рассказы Р. Дала, Ф. Макдональда, Дж. Балларда и др. В «ИЛ» печатались его переводы романа «Пока мы лиц не обрели» Клайва Ст. Льюиса (1997, № 1), повести «Садовник» Ежи Косинского (1997, № 10) и статья «Поколение Икс: последнее поколение?» (1998, № 3).

ИРВИН УЭЛШ (IRVINE WELSH; род. в 1958 г.) — шотландский писатель. Автор романов «Трейнспоттинг» («Trainspotting»), «Аист марабу из кошмаров» («Marabou Stork Nightmares», 1955), сборника рассказов «Эсид хаус» («The Acid House», 1994).
Повесть «Судьба всегда в бегах. Фармацевтический романс» («Fortune's Always Hiding. A Corporate Drug Romance») взята из книги И. Уэлша «Экстази» («Ecstasy». London, Jonathan Cape, 1996). Рассказ «Вечеринка что надо» («The State of the Party») был напечатан в сборнике «Диско-бисквиты. Новая проза химического поколения» («Disco Biscuits. New Fiction from the Chemical Generation. London, Hodder and Stoughton, 1997).

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ (род. в 1966 г.) — критик, культуролог, переводчик с английского; автор работ, посвященных творчеству И. Бродского, В. Аксенова, Дж. Оруэлла, М. Кундеры, Т. Пинчона, проблемам кино. Неоднократно публиковался в «ИЛ»: перевод рассказа «Энтропия» Т. Пинчона (1996, № 3), статьи «Камилла Палья: черная овца в стаде американского феминизма» (1996, № 10); автор статьи «Певцы неизвестного поколения» (1998, № 3) и др.

ОЛДОС ХАКСЛИ (ALDOUS HUXLEY; 1894 — 1968) — английский писатель. Литературную деятельность начинал как поэт; был литературным и театральным критиком. Многие годы жил в Италии и США. Автор романов «Желтый Кром» («Crome Yellow», 1921, рус. перев. 1936), «Шутовской хоровод» («Antic Hay», 1923, рус. перев. 1936), «Контрапункт» («Point Counter Point», 1928, рус. перев.1936), «О дивный новый мир» («Brave New World», 1932; рус. перев. в «ИЛ»,1988, №4), «Слепой в Газе» («Eyeless in Gaza»,1936), «Через много лет» («After Many a Summer», 1939; рус. перев. в «ИЛ», 1993, № 4), «Остров» («Island», 1962), повести «Гений и богиня» («The Genius and the Goddess», 1955; рус. перев. в «ИЛ», 1991, №5), сборников рассказов и эссе.
Статья О. Хаксли «Писатели и читатели» взята из одноименного сборника («Writers and Readers». London, Chatto & Windus,1936).

ВАЙЛЬ ПЕТР ЛЬВОВИЧ (род. в 1949 г.) — эссеист. В соавторстве с Александром Генисом написал книги «Современная русская проза» (1982), «Потерянный рай. Эмиграция: попытка автопортрета» (1983), «Русская кухня в изгнании» (1987), «60-е. Мир советского человека» (1988), «Родная речь» (1990). Неоднократно публиковался в «ИЛ» (1990, № 8; 1995, № 6; 1996, № 1, 3). Ведущий авторской рубрики «Гений места» (1995, № 2, 4, 12; 1996, № 8, 11, 12; 1997, № 6, 7, 11, 12; 1998, № 2).

РОГОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1930 г.) — литературовед, переводчик. Переводил поэтов английского Возрождения, английских романтиков, китайских поэтов эпохи Тан, французских символистов, рассказы А. Э. По. В «ИЛ» в его переводе напечатан рассказ «Невеста или тигр?» Ф. Р. Стоктона (1997, № 12).

БЕРНШТЕЙН ИННА МАКСИМОВНА — переводчик с английского. В ее переводе изданы романы «Моби Дик» Г. Мелвилла, «Смерть Артура» Т. Мэлори, «Возвращение в Брайдсхед» И. Во, «Черный принц» А. Мердок («ИЛ», 1974, № 8—11, совместно с А. Поливановой), «Костры амбиций» Тома Вулфа («ИЛ», 1991, № 10, 11, совместно с В. Бошняком), повесть «Десятый» Грэма Грина («ИЛ», 1986, № 12), рассказы Дж. Апдайка, Дж. Сэлинджера, В. Притчетта, Ш. Алекси и др.

■Переводчики:

СЕРГЕЕВ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ (род. в 1933 г.) — переводчик прозы и поэзии с английского. В его переводе издавались книги избранных стихотворений Р. Фроста, Т. С. Элиота, Э. А. Робинсона. Переводил классику: Э. Спенсера, Дж. Донна, У. Вордсворта, У. Уитмена и др. В «ИЛ» в его переводе печатались стихи К. Сэндберга (1978, № 2), Р. Лоуэлла (1980, № 2), А. Гинзберга (1986, № 10; 1994, № 3), Р. Грейвза (1995, № 6), романы «Целители» Айи Квеи Армы (1982, № 1—3), «Интерпретаторы» В. Шойинки (1970, № 10), пьеса Дерека Уолкотта «День поминовения» (1993, № 3) и др.

МАКАРЦЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1946 г.) — переводчик со славянских языков. В его переводе издан роман польского писателя Витольда Гомбровича «Порнография» (М., 1994). В «ИЛ» (1996, № 2) напечатаны рассказы польского писателя Густава Герлинга-Грудзинского.

ХЛЕБНИКОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1943 г.) — поэт-переводчик. В его переводе публиковались немецкие народные песни и баллады, песни Ж. Брассанса (Франция), стихи У. Дж. Смита и Р. Фроста (США). В «ИЛ» напечатаны стихи Х. Вадера (1985, № 6), Э. Фрида (1987, № 10), Г. Грасса (1983, № 10; 1988, № 4), повесть «Чужой друг» Кристофа Хайна (1987, № 1), романы «Книга царя Давида» (1990, № 4, 5) и «Агасфер» (1994, № 9) Стефана Гейма.

Е. СУРИЦ (БОГАТЫРЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА) — переводчик с английского, французского, немецкого и скандинавских языков. В ее переводе издавались романы «Доводы рассудка» Дж. Остин, «Повелитель мух» У. Голдинга, «Консервный ряд» Дж. Стейнбека, «Пан» К. Гамсуна, пьесы А. Стриндберга, Э. Ионеско, сценарии И. Бергма-

на, «Записки Мальте Лауридса Бригге» Р. М. Рильке (Библиотека «ИЛ», 1988). В «ИЛ» в ее переводе напечатаны романы «Я в замке король» С. Хилл (1978, № 1, 2), «Миссис Дэллоуэй» (1984, № 4) и «Орландо» (1994, № 11) В. Вулф, «Пирамида» У. Голдинга (1996, № 3), пьесы разных лет С. Беккета (1996, № 6) и др. Лауреат премии «ИНОЛИТ» (1994).

ВАГАПОВА НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА — литературный и театральный критик, кандидат искусствоведения, переводчик с сербского, хорватского, словенского и македонского. В ее переводе изданы новеллы И. Андрича, пьесы «Агония», «Арестей» и др. М. Крлежи, а также его публицистика, романы «Поминки» Б. Зупанчича, «Пейзаж, нарисованный чаем» М. Павича (совместно с Р. Грецкой), пьесы М. Матковича, Г. Стефановского и др. В «ИЛ» печатались ее переводы статей М. Крлежи (1978, №7), пьесы «Вечность и еще один день» М. Павича (1995, № 7, совместно с Л. Савельевой), новелла «Шляпа из рыбьей чешуи» М. Павича (1997, № 1).

ЯСНОВ МИХАИЛ ДАВИДОВИЧ (род. в 1946 г.) — поэт и переводчик. Автор сборников стихотворений «В ритме прибоя» (1986), «Неправильные глаголы» (1990), «Подземный переход» (1995), «Алфавит разлуки» (1995), многих книг стихов и переводов для детей, а также статей о русской и французской поэзии. В его переводе опубликованы произведения Сирано де Бержерака, А. Шенье, Жерара де Нерваля, Т. Готье, Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо, Г. Аполлинера, П. Валери, Ж. Превера, Б. Виана и других французских авторов.

КУЗЬМИНСКИЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1964 г.) — литературный и кинокритик, переводчик с английского. Его статьи, рецензии, эссе публиковались в «Литературной газете», «Независимой газете», газетах «Сегодня», «Коммерсантъ-daily» и др. В «ИЛ» напечатаны переводы романов «Волхв» Дж. Фаулза (1993, № 7—9; премия «ИЛ» 1993), «Профессор Криминале» М. Брэдбери (1995, № 1; совместно с Г. Чхартишвили и Н. Ставровской).

ЭБАНОИДЗЕ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1967 г.) — литературовед, переводчик с немецкого. В его переводе опубликованы дневники Томаса Манна («Дружба народов», 1995, № 9; «Новый мир», 1996, № 1), стихи Д. Грюнбайна («Дружба народов», 1996, № 3). Статьи о творчестве Т. Манна публиковались в журналах «Новый мир» (1996, № 1), «Дружба народов» (1996, № 5), «Ясная поляна» (1997, № 2).

БАБКОВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ (род. в 1961 г.) — переводчик с английского. В его переводе публиковались отрывки из романа «О времени и о реке» Т. Вулфа, повесть «Гений и богиня» О. Хаксли («ИЛ», 1991, № 5), романы «Через много лет» О. Хаксли («ИЛ», 1993, № 4), «История мира в $10^1/_2$ главах» Дж. Барнса («ИЛ», 1994, № 1), «Дом доктора Ди» П. Акройда («ИЛ», 1995, № 10), «Последние распоряжения» Г. Свифта (1998, № 1), эссе «Эрос на море» Джоэла Эйджи («ИЛ», 1997, № 7), рассказы В. Найпола, Р. Шекли, Т. Вулфа, Г. Свифта («ИЛ», 1997, № 12) и др. Лауреат премии «ИЛ» (1991) и премии «ИНОЛИТ» (1995).

ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1998, №4, 1 — 256.

ИНДЕКС 70394